



НЕВА

2
2017

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Александр ГОРОДНИЦКИЙ

Стихи • 3

Марина КУДИМОВА

Бустрофедон. *Повесть* • 7

Янис ГРАНТС

Стихи • 91

Игорь ГАМАЮНОВ

Шопот дождя. *Повесть* • 94

Владислав ПЕНЬКОВ

Стихи • 117

Саша КРУГОСВЕТОВ

Третья встреча. *Повесть* • 120

ПУБЛИЦИСТИКА

Григорий КОВАЛЁВ

Граната за пазухой
(в штрафной роте. 1943 год) • 153

Евгений БЕРКОВИЧ

Прощание с Европой.
Альберт Эйнштейн в гостях у командора • 167

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Наум СИНДАЛОВСКИЙ

Немецкие страницы русской истории
в петербургском городском фольклоре • 182

РУССКИЙ ТЕЗАУРУС – XXI

Владимир ЕЛИСТРАТОВ

Неопавшие листья русского языка • 203

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Личность и рок. Владислав Бачинин. К биографии модерности. Часть первая. Ренессанс и Реформация.

Территория памяти. Вера Харченко. Работник музея: скрытые смыслы профессии. **Книжный остров.** Публикация Елены Зиновьевой

• 217

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

Святыни Елеона (по запискам русских паломников).

Часть 2 • 244

*Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.*

*Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).*

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Александр Мелихов (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор).

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Компьютерный набор **Л. Жуковой**
Верстка **Д. Зенченко**

Александр ГОРОДНИЦКИЙ

СТИХИ О РЕВОЛЮЦИИ

Тебе обывательское: «О, будь ты проклята трижды»,
И мое, поэтовое: «О, четырежды славься, благословенная!»
Владимир Маяковский. Ода революции

От песков каракумских до речки арктической Колы,
От кубанских степей до норильских холодных широт,
Мы любовь к революции в сердце впитали со школы,
За нее принимая Октябрьский переворот.
Вспоминая теперь те наивные юные годы,
Я нисколько за них не испытываю стыда,
Привязав к революции сладкое слово «Свобода»,
О которой понятия мы не имели тогда.
Нас морили в ГУЛАГе и ставили нас на колени,
Всюду ложь и стукачество, что наугад ни затронь,
И любовь к революции тлела в моем поколеньи,
Как в торфяниках тлеет невидимый сверху огонь.
Нас учила терпенью недобрая наша природа.
Далеко не ушли мы от «Повести лет временных».
Наше главное качество — долготерпенье народа,
Так как русский народ терпеливее многих иных.
Пребываю, как все, в постоянной на власти обиде,
На счастливый сценарий причины рассчитывать нет,
Но не дай мне, Господь, этот бунт беспощадный увидеть,
О котором писал в девятнадцатом веке поэт.
Я надеждой живу, что назавтра беда не случится,
Потому что я понял, как истина ни тяжела:
Революция — это убийства, разбой, и бесчинства,
И возврат тирании, что хуже, чем прежде, была.

САВВА МОРОЗОВ

Этой повести грустны главы,
Отдохнуть от них хотя день бы.
Ах, Морозов дорогой, Савва,
Не давай большевикам деньги.

Александр Моисеевич Городницкий родился в 1933 году в Ленинграде. Советский и российский ученый-геофизик, доктор геолого-минералогических наук, профессор, член Российской академии естественных наук. Широко известен как поэт, бард, считается одним из основоположников авторской песни. Лауреат Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы. Заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

Постарайся рассуждать здраво,
 Неудачливой любви пленник,
 Оглядишься по сторонам, Савва,
 Не давай большевикам денег.
 Над Россией рассвет мрачен,
 И тревожно голосит кочет.
 Кто убийствами свой путь начал,
 Тот убийствами его кончит.
 Могут пламенные их идеи
 Только племя умножать вдовье.
 Не давай большевикам денег,
 Всю страну они зальют кровью.
 Ураганы породит ветер,
 Что на денежки твои послан,
 Будут именем убийц этих
 Ледоколы называть после.
 На себя не примеряй саван,
 Дай измученным покой нервам.
 Берегись большевиков, Савва,
 Ведь тебя они убьют первым.
 Бог расплатится потом, зоркий,
 С тем, кто более тебя прожил.
 Был соперник у тебя Горький,
 И его они убьют тоже.
 Будет горькою твоя слава,
 Да куда ее теперь денешь?
 Берегись большевиков, Савва,
 Не давай большевикам денег.

ЛЮБИМЫЕ ПОЭТЫ

В покаянии позднем для нас оправдания нету.
 Мы шагали в строю и кричали злодеям «Ура!»
 Виноваты Багрицкий, Светлов и другие поэты,
 Что воспели убийство как высшую степень добра.
 Виноват Маяковский, что пел революции оды
 (И себя самого расстрелял он за это потом).
 Я и сам их любил в те далекие школьные годы,
 У безумной истории на повороте крутом.
 И хоть сами они никого не убили ни разу,
 Вспоминая о них, потому ощущаю я грусть,
 Что расстрельные после подписывали приказы
 Те, кто в детстве стихи их заучивали наизусть.
 Не забыть и до смерти поэзии этой уроки.
 Расходились круги по поверхности темных зыбей,
 И наивных мальчишек учили звенящие строки:
 «Если надо, солги», и еще: «Если надо, убей».

И опять вспоминаю я строки проклятые эти,
И с собою самим продолжаю немой разговор.
Тот, кто звал убивать, перед Богом в таком же ответе,
Как и тот конвоир, что уже передернул затвор.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

(песня)

Когда вдруг замолкает актер и поэт,
Ни защиты ему, ни спасения нет
От посмертных наветов и басен.
Исполинских внезапно лишившийся сил,
Государству он сразу становится мил,
Потому что уже не опасен.
И артистов эстрадных несметная рать,
Безуспешно пытаюсь ему подражать,
Представители нынешней школы,
Все к нему приплетают поповую нить,
Будто можно и вправду другим заменить
Этот хриплый и яростный голос.

На губах у поэта застыла печать,
И опять телевиденье или печать,
Журналистов отважная рота,
Все его приукрасить пытаются зря,
Будто можно и впрямь превратить бунтаря
В верноподданного патриота.
Он по-прежнему «против» всегда, а не «за»,
Немигающим взглядом он людям в глаза
С фотоснимков взирает сурово.
Он любому начальству сегодня не в масть,
Он бандитам мешает и грабить, и красть,
И пора запрещать его снова.

ГODOВЩИНА НАЧАЛА БЛОКАДЫ

Годовщину начала блокады
Отмечаю осенней порой.
Отблеск зарева под облаками
И сирены пугающий вой.
Там на улице запахи гари,
И блестит позолотой листва,
И деревья на нашем бульваре
Не спилили еще на дрова.

Там прожекторов синие сети
И на подступах ближних бои.
Там пока еще живы соседи,
И родители живы мои.
Пахнет кровью, огнем и железом,
Горьких сводок скупая строка,
Но пока еще хлеб не урезан,
И воды еще вдоволь пока.
И прогноз предстоящих событий
Не дано нам узнать наперед,
Где нельзя из парадного выйти,
Где на улицах трупы и лед.
Где навязчивый стук метронома
Подтверждает твое бытие,
И сгорит в феврале вместе с домом
Довоенное детство мое.
И шепчу я, те годы итожа,
Над бетоном кладбищенских плит:
«Не пошли нам, всевидящий Боже,
То, что выдержать нам предстоит».

ПОНЯТИЕ «РОДИНА»

Понятие «Родина» стало с годами сложнее.
Возможно, поэтому вижу все чаще во сне я
Исакия купол, светившийся в нашем окне,
Костры экспедиций, которыми память богата,
И улицы Питера, и переулки Арбата,
Где жил я когда-то в распавшейся после стране.

Понятие «Родина» стало со временем проще:
Листва под ногами в осенней березовой роще,
Те песни, что пели в студенческие времена.
И снежной зимою, и осенью, теплой и влажной,
С чего начинается Родина, так ли уж важно?
Гораздо важнее, где кончиться может она.

Понятие «Родина» может меняться с годами.
Картинкою стать, над кроватью висящею в раме,
В заморской стране, из которой нет хода назад.
Забывтой строкою, которую в памяти ищем,
И в Царском Селе малолюдным Казанским кладбищем,
Где в тесной могиле родители вместе лежат.

Понятие «Родина», что это все-таки значит?
Васильевский остров, где путь, что кончается, начат?
В весенних каналах плывущий от Ладоги лед?
А может быть чувство, что невыносимую болью
Грызет твою душу на раны насыпанной солью,
И ноет под сердцем, и ночью уснуть не дает?

Марина КУДИМОВА

БУСТРОФЕДОН

Повесть

Геля всматривалась в почти круглую — чуть вытянутую углом зрения — отметину от оспопрививания на своем левом плече и в зеркале, и так — захватывая, приборывая и несколько выворачивая кожу вправо, так, чтобы след оказывался на уровне глаз. Прививку ей делали уже тогда, когда Геля могла запоминать события, а не придумывать их. Доктор, безмянный, как все одноразовые доктора, сказал: «ревакцинация». Это означало, что прививка была повторной, объяснила Бабуль. Но предыдущих Геля не помнила, да и следов они не оставили. А эту помнила в подробностях, но не лиц, а рук и прикосновений. Протирку ваткой плеча ниже сустава, ваткой, смоченной спиртом, острое дуновение которого моментально улетучилось, а смазанное место столь же стремительно, с легким холодком, высохло. Нанесение вакцины в три неболезненных надреза. Красную припухлость, которую нельзя было трогать и оттого нестерпимо хотелось делать это. Помнила даже пузырек пустулы, на месте которого образовалась сначала чесотная корочка, а потом кратерок шрама, выделяющийся незагорающей белизной и поделенный надрезами на три сектора.

Дни с жаром и отказом от еды Геля реконструировала по рассказам Бабуль — мало ли от чего и сколько раз в жизни у нее повышалась температура или наступало отказное настроение. Но когда все зажило и на плече появился алебастровый кратер, она спокойным озарением поняла, что в этой впадинке и заключается ее жизнь. Так, наверное, произошло потому, что рождения своего она не хранила в памяти, да и вообразить не могла, какие бы истории на эту тему ни рассказывали ей ровесники и взрослые. Никаких следов появления на свет ее тело не содержало. Оно росло и менялось само, без посторонней помощи, если не считать еду и движение. А когда Геля убедилась, что аналогичный след на плече есть практически у всех, ее подозрения лишь окрепли, и тогда-то она и взяла в обычай рассматривать оспопрививочный след, выворачивая пальцами кожу, словно проверяя, не исчез ли, не стерся ли единственный зримый символ ее жизни. Он заключался не в сердцебиении, которое Геля замечала лишь при игре в «крысы», не в мигании глаз, которое она неделями не фиксировала, не в дыхании, на которое обращала внимание только при насморке, а в слегка неровной поверхности этой впадинки.

В своей догадке Геля убедилась, когда прочла про «европейского сироту» Каспара Хаузера, незнамо как обретшегося на Крестовой улице Нюрнберга. Его име-

Марина Владимировна Кудимова — поэт, прозаик, эссеист, историк литературы, культуролог. Родилась в Тамбове. Начала печататься в 1969 году. В 1973 году окончила Тамбовский педагогический институт. Автор книг стихов: «Перечень причин» (1982), «Чуть что» (1987), «Область» (1989), «Арысь-поле» (1990), «Черёд» (2011), «Целый Божий день» (2011), «Голубятня» (2013), «Душа-левша» (2014). Лауреат премий им. Маяковского (1982), журнала «Новый мир» (2000), Антона Дельвига (2010), «Венец» (2011), Бунинской (2012), Бориса Корнилова (2013), «Писатель XXI века» (2015), Лермонтовской (2015).

нем теперь называют детей, которые не хотят жить как взрослые, то есть непрерывно лгать. Но Гелю уверило в этой истории не блаженное простодушие Каспара и не то, что он выжил в погребу, куда его зачем-то поместили и откуда зачем-то выпустили на погибель в людскую гущу, а то, что на его плече нашли следы прививки от оспы. Эта эмблема, по несгибаемому мнению Гели, не только удостоверяла благородное происхождение нюрнбергского найденыша, но и сохраняла необыкновенную жизнь внука Наполеона, а никак не сына солдата 6-го кавалерийского полка вплоть до подлого удара ножом в Ансбахе, в Хофгартене, в горсаду, по представлению Гели, таком же, как там, где она вынуждена была теперь жить, — с неудобно, будто на толчке, сидящим Лениным, девушкой с веслом, снопом и книгой — несколькими девушками, воспринимающимися как размноженная одна в разных ипостасях, колесом обозрения с подвесными опасными сиденьями и скамейками со следами голубей. Каспар Хаузер научил Гелю простой вещи: чего не помнишь — того не было. А что вспомнишь, то рано или поздно повернется к тебе обратной стороной.

I

Человек такой, какой он пьяный. К этому выводу Геля пришла на Карлушке. До того она пьяных, конечно, видела, но со стороны. К ней они не имели никакого отношения. А на Карлушке поняла, какой человек: такой, какой он пьяный.

Взять Водищевых. Пьяные, кроме Маруси, злобной, жилистой, ухайдаканной, и Светки, недоделанной, сопливой, золотушной, и Коляна белобрысого, который бы с удовольствием попробовал, но ему пока не дают. Вот Федя. У него лицо как стиральная доска. Глаза — две дырки, слабо подсиненные. Рубаха зажеванная. Роста совсем нету. Молчит и молчит. Вот Леня, Федин брат. Он умеет притворяться трезвым и фартовым. Ни в чем ему, однако, не повезло. Кепка плоская. Брюки в сапоги. Рост меньше Федино. Говорит отрывисто и завидует каждому. Вот Манька, Феде и Лени мать. У нее лицо один в один с Федей — тоже рифленое, только чаще. Моет чужие полы. Молчит аналогично. А вот Водищевы выпили. Федя улыбочив, любит всех. Леня празднует, весь в кураже. Дерется, но не со своими. Идет к жене, которая его выгнала, и любит ее битьем. Манька делается как сметана — разглаживается, размазывается. Им хорошо всем.

Новиков. На все руки. Кособок. Со спиной что-то не то. Мрак во все лицо. Слова не проронит. А вот Новиков выпил. Распрявился. Руки тяжелые держит перед собой, чтобы не работали. Смуглота рассветает, проясняется. Правда, придирается к каждому, но задумчиво. Жена Мара ему: «Ща как давану» — в смысле: «наподдам». А он думает, что от слова «давить». И парирует раздельно: «Ме-ня давили... Ох, как да-ви-ли...» Воспоминания его одолевают до полного поглощения. И Мара следом замолкает, что ей не свойственно.

Иван Антоныч по прозвищу Усач. На маршала Буденного похож. Строг — не приблизишься. Хотя и незачем. Но так говорится. А вот Усач выпил. Усы раздвинулись. Шутит. К детям ласков. Играет попеременно в «козла» с мужчинами и в «дурака» с женщинами. Собственно говоря, старухами. Непьющими притом. Их, непьющих и злющих, наперечет. Маруся — другая. «Чернильная» ее все зовут, хотя она седая как лунь. Луна между тем никто не видел, а Чернильная похожа на курицу из кукольного спектакля про подземных жителей. Вылитая. Маха, кривая на левый глаз. Гуня глуповатая. Муся Куряка. Но у нее дочка Света поддает будь здоров. Иван Антоныч с ними, неинтересными, заигрывает как со стоящими. Старухи отмахиваются, но довольны. У Маруси Чернильной муж Пуря. На вечной рыбалке. У воды

сидит, а не моется. Пахнет тинной и мокрой плесенью. Наловит, продаст — как не выпить! Маруся жалуется, что лезет к ней. А самой лестно.

Старухи в опьянении разбираются. Одно дело выпимши. Это вообще не считается. Другое дело — пьяней вина. Это не приветствуется.

Геля долго не соглашалась, что имен меньше, чем людей. Еще есть Маруся Сомова. Она тоже не пьет, потому что болеет раком. У нее отрезана грудь, как у амазонки. А муж ее Ваня поваром в столовой. Вот он всегда пьяней вина. Зато приносит мясо домой в штанах. Это все знают. Поэтому ходит раскорячась.

Маша Гурьева может выпить. И хочет. Но нечасто и плачет. Сын у нее Леха, но его все Алешей зовут. Этого на собственной свадьбе водой отливали. Другого сына — Вильку — Света Курякина увела у жены. На пару пить веселее.

Еще, конечно, не пьет Бабуль. Но Геля и так знает, какая она. Геля с ней живет. Хотя, если, например спросить, носит ли Бабуль очки, какой у нее нос и во что она одета, Геля крепко задумается. Она знает Бабуль словно изнутри. Бабуль со всеми на «вы». И с ней все. Ее уважают. А маму нет. Хотя мама почти не пьет. Только с мужчинами и только шампанское. Мужчины ее называются военпреды, и из-за этих военпредов у нее сложная репутация. Они безуспешно норовят натаскать Гелю по математике. Бросают попытки вскоре и навсегда.

Территория делится на «Во Дворе» и «За Сараями». За Сарай ходить не рекомендуется. А как не ходить, когда ведро полное помоев и по-большому надо, а там помойка и беленый туалет. По-маленькому бабушка приспособила второе ведро, но его тоже на улицу не выплеснешь. А За Сараями учатся курить, выражаться, режутся в пристеночек и в ножички. Но это и во Дворе не возбраняется, кроме курения, только там народу много, особенно летом, и все на виду, а ведь есть и секреты. Сопредельная с Двором территория называется Сто Пятый. Там живет Гарик. Избранных он приглашает в свои владения, но Геля в их число не входит. Напротив живет красавец Агломазовский, по которому поочередно и безответно сохнут все подростки обитательницы Двора. Перпендикулярные Двору улицы Ленинградская и Кронштадтская примечательны тем, что на первой расположена булочная, называемая Толмачевской, а на второй — мрачная руина костела, в котором, по рассказам Бабуль, молились поляки, а теперь заводской цех и колючая обмотка по забору. В костел залезть не получалось: цех в две смены лязгал на всю улицу неизвестными механизмами. Куда подевались благочестивые поляки, Бабуль не отвечала.

Геля со времени переселения на Карлушку очень изменилась. Раньше она была другая, как и всё вокруг нее. И Геля самоизменение это замечала и относилась к нему с пониманием. Только меньше стала себя любить и в Агломазовского решила не влюбляться себе в наказание.

В Туторовский она и Бабуль заявили в конце августа, перед самой отправкой во второй класс. Дом был новый, сосновый. Сосна стойко пахла и местами липла к рукам и подошвам. Всю середину занимала печь. Дед назвал ее русской. Бабуль глядела на печь с ужасом и бормотала, чтоб деду не слышно: «На печи избу поставил». Геля прежде видела такую печь в книжке про гусей-лебедей и знала, что там лежат старики и дети. Но Бабуль лезть на печь отказывалась. Дому Геля не удивилась. Она хорошо разбиралась в словах. Если дед строил домостроительный комбинат, то резонно построил и дом.

— Вот твоя комната, — сказал дед. — Смотри, какой стол.

Стол был матово-красный, невиданный. У него открывалась крышка, словно у рояля. Рояль, по рассказам, имелся у сестры Бабуль. Она красила волосы марган-

цовкой, научно зовя ее перманганатом калия, и Геля про себя звала ее Морковкой. В стол Геля напихала свои альбомы, карандаши Сакко и Ванцетти и краски.

Через дорогу стоял лес. Его звали Брянский. Геле сразу объяснили, что там шла война и осталось много неразорвавшихся мин, почему и потому, что можно заблудиться, ходить туда строго запрещалось. Геля немедленно пошла, как только дед и Бабуль занялись чем-то скучным, а дом был осмотрен. Не заблудилась ничуть, правда, ушла недалеко, чтобы дом просматривался сквозь деревья. Деревья начинали желтеть. Геля узнала осины и березы — они росли везде, и Брянский лес ее ничем не удивил, кроме близости к жилью. Она пока что еще принимала часть за целое.

Дед привел женщину в клетчатом тусклом платке с бахромой. За ней пряталась девочка с белыми волосами и бровями, тоже в платке, поменьше площадью.

— Это Поля, — сказал дед, глядя на Бабуль. — Будет тебе помогать.

— Это Тоня. Будешь с ней в школу ходить и дружить, — сказал он Геле.

— Поля, вы готовить умеете? — спросила Бабуль.

— Хтойзньт, — Поля загадочно повела глазами. — Куфайкю куды бросить?

У нее, вскоре выяснилось, было два таких охранительных заклинания на все случаи жизни: «Хтойзньт» и «Опеть неладно». И одежд было ровно две — «куфайка» на будни и «плюшка» на праздники. «Плюшкой» называлась вовсе не булка, как можно подумать, а черная плисовая, на глаз словно мятая жакетка. Вопрос Бабуль показался Геле странным. До сей поры она готовила самостоятельно, и никто не жаловался. Только дед любил над ней подтрунить, и когда Бабуль, не выдержав безоценочного поглощения обеда, спрашивала: «Вкусно?» — делал особое выражение лица и неизменно отвечал: «Съедобно», а Бабуль делала вид, что обижается. Но Геля догадалась, что Бабуль просто боится печки.

Девочка Геле не понравилась. Слишком тихая. Геля попробовала с ней порисовать, но ничего не вышло: она неприятно подбирала сопли глотом и сломала два карандаша. Геля нарисовала обед и хотела им Тоню накормить. Тоня, чтобы не есть бумагу, отстранялась молча. Белая прядь ее накрутилась на пуговицу Гелиной кофты. Геля хотела высвободить пуговицу от Тони и рванула. Тоня сделалась красной, как стол, и заплакала без крика, то есть по-настоящему. Женщина Поля сказала:

— Опеть неладно! Ашь ты ж, обидушша какá! Не цапляй яё, она смёрна.

Геле совершенно не льстило звание «обидушей». Ей стало стыдно и непонятно, зачем они сюда приехали, и она заревела в полный звук.

Бабуль сказала:

— Девочки, не ссорьтесь!

Поля сказала:

— Тонька, не ори у мене!

Тоня оставалась абсолютно немой, следовательно, «орать» на Полином языке означало что-то другое.

Зато с Сашкой дружба пошла. Лишь немного померились дедами.

Геля сказала:

— Мой дед знает немецкий.

— Он что, фашист? — с преувеличенным ужасом спросил Сашка.

— Сам ты фашист! Он строитель! — драться Геля не любила, но могла.

Сашка вырвался вперед.

— А мой дед знает американский! Он на войне американцами командовал.

Крыть было нечем.

— Американцы — империалисты, — нашлась Геля.

— Но на войне были за нас, — оправдательно сказал Сашка.

В знак дружбы они срубили дерево. Рубили весь день, в два стащенных из чуланов топора, умаялись. Это была береза в самом соку. Она кричала от каждого удара. Желтые курчавые ключья летели и вяли на лету. Надрубленная щепка веерно окружала ступенчатые места ударов. Топор вырывался из рук и тупо лязгал о ствол. Рушась, береза повалила несколько подростов.

Бабуль загадочно молчала. Геля ела суп. Бабуль сказала:

— Приходил лесник. Деревья рубить нехорошо. Оно на вас могло упасть и задавить. Топор мог отскочить и разрубить ногу. Я еле упростила не говорить деду. Он бы тебе всыпал.

Геля смутилась и запоздало испугалась. Она и без лесника переживала за погубленное живое. А Сашке таки всыпали.

Школа отстояла от их нового соснового дома километра на три. Бабуль пыталась убедить деда, что Гелю имеет смысл возить на машине. Дед сказал:

— Первого сентября, далее нигде.

Бабуль огорчилась, это было видно невооруженным глазом. А вооруженного у Гели не было. Что это вообще такое? Очки? И далеко ли три километра? Оказалось, порядочно. Потом, однажды, когда велели собирать металлолом, а металлолома в Тупоровском никакого не водилось — одни мины в Брянском лесу, Геля увидела дедова шофера Славу и прыгнула в «победу» — единственную легковушку, дедом признаваемую. Слава сказал:

— Заругают меня... Ладно уж, нечего тебе тут даром спину гнуть. Давно на «Волгу» надо пересаживаться, но директор к этому рыдвану привык. Машина времени, мля...

Славе досталось на орехи. Орехов в Брянском лесу было завались — заросли. И Геле перепало много унылых слов с этим металлоломом.

— Барыней хочешь вырасти? — спрашивал дед. — Белоручкой?

Геля понимала, что отвечать не надо, а барыней быть не так уж и плохо. Бабуль деду не перечила, но ее несогласие с дедом ощущалось, как во сне ощущается утробная наполненность.

Геля и дотупоровскую школу не сильно любила. Не учение ей претило, а ежедневность, мешавшая читать или играть, когда того хочется. Учительница Зоя Григорьевна ходила пятки вместе, носки врозь, как велели каждое утро по радио преподаватель Гордеев и пианист Родионов. Геля писала в тетрадку диктант и молчала. У нее была врожденная грамотность. А по арифметике не было никакой. Но тоже что-то писала в столбик бессмысленное. На нее все показывали глазами и шушукались.

Стало холодно. Геля надела пальто цвета бордо, купленное по дороге в Тупоровский в «Детском мире», в Москве. Там жил другой дед, отцовский. Она его увидела, когда было ей три года, и запомнила только крупные детали. Телевизор с наполненной водой линзой и экраном величиной с кусочек мыла. Мамино платье, которое все называли «фестивальным», потому что тогда шел фестиваль. И негра на улице, на которого хотелось оглянуться, но не разрешали из-за неприличия и дергали за руку. Ее посадили перед телевизором. Там что-то блекло мелькало.

— Балет, — сказал дед отцовский. — Видишь, танцуют?

— Догадаться можно, — воспитанно сказала Геля. Она своих слов не помнила, но взрослой легендой, будто сказала именно так, гордилась.

Бабуль морщилась, когда говорили «бордовый». Пока они с Тоней преодолели три километра, вешалку в классе вдоль стены всю завесили. Геля осталась в пальто, а Тоня свою одежду положила на колени. Зоя Григорьевна в отношении Гели этого не допустила:

— Повесь, куда все.

— Но там уже слишком много других пальто, — сказала Геля.

На нее обернулась староста Люська с подбородком, как у Щелкунчика, и косами, как на плакате. С ненавистью сказала:

— Не пальто, а польто! — и передразнила: — «Пальто»! Ты нерусская, что ли? И зовут тебя не по-русски!

Геля не знала, какая она. Она думала, что «русская» — это печь. Ангелиной ее назвала Бабуль в честь своей подруги. Подруга умерла от тифа. Бабуль часто ее вспоминала.

— Прикуси язык, — сказала Зоя Григорьевна Люське. — У нас все русские. В СССР много народностей.

Геля представила, как Люська своей высокоразвитой челюстью прикусывает язык, отхватывает половину и жует. Тихая Тоня взяла учебник и дала Люське по башке. Геля вспомнила пуговицу и запутавшуюся прядь, и ей снова стало так стыдно, что она встала и вышла из класса. Бабуль встретила ее, качая головой. Дед сказал вечером:

— Давай не дури.

О школе Геля старалась не думать ни днем, ни ночью. Поселка она почти не замечала. Единственно ручей, если дорогу в школу скашивать без Тони. Тоня ручья опасалась. Да и Геля в него однажды шлепнулась — не перескочила. Холод в ручье был зуболомный. Зато заболела! Две недели дома. Но в Туторовском жили необычные парни — рыжие, огромные, с зубами во весь рот. Привлекали внимание. Геля спросила:

— Почему они такие?

Бабуль сказала:

— Они от немцев. Тут немец три года был. В лесу партизаны, а немец тут. В каждом доме.

Геля почему-то поняла, что про «отнемцев» уточнять у Бабуль не надо. Представила, что парней, заранее похищенных, отвоевали партизаны. Уточнила у Сашки. Подумала: «Ничего себе!» А про партизан в школе то и дело преподавали. И время отсчитывали от довойны.

Дед взял ее с собой на работу. Ходили по лесам, подвесным, которые не с деревьями, а временные и окружают стройку. У деда был кабинет, много карандашей в стакане и людей на стульях. Геля всласть порисовала.

Бабуль училась растапливать печь под командованием Поля. Поля говорила:

— Не налягай на ухват, барыня! Не налягай! Как сёрн, пни корчуйшь.

Она Бабуль звала барыней. А Геле, значит, барыней нельзя! «Каксёрн» означало сравнение.

— Я никогда не научусь, — отчаивалась Бабуль.

— Хтойзнть, — ободряла ее Поля.

Дожди пошли. Бабуль сказала: «Зарядили». Геля любила ее слова. Даже не понимать их любила, чтобы думать самой. Зарядили... Ружье, что ли, они? Бабуль волновалась из-за ранней темноты, выглядывала в кромешное окно. Поля ее утешала:

— Прийдуть, прийдуть! У них рапортиция.

Поля верила в художественную самодеятельность.

Дорогу до школы развезло, как переваренную гречневую кашу. Тоня пробежала невесомо, а Геля оступилась, и блестящая грязь, голодно чавкнув, проглотила ее сапог, городской, блестящий тоже. Геля хотела нашарить его ногой, как тапочку под кроватью. Нога ухнула по колено. Повернула домой в мокром черном, коркой подсыхающем чулке. Сидела, пока дед не привез новые сапоги из райцентра. Читала, читала.

Бабуль сказала:

— У тебя ум за разум зайдет.

Геля что-то такое чувствовала в голове не то. Смешное слово «заразум» ей казалось вирусом, каким она болела в прошлом, никогда не бывшем году. Но может ли ум заразиться вирусом?

Зимой отморозила щеку. Та стала лиловой, потом свекольной. Болела, чесалась. Бабуль мазала — чем только не мазала. Снова Геля читала, читала.

— Умзаразум...

Геля для разгрузки ума вырезала по трафарету бумажных кукол, составляла из них семьи и бальные пары.

Весной, в начале, приехала Морковка-марганцовка. Снег раскис, еле пробралась. Храпела напротив Гели на раскладушке. На стену прикрепила портрет принца Нородома Сианука из газеты. Чем-то он Морковке приглянулся. Геля от храпа не спала, бродила вокруг неостывающей печи, обтирая побелку. Бабуль с Морковкой много разговаривали.

— Ах, мой Бобочка! — закатывала глаза Морковка. — Эта сволочь его доконает!

— Она — его жена и мать его детей! — увещевала Бабуль.

— Она — сволочь, сволочь! — настаивала Морковка.

Геля думала, что речь о собаках. А говорили о сыне Морковки.

Гагарин полетел в космос. Геля не понимала как. Дед объяснял — еще запутал. Туторовский молчал. Только рыжие, «отнемцев», бегали и реготали.

Морковку Геля и Бабуль провожали до железной дороги, где их самих встречал дед, когда было почти лето. Геле захотелось в поезд с горьким шатучим чаем, открытым окном и занавесками вразлет. Бабуль невидно всплакнула, а Морковка все причитала:

— Ах, наконец-то я увижу своего дорогого Бобочку!

Как будто ее кто-то насильно держал без Бобочки.

Провожаящим приказали покинуть. Покинули, постояли, не слышно крича снаружи и физкультурно жестикулируя внутри. Проводница крепко держала обернутый вокруг палки желтый флажок. Геля думала о том, отстают ли проводницы от поезда, что делают в таких случаях и как их наказывают. Морковная голова вспыхнула напоследок сквозь двойные стекла. С проводницами вопрос навсегда остался неразрешимым, как проблема: болеют ли врачи.

Слава повез их в магазин «Культтовары». Там было пыльно.

— Выбери куклу, — предложила Бабуль.

Геля кукол предпочитала малогабаритных, с твердой головой и мягким туловищем. Их было нетрудно обшить лоскутами. Но чтоб не показаться глупой, ткнула пальцем в рослого пупса. Он так звался, наверное, потому, что посреди живота у него был пуп. Ниже — ничего, гладкое место. Трудно было понять, как его называть — мальчиковым или девочковым именем. Принца Сианука Геля откнутила. Хотела выбросить, но, подумав, вложила в сказки Пушкина.

Слава привез щенка, дед ему дал имя Яго.

— Овчарка? — брезгливо спросила Бабуль.

— Подовчаренный, — неуверенно сказал Слава.

— Метис, — сказал дед. — Будет вас охранять.

— Мало ты на овчарок насмотрелся, — сказала Бабуль желчно.

Дед засмеялся. Смеялся он редко.

— Яго — это кто? — спросила Геля.

— Мерзавец, — сказала Бабуль.

— Офицер, который хотел быть генералом, — сказал дед.

— Ничтожество! — сказала Бабуль, повышая тон.

— Герои стали не нужны, — сказал дед. — Он это понял.

— Очень актуально! — сказала Бабуль колко.
 — Вы, что ли, ссоритесь? — заподозрила Геля.
 — Опеть неладно, — высказала мнение Поля.
 — Что ты, что ты, деточка! — заспешила Бабуль.
 — Крэдо ин ун Дио крудэль, — пропел дед дрожаще-басовито, на Гелиной памяти вообще впервые.

— Какое такое ты спел? — спросила Геля, изумленная.
 — Верую в жестокого Бога, — сказал дед торжественно.
 — Ты говорила, Бог милосердный, — обернувшись на Бабуль, недоумевала Геля.
 — Хтойзнть, — сказала Поля с сомнением.
 — Это ария из оперы, — как можно мягче сказала Бабуль.
 — Почему в опере Бог жестокий? На каком языке?

Дополнительный вопрос лишил ответа на основной.

— На итальянском, — сказал дед. — Оперу следует петь по-итальянски.

«Намекнуть Сашке, что дед знает еще итальянский», — отметила Геля.

Школа бесславно прошла, тотчас забылась, и, как всегда в начале каникул, казалось, что никогда не возобновится. С Сашкой жгли костры за домом и хвастались тем, что выдумали. Яго оказался глуп и вороват — спер зигзаг полукопченой колбасы и закусил объемным караваем, который пекла Поля в русской печке. Его посадили на цепь. Он легко вылезал из ошейника и бегал как угорелый. Каждое утро дед ни свет ни заря брал Яго на поводок и шел, как он говорил, «заниматься». Звал с собой Гелю, но она безбожно спала.

Слава привез торчащий из багажника велосипед. Геля бросилась к «победе», хлопнула дверцей по большому пальцу. С приложенным льдом и болью, отдающей во лбу, обнимала велосипед, не зная, как к нему подобраться. Ноготь походил на грозовую тучу. Дед держал седло крепко одной рукой. Отпустил незаметно, а Геля ехала, педали крутила. Когда надо было поворачивать, пришлось упасть набок. Дня через два наладилось, будто родилась на велосипеде. Сашка тоже научился, а Тоня боялась. Ноготь сходил цепляющими слоями.

Зашла за Тоней — впервые в их избу. Такой дом иначе не назовешь. Темень, как в проруби. Геля в проруби не была, но, как и многое, неизвестно откуда, само собой, знала. Ведра и чугулки повсеместно — скотину кормить. Стол да скамья. На печи что-то заворчалось, лохмотья раздвинулись, и показался мужик — косматый, смрадный, кашельный. Геля выскочила. Во двор зашла Поля с огорода.

— Опеть неладно? Не бойсь! Это Данила. С войны пришел — и на печку влез.

У Поли были другие дочки — Валя и Надя. Чистые, красивые, замужние. Бухгалтерши обе. Откуда взялась Тоня, если Данила с войны на печке?

Потом приехала мама, и в саду повесили гамак. Мама лежала целыми днями и курила. Геля не знала, что ей сказать. Она никогда не думала, почему не живет с мамой. Так сложилось — и пускай.

— Хочешь посмотреть на Барана Козловича? — гостеприимно предложила Геля.

Мама расширила красивые глаза.

— Это еще кто?

Бараном Козловичем Геля с дедом звали старый тулуп. Он раскладывался на веранде, и Геля на животе, упершись локтями в шелково-колючую волглую изнанку, пахнущую, как Данила, читала на нем «Робинзона Крузо».

Баран Козлович не произвел на маму впечатления. Яго залез в гамак, запутался, визжал. Геля увидела дом новый-сосновый словно впервые — маминими глазами. Сени, как Поля говорила, сыроватые, холодные всегда, увешаны связками вяленой рыбы, подобно репродукциям в «Огоньке». Лук в старых чулках. Вода в ведрах с крыш-

ками эмалированных. Поля носит в оцинкованных и выливает в эмалированные. Остальные припасы в подполе. Геле туда нельзя. Поля лазают. Бабуль говорит:

— Дед наш — чистый фламандец.

Фламандец — это кто так любил еду, что только ее и рисовал.

Бабуль рассказала Геле содержание оперы, которую дед исполнял. Геля не взяла в толк, зачем удущать Дездемону, когда можно было с ней спокойно развестись. Мама с отцом в который раз развелись — Геля сама слышала, как она уведомила Бабуль, а Бабуль ночью шепотом делилась с дедом.

— Хватит уже! — сказал дед. — Взрослая, пусть решает. Мне все это надоело.

— Но если с нами что случится, с кем останется Гелечка? — прошептала Бабуль похоже на свою сестру Морковку.

— А что с нами случится? — спросил дед, как на его месте поступила бы и Геля.

— Мало ли что, — неопределенно шепнула бабушка.

— Все уже случилось, — зевнул дед. — На наш век хватит.

Геля принялась было размышлять на эту тему, но заснула.

С отцом ее оставили однажды летом, привезя в город на побывку. Мама незамедлительно уехала на курорт — ей надо было отдохнуть от работы среди военпредов. Отец был неплохой, правда, кормил насильно. Геля выстояла. По вечерам смотрела телевизор в зеркало из другой комнаты. Дед и Бабуль приехали в конце лета. Дед с отцом долго говорили, пили коньяк.

— Я не отдам ребенка, пока вы отношения не наладите, — сказал дед.

Отец ушел на балкон, курил, сильно выдувая дым. А Бабуль взяла Гелю с собой на прогулку. Поблизости от дома были парк и развалившийся дворец.

— Здесь жил попечитель нашего института, — сказала Бабуль возбужденно. — Он приходил к нам с дочкой. Она была больна.

— Чем? — спросила Геля.

— Ну, в общем, неполноценная. Все время тянула отца за руку и повторяла: «На ослике! На ослике!» Однажды нас повели сюда. Попечитель праздновал день рождения той самой дурочки, и нас пригласили. Девочка действительно каталась на ослике вокруг вот этого фонтана. Как же мы завидовали!

Под фонтаном Бабуль подразумевала, очевидно, что-то вроде огромного таза с высокими бортами в центре парка, куда дождь нанес воды, и в нем плавал раскисший мусор. В центре таза торчал одинокий металлический штырь.

— Здесь была прекрасная статуя, — сказала Бабуль печально.

— Бомба попала? — предположила Геля.

— Нет, бомбы сюда не долетали. Глубокий тыл, — Бабуль все не выходила из рассеянности. — Обнаженная натура донимала.

Геля поняла только, что статуя была голая.

Уезжали спозаранку на шахматном такси. Отец притворялся, что спит. Или правда спал. Геля зачем-то поцеловала край его постели. Нельзя сказать, чтобы она отца так уж любила — она его слишком редко и всегда в неблагоприятных ситуациях видела. По сравнению с дедом, можно сказать, и не любила. Однажды он поднял ее среди ночи, они помчались по непрогляди разыскивать маму, и Геля, спросонья напавившая чешки на тонкой подошве, оббила ступни о камни ремонтируемой дороги. Мама нашлась утром, на кухне, когда Геля, насилиу заснувшая после пробега, встала поздно и недовольная. Но сейчас ей казалось, что это так красиво — поцеловать край постели.

Москва на сей раз впечаталась трехэтажной очередью в «Детском мире» за одеждой, за тем самым пальто-бордо, девочкой, с которой болтали на холодных ступеньках, и незлым ворчанием деда в поезде:

— Зачем ребенка истязать? Я бы через потребсоюз достал все то же самое без всякой очереди.

Дед начал болеть осенью. Осень в Тугуровском была обыкновенная. Листья липкие на стекле. Пронизывало, и воздух сизый, как нос Джузеппе, не захотевшего стать отцом Буратино. Наконец отпустили на каникулы — короткие, бесполезные. Дождь непрекратимый. На велосипеде не проедешь. Лес обнищал. Дед сидел с грелкой на диване, капризничал. Бабуль умоляла съесть суп и принять таблетку. После таблетки он Геле читал «Конька-горбунка», «Сказку о царе Салтане». Все это Геля наизусть знала, но с дедова голоса как-то обновлялось.

Появился врач Григорий Львович с женой Лилей — красавицей. Похуже мамы, но надо признать. Они стали часто приходить в гости. У Гели завелись вши от Тони. А у нее от Данилы. Бабуль намазала керосином из маленькой бутылочки и повязала косынкой. Бутылочка с керосином кипятилась в миске с водой. Геля зубок знала все Бабулины лекарства. Глазные капли желтые. Капли нашатырно-анисовые. Нашатырный спирт отдельно. Валерьянка от нервов. Зеленка от болячек. От кашля по копейке — это Бабуль подчеркивала. Аскорбинка. Вазелин. Банки простудные с выпуклым донышком, с мгновенным разогревом изнутри ватным синего пламени факелком, намотанным на карандаш. Банки лепила Бабуль на грудь и спину — попеременно. Они оставляли коричневые круги, похожие на прожаренные котлеты. При шевелении позвякивали, как медали. Потягивали кожу. А кипяченым керосином Геле и горло мазали. И вот теперь голову.

Григория Львовича и Лилю кормили пирогами с капустой, грибами солеными и вишнегретом. Водку с мандаринными корками ставили.

Геле очень хотелось Лилю чем-то в себе заинтересовать.

— У меня вши, — ляпнула она.

Лиля была благонаправная, никак не прокомментировала. А Григорий Львович сузил лоб и сказал:

— Ты в сторонке, в сторонке стой.

— Ничего, — смущенно сказала Лиля.

Но рисунки Гелины осмотрела невнимательно.

Бабуль после их ухода объясняла, что не все обязательно говорить вслух. Впрочем, ходить не перестали и кушали сдобно. Вши быстро вывелись. Тоню тоже продезинфицировали, но к Даниле не подобралась.

Слова «диагноз» Геля раньше не слышала и, как его ставят, не представляла — не то что банки. Ей казалось, что это ширма, за которой Бабуль переодевалась, когда болела чем-то внутри. Геля тогда была совсем маленькая. Попредставляя, она почти всегда засыпала на Бабулиной молитве. Бабуль шевелила губами — длинно и шепеляво, потому что зубы на ночь вынимала изо рта. Ставила перед собой иконку — образок, как она говорила, потом убирала в ящичек. Почему-то нельзя было оставлять на виду. Она и крестик рисовала тайно химическим карандашом на Гелиных майках — под плечевой лямкой — и на фланелевом лифчике, к которому при поддержке одной никелированной скобки, обтянутой нитками, крепились на длинной широкой резинке чулки. Была и вторая такая же скобка, часто скособоченная, сзади. Всегда расстегивалась.

Молитва стала длиннее и отчетливее. Геля успевала проснуться, добрести до горшка, стоявшего за печью, прожурчать, вернуться и, заново угреваясь и засыпая, слышать Бабулино шепелявление, продолжающееся с вечера:

— О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего...

— Диагноз плохой, — говорила Бабуль Поле. — И поставили поздно.

— Хтойзньт, — уговаривала ее Поля. — Можа, обжопились.

— Да нет, не ошиблись, — переводила Бабуль. — Смотри, какой он желтый!

— Опеть неладно! Желтай... Дома сидить, вот и желтай. Ты выкинь диагнось эту-то. К бабке надоть.

— Поля, ну что за темнота! Какая бабка! — возмущалась Бабуль.

— Она партизаней выхаживала. Хорóша бабка, стояща!

— Что же Данилу твоего не выходила? — сомневалась Бабуль.

— Хтойзньт! Порча на нем! — оправдывалась Поля. — Он какой веселай до войны был — не поверишь! Первая на гулянках!

Поверить в это, увидев настоящего обомшелого Данилу, было непросто.

— Ох, головушка горь-ки-я-я! — неожиданно тошно заголосила Поля. — Ох, зародилася несчастна, я ня знаю, как жа быть, как мне на свети жить...Ох, света белыва отстану, любить ста-ра-ва ня стану-у...

— Нет, Поля, это рак, — ужасалась Бабуль, откровенно не слыша Полиных песнопений. — Григорий Львович сказал...

— Хтойзньт? Львович твой! — перебивала Поля, прервав заплачку. — Пушай за бабой лучше смотреть...

Обе уставали в препираниях и замолкали. Геля была не такая глупая, чтобы вообразить речного рака цвета дедовой военной фляжки или лужи за домом, где они с Сашкой ловили головастиков. Она понимала, что так называется болезнь. Ей, как и Поле, казалось, что в болезни этой виноват кудрявый, чернявый Григорий Львович с отменным аппетитом и до известной степени красавица Лиля. Никакого рака Геля не воображала, зато в картинах представляла себе мечь Григорию Львовичу. Мечь заключалась в черном мече, висящем на черных цепях. Такие рисовал Сашка в тетради по русскому. В наколдованный момент меч самопроизвольно срывался с цепей и летел прямо в диагноз, поставленный негодным врачом, как щит. Григорий Львович был первым человеком, которому Геля желала смерти, и от этого делалось не по себе. Еще одно странное выражение. «Не по себе» — а по кому?

Прошло ползимы, когда Бабуль сказала, что деду выдали путевку в санаторий. Он никогда ни в какие санатории не ездил. И теперь не хотел. Сидел нахохленный, губы обметало белым. Очень худой, уменьшенный. Подробно наблюдал, как Поля растапливает русскую печь, жжет бересту, прогревая трубу, укладывает дрова в горниле. Сказал:

— Ты вот что, Геликониха, — он Гелю иногда так звал, — ты смотри, чтобы тут Бабуль не хулиганила.

Голос тоже уменьшился, приглож.

Геля заплакала.

— Ну! — сказал дед. — Ты же теперь знаешь, что такое проверка на шивость. Вот и меня проверят — и отпустят.

Шутит, поняла Геля, но не засмеялась.

— Тебя керосином небось не намажут, — отшутилась она, как умела.

— Кто знает, чем они там мажут. Тыком в основном, — сказал дед и налил грелку. Она давно не помогала. Зато Геля вдруг постигла, что такое Полюно «хтойзньт»! А «тык», она думала, это такой инструмент.

Когда дед садился в машину — вернее, его туда втаскивали Бабуль и Слава, Геля полновесно поняла, что в последний раз видит того, кого любила сильнее всех остальных людей на свете, исключая Бабуль. Он носил широкие плещущие брюки, в которые сейчас можно было свободно засунуть еще и Славу, и пиджаки с острыми выступающими лацканами. В пиджак теперь можно было одеть одновременно не менее трех рыжих «отнемцев». Пальто и шапка пирожком тоже были

как чужие. Дед слабо клюнул белой рукой, подзывая Гелю. Она подошла, встала, помня про придавленный ноготь, сжав руку в варежке в кулак и не берясь за дверцу.

— Не руби деревьев, — сказал дед хрипло.

Геля отшатнулась.

— Крэдо ин ун Дио крудэль, — выдавил дед, глядя на Бабуль. Она отвернулась, поворотилась, ушла, возвратилась, опустив не плечи, а все большое тело, и припала зачем-то к Полиной сальной «куфайке» и шали в мутную клетку.

— Пора, — сказал дед равнодушно.

Слава уже завел машину, когда перед капотом возник одичалый призрак в лоснящемся кителе времен войны, солдатских штанах и галошах, надетых на серые носки деревенской вязки. Серосуконная ушанка со спекшимися завязками приросла к голове и обсадилась курчавыми грязно-серыми волосами.

— Данил-а-а-а! Иди отседова! — крикнула Поля, словно он стоял на другом конце леса.

Данила в пояс поклонился машине и криво ее перекрестил. Дед, уже отчуждившийся от самых дорогих, вдруг открыл дверь и стал выпадать, косо, по амплитуде маятника, забыв вынести опорную ногу. Бабуль подхватила его, не удержала, и он вытянул руки в снег, будто готовясь отжиматься. Выскочил Слава, дотянулась Поля, и они вдвоем под руки подняли деда.

— Вставай, солдат! — сказал дед Даниле, будто это он упал. — Хватит печку пролеживать. Тут бабы одни остаются. Видал, что со мной?

— Смерть ходить каждый день, — это было первое заявление, которое Геля слышала из уст Данилы. — Каждый день, — воспроизвел он приподнято.

Дед закивал, сглатывая горловые слезы. Бабуль бросилась к нему и, не прекращая целовать вдавившиеся внутрь щеки, тоже крестила, крестила мелко, нагибая деда и вдвигая обратно. В заранее подготовленный подкоп просочился Яго, успел разбежаться и бросился на машину передними лапами, царапая стекла и волнообразно подвывая.

— На место, на место! — ослабевшим голосом закричала Бабуль.

Тоже откуда ни возьмись взялась Тоня, задергала Данилин рукав:

— Папкя! Пошли домой, папкя!

— Опеть неладно, — тоскливо сказала Поля.

Геля, для себя нежданно, вдруг тоже прижалась к ее «куфайке», отдающей русской печью и куриным пометом.

— Я не обидущая, — пробубнила она в почти черную вату. — Я вас успела полюбить.

— Ты ж моя жал-ки-я, — выдохнула Поля.

«Победа» прощально тронулась. Тоня поволокла Данилу, Поля, пометавшись, пошла, отдельная, за ними, ужимая на шее шаль. Яго побежал за машиной и больше не вернулся.

Геля на пороге механически обмела валенки и только заметила, что Бабуль в домашних тапочках. Почему-то эти тапочки и нагие лодыжки окончательно доказали ей, что дальше жизнь будет совсем другой.

Телеграмма от мамы пришла через неделю. Слава отвез Бабуль в дедов кабинет, откуда можно было звонить по телефону. Вернулась она с лицом, также предвещавшим другую жизнь.

— Деда мама забрала, — сказала Бабуль. — Мы едем к ней. Насовсем.

— А дом? — обмерев, спросила Геля.

— Дом ведомственный. Здесь будут жить другие люди.

— А Баран Козлович?! — основы бытия зашатались в Геле, хотя она понятия не имела, что такое «ведомственный».

— Он в городе не приживется, — сказала Бабуль с вызовом.

Тоня, не мигая и шмыгая созерцавшая до этого, как Геля шьет кукле, взметнула белые ресницы и заорала дурным голосом, который Бабуль называла почему-то благим, то есть хорошим, матом. Плохой Геля знала от Сашки.

— Деточка, — сказала Бабуль Тоне, — перестань плакать. Позови лучше маму.

Поля прибежала, как всегда, бросив «куфайку» в угол и разувшись. Они всё перешептывались, Геля устала подслушивать, уснула. Ничего почти не поняла.

В сборах принимали участие все. Даже Данила словно бы послушался деда. Заскорузыми руками он, как ни странно, ловко увязывал узлы и уминал в огромные ящики книги. Был совсем не страшный и не призрачный, просто невымытый и небритый. Поля отрывалась от вещей, озирала его. Он не отвечал.

— Куды столько? — время от времени обводила Поля книжные стопы. — В билитеку отдай. В билитеку...

— Ни за что! — отрезала Бабуль.

Данила неожиданно поднял лицо, встопорчил прикрытые ушанкой кудлы.

— Культурра! — сказал он, точно говорящий грач.

— Припасы забирайте, — сказала Бабуль Поле. — Чужим не хочу оставлять.

Поля навернула им в дорогу целый куль еды. Геля раздала много своих книг Тоне и Сашке, не думая о том, нужны ли они им. Отдала половину кукол — они Тоне точно нравились, хотя и скрытно. Оставила себе «Конька-горбунка» и сказки Пушкина. Но Бабуль велела их тоже положить в ящик, сказала:

— В машине читать вредно.

Слава приехал, но не на «победе», а на крытом брезентом ГАЗ-51. Дед научил Гелю разбираться в технике. Пришли еще мужики с комбината. Погрузили. Геле уже скорей хотелось ехать, а не прощаться. Поля и Тоня стояли, подпершись, пока было видно. Сашка упросил прокатиться до больницы — последнего поселкового строения. Там прыгнул, солидно сказал:

— Ну, покедова.

Геля вспомнила про Григория Львовича и погрозила ему кулаком. Смерти доктору в преддверии другой жизни больше не желала.

Они в машине и спали. Когда неизвестно почему останавливались, Геля выталкивалась из вязкого забытья и видела освещаемые фарами загадочные указатели: «Биомасса НДП» или «Язвы 5,3». Слава по дороге знал, где поесть, где туалет. И все ехали и ехали мимо глухих деревень, немых полей, огней, горящих на весу. Снова Геля засыпала между Славой и Бабуль. И снова обедали с шоферами и командированными гороховым супом или борщом, дуя, сморщивали пенку на какао к краю стакана. Геле казалось, что так они будут всегда.

ГАЗ заглох в городе Михайлов — Геля запомнила. Она мало бывала в городах, только два раза в Москве и летом у родителей. Михайлов городом Геле не показался. Она заметила магазин «Культтовары». Слава проводил Гелю с пустыми руками и Бабуль с сумкой на вокзал, отстоял очередь за билетами и ушел чиниться.

— Жаль директора, — сказал на прощание Слава. — Атомный мужик. Жаль!

Геля всегда мечтала попасть в комнату матери и ребенка — она видела такие таблички на вокзалах, где оказывалась прежде, но ей не удавалось уговорить Бабуль проникнуть туда, и она убедила себя, что там рожают детей, и поэтому нельзя. Геля уже замечала, что сбывшаяся мечта мало напоминает несбывшуюся. Комната матери и ребенка оказалась помещением со многими кроватями, как в больнице у Григория Львовича, куда Геля ходила с дедом на открытие. Только в больнице не разрешали бегать и шуметь, а здесь, в странном парящем мареве, закатывались ревом и носились дети разных возрастов, были слышны поезда и объявления

и постоянно кто-то таскал чемоданы и тех же детей на выход. Но когда они с Бабуль пошли в вокзальное здание дать телеграмму маме, Геля осознала, что бывает толчея и кучность и похуже. Уснуть Геля не смогла, или ей, наоборот, виделось во сне марево и чемоданы. Но Бабуль наяву сидела всю ночь на углу кровати и нащептывала. Только зубы не сняла.

Они промаялись весь следующий день в этой так недавно желанной комнате. Геля с незнакомым мальчиком пошли побродить по коридорам, нашли чудесный титан с водой и привязанной к нему кружкой, немного побрызгались, но железнодорожники, а может, милиционеры бесцеремонно вернули их на место, и Бабуль еще перед ними извинялась. Нужный поезд отъезжал вечером, измученная Геля пристроилась на боковой полке. Бабуль сказала:

— Нам ехать недолго. Ты поспи, а я посижу.

И снова было марево и душные запахи чужих, и Бабуль тулилась подле Гели, а с противоположной стороны свисали отдельные ноги и простыни, и жалко было всех до невозможности. Но Гелю одолел тот дорожный сложносочиненный сон-забытье, возмочь который помогает лишь время, а не необходимость. Геля прилипла щекой к Бабулиной сумке, которую та поставила у нее в голове. И ни холод сумочного замка, ни валкость вагона Гелиного забытья не прерывали, а, напротив, окунали ее все глубже и глубже.

— Гелечка, вставай, — зывала Бабуль.

И Геля ее слышала, но поделаться с сонным параличом ничего не могла, да и не хотела. И когда они выбрались в другую, дымчатую, но не разогретую, а хладно-бездушную мглу, чуть озаренную мерклым игольчатым светом, Геля не проснулась, а просто подчинилась движению. Их никто не встречал, и Геля подумала, что они перепутали город, сойдя не там. Ее спросонно знобило, било об саму себя и качало, пока они шли, шли, шли, и на них мело и дуло с присвистом. Геля пришла в себя, когда Бабуль стучалась в выходящее на обнаженную пустотой улицу окно покосившегося домика.

— Мы здесь будем жить? — с трепетом и ознобным заиканием спросила Геля, хотя ей новорожденно хотелось в тепло, что бы его ни источало.

— Что ты, деточка! — успокоила ее Бабуль. — Здесь мои старинные приятельницы живут. Мы у них переночуем.

Геля замечала, что Бабуль никогда не говорит «друзья». Белая занавеска двинулась, затемнилась небольшим зазором, прихватила неизвестной рукой. Рука замахала в неопределенном направлении. Геля и Бабуль вошли в ворота, еще более скошенные временем, чем домок, потом в дверь, кособокою уже вовсе неправдоподобно, так что Геле пришли на ум любимые стихи деда про скрюченный домишко и живущих в нем подагрических мышек. Две старушки, принявшие их в короткие ночные объятия, были сбывчиво, до волшебства похожи на мышек.

— Тусечка! Дусечка! — плакала Бабуль.

Тусечка была попопнее и не такая остроносая, как Дусечка, да и посимпатичнее, менее мышастая. Дусечка сразу ушла спать, не сказав ничего вразумительного. Тусечка пыталась накормить приезжих, но у нее не выходило. Из-за кривизны пространства все съезжало на край стола. Геля отползла на покатый диванчик, укрылась каким-то рядом и провалилась, успев подумать: «Другая жизнь».

Утром она чувствовала себя юнгой на корабле, севшем на мель. Пол тоже был кренящийся — хоть на салазках катайся, уходил из-под ног. Туся и Дуся, мышино подергивая носиками, пили чай под углом — пустую чашку не надо было наклонять. Ни мамы, ни отца по-прежнему не просматривалось.

— Может, телеграмму не получили, — предположила Туся.

- Нет, — отозвалась Бабуль потерянно. — Наверное, плохо там все.
- А вот у нас до войны, — вступила Дуся, — одна сотрудница заболела...
- Ой, прекрати! — перебила ее Туся.

Дуся надулась, превратившись в мышь, набившую за щеки сыра.

- Хочешь посмотреть на рояль? — сделала Туся предложение Геле.

Геля вежливо кивнула. Не рассказывать же про Морковку и красный стол.

Туся отвела ее в комнатку с точно такими же отлогими полами, куда, кроме рояля, втиснуть было ничего невозможно. Но рояль туда непонятно пропихнулся, и Геля была уверена, что он сей же час поедет на нее на своих колесиках и придавит к стене. Она подумала, что в целях безопасности исполнитель играет из коридора, вытянув руки на всю длину.

- Вот! — победительно сказала Туся. — Когда-нибудь придешь, я тебе поиграю.

По уходе Туси Геля покрутилась до тошноты на круглой табуретке с винтом под задом и немного развлеклась.

Потом они с Бабуль ехали из покатога дома на автобусе с кондукторшей. У той из сумки свисали билетные кудри, которые она безжалостно отрывала входящим.

Потом вышли.

- Вот мы и на Карлушке, — сказала Бабуль потусторонне.

— Какой еще Карлушке? — потрясенно спросила Геля, после верчения на рояльном стуле едва начавшая верить, что они все-таки не перепутали город.

- Улица Карла Маркса. Моя мама его Карлушкой звала.

Наличие у Бабули мамы Гелю не удивляло — о ней много рассказывалось туторовскими вечерами. Дед величал Гелину прабабушку тещей и, судя по всему, уважал. Но сейчас Гелю отчасти заботило местонахождение ее мамы, собственной. Хотя бы из одного любопытства хотелось знать, где она живет или находится. Пока переходили улицу, Геля успела спросить:

- А Туся кто?
- Она музыкант.
- А Дуся?
- А Дуся — просто ее сестра.
- А ты откуда их знаешь?
- Я с Тусей училась.

Новость тоже не была из разряда ошеломляющих, но заслуживала внимания. Геля знала про Институт благородных девиц, где Бабуль встретила революцию. Но ее не вводили в курс многих подробностей, в том числе из Бабулиных соучениц она знала лишь об одной своей тезке, впрочем, плохо представляя, сколько их было всего и как вообще происходило обучение. «Дореволюции» так же, как и «довойны», было временем расплывчатым.

Меж тем дом напротив не походил на скрюченное жилище Туси и Дуси, но и туторовский сосновый ничем не напоминал, и уж тем более тот, возле реки, где Гелю оставляли с отцом. Тот был четырехэтажный, желтый, с балконными накладками. Этот был одноэтажный, кирпичный, построенный, как и побеленный, минимум лет сто назад. Русскую печку Поля подбеливала трижды за недлинное время их пребывания, и всякий раз Геле неизбежно посчастливилось участвовать в процессе, макать мочальную кисть в ведро, капать ненаказуемо на пол и запрещаемо проверять пальцем степень подсыхаемости. Вход был со двора, как и у мышастых сестер. Геля еще не знала, что Двор впишется в ее память с прописной буквы.

Сначала она услышала крик. Крик раздавался за деревянной пристройкой к дому, образовавшей просторную помесь коридора и летней веранды. Нет, сначала

было крыльцо — широкое, так что на верхней площадке помещалась скамья, на которой Геля могла бы спать, вытянувшись во весь рост. А пожалуй, и Бабуль поместилась бы неутесненно. На крыльцо крик проникал слабовато, но все же явственно. Миновали коридор, больше похожий на пустую комнату, открыли клеенчатую, ключьями, дверь с глубоко притопленным замком. Она вела в кухню, загроможденную, как скобяная лавка. Крик приблизился, стали различимы его перепады, верхи и низы. Геля заметила справа лишнюю дверь, приземистую, но они пошли прямо, в более презентабельную, двойную и необитую, сохранявшую под краской свое древесное происхождение.

Пока крик прерывался клопочущим захлебом и переходил в тягучий стон, Геля обнаружила в помещении печку, очень похожую на русскую, но уменьшенную. Вскоре Бабуль наречет ее *экономкой*. Печь давно прогорела, и если в помещении было тепло, то только по сравнению с улицей. Геля уперлась взглядом в окно прямо перед собой — размер комнаты в шагах был мал. За окном наблюдалась глухая изжелтаиндевелая стена. Сад, отделявший ее от окна, подмерзшего снизу, был повержен зимой, и Геля проскользнула взглядом голые, приниженные снегом ветви. Из смежной комнаты, куда уже успела вторгнуться Бабуль, крик раздался такой мощный, что Геле показалось, будто стена напротив содрогнулась и поползла. Геля машинально вступила в пространство крика. В дальнем углу очерчивалась койка с голубой больничной закругленной спинкой, вокруг которой сгрудились мама, Бабуль и незнакомая массивная женщина. Крик, исторгаемый словно самой этой койкой, сопровождался хаотическим танцем сгрудившихся, борющихся с чем-то или кем-то, не имеющим объема.

Геля подошла ближе и увидела на койке тень деда, пытавшуюся выбраться из-под танцующих. Тень взметнула руки, казалось, до потолка, оттолкнула сразу всех и, приобретя нечеткие очертания человека, рухнула на Бабуль. Бабуль неожиданно устояла и, обхватив белую рубаху тени, сказала с неестественным спокойствием:

— Все. Все! Я здесь. Ляг, пожалуйста.

Гелин слух особенно напрягла эта фигура вежливости, которую ее обучали повторять по любому поводу, это так называемое «волшебное» слово, обычно ни малейшей волшбы в себе не заключавшее, но сейчас подействовавшее именно таким, видимо, все же заложенным в его глубинах способом. Тень деда послушно отпрянула назад и заняла исходную позицию, слившись с постельным бельем.

— Сестра, сделайте ему укол, — командовала Бабуль, и массивная так же послушалась ее, как и бестелесный.

Геля тихо вышла в комнату с печкой и присела на тахту. Она не чувствовала ничего, и только эта уменьшенная печка родила ее с навсегда утраченным. Геля не верила в *отенение* человека, на котором пару месяцев назад держался мир. Подошла мама, села рядом не обнимая.

— Привет, — устало сказала она. — Ты голодная? Сейчас что-нибудь приготовим. Надо печь растопить.

Геля, прекрасно осведомленная о скорости приготовления пищи на печи, поняла, что насыщение зависит от ее расторопности.

— Где у вас дрова? — деловито спросила она.

— Здесь углем топят, — сказала мама. — Он в сарае. Сейчас покажу. Этим тебе придется заниматься.

Геля еще так и не разделась, а мама накинула короткую шубу цвета снега с землей, как бывает в начале зимы. Заметив Гелин оценивающий взгляд, мама сказала:

— Заячий тулупчик.

Они взяли огромное ведро и пошли по узкой межсугробной тропке к территории, которая разделяла Двор надвое. Сараев был целый ряд. Мама открыла весомым ключом висячий замок. В сарае были навалены черные поблескивающие кучи. Мама стала наваливать их в ведро.

— Куски привезли большие. Надо колоть, но некогда, — сказала мама.

На обратном пути на тропке встретилась женщина. Из-под белого платка у нее виднелись волосы, неотлично похожие на содержимое ведра, — воронье с блеском.

— Вот кого я тыщу-миллион лет не видела, — сказала женщина. — Приехали? — это относилось к присутствию Гели. — Как там дела?

— Плохо, Светуля, — сказала мама. — Счет на часы пошел.

— Ну, хоть попрощаться успеют, — сказала Светуля, закуривая папиросу. — А я сегодня во вторую смену.

— Счастливо, — сказала мама.

Пожелание счастья в связи со второй сменой казалось насмешкой. Во вторую смену она ходила с Тоней в таторовскую школу, и ничего, кроме спотыкающегося возвращения впотьмах, из этого не извлекла.

— На понеси, — мама поставила ведро на снег.

Геля попробовала браво поднять его одной рукой, ведро повело ее в сторону, и Геля соскочила с тропки и ткнулась в сугроб. Мама засмеялась — незнакомо, внутренне.

— У меня завтра день рождения, — сварливо сказала Геля.

— Я помню, — мама подхватила угольное вместилище. — Но ты же видишь, что у нас.

— Ты почему сюда переехала? — спросила Геля. — Возле реки жить лучше.

— Мы с отцом развелись, — сказала мама. — Это результат обмена.

Геля хотела расстроиться, но подумала, что не сейчас. Когда они вернулись, тень деда молчала.

— Уснул, — сказала Бабуль, засучила рукава кофты и проворно, как Поля, растопила печь.

«Полю с Тоней надо было взять с собой», — мелькнуло в голове Гели. Но она тут же сообразила, что им здесь нет места — не в этом странном жилище, а в этом городе, в этой второй смене.

Из приземистой двери на них выдвинулся человек. Все стандартные характеристики типа «брюнет», или «молодой», или «невысокий» отметались его основным свойством: он был горбун с выпяченной грудью, точно под ней прятались латы, и ростом не так уж и выше Гели. «Конек-горбунок», — подумала Геля.

— Привет, Костя, — сказала мама, совершенно не удивляясь. — А это Геля, моя дочка. Я тебе говорила.

Горбун кивнул и протянул Геле руку — белую, будто в бинтах, гибкую и с пальцами, как у марсиан в одной книжке. Геля опасливо взяла протянутое. Рука была влажной, но не потно, а как плохо вытертая после мытья.

— Хочешь рыбок посмотреть? — спросил Костя немного сдавленным и дрожливый голосом.

Геля кивнула. Она хотела не рыбок, а показать, что не боится горбатых. К тому же посещение соседа отдаляло пребывание рядом с тенью.

— Если не возражаете, — добавил новый сосед, обращаясь к маме.

Мама подтолкнула Гелю к Костиной двери.

— Она только что из деревни, — сказала мама. — Не видела ничего.

Геля слишком устала, чтобы опротестовать мамини слова. Она видела многое — например, Брянский лес. Из-за двери раздавались гудение и струение. Вдоль всей

стены, разделявшей их квартиры, сверкали, показалось Геле, линзы, как в Москве. Только за ними находились не телевизоры, а плавали рыбы. Видимость была такая четкая и полноцветная, что Геля зажмурилась. И только подойдя вплотную, разобрала, что рыбы помещены в стеклянные незакрытые ящики с водорослями и камнями и освещены мощной лампой. Геля еще ничего не слышала о бустрофедоне, но отметила, что рыбные стаи в строгом порядке несутся от одного края аквариума к противоположному, неуловимо разворачиваясь, так что первая рыба становилась последней — и наоборот.

— Это аквариумы. Красиво? — напрашивался Костя на похвалу.

— Да, — сказала Геля осторожно, еще не разобравшись, как к этому относиться.

— Я тебе потом про всех расскажу. Они интересные, — пообещал горбун. — В каждом аквариуме своя порода.

— Когда — потом? — поинтересовалась Геля, не понимавшая этих откладок.

— Когда у вас все утрясется, — сказал Костя, кивая на стену.

— А что у нас трясется? — спросила Геля. — У нас дед кричит. Вам слышно?

— Мне нормально. А они нервничают, мечутся, — кивнул Костя на аквариумы.

— А вы кто? — спросила Геля.

— Я на заводе работаю, — сказал Костя. — И учусь на заочном. На математика.

Геля не знала, какое такое заочное, думала, от слова «очень».

— У меня по арифметике не очень, — сказала она, надеясь попасть в такт.

— Я помогу, — отозвался Костя.

Еще в углу Костиной комнаты Геля заметила красную лампу и диковинное оружие.

— Это бачок для проявки, — сказал Костя. — Я фотографирую немного. По-любительски. «Зорким-4».

— Я пойду, — сказала Геля, вдруг осознав, что так тяготит ее уже давно. — Где у вас туалет?

Бабуль говорила, что не надо стесняться задавать такие вопросы, потому что терпеть вредно.

— За сараями, — сказал Костя. — Но ты одна не ходи. В кухне ведро стоит.

— Я на ведро садиться не умею, — сказала Геля.

— Ничего, научишься, — засмеялся Костя грудью, и Геля поняла, откуда у мамы взялся ее новый смех. — У меня отец с матерью в один год умерли, — прибавил Костя. — Привык. И ты привыкнешь.

— Я не хочу привыкать, — крикнула Геля себе под нос, боясь напугать рыб. — И жить тут у вас не хочу. У меня дом был сосновый. И стол как рояль. И рыб отпусти-те! На свободу!

— Они не могут жить на свободе, — продрожал голосом Костя.

Чтобы не заплакать, Геля выбежала через две двери. За третьей, ведущей на крыльцо, нашарила чей-то таз с тряпкой и наконец присела. Тряпка глушила звук и впитывала жидкость. Геле стало намного симпатичнее. Она поразмышляла, что теперь делать с содержимым таза, ничего не придумала, оставила так и отворила третью дверь.

На крылечной лавке сидел, поджав ноги под себя, человек. Она так сама усаживалась, когда читала.

«Он все слышал!» — холодея, подумала Геля.

Человек ломко вскочил ей навстречу. Высокий, рыжий, в пиджаке на голое тело и галошах на босу ногу.

— Все мелифлютика! — крикнул человек весело шатким голосом.

Геля намеревалась отступить, но таз за дверью остановил ее. Погибель от безумных рук казалась неминуемой, но на крыльцо вдруг вбежали две фигурки. Одна была мала, а другая — малой по колено.

— Аркаша, вали с нашего крыльца! — бесстрашно крикнул маленький побольше.

— Вали! — повторил маленький поменьше. — Флютика!

Рыжий сумасшедший прыгнул, прыгнул в снег и побежал к воротам, задирая ноги, точно по горячим рассыпанным блинам.

— Ты, что ли, жить будешь у нас на коридоре? — спросил побольше, натужно забавив фальцет первой ступени.

— Коридоле, — отзвучил поменьше.

Наученная Люськой историей с пóльтами, Геля не стала поправлять.

— Я — Геля, — представилась, чтобы закрыть тему грамматики.

— Геля! — радостно прокричал совсем маленький подвластное ему сочетание звуков.

— Я — Валерка, — солидно сказал старший. — А это Юрка, брат мой.

— Леля и Люля, — подхватил Юрка.

— Меня из-за него теперь все Лелей дразнят, — досадливо сказал Валерка. — Как девчонку.

— Вообще Лель — это мальчишка, — поделилась Геля. — Он пастух.

— Это когда было? — заинтересовался Валерка.

— Давно. В сказке про Снегурочку, — пояснила Геля.

— Расскажешь? — Валерка блеснул глазами, снял варежки, зажал их между подбородком и шеей и мгновенной судорогой языка облизал ладони. Он был смуглый, с белыми потеками на скулах. — У меня руки сохнут. Витаминов.

— У Лели люки, — грустно включился Люля.

— Ты Аркашу-мелифлютику не бойся. Он не тронет. Он дурак.

— Сумасшедший? — уточнила Геля

— Не, — авторитетно отрицал Валерка. — Малахольный. А раньше инженером работал.

— А где он живет? — спросила Геля.

— У него дома нету, — сказал Валерка, изо всех сил продолжая нагнетать басовитость. — Он везде живет. Иногда у нас на крыльце ночует.

Вышла Бабуль, очень бледная.

— Пойдем, деточка, — сказала она ровно. — Дед умер.

— У-у-уме-е-ль... — потрясенно повторил Люля.

Ворота, ведущие во Двор, словно самопроизвольно открылись, и в них въехал ГАЗ-51. Слава увидел Бабуль и Гелю и замахал им. Фургон разгружали незнакомые солдаты под руководством военпредов. Вещи свалили в сарай, немного подвинув кучу угля. День рождения пропал.

Похорон Геля не запомнила вообще. Ни действий, ни людей. Только как мама ела с военпредами картошку с селедкой и смеялась внутренним смехом. Только закрытый простыней трельяж — тройное зеркало, которым мама гордилась. Только стол в центре комнаты, на котором стоял гроб. Геля так и не взглянула на деда — не нашла в себе сил. Краем глаза подметила, что он снова обрел форму и перестал быть тенью. Круг, занимаемый похоронным столом, Геля тщательно обходила по периметру целый год, не заступая в центр.

II

Снова была вторая смена и раннее потемнение. Геля от тоски стала писать в тетрадках справа налево, продолжая следующую строку по-нормальному. Учительница Анна Ивановна, пожилого возраста, вызвала маму, и та просто сказала после разговора:

— Ты что, с ума сошла? Как Мелифлютика?

Такая перспектива Гелю ошарашила. Она хотела быть интересной, но не сумасшедшей. Принялась писать, как все. Скучала. Бабуль, между прочим, отдала Аркаше-Мелифлютике дедово пальто, кашне и ботинки.

Самым страшным зверем в новом классе был психопат Семенов, который бил девочек, приговаривая с южными шипящими:

— Как же я вас ненавижаю!

Опробовал эту традицию и на Геле, подстерег в соседнем парке. Геля хлопнула его портфелем по спине и бросила в него ледышкой. Семенов подкошенно свалился под фонарь и затих. Прохожие констатировали:

— Уделала хахаля!

Геля знала, что в таких случаях вызывают «скорую», и побежала к телефону-автомату, которым уже научилась пользоваться. Автомат имелся возле дома на Карлушке, и они с белесым Водищевым, разжившись двушками, набирали произвольные номера и говорили незнакомым людям в трубку глупости, мстя за все козни взрослых. Пока бежала, Семенов исчез с места происшествия. По ноль три ей не поверили, и никто не приехал. Но в школу пришел отец Семенова, и Гелю разбирали на собрании.

— Мальчик нервный! У него хорея! — кричал Семенов-отец.

Анна Ивановна его охлаждала:

— Девочка сложная. У нее обстоятельства.

В классе Гелю зауважали, а Семенов перестал мучительствовать. Но ей было все равно. И города она почти не замечала, хотя мороженое продавалось в киоске прямо у стен школы. В стаканчике по тринадцать копеек, в брикетике, шоколадное, по пятнадцать.

Смерть деда раскрыла в ней много дурного. Внешне Геля странно подзамерла, затаилась, но изнутри ее разрывало нечто неумное. Бабуль никогда не произносила «кошелек», и Геля с наслаждением украла из ее потертого портмоне (только так!) мелочь, благодаря чему с малорослыми братьями сходила на фильм «Малыш». В Геле закрепились мужские вариации прозвищ — Лель и Люль. Все говорили, что Чарли Чаплин — это очень смешно, но смеялся только Люль, вследствие чего обдурялся и обратно путь проделывал в мокрых штанах, нимало, впрочем, этим не смущаясь. В другой раз, когда разжиженное после оттепели месиво таяло и чавкало в башмаках, внушая надежды на респираторное заболевание и домашнюю отсидку, перед не спешащей к учебному просвещению Гелей брела медленная от старости старушка. Ее кирзовая сумка распоролась по шву на стыке с дном, и оттуда на свежий недолгий снег капали монеты — серебрушки с белыми проблесками и тусклые медяки. Геля подбирала их сначала без всякой мысли, особенно задней, и прятала в варежку. Накапало уже около рубля.

Это было богатство неслыханное — кормили в школе бесплатно, а сдача из толмачевской булочной составляла копейки, которые Бабуль позволяла не отдавать. Этих денег едва хватало на мороженое, которое особенно вкусным было в тридцатиградусный мороз, когда уроки аннулировались. От прочного, как кирпич, брикета весело и коротко взламывало зубы и лоб и гарантированно начиналась двухнедельная ангина. Каждое утро Геля начинала с замороженного прослушивания прогноза

погоды по местному радио и беззвучно молила диктора понизить температуру до нужной для отмены занятий. Но диктор был непоколебимо честен.

Геля пронзительно понимала, что старушку надо догнать и деньги ей вернуть. Именно эта очевидность делала поступок запоминающимся. Геля резко повернулась, прошла полквартиры назад и свернула на Комсомольскую. Там, на пересечении с Советской, находился книжный магазин, куда она заходила почти каждый день по пути в школу или из школы и обозревала полки. Книг ей теперь не покупали, и она довольствовалась сарайными, взрослыми.

Чувствуя себя преступной, но абсолютно бесчувственной, Геля зашла в книжный и небрежно махнула пальцем на лежавшее ближе других, манящее, явно детское, с красивым рисованным фонтаном на обложке издание. Стоила книга целое состояние — двадцать две копейки, но цена Гелю не остановила. Продавщица безразлично продала товар, хотя Геля была уверена, что она поинтересуется, откуда такие деньги у неработающей девочки. Книга, которую Геля прочла за оставшуюся дорогу, оказалась про Ленина. Судя по всему, других в магазине и не водилось. Фонтан помещался в городе Женеве, где жил мальчик в матроске и пускал кораблики в том самом фонтане. Его отец, революционер, встречался у фонтана с Лениным, которого почему-то никто не узнавал. Это обстоятельство уже удивляло Гелю в некоторых кинокартинах. Ленин сказал мальчику заветное слово, и тот стал комиссаром. Все это было мало занимательно, и Геля оставила книгу в парте, надеясь, что ее кто-нибудь подберет.

Но в первую смену в их классе учились десятиклассники, которых такое чтение не прельстило, и на следующий день книга лежала на первоначальном месте. Геля несколько раз перекадывала ее на самые видные участки, но всякий раз находила там, куда положила. И чем дальше книга выказывала норы, тем больше Геля понимала, что прощения ей нет и старушка будет преследовать ее всю жизнь. Стыда при этом никакого не ощущалось, но неопределенная тягота и желание от нее избавиться не проходили. В конце концов книга куда-то задевалась, но старушка продолжала преследовать Гелю. Снилось бредущей по чистому полю, и Геля никак не могла ее догнать — даже приблизиться, чтобы вернуть деньги. Во сне она понимала, что денег давно нет и снова выйдет обман, но старушку напористо наступала, выбиваясь из сил.

Гелю крепко встряхнула встреча с Мужиком. Одноклассница Таня Рындина жила тоже на Карлушке, но далеко от Гели: улица была длинная, пересекавшая весь город. Геля до школы ходила по Советской, а обратно — с Таней по Карлушке. Расстояние примерно одинаковое, но Таня полдороги все же составляла компанию. День прибавлялся, толчками и неохотно. Весна не шла, и, по сути, мало что изменилось со времени побивания портфелем нервнобольного Семенова, только стало грязнее. Бабуль разуверила Гелю, что хорей — вариант холеры.

— Пляска святого Витта, — Бабуль знала дореволюционные наименования заболеваний. У нее была старинная книга, но Геля ее не рассматривала из-за картинок с прокаженными, в связи с которыми, укладываясь спать, боялась поворачиваться к стенке. Теперь Бабуль спала вместе с Гелей на тахте, а книга вместе с другими валялась в сарае, и бояться было нечего, но память подпитывала старый страх, а история с обкраденной старушкой вконец расшатала нервы. Мужик вывернул на них на площади Ленина, практически у поворота на Карлушку. Он был в белых бурках, как и, судя по фотографии, дед носил «довойны». Таня жила на углу, и до дома ей оставались считанные шаги.

— Слышь, девчонки, — приветливо, но приглушенно сказал Мужик. — Вот пятьдесят рублей. Это по-старому пятьсот. Раз задую — и все.

Опытная Таня рванула с места и через полминуты скрылась в своей подворотне. А Геля знала про денежную реформу, которую носили еще в Туторовском дед и Бабуль, но ей ничего не было известно про то, что именно Мужик собирается задуть. Смысл предполагаемого действия, оцененного в такие шальные деньги, доходил до нее медленно, как весна до города, где она теперь жила, и дошел окончательно только тогда, когда Мужик нашарил ее руку, свободную от портфеля, и приложил к нижней пуговице своего пальто, очень похожего на дедово. Под пуговицей что-то двигалось и росло так бурно, что ширина пальто не могла этого скрыть. Геля руку вырвала, но ее и саму вырвало на Мужика и частично на себя. Мужик замешкался, вытираясь, и Геле этого хватило, чтобы перебежать на другую сторону — к автобусной остановке. Она никогда не пользовалась транспортом, но на остановке были люди — много людей. Геля кое-как оттерлась снегом, ее внесло в подошедший автобус, и она судорожно оглядывалась — не успел ли сесть обрыганный ею Мужик.

Геля боялась зайти в ворота — вдруг он уже поджидал ее в потемках с пятидесятирублевой бумажкой, но, на счастье, наружу вывалились пьяные Водищевы, чья дверь выходила на улицу, и с неразборчивой песней двинулись во Двор. Геля обрадовалась им и проскользнула на крыльцо, обмирая от препятствия в виде трех дверей, лишь последняя из которых вела домой.

— Господи! — сказала Геля на манер Бабуль. — Помоги! — и, закрыв глаза, вырвала дверь из коробки. Дальше, до кухни, движение пошло легче.

В кухне оказался Костя, который почти туда не выходил, готовя еду на плитке в комнате.

— У меня пецилия родила, — сильнее от счастья дрожащим голосом сказал он. — Хочешь посмотреть?

Геле было неловко обижать Костю, но ей немедленно пришло в голову, что у него тоже может вырасти, зашевелиться и оттопыриться, и, помотав головой, она ринулась в свое жилище. Ее корежило, как при начале болезни. В Костиных рыбах она уже разбиралась достаточно, и пецилия действительно была прекрасна, горда и всегда взволнованна.

— Померяй температуру, — сказала Бабуль, считавшая градусник лучшим лекарством.

Температура была выше, чем можно мечтать, а это значило, что в ближайшие минимум три дня выход на улицу будет закрыт теми же тремя дверями.

Из страха столкнуться с Мужиком Геля не зафиксировала и первой городской весны. Когда в школу уже ходили без пальто, но еще не принимали в пионеры, а страх не до конца обмелел, мама уехала по турпутевке в Польшу. Турпутевку ей помогли добыть вездесущие военпреды. В пионеры приняли автоматически. Геля на другой же день забыла надеть галстук. Анна Ивановна неожиданно не поддержала созыв по такому поводу совета отряда, председателем которого назначили дочь большого начальника Галку, вопреки птичьему имени напоминающую скорее молочного поросенка.

— Пионеры-герои умирали, но не снимали галстук, — гнусаво, точно Гуня, сказала Галка.

«А если бы сняли, остались живы?» — хотелось осведомиться, но предпочтительнее было промолчать.

Иногда в ней срабатывал инстинкт самосохранения. О нем она узнала от Кости. Про смерть, как теперь представлялось Геле, она знала поболее отличницы Галки, которую привозили в школу на черной «Волге».

Из содержимого чемоданов, по возвращении из Польши вывернувших нутро по всему дому, Гелю заинтересовал предмет самый мелкий, но не имеющий цены —

шариковый карандаш. Тонкий, как игрушечная сабелька сиротки Козетты, болотного немаркого цвета, с золотым ободком округ разъема, с синей мазучей пастой внутри стержня, похожего на молодой картофельный росток. Понимая подспудно всю бездну риска, Геля не удержалась и принесла драгоценность в школу.

Наслаждение длилось в течение одного урока. На первой же перемене, вырывая двойной цилиндрок друг у друга, беспрерывно и беспардонно его развинчивая и свинчивая, одноклассники принялись испещрять все вокруг иероглифами и зигзагами. Классный шут Сережа Туренко, задрав форменный, только что введенный в школах темно-синий пиджак, густо татуировал драгоценной пастой свой тощий живот, выкрикивая в экстазе шаманские заклинания. Геля, уже фактически смирившись, ждала спасительного звонка и появления Анны Ивановны. Но одновременно с ее появлением волшебная капсула была повержена под многочисленные парные ноги и с хрустом расчленена на невосстановимые фрагменты. На парту Геле был свергнут пустой стержень с засунутой в него спичкой и следами зубов: кто-то обкусал пластиковую трубочку сверху донизу.

Геля почувствовала, что стержень, заполненный живоносным составом, вынут из нее самой. Безмолвно собрав растерзанный портфель, где, по всей видимости, искали продолжения поживы, Геля прошла мимо ошеломленной Анны Ивановны, никем не остановленная, покинула школу и тихо побрела по улице, не поднимая глаз от трещин на асфальте и стараясь на них не наступать. Из-за несчастного карандашика бадминтон Геля пропустила. Он в ее поле зрения даже не попал. Остался лежать в черном чехле среди подарков из ограниченно дружественной Польши.

Гелю вызвали к директору Колчигину. Голос у него был хриплый, как у Данилы, но костюм пригнан по фигуре.

— Вот дело что! — прохрипел занятой Колчигин. — Ты распорядок не нарушай — пиши пером. Нам капиталистические штуки не нужны. Прочти три раза «Моральный кодекс строителя коммунизма» — он на лестнице висит. Потом перескажешь содержание. Ближе к тексту. Домой не пойдешь, пока не выучишь.

«Моральный кодекс» Геля прочла единожды, ничего не запомнила, но Колчигин о пересказе забыл. Геля подождала возле кабинета, поковыряла стену в марсианских разводах и пошла себе домой.

На следующий день после шариковой трагедии возле школы она увидела отца. После смерти деда Геля ни разу не вспоминала о нем — большая потеря поглотила меньшую. Отец был высок ростом. Геля подняла глаза и увидела, что у него на куртке сломалась молния, и он грубыми мужскими стежками пришил металлические крючки и петли. Ее пронизало чем-то острым, словно рыба кость. Наверное, это и была жалость, которой раньше Геля не испытывала, но повторяла это испытанное слово, как и другие, подражая взрослым. Она не знала, чем помочь отцу. Сама не заметив, вложила руку в его ладонь, и они в молчании двинулись по улице. Отцовская рука подрагивала, и Геля поняла, что он немного выпил. Но она уже знала, что человек такой, какой он пьяный, а отец не шатался и не падал, зато купил ей мороженое. Оно таяло от вспотевшей руки, зажимаемой отцовской, и Геля перемазала школьную форму, без того ежедневно страдавшую от мела и тряпки, которой стирают с доски.

Мама устроила истерику, как выражалась Бабуль, когда кричали и не могли остановиться.

— Он меня мучил, ревновал к каждому столбу! Ты — предательница!

Бабуль тихомолком гладила Гелю по коленке под столом. Это означало, что отвечать не стоит. Но отвечать не стоило никогда, и Геля об этом прекрасно знала. Дальше пошло еще скучнее.

— Неблагодарная! — кричала мама. — Ты почему в бадминтон не играешь? Я его на последние деньги купила! А отец твой любимый алиментов не платит!

Про последние деньги говорилось чуть не каждый день, при этом покупались продукты и наряды для мамы. А что такое «алименты», Геля не знала, но теперь собиралась выяснять.

— Я не умею, — сказала Геля касательно бадминтона.

— А что ты умеешь? Двоечница! — кричала мама. — Будешь все лето математикой заниматься!

«Скоро лето!» — подумала Геля и стала вспоминать Тугоровское, Брянский лес и деда в белой куртке, которую он называл каким-то яблочным словом «тужурка», и легкой шляпе в сеточку.

Когда истерика более-менее улеглась, Геля осторожно взяла чехол с бадминтоном и неслышно вышла во Двор. Она хотела спрятать его понадежнее, но не отыскала хорошего места.

— Чего это у тебя? — шустро подлез Колян Водищев.

— Так, — сказала Геля неопределенно.

В строгой иерархии Двора она уже заняла свое место. Двор говорил на том же языке, что и Тугоровский, сильно переучиваться не пришлось. Процесс возрастал многоступенчато. Учитывались происхождение, родственные связи, степень неподчинения взрослым законам. Необходимым условием приобщения и последующего посвящения было отсутствие жадности. Но всякий, успевший произнести: «Сорок один — ем один», освобождался от повинности, заключающейся в опережающей формуле: «Сорок восемь — половину просим». Варианты считалки про зайчика — любителя прогулок — тоже повторялись. Попав в больницу после роковой встречи с охотником, в одном случае зайчик совершал действия криминального характера («он стащил там рукавицу»), в другом выявлял признаки дистрофии («оказался он, как спица»). В общем, по части фольклора Геля не подкачала.

Делиться едой ей, не знавшей нехватки при дедовской запаसливости, труда не составляло, книги никого особенно не интересовали, но хорошие истории и умение их складно излагать котировались высоко. И хотя Гелю из-за Бабуль и ее всем «вы» ранжировали по ведомству интеллигенции, присутствие во всех проказах и хулиганских выходках допускалось. А это было уже весьма немало!

Геля достойно проявила себя еще зимой, когда с обочинного сугроба, нашвырянного лопатой с жестяной насадкой при чистке асфальта, надо было попасть ледышкой в проходящую машину, и Гелин бросок угодил точно в лобовое стекло «москвича», мгновенно пошедшее трещинами, как замерзшая лужа, по которой ударили пяткой. Фокус состоял в том, чтобы успеть скатиться с сугроба и перекатиться под ворота. А там уж ищи-свищи и попробуй доказать. Водитель вбежал во Двор, когда группа вандалов мирно сидела на Гелином крыльце и голосами подпольщиков пела «Взвейтесь кострами».

— Убью, гад буду! — сказал водитель, оценив обстановку, уразумел, что докапываться бесполезно, и сплюнул.

Слава говорил, что у «победы» позднее зажигание, и Геля раскусила эту метафору ночью, когда на нее накатили раскаяние и страх.

— Не вертись, деточка, — сонно сказала Бабуль.

Но Двор безоговорочно признал Гелины заслуги, и она шагнула на следующую ступень архаровской табели о рангах.

Каждое лето отличалось каким-либо маниакальным пристрастием, обычно сопряженным с разной степенью самоубийственности. Одно лето было пистонным.

Пачки бумажных пистонов, кружочком с коричневой родинкой под пергаментом в середине напоминающих конфетти, закупались в течение учебного года и береглись от сырости. Стреляние из игрушечного пистолета, приспособленного под это изобретение, считалось неоправданно трудоемким. Пistoны ценились за самодостаточность. Набрав обломков кирпича, пistoны раскладывали по бордюрам и шарахали по ним, стараясь попасть в центр. Очень эффективно было садануть по кружочку молотком. Особо меткие коротко придавливали пистон ребром монетки, особо мужественные — ногтем, а особо безнадзорные бегали на вокзал и раскладывали пistoны по рельсам. Запахом бертолетовой соли были пропитаны одежда и волосы, а синеватый дым не успевал рассеиваться до возвращения родителей с работы.

Неустранимая тяга к оружию не зависела от пола и толкала на экзотические, при этом беззатратные изобретения. На карандаш наматывалась половинка новогодней открытки, один конец которой загибался и закреплялся проволокой. С противоположной стороны засыпалась и плотно утрамбовывалась марганцовка, после чего дырка заматывалась проволочными остатками. В небольшое отверстие по центру вставлялась спичка, поджигалась, и сооружение резко отбрасывалось подальше. Взрыв производил впечатление настоящего и сопровождался историями об оторванных пальцах и вытекших глазах.

Другое лето выдавалось карбидным. Карбид добывали на стройках, где газосварщики вытряхивали его из баллонов, нимало не заботясь о последствиях. Вонял он смесью тухлого яйца и съеденной головки чеснока. Но искупалось это погружением подожденного рахат-лукумного, словно бы обсыпанного сахарной пудрой, кусочка в лужу с дымным, при этом сухим шипением и возможностью там, в луже, держать эту ценность в руке без страха обжечься ацетиленовым выделением. Стройки, свалки и гаражи вообще служили поставщиками счастья.

Третье лето выступало аккумуляторным. Из добытых пластин на костре выплавлялся в консервной банке сверкающий свинец, залив который в любую форму можно было получить на выходе все, на что хватало фантазии и мастерства, — от брелока для ключей до кособокого солдатика с воздетым мечом. Очередное летнее времяпрепровождение украшали обломки шифера, брошенные в костер и разлетающиеся из пламени заточенными уголками на смертельно опасные дистанции. Все это могло уложиться и в одно лето, но тогда бы наступила вечность. Вечность разверзалась в прогале так называемого свободного времени, обреченная на поражение борьба с которым изнуряла и повергала в прострацию. Карбид и аккумуляторные пластины создавали спасительную занятость.

Геле, насмотревшейся пиротехнических подвигов, скрученных летающих болтов и рогаток, прижигающих ляжки алюминиевыми подковками, и не представлялось, насколько ее положение возвысит обладание двумя тоненькими деревянными ракетками с узелками натяжки струн по ободу и перьевым рожком волана. Иная игра учит правилам сама, без подсказок извне, но отец, с которым они продолжали тайные встречи после школы, поведал ей, что в некое подобие бадминтона играли в Древней Греции, Индии и Японии и что именно японцы придумали ракетки. С отцом Геля впервые и попробовала перебрасываться воланом, для чего они удалились в парк на берегу реки, противоположном от дома, где протекали редкие и необратимо давние Гелины побывки. Отец теперь тоже обитал не здесь, но Гелю это уже не огорчало. Она усвоила, что перемены — дело обычное, из них состоит примерно половина жизни.

После арифметики главным мучением Гели была физкультура. Любые спортивные мероприятия вызывали у нее отвращение — не из-за неодолимости, хотя она так и не сподобилась взобраться по канату или перепрыгнуть «коня», а из-за

горького стеснения при переодевании на глазах у всех, необходимости приносить специальную одежду и обувь и бодрых покрикиваний и прикосновений плечистого преподавателя. Однажды он подхватил Гелю под мышки, помогая хоть на секунду удержаться на этом чертовом бессмысленном канате, и Геля вырвалась и убежала из спортзала. Не то чтобы она была категорически неспортивной — лыжи и велосипед освоила быстро и достаточно (и то, и другое Бабуль, по счастью, не оставила в Тугоровском). Ее убивала публичность действий, которые казались интимными, и невнятность цели. Город по полной стоимости требовал расплаты за кончившуюся свободу, и Геля сопротивлялась, как умела — не повинуюсь.

Занятия в теплую погоду проходили во дворе, урок был сдвоенный, и переполненный мочевой пузырь потребовал облегчения. Геля заперлась на массивный крюк в уличном двухдверном сортире. Но чуть присела, как в безукоризненно круглую, какие остаются от сучков, но слишком для сучка большую дыру в стенке, разделяющей отсеки, показался мужской телесный шланг с малюсеньким отверстием. Шланг закачался, то сокращаясь, то высовываясь на всю длину, а может, и не на всю, на уровне ее глаз, наливаясь силой и кровью. Едва преодолев искушение ударить по кишке ногой, Геля выскочила во двор, и сколько ни смотрела в сторону беленой дверцы, оттуда так никто до звонка и не вышел. По-видимому, маньяк караулил следующую жертву.

Хуже физкультуры был, пожалуй, медосмотр. Главным Гелиным желанием стало приобретение недуга, освобождающего от уроков физкультуры, желательно навсегда. О том, что недуг чреват множественными медосмотрами, она не думала, к тому же была основательно здорова.

Отец отошел от нее на приличное расстояние и сказал:

— Старайся отбить волан.

Сам встал боком и, подбросив конус в перышках левой, вытянутой правой с ракеткой послал его в сторону Гели. Она отбила. Отец подхватил передачу, и началась переброска, пока чудо с пробковой шишечкой на конце не упало — кстати, по отцовской оплошности.

Геля почувствовала, что настает ее настоящий звездный час, несравнимый с подлой забавой разбивания лобовых стекол.

— Мо-ло-дец! — сказал отец, немного запыхавшийся, по слогам. — У тебя реакция прекрасная.

Ему скоро надоело перебрасываться, и он стал рассказывать о том, что вообще-то в бадминтон играют с сеткой, как в теннис, и в этом деле есть свои мастера и чемпионы. Но сетка Гелю не интересовала. Ей нравилось, что волан улетает в открытое небо и игра это — небесная. И звук, излучаемый воланом при ударе о струны ракетки, один в один похож на название самой игры:

— Ббадд (подача) — минн (отбой) — тонн (прием)!

На обратном пути Геля вдруг призналась отцу, как писала в тетради зеркально и что из этого вышло.

— Это же бустрофедон, — сказал отец незнакомое быстрое слово, похожее на этикетку Бабулиного лекарства. Он не стал ждать встречного вопроса. — Так писали древние греки — одну строку справа налево, другую — слева направо, как мы. По очереди.

— Зачем? — вклинилась Геля.

— Чтобы не отрывать руки, перемещаясь на новую строчку.

— А откуда греки знали, когда в какую сторону читать? — осенило Гелю.

— Хороший вопрос, — одобрил отец. — Они писали зеркально. Прямо как ты. Только ты сама догадалась. И наш алфавит не симметричный, как греческий. Там шестнадцать читаются букв отраженно, — продолжал он, видимо увлекаясь. — И их подарил грекам финикиец Кадм.

— А остальные? — сообщила Геля, упустив спросить про Кадма.

— А остальные где-то добрали. Они и подсказывают, откуда читать. Впрочем, это не всегда важно.

— Как это?

Отец пожал плечами. Неответ взрослых, как усвоила Геля, означал обычно «подрастешь — поймешь». Это ее не устраивало.

— Грекам лень было нормально писать?

— Пожалуй, что и лень. Но не только. Они надписи высекали на каменных поверхностях.

— И что?

— А то, что резец каменотес держит в левой руке, а молоток в правой. Работа это тяжелая. Если выбивать справа налево, лучше видно всю строку. А потом правая рука развилась, и материал для письма изменился. Надобность в бустрофедоне отпала.

— Жалко! — искренне сказала Геля.

— Ну, почему? Весь прогресс построен на облегчении жизни, — сказал отец. — Тогда землю пахали на быках, потому «бустрофедон» и переводится как «поворот быка».

Геле жарко захотелось выучить греческий алфавит, но дедовы книги по-прежнему кисли в сарае. Геля сняла с гвоздика ключ. По дороге за ней увязались неразлучные Лель и Люль. Вместе они тяжело расковыривали забитые ящики, для чего пришлось одолжить у Усача ломик — разумеется, без спроса, дождавшись, пока он в своем сарае, наполненном инструментами, отвернется. Фанерная крышка подалась. Сверху лежали отсыревшие сказки Пушкина. Геля, балансируя на куче оставшегося с зимы угля, открыла книгу. Из нее выпал портрет принца Сианука, пострадавший значительно меньше сохранявшей его книги. Тома, лежавшие глубже, тоже покоробились и пахли тиной.

— Ско-о-о-лько! — пропел восхищенный Лель, насколько знала Геля, не большой читатель, но по контрасту со своим ростом поклонник больших величин.

— Клиги! — с уважением сказал Люль.

Остаток дня они вытаскивали содержимое ящиков и раскладывали для просушки на скамейках, которых во Дворе было, как в небольшом летнем театре. Иногда в месте их скопления показывали кино про бактериологическую атаку, повесив экран на большую раму, а в промежутках скамейки использовались по прямому и косвенным назначениям — например, для беготни с перепрыгом. Страницы волнились наподобие шифера. Усач, которому они вернули ломик, как только он еще раз отвернулся, подошел, выбрал воспоминания маршала Буденного.

— Возьму на прочтение? — спросил он почтительно.

Геля охотно кивнула, лишний раз отметив, что Усач ходит на фотографию этого Буденного, как на собственную.

Наконец открыли энциклопедию, ради которой затевался сарайный подвиг. Больше никого книжный ассортимент особо не заинтересовал, и Геля с братьями понемногу перетаскали вынуженное домой. Они с Лелем носили стопками, а Люль — по две книги под мышками. Греческий алфавит выучился быстро. Писание бычьим маршрутом она не возобновила — привыкла уже обходиться данностью.

Скоро во Дворе и окрестностях сросшейся с ракеткой Геле не было равных. Гарик из Сто Пятого лично приходил сразиться с ней. Красавец Агламазовский

опозорился, уронив волан после ее неберущейся подачи, жестко нацеленной в грудь противника. Сама она отбивала любой сложности, успевая на гепардовской скорости и растяжке метнуться в обе стороны или отбежать назад. Рубились до полной темноты. В глазах перед сном плавало жидкое стекло, и шея болела, как у висельника. Гелю устраивало, что бадминтон не нарушал двух главных условий — интимности и одиночества. Партнер находился достаточно далеко, чтобы посягать на тебя руками. Правда, с одиночеством вышла незадача. Как только Геля усаживалась читать добытую энциклопедию, в дверь всовывалась мокро-лохматая от беготни голова, и без обиняков и преамбул раздавался сакраментальный вопрос:

— Геля выйдет?

Это значило, что народ ждет явления королевы. Очередь за право стать ее бадминтонным визави росла день ото дня. Впереди было целое лето!

А когда оно неминуемо кончилось, Геля написала свое полное имя на тетрадке по русскому греческими буквами. Снова разразился скандал, и Колчигин сказал:

— Вот дело что! Исключить я тебя не имею права, но на второй год оставлю, если будешь выкрутасничать.

Геля насторожилась, но пришла к заключению, что учебный год только начался, и, пока подойдет срок исполнения угрозы, много всего произойдет, и Колчигин обещание забудет. Выкрутасничала Геля до следующего лета не больше и не меньше, чем обычно.

В центр она отправилась впервые после смерти мужа. Соседний магазин не в счет — он входил в границы освоенной территории. Магазин именовался по инвентарному номеру — семнадцатый. Кто-нибудь вбегал во Двор и истошно кричал:

— В семнадцатый колбасу привезли!

Все бросали стирку или карты, в которые резались под окнами Гуни, и бежали на угол Карлушки — бывшей Долгой, самой длинной и вечно грязной из-за оживленного движения, и бывшей Семинарской. Колбасу вывозили в торговый зал в огромном (Двор говорил: «огромном») контейнере килограммов на четыреста. Искусство состояло в выхватывании батонов из-под носа грузчика и пробегом к кассе, очередь в которую занимала самая расторопная из старух на всех. Колбасу различали «по вязочке». У «Докторской» были две перевязки наверху батона. У «Любительской» в искусственной оболочке имелся поясок. У «Чайной» — две перевязки посередине. Конечно, на разрез имелись различия по цвету и по жирности, но колбасу брали исключительно батонами и палками и резали только дома. Иногда грузчик Петр успевал объявить:

— Сегодня вся — «Докторская».

Тогда очередь раздражалась недовольством.

— Вязочки развязали заранее! Цена-то разная.

— Жулики! Хапуги ненаедные!

— Мало их сажают! Расстреливать надо.

Работников торговли дружно презирали, звали не иначе как «торгаши» и радовались каждому сообщению о постигшем их возмездии. Разница в цене составляла пятнадцать-двадцать копеек, а на вкус вареная колбаса была абсолютно одинаковая, а полукопченая случалась так редко, что вкус ее успевал испариться.

Из-за коллективистского и укрепленного полувековым дефицитом обычая соседки практически не расставались. Хлебный — бывшая булочная Толмачева — находился за границей ойкумены, и туда бегала Геля. Прошлой зимой, когда хлеб исчез из свободной продажи якобы из-за неурожая, внучке приходилось выстаивать

по несколько часов, а то и в два захода, чтобы обеспечить их маленькую семью хотя бы на несколько дней. Эта странная неприручаемая, не умевшая подчиняться девочка безропотно несла бремя помощи. Носила воду и уголь, причем дворовая колонка часто ломалась, и за водой, тоже по несколько раз, приходилось идти на угол бывшей Покровской — с бело-голубым кафедральным собором ближе к набережной и готическим костелом ближе к Долгой — и возвращаться с передышками: ведро было слишком велико и тяжело для ее лет.

Хрущевское бесклетье осталось в памяти детскими слезами. Номер очереди писали химическим карандашом на ладони. Дети, умаявшись выстаивать, отпросились поиграть в снежки, благо соседи и тут присутствовали в почти полном составе. Варезки намочили, руки вспотели — и номер стерся. Злая посторонняя тетка, за которой пристроилась Геля, ее не идентифицировала. Ритуал очередности со всеми паролями и отзывами надлежало исполнять без выпусков и извлечений. Подойдя, внушительно осведомиться: «Кто последний?» Иногда в качестве проверки на лояльность очередь меняла пароли. Тогда на устоявшийся вопрос следовал провокационный ответ: «Последняя у попа жена». Надо было срочно переспросить: «Кто крайний?» Если в очереди находились мужчины, что бывало нечасто, можно было схлопотать сардоническое: «Крайние в футболе» или «Крайние мужик с бабой в постели, а тут каждый за себя». Предвосхитить все варианты было невозможно, однако традиции, как правило, не нарушались.

Если возникала необходимость отойти, правила хорошего тона требовали объяснения и обставления отлучки по всей форме: «Скажите, что я за вами». Не дождав-шись благосклонного кивка, надеяться по возвращении было не на что. Но, получив такой жест согласия, по возвращении надлежало сказать пароль: «Я за вами занимала», чтобы в идеале получить отзыв: «Да, лично за мной». Без этого «лично» очередник считался самозванцем и выдворялся без снисхождений. Система унижений, давно ставшая для взрослых синонимом обмирщенного смирения, ребенку давалась нелегко, к тому же он мог попросту перепутать фазы ритуала. Геле пришлось снова отползти в хвост, промерзнуть, пока очередь не втащила ее в надышанное помещение магазина, и свалиться с ангиной, чему, впрочем, странная девочка искренне радовалась. Хорошо еще, что военпреды часто ездили в командировки и привозили из Москвы продукты, в том числе и вкусные хлебобулочные изделия: в провинции в ту зиму в хлеб подмешивали горох и кукурузу, которой явно обреченный на заклятие правитель пытался заменить все сельское хозяйство. Словно на-зло ему, некрасивому, нелюбимому — либо из абсурдного упрямства — кукурузу сеяли на Таймыре и Земле Франца-Иосифа и картинно удручались низкой урожайностью. По дворам развозили пайки на каждую семью: крупы, сахар, иногда даже масло. Это выручало, но чрезвычайно напоминало войну.

Собравшись наконец покинуть пределы Двора, она хотела в качестве предлога проводить Гелю до школы, но та наотрез отказалась. По природе своевольная, по мере приближения к пубертатному возрасту, девочка все неохотнее допускала вмешательство в свою жизнь. Она вовсе не намеревалась оскорбить взрослеющую девочку проводами, возвращающими ее в отжитое детство. Просто Гелина школа, бывшее Серафимовское духовное училище, располагалась вплотную со зданием Института, где прошло ее отрочество, наступила и мгновенно кончилась юность, — на пересечении бывших Дворянской и Большой.

Окна в Институте были навеки полузабелены. Но, забравшись на табуретку и поставив на «шухере» ответственную девочку, изредка счастливилось увидеть, как группки «серафимов» в фуражках с кокардами и шинелях с заложными под ремень книгами, что строго запрещалось правилами, с некоторой развалкой, зная,

что за ними наблюдают, вальяжно шествуют мимо Института. Пройдя, по их оптическому мнению, поле видимости, они припускали на рысях вперегонки, сбивая друг с друга фуражки и хлопая книгами по стриженным головам. Это наблюдателям можно было видеть хоть искоса, но еще явственно. Любимое словцо институток «обожаю» — с удвоенным «ж» — к «серафимам» не применялось. Над ними полагалось трунить и потешаться. «Обожаю» относилось лишь к нестарым преподавателям и самым хорошеньким пепиньеркам — воспитанницам педагогических классов, обрекшим себя на служение народу в земских школах по медвежьим углам.

Александринский Институт благородных девиц, как и все подобные заведения, был закрытым. Воспитанниц не выпускали никуда и никогда, и еженедельные свидания с родными происходили в присутствии классных дам. Лишь однажды, в декабре 1914-го, им велели одеться потеплее и вывели строем на улицу в честь приезда в город государя. Из высокого начальства один городской голова Потапов самолично периодически посещал Институт, и его стрелчатые усы неизменно вызывали тайные пересмеивания. В соседнем училище открыли госпиталь, но куда-то переселенных «серафимов» привели к родным стенам, и тогда институтки в первый и последний раз стояли с ними бок о бок. Государь награждал раненых, а потом вышел на крыльцо в накинута шинели и поприветствовал горожан. Потаповские усы торчали за августейшей спиной. Николай был невысок, но пропорционально сложен и мягко красив. Тогда, после первых поражений, уже повсеместно царили антигерманские настроения, и учитель математики, фамилию которого она напрочь забыла, поскольку математику ненавидела так же, как теперь Геля, вслух подсчитывал процент немецкой крови у всего Двора, а однажды сказал напрямую, почему-то со словоерсом: «От немцев не стало житья-с» — и испуганно метнул взгляд через плечо: начальницей института была остзейская немка Хеллерт, и ее, несмотря на величавую строгость, все тоже «обожжали». Немцев в городе было полно, и они никогда не вызывали у горожан никакого отторжения, а многие — так и сдержанное уважение.

Она решила, раз уж внучка отказалась быть ей спутницей, доехать на автобусе до площади Ленина — Пятницкой, заложенной перед первой революцией на месте крепостного рва, и уже оттуда пройти к резиденции первого наместника, которую другой государь, Николай Павлович, своим указом отдал под учебное заведение для дворянских дочерей и сирот. Ей помнилась чудесная, особо почитаемая народом церковь с колокольней во имя первомученика Стефана. Но Стефаниевской ее никто не звал — только Уткинской, по имени купца-благотворителя, лавки которого располагались совсем недалеко — на Гимназической. Особо благоговейные звали храм Богородичным: здесь находился чудотворный образ Заступницы. В начале тридцатых колокольню порушили тракторами, а храм, впрочем, сильно обветшавший, взорвали, объясняя это тем, что он якобы мешает движению. Движение составляли несколько выдержавших налогообложение извозчиков да пара «линкольнов», комично прозванных «всепогодными фаэтонами», для развоза советских руководителей и их жен. Но это она знала по рассказам и аналогиям — они с мужем тогда уже счастливо жили в другом городе той же черноземной благодатной полосы, и там средства передвижения были приблизительно те же и в таком же количестве.

Ее впервые привезли сюда, когда после смерти отца от скоротечной чахотки мать выхлопотала бесплатное содержание: отец носил звание народного учителя, к тому же был потомственным дворянином. Одиннадцать лет — почти предельный возраст для поступления, но после испытаний ее взяли во второй класс. В городе жила замужняя старшая сестра, потому и распределение произошло сюда,

в Александринский институт. Мать объяснила ей, что это заведение второго разряда, и поэтому мечтать о придворной карьере, как свойственно смолянкам, не стоит. Но с первых дней, когда она не просыхая плакала, скучая о родном доме, все вокруг мечтали только о придворных балах, знали поименно всех фрейлин и о каждой сплетничали в дортуаре — общей спальне на тридцать воспитанниц. Слезы в институте не поощрялись наставниками и вызывали насмешки однокашниц. Она долго не могла научиться спать в таком многолюдье, измучилась, похудела. Муж сестры, офицер-интендант местного гарнизона, носивший, как и городской голова, модные и еще не порицаемые молвой кайзерские усы и прическу бобриком, при полном параде явился к начальнице с прошением отпустить юную золовку на Рождество в их съемное, но уютное жилище неподалеку, на Дубовой. С тех пор как в Институте появились приходящие — своекоштные — воспитанницы, порядки несколько либерализовались, и начальница скрепя сердце разрешила новенькой в виде исключения провести два дня в семье, взяв с офицера все положенные клятвы и заверения.

Тогда-то, на рождественских гуляньях, она и увидела город впервые — ярко морозным, с выскобленными тротуарами, будто напрочь очищенным памятью от снежного покрова. Зато она в деталях помнила все посещенные маленькие царства потребления, словно бы не обращавшие никакого внимания на далекую войну. Улицу Гимназическую с пекарней братьев Толмачевых, где продавались, к ее изумлению, сахарные, обваленные в какао «папиросы» и «спички». Улицу Базарную с колбасной Польшана, где за прилавком стояли румяные барышни в немецких капорах и передниках с рюшами. Универсальный магазин Рорбаха, по словам зятя, не уступавший ассортиментом Мюру и Мерилизу, где ее потрясла стиральная машина марки «Континенталь», а зять не мог оторваться от револьвера «байярд». Да и от самого дома армянина Шоршорова, почетного гражданина, в котором располагался местный Мерилиз, нельзя было оторвать глаз. Говорят, во втором этаже, в гостинице «Европейская», все было оборудовано по последнему слову техники: с водопроводом, канализацией, телефонами.

Эти блага прогресса она вкусила уже перед следующей войной, но очарования первой прогулки они были напрочь лишены — слишком изменился общий тонус. Прослушивание граммофона в музыкальном магазине «Пишущий амур» и посещение синематографа «Модерн» рядом с домом, где жила сестра, довершило набор впечатлений из разряда неизгладимых, после которых душу не обезображивают рваные шрамы потерь, но украшают нежные следы естественным образом прошедшей жизни. Так руку после ласки крупной собаки не уродуют следы укусов — лишь легкая и скоропреходящая гиперемия. На прощание они снялись втроем в модной фотографии Енкина.

Она провела детство в городе, куда более славном, чем этот, но негромкое провинциальное обаяние, изобильность и соразмерная компактность покорили ее навсегда. После достопамятной прогулки институтскую изоляцию она переносила уже не так тяжело, а весной, когда стало можно подолгу прохаживаться под руку с однокурсницами по саду, простирающемуся до реки, с закрытыми для посторонних купальнями, или по деревянным тротуарам внутреннего двора, у нее и вовсе отлегло с души. Училась она хорошо, хотя на золотой с бриллиантами шифр на ленте — наградной вензель императрицы, чье имя носил Институт, она не тянула. Геле, ее дорогой незабвенной Гелечке, напротив, пророчили не только шифр, но и золотую медаль, но Геля на это только смеялась, приговаривая: «Будет что предъявить в первую брачную ночь!»

Занятые в течение целого дня воспитанницы могли пошутиться только в дортуаре и на прогулках, и очень скоро они с Гелей искали для этого малейшую возмож-

ность, даже — чего уж греха таить — переглядывались со значением и во время общей молитвы в домовой церкви во имя мученицы царицы Александры Римской. Ухитрялись и во время музыкальных занятий в сельюльках — маленьких комнатушках наверху — обмениваться знаками, которые понимали они одни. В сельюльках, рассчитанные едва на одну ученицу и преподавателя, под неизменным предлогом: «Хотим послушать, как вы чудесно играете», которые неизменно же до покраснения баварского носа льстили самолюбию смешного и трогательного Граверта, набивался весь класс, так что делалось нечем дышать. Они с Гелей поклялись, конечно же, в вечной дружбе, которую не разрушит никакое замужество и материнство. А именно на эту стезю бестрепетно направляли их наставницы, почему шутка Гели насчет первой брачной ночи не была пустой.

Однажды ночью она проснулась оттого, что соседняя, Гелина, кровать тряслась и клацала панцирной сеткой. Спальные места отделяли друг от друга тумбочки, на которые разрешалось ставить воду и класть Евангелие. Достаточно было свеситься с одной кровати, чтобы беспрепятственно дотянуться до другой, но это строго воспрещалось. Ночная воспитательница спала за легкой занавеской в общем дортуаре и вскакивала на любой шорох, боясь потерять место. Ради бесшумности она спустила ноги на пол и на корточках присела у Гели в головах, думая, что ее во сне мучает кошмар. Легко тронула завернутую в кокон одеяла фигурку:

— Гелечка, что ты?

Геля повернулась к ней, выпрастывая из кокона лицо, мокро блестящее в темноте, и страстно зашептала:

— Мы преступницы! Нет нам прощения!

— Милая, да что случилось?

— Народ... — Геля захлебнулась рыданием. — Народ страдает! Я в отчаянии!

Она обняла дрожащий сверток со спрятанной в нем подругой, сидя в самой неудобной для объятий позе, с уже затекшими икроножными мышцами и застывшими ступнями, и горько заплакала из солидарности со страдающим народом и печалующейся о нем подругой. Заснули они только под утро, вышептав весь пропагандистский арсенал проклятий сатрапам.

Дойдя до здания, где теперь разместился тоже институт, но со строчной буквы, который окончила ее дочь, она дополнительно вспомнила многие детали. Скелет собаки и летучей мыши в кабинете биологии. Чучело колибри с потускневшим оперением. Прибор для свечения электричества в закрытом сосуде. И, конечно, волшебный фонарь с картинками, которые демонстрировал им, часто облизывая губы, коллежский советник Вернандер. Вспомнила идеально отмытую фаянсовую посуду в столовой. Ей не хотелось заходить внутрь, но интересно было по расположению окон угадывать, где помещался танцкласс, где библиотека. Им позволялось строго по списку читать «Домашний быт русских цариц» Забелина, а также историю Карамзина и Полевого. А они хотели глотать выпуски «Пещеры Лейхтвейса», Ната Пинкертона и другие дешевые книжки издательства «Развлечение», а не лакированную разрешенную Чарскую и писать друг другу забавные посвящения в альбомы. Далекое от нормальной жизни и ее повседневных противоречий, институтки совершенно не понимали, о чем идет речь в комедии Гоголя «Ревизор» и где обитают подобные уроды. Их окружали красивые благородные люди, цельные и самоотверженные. Они жили в раю, но рай — место посмертия, и расплата за перенесение обители блаженных в неположенное место была страшна.

Нашла она и окно дортуара, и почему-то именно оно привело ее в такое волнение, что пришлось положить под язык таблетку валидола. Теперь трудно представить, как сочетались в Институте одновременно спартанские и совершенно оранжерейные

условия. С одной стороны, ежедневная часовая гимнастика, вечером массаж, который они делали сами себе по инструкции на бумажке, бесконечные стояния в институтском храме, а то и довольно чувствительные удары линейкой по спине — чуть ссутулишься или примешь фривольную позу за партой. День говорили по-немецки, день по-французски, но при этом безупречную линию держали на горячий русский патриотизм. С другой — полнейшая девственность в вопросах практической жизни, а уж тем более политики. Даже занятия кулинарией носили безнадежно архаический характер, и ни одно из зачетных блюд, особенно после революции и разрухи, они никогда не приготовили и не подали своим чудом уцелевшим избранникам. На уроках словесности из Пушкина заучивали только про дворового мальчика и свободную стихию, а «Евгений Онегин» считался произведением чуть ли не безнравственным, и они с Гелей тайком ночами прочли роман в стихах, принесенный кем-то из своекоштных, и были страшно разочарованы поведением Татьяны, считая ее ханжой. Слава богу, пришло предписание начать обучение воспитанниц стенографии и машинописи. Это многих впоследствии, когда знание иностранных языков было предпочтительнее скрывать, спасло, без преувеличения, от голодной смерти.

Лютеранка Хеллертша, как ее звали за глаза, истово следила за их религиозным воспитанием. Добрых три четверти девочек были, естественно, православного исповедания. Иконы в вестибюле с неизменно навощенным, опасным для хождения паркетом приглашали развешивать монахинь из близлежащего монастыря. Сделать это служителям мужеского пола воспрещалось во избежание соблазна. Хеллертша, следившая в Институте за каждой мелочью, то и дело поправляла монахинь, явно разбиравшихся в иконографическом составе удовлетворительнее, чем она, приговаривая:

— Лучше бедно, чем плохо.

Это была ее любимая поговорка. Старшеклассницы утверждали, что в незапамятные времена в биографии начальницы имел место роман с городской легендой — знаменитым хирургом Икавицем, доктором медицины, много лет возглавлявшим губернскую земскую больницу. Он одним из первых в империи провел кесарево сечение, открыл фельдшерскую и акушерскую школы и больницы для неимущих, которыми тоже заведовал и неусыпно их опекал. Аскет и анахорет, Икавиц не только не приобрел собственного дома, но и квартиры не нанял. Так и жил при больнице, сутками не покидая операционной. Представить, что у этого подвижника, настоящего святого, с кем-то, тем более с пышногрудой и при ближайшем рассмотрении усатой Хеллертшей с пенсне, подпрыгивающим на груди, вздернутой корсетом до шеи, случился роман, не хватало воображения, хотя начальница — единственная кандидатура, которая была бы ему под стать. Она тоже никогда не покидала институтских стен. Открытая веранда ее небольшой квартирки летом была сплошь увита цветами, и весь двор до поздней осени, когда отцветали астры, флоксы и георгины, также утопал в цветах.

Иногда она смотрела на внучку глазами своей классной дамы, Марии Владимировны Маховой. От того, как Геля сидит, ходит, ест и говорит, Махова пришла бы в ужас, а может, даже упала бы в обморок. Но нынешней девочке предстоит жить в нынешнем мире, с которым она пока что и так не очень ладит. Та, другая Геля, услада сердца, а даже и само сердце ее институтских лет, тоже не была идеалом. Любила позлословить, пропускала под предлогом дамского недомогания банные дни и тайком даже от нее жадно поела в постели сладости. Но любовь не ищет идеала — она выстраивает его. Память сохранила лучшую музыкантшу Сою, зубрилу Катю, добрую и наивную, как котенок, у которой беспардонно списывали все нерадивые, независимую полячку Марысю, кокетничавшую даже с проходящим

ксендзом. Но именно Геля осталась в памяти эмблемой юной, не лишенной страстности, но по сути невинной дружбы. И не чья-то, а именно ее судьба, в отличие от других девочек, канувших в прорыв катастрофы, прошла перед глазами и до сих пор отдавалась болью где-то за грудиной.

Изолированный и дистиллированный институтский мир практически не затронула Великая война. Только у одной воспитанницы был тяжело ранен старший брат, подпоручик, и все горячо молились о его здравии, но к раненым, которые страдали по соседству, в Серафимовском училище, и которых они рвались обихаживать, девушек так и не подпустили. В арсенале Марыси было замечательное польское слово, которое они произносили как русское причастие: «выщеканая». Означало оно бойкость, нелазанье за словом в карман, то бишь быстроту ответной реакции, и умение постоять за себя и свое мнение. Самые выщеканые, конечно, кивали на великих княжон, щипавших корпию и посещавших госпитали вместе с августейшей матерью. На это Хеллертша спокойно отвечала: «Что позволено Юпитеру...» — и прерывала фразу Публия Теренция Афры, не доходя до вола, лишь многозначительно поглядывая на крепенькие фигурки подопечных.

Никто из них и отдаленно не подозревал, какие тектонические разломы ждут их самих и близких. Газеты в Институт не приходили, политинформация не проводилась. Только однажды пронырливая Геля добыла где-то листок с удивительной по содержанию публикацией архиепископа Кирилла, которого девочки видели на чтениях в честь столетия Феофана Затворника, тоже когда-то бывшего местным епископом. Владыка Кирилл, красавец, влюбил в себя всех институток, и многошепотное «обожаю» сопровождало его посещение и долго не стихало в спальне.

Заметка была ответом на ура-патриотический выхлоп какого-то болвана. По редкости явления печатного слова в стенах обители блаженных она запомнила высокопреосвященный ответ почти наизусть: «Милостивый государь, господин редактор. В № 194 Вашей газеты помещена заметка под названием „Излишняя скромность“ с требованием более или менее шумных проявлений народного чувства по поводу успехов русского оружия на бранном поле. Автор жалеет об отсутствии флагов на улице и желает трескотни ракет и иллюминаций. С чувством глубокой скорби прочитал я эту заметку и протестую против ее содержания всем своим существом.

Слишком серьезное время переживаем мы, чтобы можно было думать о рукоплесканиях и потехах. Глубоко верим, что Правосудный Господь пошлет и воинству нашему, и Родине всю полноту радости окончательной победы над гордым врагом; но об этой радости надо неустанно молиться, необходимо готовиться к ней как к великой Святыне, во всей сосредоточенности народного духа; должно заслужить эту радость подвигом общего труда и жертв, а не бесчинными кличами и расслабляющими зрелищами. Придет время — мы будем засыпать цветами обратный путь с поля брани наших доблестных воинов, мы не только флагами уберем свои дома, но готовы будем одежды свои подостлать под ноги наших героев; но теперь, теперь пока время думать о скорейшей замене продырявленной пулями рубашки, о корпии и марле для перевязки ран, о мягкой подушке под израненную голову. Прошу Вас, милостивый государь, письмо это как противоядие легкомысленной заметке, давшей повод к его написанию, поместить в ближайшем номере».

Но, как бы то ни было, война продолжалась — под нечеловечески популярную мелодию «Прощания славянки», сочиненную местным штаб-трубачом. Иной раз после свиданий с родней в дортуаре шептались о приближающейся революции, но очередное утро снова начиналось с молитвы, гимнастики, потом шли своим чередом занятия танцами и ординарные уроки. Какая революция?! Это казалось эпизодом французской истории, не более того. Самым ужасным несчастьем представ-

лялся порванный чулок или растрепавшаяся коса. И сам владыка не мог представить, что не будет цветов, что флаги сменяются, а одежды изнасятся до ветоши.

В феврале семнадцатого им приказали построиться в вестибюле. Хеллертша, в прекрасно пригнанном платье, с безукоризненной прической, только припудренная чуть гуще обычного и в пенсне, водруженном на нос, обычным прямым голосом объявила:

— В России произошла социальная революция. По этому случаю мы идем на демонстрацию.

Надевая шубки и ботики, все тихонько хихикали над начальнициним произношением, но радовались неожиданной прогулке вне стен Института и воображали, как встретятся с «серафимами» или, чего доброго, с курсантами Пехотной школы и, вполне возможно, успеют обменяться с ними красноречивыми взглядами, а то и записочкой. Самая остроумная из воспитанниц, Соня Чичерина, заметила, что в слове «демонстрация» начальнице слышатся «демоны». Распускать языки никто не боялся — доносительство в Институте категорически не поощрялось. Однажды новенькая девочка наябедничала классной на подобные словесные упражнения. Хеллертша вызвала ее, отрезала: «Доносчику — первый кнут» (она произносила: «доношчику») — и лишила свидания. Ябеде устроили в классе длительный бойкот, и ей пришлось перевестись в другой Институт.

Из всей «демонстрации» запомнился заунывный предвесенний ветер, слезящиеся глаза, не слыханное в здешних лесостепных местах множество матросов и красный бант на по-прежнему высокой против законов анатомии груди начальницы, тоже порождавшей немало острот. Уже через год матросы перестанут удивлять, и единственной задачей станет избежать с ними встречи — особенно в наступившей внезапно кромешной темноте, никогда не рассеивавшейся, словно городская электрификация не была делом усердия стрелоусого Потапова, а таинственно зависела от самовольной сухопутности вчерашних покорителей морских стихий.

В течение еще целого года жизнь шла почти обычным манером. Только стали чуть хуже кормить, и от обилия в рационе пшена некоторые растолстели и принялись налегать на гимнастику пуще прежнего. Через много лет, хлебнув лиха в свою меру, она поняла, чего стоил Хеллерт этот бант на вздернутой груди и вся митинговая затея. Начальница хотела только спасти своих девочек и сохранить в неприкосновенности их стерильное существование. Единственный раз институтки видели ее слезы — в день отречения государя. Красные заняли город в марте восемнадцатого. Через неделю, оставляя на паркете борозды, будто плуг прошелся, а не человеческие сапоги, в Институт ввалились люди в кожанках, матросы и китайские наемники из заградотрядов и приказали воспитанницам и наставникам убираться на все четыре стороны.

К сестре переселилась мать. Их родовой город был сначала занят немцами, а теперь, после подписания Брестского мира, и вовсе отходил другой стране. Муж сестры, после долгих препирательств с командованием наконец выпросившийся на фронт, пропал без вести. Но сестра не унывала. Сначала по неведомой протекции сама устроилась в отдел продовольственного снабжения, а потом устроила туда и их с Гелей: красным требовались стенографистки и машинистки. Геля, кроме подслеповатой тетки, родственников не имела и о своих родителях никогда не говорила. Благодаря сестре, которой оказывал явные знаки внимания кривоногий начпрод, все как-то прокормились тот страшный год, когда кровавыми клочьями отлетали по одному признаки прошлого. Добрались ли другие девочки до своих имений и что их там ожидало, можно было лишь гадать, но догадываться не хотелось. С тех пор качество жизни ухудшалось неуклонно — с коротким перерывом, выпавшим на начало тридцатых,

когда казалось, что все налаживается, а потом города начали пустеть, как магазинные полки. Но с обвальным крушением восемнадцатого не сравнится, конечно, ничто. Автор «Прощания славянки» между тем сделался дирижером чекистского оркестра.

Однажды весь отдел — по одному — вызвали к комиссару и настоятельно порекомендовали вступать в партию. Немедленного решения не требовалось — большевики еще не вполне освоились с ролью властителей. Она поделилась новостью с матерью. Та покачала головой и сказала:

— Не стоит, деточка. Все еще не раз переменится.

Отговорилась молодостью и неготовностью к столь высокой ответственности. А мать как в воду смотрела. В августе девятнадцатого без единого выстрела город занял 4-й Донской корпус генерал-лейтенанта Мамонтова. На самом деле фамилия его писалась через «а» — Мамантов, от мученика Маманта Кесарийского, передвигавшего верхом на льве, но такие мелочи ни тогда, ни впоследствии никого уже не занимали. Пятнадцатитысячный гарнизон красных, завидев участников конного рейда, разбежался, словно орава мальчишек из сада при появлении сторожа. Лошадей не хватало, и часть разбегающихся дунула пешим ходом.

Организованно отступали только латышские стрелки, но на выходе из города их остановил пулеметный огонь с колокольни кладбищенской церкви: по латышам дупил настоятель храма. В ответ по колокольне долбили из винтовок, пока огонь не захлебнулся. Тело священника сбросили вниз, в иконостас швырнули гранату, как будто стреляли из деисусного чина. Батюшку донцы похоронили с почестями. Мамантовцы рассчитывали на восстание крестьян против «поработителей», но местные мужики отличались хитростью и терпением и гостей покуда не поддержали, а восстали позже и по собственной, ненавязанной воле.

Мамантов въехал в город на «роллс-ройсе». Его хлебом-солью и поясными поклонами встречали рабочие вагоноремонтных мастерских: они зарабатывали по триста рублей в месяц и успели понять, что теряют. В воспрянувшем было городе поговаривали, что brave донцы пробудут недолго, и эти слухи тоже скоро подтвердились. Перед походом на Москву корпусу требовалась передышка. Закрепляться здесь Мамантов не собирался. Они с Гелей, не зная, как себя вести, с утра пришли в отдел и уселись за свои «ремингтоны». Как ни странно, помещение не пострадало, и относительный порядок сохранялся. Вскоре послышались шаги, и в комнату, цокая шпорой о шпору, вошел красивый офицер.

— Пгиветствую милых багышень, — сказал он, дореволюционно картавя и светски улыбаясь. — Пгошу сохганять спокойствие. Его пгевосходительство вскоге пгивудет с пговежкой. Это чистая фогмальность. Вам ничего не уггожает.

Действительно, буквально через несколько минут в комнату со свитой вошел статный генерал с несколько удивленным лицом и усами до плеч. Он кивнул барышням, достал из кармана белоснежный платок и с нажимом провел им по полкам. Внимательно взглядевшись в результат «пговежки», брезгливо бросил платок на пол.

— Какую должность занимали при большевиках? — спросил генерал.

— Машинистки продовольственного отдела, — хором пролепетали они.

Генерал кивнул — впрочем, неодобрительно — и покинул помещение. Она успела заметить, как картавый офицер на прощание посмотрел на Гелю. Геля не была красавицей, но в довоенные времена куда выше ценился статус «хорошенькой». А под эту статью Геля подходила эталонно.

Следующим утром, когда она снова по привычке явилась на службу, Геля с восторгом рассказала, как адъютант Мамантова подстерег ее возле теткиного дома с огромным букетом. Выпытать адрес было несложно — в городе почти все друг друга знали.

Через три дня окончательно выяснилось, что корпус покидает город. Передышка кончилась. На прощание казаки раздали горожанам запасы с продовольственных складов и казнили самогонщиков и торговцев спиртом, пытавшихся спить донцов, а также китайцев, которые при первой смене власти зверствовали особо изощренно и хладнокровно. Люди носились с огромными кулками конфет, мешками сахара и коробами печенья. Геля забежала на Дубовую и сообщила, что уходит с казаками.

— Это любовь, — беспечно сказала Геля. — А с любовью не шутят.

— Это война, — попыталась урезонить ее сестра. — С войной уж точно не шутят. Все только начинается.

— Оставайтесь, если вам угодно, — огрызнулась Геля. — А мне хочется мир посмотреть. Я шесть лет в тюрьме провела.

Под тюрьмой разумелся институтский рай. Они простились холодно. Про обет верности Геля явно не помнила, да и не до обетов было в новой ситуации.

Красные вернулись. Обыватели болтали, что был суд над трусами, оставившими город на произвол судьбы, но ради спасения престижа армии виновным никого не признали. В эти дни она познакомилась со своим будущим мужем, мобилизованным в зажиточном поволжском селе, за грамотность взятым в штаб и таким образом оказавшимся ее начальником. Основам стенографии обучать его пришлось срочным порядком. Учеником он оказался на редкость схватчивым, но стенографией дело не ограничилось. На стенах и заборах появились листовки, подписанные Троцким, с неизменным воззванием: «Коммунисты, вперед!» Красные опасались зреющего крестьянского восстания, к идее которого мамантовцы мужиков лишь чуть подтолкнули, а пять тысяч продармейцев, грабивших зерновую губернию, в этой мысли укрепили бесповоротно. Когда она услышала и увидела на заборах то же самое воззвание: «Коммунисты, вперед!» в начале следующей войны, а после победы услышала в стихах с хорошим, крепким звуком, часто исполнявшихся по радио, а теперь и по телевидению, лишней раз подумала о том, что иные слова переходят из уст в уста, как легкокрылые женщины из рук в руки.

Со штабным ухажером они успели уже тайно обвенчаться в одной из деревень, пережить невыносимо сладкий медовый месяц, когда штаб перебросили ближе к фронту. Город остался в глубоком тылу и начал помаленьку опоминаться. Она проснулась от царапанья в окно, решила, что это кошка, и шикнула на нее. Царапанье не прекратилось, и она нехотя встала. За окном стояла Геля, повязанная диким на ее бонбоньерной головке бабьим платком. Несомненность видения беззаботной подруги была такова, что остатки сна выпрыгнули из головы и раскатились по полу, точно порванные жадной рукой бусы. Что такое жадные руки, она теперь знала. Гелина тетка умерла голодной зимой, хотя они с сестрой ее подкармливали, чем могли, в ее дом вселили партработника, и деваться Геле было решительно некуда.

— Осторожно, я во вшах, — с прифронтовой хрипотой сказала Геля, когда все проснулись и засветили лампу.

Мать велела дочерям выйти и стала обирать с Гели паразитов, крупных, темных, как чечевичные зерна. Нагрели воды, кое-как помыли ее и уложили. Свадьба с красным командиром спасла хозяев дома от уплотнения, а их самих — от лишних вопросов и повышения квартплаты. Через день Геля заболела. То есть она, конечно, пришла уже инфицированной, но болезнь словно ждала момента, чтобы накинуться на человека, слегка отмытого, относительно сытого и потому расслабленного.

— Это тиф, — без сомнений заявила мать. — В комнату не входите, ешьте чеснок.

Чеснок и лимоны она считала панацеей, но лимоны по случаю революции исчезли, а чеснок по-прежнему, не сообразуясь с классовой борьбой, произрастал в хо-

зайском огороде. О том, что Геля умрет, она подумала дня через три, когда доктор Мордухович, пришедший по старой памяти осмотреть больную, долго протирал руки спиртом и сопел волосатым носом. До этого она видела только смерть от старости институтской собаки Дамки. При этом сторож Ибрагим убивался значительно громче и искреннее, чем девочки, для порядка, конечно, прослезившиеся и пошморкавшиеся в кружевные платочки.

Неотвратимость смерти начисто избавила от страха заразы, и она провела у Гелиной постели оставшиеся дни. Геля бредила и в бреду картавила, как ее неизвестно куда подевавшийся, а скорее всего, погибший избранник. За несколько часов до конца сознание ее прояснилось, и она прошептала:

— Хеллертшу расстреляли. Она с нами была. Ушла с нашим обозом.

— За что?! — вырвалось из сердца, как будто она не знала, что на войне убивают не «за что», а «потому что».

— За пособничество немцам, — слабо усмехнулась Геля.

Никаких немцев, кроме Икавица, так и оставшегося при больнице, в обозримых пространствах давно уже не было и в помине.

Геля умерла тихо, и смерть превратила ее было потерянную в скитаниях хорошенькость в дивную красоту, но та на глазах стала блекнуть, расплываться, как перепроявленное фото. Обмыли и обрядили Гелю своими силами. Сестра нашла на рынке Ибрагима, торгующего институтской фаянсовой посудой, и магометанин похоронил искательницу приключений в дальнем углу православного кладбища. Отпевание провели заочно, чтобы не привлекать внимания. Никто от Гели не заразился. Очевидно, горе вырабатывает более сильный иммунитет, чем любая вакцина. Сколько потом она ни искала могилу, найти даже следов всхолмия так и не удалось. А на кладбище с тех пор нашли покой и мать, и сестра, и вот теперь царицынский казак.

«Кажется, я и с этим начинаю смиряться. Слава богу за все!» — подумала она и поплелась обратно на Карлушку, бормоча: «Крестьян раскрестьянили, казаков расказачили, институток разынститутили, проституток распроститутили». Она понимала, что полуютчетливое бормотание под нос есть один из признаков старости, но это ее уже не расстраивало.

III

Сухой тополиный пух, заметаемый ветром во все углы, походил на пенку от варенья. Только очередность варки, вопреки изменчивости мира, хранила несменяемость. Первенство держала виктория. Созревание виктории и поступление на рынок ведрами и вроссыпь, как ничто другое, знаменовало полную победу лета. Зимой закупался сахар в его песчаном изводе. Накопить следовало приличное количество, сберечь кульки из темно-пегой бумаги от грызунов и подмокания, притом что в одни руки давали по два килограмма. Важнейшей деталью подготовки была чистка таза — в идеале медного, прошедшего закалку нескольких нагревательных приборов и минимум трех поколений варщиц.

Затем следовало смиренное пережидание, пока младшие наедятся сырой ягоды до отвала. Оставшееся после отвала мыли в трех водах, терпеливо сушили на полотенцах. На обрывание чашелистиков поднимали всех живых. Засыпали викторию собранным всеми правдами и неправдами сахарным песком и оставляли под теми же полотенцами, на которых она сохла. Больше всего Геля любила данный этап, потому что пресыщение как раз проходило, и по мере пускания сока можно было украдкой глотнуть на глазах пурпурнеющих ягод и вытереть с подбородка, пока не стекло на платье, капли тяжелого кровавого сиропа.

Викторию ни в коем случае нельзя было помешивать, но непременно потряхивать — иначе ягоды получатся не одна в одну и все пойдет насмарку. Главной целью варки — трехступенчатой, с дотошно хронометрируемыми перерывами — являлась первозданная целостность, неразваренность ягод, которые к тому же обязаны были сохранить природный цвет. Царицей стерилизации банок безоговорочно почиталась Бабуль. Варенье в банки не шлепалось, но ягоды плавно лились в лавине сиропа и укутывались одеялом, как простуженные. Собранный за время термической обработки запах струился из-под одеяла в течение суток. Никаких закатываний впрок Бабуль не признавала, твердо стоя на позиции разумной достаточности: варить столько, сколько в силах семья съесть за зиму. Ни единожды не разражалась катастрофа засахаривания или заплесневения, хотя банки закрывались всего-навсего бумажками, нарванными из Гелиных тетрадей.

За викторией следовала вишня. Членам семьи раздавались вымытые и облитые перекисью водорода головные шпильки — с непременно рассказом о золотой волшебной вишневой шпильке бабушки, утерянной силою исторической реквизиции. Под неторопливые разговоры, а к концу в полном безмолвии из вишневого мяса изымались косточки. Пальцы покрывались теперь вишневой венозной кровью, Геля старалась как можно дольше не смывать следов шпилечной расправы и ходила, как леди Макбет. Вишню в процессе сиропопускания можно было перемешивать. Ягода простая, северная, она, в отличие от виктории, капризами не отличалась, хотя варилась так же в три приема. Крыжовник, смородина и слива составляли промежуточный период, хотя варка желтой сливы завораживала Гелю последующим икряным золотистым желированием.

А вот изготовление варенья из ранеток, которые Бабуль и, как выяснилось, весь Двор неизменно называли райскими яблочками, пропустить было настоящим преступлением против себя же самой. Каждое яблочко прокалывалось по всей сердцевине обтертой одеколоном иголкой. Сироп варился отдельно с добавлением лимонной кислоты из квадратненьких бумажных пакетиков. Им, тщательно и бережливо собираемым половником по краям таза, ранетки поливались в течение всей варки. Но особую ценность представляли хвостики. Потеря хотя бы одного яблочного хвостика повергала Бабуль в отчаяние. И впоследствии есть это варенье полагалось приличным, держа плод за хвостик, хотя, надо признать, райские яблочки подавались только в особых случаях и только при гостях. Варенье это было прозрачно, как горный родник, а чистоплотное выплевывание зернышек и пленок в ложечку лишь добавляло старинного очарования. Яблочки выделялись мармеладной мякотью цвета фрез, похожей на подживающую после схождения струпа коленку.

Но особенно Геля любила варенье из айвы, привозимой азербайджанцами с маслеными глазами и халовой речью. С Гелиной младенческой оговорки пошло обыкновение называть его «айвинское». Жесткая и совершенно несъедобная в сыром виде, покрытая пушистым налетом, похожая одновременно на яблоко и грушу из папьемаше, айва поддавалась варке труднее остальных плодов. Она и резалась с мозольной натугой на обязательно крупные дольки в форме молодого месяца и варилась с ванилином, лимоном или корицей, а сироп делался из отвара кожуры. Бабуль утверждала, что айву нельзя употреблять певцам и ораторам, потому что от нее сохнет голос, но ни тем, ни другим Геля пока не стала, и ее больше поражало, как дольки, теряя шершавую желтизну, превращаются после Бабулиных манипуляций в рубиновые, матовые, облитые более светлым ферраллитным пламенем деликатесы. Самое интересное, что во Двор хлеб с вареньем не выносили. Высшим шиком и предметом зависти был ломоть, посыпанный сахарным песком, политым, в свою очередь, водой изо рта и от этого посеревшим и потяжелевшим.

На самом деле Двор начался с подвалов. Строений, его ограничивающих, было несколько. Основное, в котором жила Геля и Лель с Люлем, не обросло пристройками, исключая крыльцо, а сам нынешний Двор представлял собой усадьбу, где некий купец и его семья держали скотину, сад и огород, чаевничали и торговали. В процессе изучения выяснилось, что парадный вход укрывался в глубине Двора, с тыла, под ржавым козырьком, к нему вели каменные ступени, и заколочен он был намертво. Застройка из красного фигурного кирпича удостоверяла, что купец был состоятельный, хотя второго этажа в жилом пространстве не освоил. Но, может, он набегался по лестницам в бытность приказчиком. Или сдавал основной дом внаем вдовой капитанше, а сам занимал манящий воображение Гели смежный Сто Пятый. Это предположение строилось на отсутствии во Дворе помещения, могущего служить купцу баней. В общественные помывочные заведения приличное семейство не ходило. Но, возможно, баню свергли одновременно с купеческим сословием или в более поздних столкновениях.

Под лавку или магазин с конторой купец построил другой дом — там теперь пили Водищевы, и это строение как раз-таки обзавелось вторым деревянным этажом, из окна которого однажды выпал Федя — и ничего ему не сделалось. А для прислуги, бедных родственников и приживалов соорудил третий, который занимало семейство Новиковых. В подвалах же размещались склады и подсобки. Постепенно к служебному дому приделывались наспех спичечные коробки и скворечники — торговля росла вместе с обслугой, росла и семья по мере размножения. Вместе с разрастанием дела и семейства разрастались и пристройки, о красоте которых заботиться было некогда, а возможен и вариант развившейся с годами жадности владельца. Нынешние сараи, скорее всего, служили амбарами, содержащими предметы торговли и домашние заготовки. Самый завидный сарай, явно бывший ледник, гордо занимали Гурьевы. Он стоял отдельно от других, изнутри был обложен кирпичом, но не фигурным, а простым, и имел спуск вниз, так что дворовая легенда приписывала ему подземный ход.

Когда частновладельческое житие закончилось и во Двор хлынули новые жильцы, еще несколько коробков и скворечников окончательно обесформили контуры усадьбы, зато люди, согнанные с крестьянских подворий, получили кров. Да, распорядились им по-муравьиному, а что было делать и куда деваться? Фруктовый сад и огород остались и занимали правую часть дворовых задов, только раздробились и поделелись заборами. Но вишней группы морель, темной, слаще черешни, и яблоками разнообразных сортов — от рыхловатого, быстро сходящего белого налива до мелкого сладкого пепина шафранного и сочного штрифеля — снабжали вороватую ребятню бесперебойно. На забор слева налегала растительность Сто Пятого, и всегда казалось, что вишня там гуще, а яблоки сочнее. Но по неписаному закону сад манящего дома обчищать было запрещено.

Подвал занимал весь периметр магазинной постройки и ее дополнений. На улице, непосредственно под Водищевыми, выходили подвальные окна, претерпевавшие от движения по Карлушке и природных стихий наибольший урон, вечно заляпанные и терпеливо отмываемые обитателями — Махой Кривой или ее дочерью с глазами на сильном выкате и прямо из этого исходящим прозвищем — Пучеглазая.

Гелю поначалу удивляло, что всех женщин старшего возраста во Дворе звали Мариями, а младших почти всех Светланами, в том числе крохотную изможденную мать Леля и Люля, один вид которой объяснял миниатюрность братьев-неразлучников. Мужчины при этом носили имена различные, хотя и заурядные. Потом она к такой особенности привыкла и запомнила прозвища, по которым распознавали носительниц. Прозвища были простые и логичные. Так, Гуня получила

звание из-за гугнивости голоса. Происхождение Чернильной уже объяснялось. Куряка, хоть и не единственная курящая женщина Двора, вероятно, превышала в своей зависимости пределы допустимого. Не удостоенных клички окликали по фамилиям.

До Карлушки Геля не знала и не подозревала, что человеческое жильё бывает, как в ритуальном песнопении про каравай, «вот такой нижины». Утром, когда на крыльце происходил общий сбор перед катанием на великах с гиканьем и переворачиванием на полном ходу руля, напротив открывалось подвальное окно, в нем показывалась Гуня и произносила неизменное:

— Драст, пажалста-а! Опять вся шепана тута. Твари!

В лексиконе Гуни наличествовали три формы человеческого падения. «Тварь» была самой безобидной и повседневной. Когда Гуня находила повод для усиления эмоциональной окраски, она произносила два слова как одно: «тварьфашист». А последней стадией служило уже утроение: «тварьфашистгестаповец». На первых порах Геле казалось, что во Дворе изъясняются на чужеземном языке, хотя сорта яблок составляли единственные иностранные заимствования в их словаре.

— Чего колготисся, колгота ты?

— А у тебе зять скабежливый?

— Ехай, не боись!

— Вся кофта в ошарушках!

— Чего лататы разложила?

— Ты посорма при детях не надо!

Неизвестно почему окончательно добывало Гелю колдовское «ищѣйшь». В период освоения Двора она спросила Бабуль:

— Почему они так странно говорят?

— Все люди говорят по-разному, — уклончиво ответила Бабуль, никогда не обсуждавшая чужое. — Ты же говорила: «Пидэм на вульцю».

Это был запрещенный прием, который применялся к Геле, как и к другим детям, регулярно. Она плохо помнила няньку-украинку своих первых лет, между прочим, тоже Марусю, бесследно потеряла перенятую от нее «пидэмнавульцю» и вынуждена была верить на слово поддразнивавшим ее деду и Бабуль. Вполне возможно, все это они выдумали для собственного развлечения. Постепенно дворовый язык сам собой открывался ей, как Миклухо-Маклаю. «Посорма» означало грязную брань. «Скабежливый» переводилось как брезгливый, а «колготиться», «колгота» — в общих чертах, схематически, как «суета сует». «Лататы», как и «ошарушки», могли обозначать самый широкий спектр предметов. «Нету» вместо «нет» уже казалось обыденным. Самое удивительное, что язык той же Поли, изученный до интонационных тонкостей, не представлялся Геле чужеродным. Видимо, дело во многом состояло в уровне любви, а любовь — дело постепенное.

На Кронштадтской, если не проворонишь, можно было застать выступление сапожника Лядова, потерявшего на войне обе ноги по самое, как он выражался, пинчекрякало. Слово Геле нравилось, пожалуй, еще больше «мелифлютики» и заворачивало сильнее, чем «ищѣйшь», хотя она приблизительно соображала, что это за такое пинчекрякало. Участковый Колобушкин, уважая фронтовое прошлое, закрывал глаза на то, что сапожник принимал заказы на дому, никакую власть не спрашивая. Свой коронный номер Лядов исполнял в летний период, по воскресеньям, ровно в полдень, на полную мощь включая репродуктор и дождавшись пропикивания. К этому времени Лядов был пьян в самую изюминку.

Проживал он тоже в подвале, который внутри ничем не отличался по интерьеру от верховых жилищ, что чрезвычайно занимало Гелю, с тех пор как она там бывала. Полы как полы, подоконники как подоконники. Только видны из них не го-

ловы и плечи, а ноги проходящих. Ноги, отсутствующие у Лядова. А бывали она и Бабуль в комнате, совмещающей столовую, спальню и сапожную мастерскую, не однажды. Дело в том, что Гуня, недовольная качеством лядовской работы, умудрилась адресовать ему, герою войны, своего «тварьфашиста», и Лядов с тех пор категорически отказался обслуживать население Двора. Исключение составляла только Бабуль, или, как он ее называл, Бева.

— Бева пожаловала, — так и говорил. — Всегда к вашим услугам.

Соседи подсовывали Бабуль свою стоптанную обувь, и Лядов, конечно, не мог этого не понимать, но снисходил.

— Бева пролетариям услужает. Бева добрая., — заключал он, осматривая чью-нибудь безнадежную босоножку и добавляя совсем уж загадочное: — Изебровая.

— Что это значит? — спрашивала Геля.

— Просто — женщина, — смеялась Бабуль.

— На каком языке? — уточняла Геля.

— На лапландском, — лукавила Бабуль.

Она с Лядовым общалась диковинно, как ни с кем.

С последним радиосигналом сапожник влезал на подоконник и кричал:

— Минуточку внимания, граждане! Сейчас инвалид войны выкажет вам неприличие. Эта сторона улицы при артобстреле наиболее опасна. Нервных прошу перейти на другую сторону.

После чего Лядов виртуозно, на руках, поворачивался к улице тощим волосатым пинчекрякалом с заранее спущенными штанами и объявлял:

— Наша пехотная пёрка! — и выпускал длительный газ с неизменно низким тубным звуком.

Послушать Лядова всякий раз собиралась изрядная толпа. Издав фирменный звук, он абсолютно спокойно, с выражением выполненного долга разворачивался к зрителям лицом, подбирал штаны, захлопывал подвальное окно и уползал на свой рабочий табурет с сиденьем из широких брезентовых полос, образующих крупную клетку. Бесчинство по выходным ему прощалось, потому что он был единственным мастером на всю округу, и все носили его набойки и давили весом на его каблуки. Лядов был охальник, но уважение к святыням имел. На какой бы день ни выпадало девятое мая, он показывался в окне трезвый, с двухрядной хромкой, надетой, как делают опытные гармонисты при игре сидя и для форсу, — одним ремнем выше локтя. В этот день Лядов пел, не глядя на публику, куда менее обильную, чем на воскресном спектакле, но верную. Геле нравились его песни, особенно про неведомые галицийские поля, то есть про самого Лядова:

Ветер воет, ноги ноют,
Словно вновь они при мне.

Но с тех пор как девятое мая объявили выходным, Лядов петь перестал, правда, и газы в этот день принародно не выпускал.

Гелю поражала публичность жизни Двора и окрестностей, которую Лядов всего лишь доводил до абсурда. Всегда будто на сцене, всегда нескрываясь на виду. Новиковы сдавали комнату передвижным циркачам, каждое лето гастролировавшим в городе. Это обеспечивало всем малолетним бесплатные представления. Но каждый шаг квартирантов обсуждался и комментировался, как футбольный матч. Маня Новикова становилась во Дворе самой популярной фигурой. Она развалисто выходила утром, когда старухи рассаживались вдоль Гуниных окон, вынеся две дополнительные табуретки для подкидного или лото. По правилам мужчины занимали стол в цен-

тре Двора, и белые карликовые конфетти лепились в их руках к черным доминошным шоколадкам. Но в качестве рыцарского жеста они иногда присаживались на старушечьей территории и, нещадно шлепая картами по табуретке, показывали класс.

— Ох, ну твою ж мать! — восхищались старухи.

Новикова не спешила огласить сводку новостей, показно зевала и поводила плечами.

— Ну, как там твои-то? — не выдерживал кто-нибудь повышено любопытный.

— Кто? — Новикова умело делала вид, будто не понимает подоплеку.

— Кто? Постояльцы, кто? — возмущенно вскидывались предвкусители.

Новикова поправляла волосы и проделывала еще ряд манипуляций, замедляющих действие. Наконец с ленивым достоинством удовлетворяла публику:

— Да что им? Нагримуются, как говны, и сидять!

Мама заболела длительно, и Геля успела привыкнуть к названию болезни — фибромиома — и имени лечащего врача. Тем более что имя было дворовое — Мария, только отчество диковинное — Эйвазовна. «Гормональный сбой», — повторяла мама за Эйвазовной.

— «Плохой кровоток в органах малого таза», «субсерозная», «субмукозная», — и другие научные слова.

Кроме слов, болезнь не выражалась, пожалуй, ни в чем. Лишь иногда за завтраком мама пугала Бабуль:

— Опять выделения. И на горшок вставала три раза.

Бабуль роняла чашку:

— Срочно оперироваться! Мария Эйвазовна настаивает. Чего ты ждешь?

Но было похоже, что мама по-своему гордится фибромиомой и не хочет с ней расставаться. На слова Бабуль она только смеялась своим загрудинным смехом. Так продолжалось до приступа, когда Геля увидела кровавую простыню, торопливо уносимую Бабуль, и услышала сдавленные подушкой мамыны вопли. С врачом «скорой» долго препирались, куда везти.

— Только к Марии Эйвазовне! — в один голос твердили мама и Бабуль.

— Только по месту прописки! — твердил врач.

Маму увезли поле того, как Бабуль сунула что-то врачу в карман — наверное, записку Эйвазовне с подробностями. Бабуль тоже уехала на «скорой». Геля очень любила оставаться одна и рыться в маминих вещах, а проголодавшись, намазывать хлеб маслом и сверху класть толстый шмат колбасы, а не хлебать скучный суп.

Вернулась Бабуль затемно, и Геля поняла смысл выражения «нет лица». Вместо лица у Бабуль была белая маска, словно у немого Марселя Марсо, которого часто показывали в киножурнале «Новости дня».

— Операция не очень удачная. С осложнениями, — осторожно сказала Бабуль.

— Но Эйвазовна... Вы же так ее хвалили! — выступила Геля не без вызова.

Бабуль отмолчалась и предупредила:

— Я буду ночевать в больнице. Костя за тобой присмотрит. Кажется, начинается перитонит.

— Что это? — спросила Геля, расплывчато догадываясь, что ничего хорошего.

— Воспаление брюшины. Так бывает после операций, но достаточно редко.

— Она умрет? — после смерти деда Геля задавала этот вопрос при всякой опасности.

— Что ты, деточка! — без особого оптимизма воскликнула Бабуль и умчалась.

Геля всю ночь преодолевала комнаты взад и вперед, узнав, что такое бессонница. Косте она сказала, что присматривать до утра не надо, но дневной присмотр зятя-

нулся. Бабуль появлялась точно для того, чтобы Геля не пропустила изменений маски, которая день ото дня сминалась и блекла, но не отлипала от лица. Она жарила на керосинке срочную яичницу или делала те же бутерброды, только потоньше, и исчезала. За ее отсутствие Геля успевала нашкодить, но Бабуль не вдавалась в подробности.

— Когда меня возьмешь к маме? — спрашивала Геля, привыкая к одиночеству и участь наслаждаться им. Тревога посещала ее неравномерно и уходила не прощаясь.

— Она в реанимации, — без перевода отвечала Бабуль. — Пойдем к Тусе и Дусе. Я дополнительно нервничаю, пока ты тут одна.

Геля с неохотой переселилась в перекошенный дом. Дуся придиралась к каждой мелочи, но Туся ее обрезала. Из рояльной комнаты доносились залипающие белые звуки или однообразная скороговорка. В здешнем дворе Геля была чужой, и выходить туда слегка опасалась. В одну из ночей задумалась о том, как они будут жить, если мама все же умрет, и сделала заключение, что не пропадут. Изюм сил она пыталась вызвать в себе приличествующую случаю скорбь, но не выходило. Что такое реанимация, Костя успел ей объяснить.

Бабуль наконец пришла со своим лицом и голосом.

— Слава богу! — провозгласила она. — Подумай! Оказывается, они зашили в полость тампон. Началось нагноение. Но Мария Эйвазовна настояла на повторной операции, все вычистили. Слава богу! Ее в палату переводят.

Геля не поняла почти ничего, но в ее сознании Эйвазовна заняла место Григория Львовича.

— Значит, она не умрет? — спросила Геля с некоторым даже разочарованием. Она уже распределила роли и правила их будущей жизни.

Назавтра Бабуль взяла Гелю в больницу. По дороге они зашли на базар и купили у торговки в белых нарукавниках сметану и творог. Кроватей в палате было много, и маму Геля узнала не так скоро, тем более что она сливалась с постельным бельем, как некогда дед.

— Вот тебе и дочку привели, — констатировала сидячая тетка с распухшими ногами.

Мама слабо замычала и улыбнулась. Улыбалась она редко — сразу смеялась всей грудью. Геля не знала, что говорить, и погладила маму по руке поверх одеяла.

— Не болей! — сказала она дурачки.

— У меня свищ не заживает, — плаксиво пожаловалась мама, и Геля отметила новое слово.

При выписке Геля и Бабуль пошли в кабинет к Эйвазовне, всучивали ей коробки конфет и чего-то еще. Бабуль кланялась и благодарила — видимо, за то, что мама все-таки осталась жива. У Эйвазовны было мужское лицо с ослепительно накрашенными губами. Как выглядит свищ, Геля увидела, когда перевязки стали делать дома — сначала военпреды возили маму по очереди в больницу. Свищ оказался дыркой в животе, ближе к пупку, в середине длинного шва. Выглядел он неаппетитно.

Подвал начинался сразу за воротами косым деревянным навесом и темными промозглыми сенцами, которыми кривая мать и пучеглазая дочь неприкрыто гордились. Потом загогуливался вместе со строением внутрь двора и образовал бы строгую букву «г», если бы не прерывался встроенным флигелем с заключенными в нем Гурьевыми. Завершался подвальный этаж странной конструкцией. Это был подвал без верха, самодостаточный, едва прикрытый проржавевшими листами жести. Точнее, не подвал, а землянка с наскоро оштукатуренными стенами. То ли верхний этаж сгорел, то ли давний купец держал здесь должников или буйных во хмелю. Когда в школе проходили «Детей подземелья», Геле в качестве иллюстрации виделся именно этот саркофаг.

Проживала в самодостаточном подвале тоже Маша — Гулящая, хотя по годам ее должны были бы звать Светой, с на диво пригожими детьми-двойняшками. Собственно, ее *гуляний*, как она это себе представляла, Геля никогда не видела. Маша никого не приводила и не провожала из своей норы. Говорили, что по ночам она уходит на промысел и оставляет детей одних, но ночные дежурства Геле запрещались, да и сон смаривал. Двойняшек все любили, нянчили, отдавали ношеное со своих детей и еду со своего стола.

В одно из утр велопробег намечался «на речку». Цель следовало обозначать исключительно таким сочетанием — ни в коем случае не «купаться» и не «на реку»: никто бы просто не понял, о чем речь. Люськины «польта» постоянно помогали Геле не опростоволоситься с момента обретения Двора, за что Геля была ей по-хорошему признательна. Лель подскочил, когда она подкачивала заднее, наиболее страдавшее от езды по колдобинам колесо. Велик стремительно старел, но замененные по случаю «нипелья» (только так, и никак иначе!) должны были по идее на некоторое время продлить его жизнь.

— У Гулящей двойняшек забирают! — выпалил Лель.

— Биляют! — подтвердил высунувшийся из-под его коленки Люль.

— Кто забирает? — поинтересовалась Геля, завинчивая колпачком, сбереженным в боях и походах, клапан.

— Комиссия! — не без пиетета сказал Лель.

Что на свете существует комиссия, имеющая право забрать детей у матери, Геле в голову не приходило. Ее даже милиционером не пугали, а уж Бабой Ягой — ни-ни. Не выпустив насоса с висящим на нем шланжиком, Геля побежала следом за братьями. У входа в подвал стояли неприятные тетки, а перед ними на коленях — Гулящая.

— Христом Богом, — говорила Маша через равные промежутки. — Христом Богом!

— У вас условия неподходящие, — заученно говорила одна тетка.

— И поведение, — ехидно поддерживала другая.

— Христом Богом! — продолжала свое Маша.

К мутным окнам прилепились двойняшки. Нежданная Бабуль, ни разу не принимавшая участия в дворовых распрях, подошла сзади.

— Товарищи! — сказала она непривычно. — Что же это вы делаете?

Вокруг сгрудились остальные Маши, Мани, Махи и Маруси.

— Отошли все! — злобно сказала одна из теток.

— Я тебе отойду! — пригрозила Гурьева. — Ты у меня шас так отойдешь!

— У нас на руках решение комиссии по делам несовершеннолетних, — сказала тетка, хотя руки ее были заняты потертой сумкой.

— Я твою комиссию вертел, — сказал пьяный Вилька Гурьев, первым из мужчин решившийся на противостояние.

— Сейчас милиция приедет, тогда повертишь, — отбрила его другая тетка.

Во Двор тут же въехал милицейский газик, откуда неторопливо вылез участковый Колобушкин. Не обращая внимания ни на собравшихся, ни — внешне — на теток с решением, он напрямик спустился в подвал и вышел, неся на каждой руке по ребенку. Как много раз замечала Геля, когда в дело вступала власть, все застывали, словно в игре в «замри», в той позе, в которой их застала команда. Так было и на этот раз. Просто теток властью не признали, а Колобушкина признали давно. Только Маша проползла на коленях до машины и стала биться головой о бампер.

— Ляди! — нежданно громко сказал Люль одно из тех слов, которое он мог произнести почти без звукового урона и которое все в тот момент молча думали.

Тетки с облегчением промяли собой заднее сиденье. Колобушкин, передав им детей, безмятежно сел за руль. Газик вздрогнул и уехал в открытые ворота. Маша

безгласно упала и осталась лежать на земле. В этом месте Двора трава не росла. Женщины поднимали Машу, она падала несколько раз, наконец удалось оттащить ее в пустой подвал.

На речку поехали нестройно и без охоты. При одном из ныряний в Гелину коленку впилась острая ракушка, рассадив кожный покров и пройдя почти до кости. Коленку замотали Лелевой майкой. Крови почти не было, но по дороге рана загнойлась, майка была испорчена, и Леля до конца дня оставили под домашним арестом, который поневоле разделял с ним Люль. Крохотная мать никогда сама с ним не гуляла. Бабуль после промывания применила к ране еще одно свое волшебное неизменное средство — коллодий, белой пленкой стянувший рассечение.

Геля, ослабшая после процедур и повышенного внимания в своем страдании, заспалась и появилась во Дворе, как раз когда из подвала показались оглобли носилок, обхваченные идущим спиной к ним санитаром. Рядом стояла машина «скорой» военного цвета. Тот же кучный круг смыкался подле нее. Все трудоспособные, видимо, снова работали во вторую смену, потому что в толпе обнаружилось несколько Свет, печник Новиков и его дети — Жирный и Светка, братья Водищевы и Леха и Вилькой, по очереди сосавшие пиво из трехлитровой банки. Газик с Колобушкиным точно и не уезжал. На носилках что-то лежало, накрытое простыней, и равномерно выдвигалось наверх, пока не показался на противоположном конце второй санитар. Маленькие Лель и Люль вертелись под ногами у носильщиков, так что один из них выкрикнул:

— Отвали, мелюзга!

Лель и Люль брызнули в толпу и очутились близко к Геле.

— Гуляющая повесилась! — прочастил Лель.

— Ты ее видел? — сердце Гели затарахтело, как велосипедное колесо, в которое для имитации мопеда вставили прутик.

— Ага. Мы успели, когда ее вынимали. У нее язык вывалился. И обоссалась вся.

Геле мучительно хотелось подробностей, но не такого рода. Других у Леля не было.

А над подвалом повисло проклятие. После Маши туда вселилась престарелая пара. Старик Мигулин — пьяней вина — свел под руку вниз слепую жену, и ее больше никто не видел до той поры, пока не пришла труповозка. Мигулин выпил на помин души бутылку растворителя и последовал за супругой. Подвал постоял пустым, заходить туда никто не решался даже при игре в казаки-разбойники. А потом низину заняла цыганка Лидка с цыганятами, и отличие ее имени от женской дворовой одноименности уже не сулило ничего хорошего.

Ночью после Маши Геля пила много воды из кувшина, которым очень дорожила мама, садилась к окну, упиравшемуся зимой в стену, а летом в сад, единственному, которое можно было оставлять открытым: в него не летели с Карлушки гарь и машинный гул. В саду кто-то ходил, но этого Геля уже не боялась.

— Ляг, деточка, — воззвала Бабуль с тахты.

— Меня у вас не заберут? — спросила Геля, как маленькая.

— Что ты! Мы тебя никому не отдадим.

— Маша тоже не хотела отдавать, — возразила Геля.

— Они слабых любят, — сказала Бабуль.

— А мы сильные? — не поняв, спросила Геля от противного.

— Ну, все-таки, — неуверенно протянула Бабуль. — Бедная женщина! Некому ее было защитить.

— И нас без деда некому, — сказала Геля то, чего говорить было не надо.

— Бог оборонит, — сказала Бабуль. — Ложись. Завтра пойдем на базар.

В общем и целом лето шло своим чередом. После знойного мая, когда еще надо было необъяснимо ходить в школу, и Бабуль не успевала стирать пропотевавшую форму, сваливался бесконечными дождями холодный июнь, но следом снова наступала жара, другая по сравнению с маем, стойкая и казавшаяся бесконечной.

Бегали в кинотеатр «Звезда» на первые сеансы по десять копеек. В малозаполненном зале обязательно отыскивался хоть один объясняющий. При малейшей неуспеваемости происходящего на экране, самоничтожной загадке сюжета или прихоти камеры из полутьмы, к которой уже привыкли блестящие глаза, раздавалось три варианта, неизменно относящиеся к женским персонажам.

— Это она вспоминает... — как правило, адекватное объяснение параллельного действия.

— Это ей снится... — как правило, на экране действительно воспроизводилось сновидение.

— Это она представляет... — любая абстракция, не имеющая к действию прямого отношения.

Гелю эти реплики успокаивали и примиряли с жизнью за пределами кинозала. Все непонятное она истолковывала себе, исходя из этой напоенной полутьмой триады.

Речка и велик оставались неизменными атрибутами лета до самого конца августа, когда предательские образы школы непрошено вторгались в сон. Геля с Лелем повадились выпрашивать лоскутья черной кожи, из которой в низкопотолочной мастерской рядом с костелом шила сапоги офицерам артель глухонемых. Лель умел с ними договориться жестами. Лоскутья ни на что не годились, но их так славно было перебирать и нюхать. Пахли они почему-то впрок сапожным кремом, который офицеры, не натянувшие сапоги, еще даже не купили в военторге. Мама говорила, что в военторге сказочное снабжение. Наверное, ей об этом сообщили военпреды. Пару раз эти военпреды заявлялись лично, потому что на лето под угрозой страшных кар задали множество задач и примеров. Особенно отчаялся бильярдно лысый, посидев с Гелей всего каких-нибудь часа полтора.

— Нет, не могу! — сказал он. — Лучше вагоны разгружать.

Однажды до репетиторства допустили отца. Он объяснял толково, так что в голове у Гели немного прояснилось, и она даже на что-то ответила правильно, только сразу же забыла.

— Реши хотя бы вот это и это, — сказал отец. — Я тебя на лодке покатаю. Если позволят, — добавил он.

Геля пошла к горбуну, сдавшему последний экзамен, а до этого запретившему его беспокоить, льстиво похвалила рыб, и Костя за пять минут красивым почерком написал в тетради решение.

— Ты только перепиши, — сказал он.

— Я сама должна, — надутно сказала Геля.

— Не надо тебе, — отмахнулся Костя. — Ты не по этой части. Зачем мучиться напрасно? Приходи, когда понадобится.

Переписывая задачки и дважды перепутав цифры, Геля думала, по какой же она части, но разумного ответа не нашла.

Отец дал ей ключи от своей квартиры, однокомнатной и в каком-то кургузеньком, словно тоже однокомнатном доме на северной окраине города. Геля приходила туда, прогуливая школу, перечитала множество книг, которые ей со спросом никто бы не разрешил, и подшивки старых газет из стенного шкафа с больнично окрашенной дверцей. Отец купил полированный гарнитур, и комната напоминала бы королевство кривых зеркал, если бы на мебели и на полу не лежали слои пыли.

Геля нашла тряпку, разорвала ее пополам, протерла гарнитур одной частью и вымыла полы другой, что дома делала под сильнейшим нажимом Бабуль, иной раз и со слезами. С тех пор, приходя в гости к отцу, на что мало-помалу мама перестала обращать внимание, Геля всякий раз прибиралась, потом лежала в ванне, подливая погорячее, и ощущала себя взрослой женщиной.

Поделиться секретом красоты и самостоятельности она решила с Лелем, наиболее безвредным из дворовых товарищей. Никому из одноклассников Геля ни секрета, ни красоты никогда бы не открыла. Они, естественно, не пошли в школу, но все-то думали, что пошли, и это спасало от присутствия Люля. Замки в отцовской миниатюрной квартирке были замысловатые, так что Геля долго тренировалась их открывать. Бесшумно поднялись на третий этаж, чтобы не привлекать соседей, ключ удалось с первого раза вставить нужной стороной бородки, и дверь открылась на удивление податливо.

Пока Лель млеял от полированного великолепия, Геля успела испытать неясное смущение и пожалеть о своей затее. Потом это прошло. Они смотрели по телевизору «Ленинский университет миллионов», листали журналы «Вокруг света», жарили хлеб на подсолнечном масле, потому что другой еды не нашлось. После уговоров Лель даже помылся в ванне, невзыскательно вытерся собственной рубашкой и ею же подтер нахлюстанное. Белые золотушные потеки на его лице посветлели. Рубашка высохла на нем быстро, потому что батареи уже были горячие, и Лель сел к ним сначала спиной, а потом пузом. Остаться голым он наотрез отказался.

Когда их накрыла вторая волна неловкости, граничащей с малопонятной неприязнью друг к другу, они засобирались домой. Замки были без «собачек», и дверь запиралась изнутри. Геля непринужденно взялась за ключ верхнего, самого хитрого и бородчатого, замка — ключ не поворачивался, мертво встав поперек. Она приналегла — и ключ оказался у нее в руке голым, как Лель в ванне, и таким же обескураженным. Зазубренная бородка осталась в сердечке, или личинке, как говорил отец, и Геля вдруг поняла, что все ее предыдущие беды были сущими пустяками, не стоящими внимания. Чувство неверия в происходящее — уже произошедшее — заполнило ее. Она снова и снова прикладывала обломанный ключ к скважине, как будто он мог срастись с утерянной частицей.

— Дверь перекосило, — сказал обезголосевший Лель.

— Откуда ты знаешь? — зачем-то спросила Геля, понимая, что ни причина, ни ее толкование не помогут. В голове у нее пронеслось нечто похожее на стихи: «какая сила дверь перекосила», но она не стала произносить этого вслух.

Они вразнобой походили из комнаты в кухню, неизбежно возвращаясь в прихожую, к месту преступления. Каждый твердо осознал, что присутствие постороннего есть обременение ситуации и вызовет оно гораздо больше вопросов, чем сама поломка. Время возвращения отца с работы приближалось с мультипликационной скоростью. Геля залезла в полированный комод и достала простыни. Их отыскалось всего две, но, по ее расчету, на задуманное должно было хватить.

— Ты чего? — холодно спросил Лель.

— Я в форточку не пролезу, — сказала Геля преувеличенно торопливо. — Буду ждать отца.

Лель понял, что его призывают к подвигу, и замотал головой.

— Разобьюсь, — как о неизбежном сказал он.

— Нет, — сказала Геля.

— Боюсь, — признался Лель, и это было с его стороны не меньшим подвигом, чем спуск по простыне с третьего этажа.

— Глаза закроешь, — скоростным методом обучила Геля. — И вниз не смотри, — добавила где-то слышанное про скалолазов. — Нас убьют, если застанут.

Собственно, почему и за что их убьют, она сформулировать бы не смогла, но готова была подвергнуть товарища смертельному риску, лишь бы не предъявлять посторонним. Угроза убийства Леля несколько утешила. Геля связала простыни двойным морским, который они с отцом не так давно репетировали по журналу «Техника — молодежи», один конец таким же образом прикрепила к трубе отопления, другой бросила в форточку. Лель привычно облизал ладони и полез на подоконник. Он проклюнулся в отверстие головой вперед и долго дергал простынное полотно. Узел от рывков не развязывался, а только затягивался. По мере его вылезания и цепляния внизу собирался народ. До второй смены еще оставалось время.

— Милицию, на фиг, вызовут, — отчаянно крикнул Лель, и новый страх придал ему скорости.

Он слетел по простыне, как по школьному канату, который по-прежнему не давался Геле в руки. Она успела шпионски подумать, что телефонов в доме нет, а автомат наверняка не работает, да и бежать до него надо за угол. Юркий Лель, не отвечая на расспросы, сыпанул вдоль дома и, надо полагать, успел скрыться, прыгнув в троллейбус. В дверь ломались, но Геля, прижавшись спиной к вешалке, героически немотствовала. Отец пришел довольно скоро, но толпе наскучило глазеть на окно. Геля втащила простыни, зубами помогла себе распутать узел и прогладила бельевые принадлежности утюгом. Страх то нарастал, то отступал, и она даже включила телевизор, но зрение так и не сфокусировалось. Странности этого дня продолжились тем, что соседи отцу не попались, под его ключом дверь открылась как ни в чем не бывало, и Геле не пришлось нудно сознаваться и выслушивать нотации. Она заметила, что отец выпил больше обычного.

История с дверью и альпинизмом Леля замялась: отец с мамой не разговаривали, их связным была Бабуль, а от нее Геля происшествие скрыла. Геля перестала к нему ездить, когда очередным летом застала его в закатанных трусах, из-под которых... Нет, ничего особенного видно не было, но шарики заметно перекатывались. Отец был пьяней вина. Он взял Гелю за лицо обеими руками, долго вертел ее голову в разные стороны и пристально рассматривал.

— Ничего от меня! Ни-че-го! — повторял он слезливым голосом, то отталкивая Гелю, то приближая.

С Лелем отношения похолодели, и он все лето пропадал в Сто Пятом. Через год на экраны вышел фильм «Вертикаль», напомнивший о героическом спуске, и песни Высоцкого вышли на маленькой пластинке, когда мама купила радиолу «Серенада».

На самом деле настало уже другое лето. И тополя — эти гигантские городские одуванчики — мели другой снег, хотя он так же скапливался в углах и легко воспламенялся от поднесенной спички, если не было дождя. Дождь превращал нежнейшие, от малейшего ветра вздымавшиеся волны, похожие на кружевной Бабулин платок, в грязную пену. И сады наливались не так скоро. И бадминтон уже не занимал все пространство. И Люль научился говорить по-человечески и превратился в обыкновенного скучного дошколенка. Бустрофедон позволял выбивать письма жизни в обе стороны, чтобы не бегать попусту от края к краю. И если на правом краю убили президента Кеннеди, то следующая налево зеркальная строка отражала очередной смертный приговор греку Манолису Глезосу, возвращаясь вправо запуском первого многоместного «Восхода». И разговоры по вечерам на чердаке у Жирного пошли другие. А в какое лето был облюбван сам чердак, значения не имело.

Разговоры того, другого, лета крутились возле физиологии, преимущественно женской. Геле никогда не взбрело спросить у мальчишек, что происходит с их телом. Она замечала, что они растут, только по укорачиванию штанов. Мальчишки тоже прямо не спрашивали ее о том, что жгуче их беспокоило. Инстинкт подсказывал им, что любое несходство разрушит дружбу. Для собственного успокоения Геля, вопреки приобретенным познаниям о деторождении, решила, что все это выдумки, и на самом деле никто ничем подобным просто так не занимается, а болтают из чистого любопытства и праздности.

Саму Гелю в то лето (или другое?) куда больше мучила тайна образования мысли в голове. Она представляла огненные вспышки в мозгу, а иногда — возникающие, как на табло, буквы с текстом, который человек часто не успевал прочесть. Геля недоумевала, как происходит процесс мыслеобразования в безумной голове Аркаши. Или, например, у Гуни. И куда деваются погасшие письма, она тоже не понимала. А о царе Валтасаре еще не прочитала.

Жирного дразнил и мучил Михан. Он был старше остальной компании и в общении позволял себе значительно больше унижительного и обидного.

— Ты че такой жирный? — назойливо-однообразно допытывался Михан.

— У меня расширение кости, — оправдывался Жирный.

— А я думаю, у тебя расширение жопы, — самодовольно и безнаказанно изрекал Михан, ожидая подобострастного смеха.

Когда над его предположениями не смеялись, Михан презрительно удалялся по своим великовозрастным делам. Он уже выпивал с Водищевыми и на этом основании считал себя важной птицей. Наверное, Жирный хотел спрятаться на чердаке от подобных вопросов и намеков, но не выдержал одиночества. В самом скором времени на чердак переселилась вся компания.

— Я Светкины трусы нашел, — начинал Жирный. — В кровиче.

— И что? — уточнял доверчивый Лель.

— А то, что ей кто-то вдул, — без тени сомнения резюмировал Жирный.

— Это совсем не то, что ты думаешь, — пыталась вступить Геля за сестру Жирного, довольно-таки противную, кривоногую и редкозубую.

— Это совсем то, — парировал Жирный. — У баб первый раз всегда кровь. Мне Михан говорил.

Он и в бадминтон так играл: метаться из стороны в сторону было с его весом тяжело, и в каждом уроненном волане он винил противника. Геля подумала, как похожи бустрофедон и бадминтон: отбивание есть зеркало подачи. Разговор о Светкиных регулах, которые подозрительный Жирный принял за дефлорацию, могущую произойти с кем угодно, кроме его сестры, был Геле скучен. Она сама уже ежемесячно страдала по нескольку дней от общей маеты и диких конвульсивных болей в низу живота. Это доставляло кучу неприятностей, особенно в школе, когда однажды протекло на платье. И у физкультурника отпрашиваться было стыдно.

— Ты почему опять не на занятиях?

— Мне нельзя.

— Что нельзя? Вечно придумываешь!

К тому же по всем признакам близилось надевание лифчика, а об этом думать было уже совсем невыносимо. Наташку Булычеву Туренко уже ощупал на этот предмет со спины и во всеуслышание так и объявил:

— Лифчик! У нее сиськи отросли!

Они с Наташкой дежурили по классу, и Геля принялась отгонять Туренко шваброй, которой протирали шершавые полы. Туренко отпихивался, обратным движением Геля заехала Наташке в лоб и осталась виновной. Почти все одноклассники

нарисовали ручкой предмет грудного туалета на фотографии Венеры Милосской в учебнике. Геле, росшей среди женщин, изменения не казались противоестественными. Но признаться во Дворе в своем созревании означало остановить непрерывно струящуюся и перетекающую из строки в строку летнюю летопись. Тревожные чердачные разговоры не проходили бесследно, и Геля теперь даже про Муслима Магомаева иногда допускала мысль, что под концертным костюмом он голый. Муслим! Магомаев! Голый! От такого кощунства ее передергивало сверху донизу, но мысль продолжала преследование вплоть до совершенно непотребных подробностей.

Зато Геля теперь знала, кто живет за стеной, куда выходит окно и кто бродит по тени. Зимой сад был пугающе пуст, а стена покрыта изморозью. Брожения с хрустом и другими неопределимыми на слух тоже были летней приметой.

— Кто это там? — спросила чуткая Геля в одну из ночей.

— Не бойся, — сказала под боком Бабуль. — Это Эмилия Кондратьевна шубы проветривает.

Кондратьевна? Значит, отцом ночной невидимки был тот самый Кондратий, который периодически так же безвидно навещал Бабуль и повышал ей давление? Будь ее отцом хоть декабрист Рылеев, не говоря о том, от кого зависело здоровье Бабуль, имя Эмилия уже носило готически пугающий оттенок, а проветривание по ночам шуб во множественном числе усиливало тревожность. К сожалению, Геля уснула тогда на полуслове. Расспросы начались, когда она, забежав поглотить пару котлет между партиями в бадминтон, застала Бабуль чинно беседующей через окно со старичком в соломенной шляпе с черной лентой и белом парусиновом костюме, похожем на дедов, только много меньшего размера. Он стоял среди затеняющих самих себя зарослей чубушника, периодически приподнимая шляпу и раскланиваясь, хотя Бабуль, кажется, не собиралась ему аплодировать.

— А Соня что? — спрашивала Бабуль.

— Сонечка в Америке, — охотно сообщал старичок.

— А Настя? — допытывалась Бабуль.

— Настя активно сотрудничала с эсерами, — пояснял старичок. — Поэтому когда пришли эти, — старичок снял шляпу, но не чтобы раскланяться, а чтобы отмахнуться от неизвестных «этих», — ей пришлось эмигрировать. Дальнейшая, как говорится, судьба неизвестна.

— Геля, поздоровайся с нашим соседом, — назидательно сказала Бабуль. — Такая встреча, ты подумай!

— Здравссьте, — послушно сказала Геля с набитым ртом.

— Похожа на вас, — стандартно отреагировал старичок. — Но дети теперь такие... как бы сказать... моветонные. А вы были прелестны! Просто прелестны!

— Если бы молодость знала, — сказала Бабуль.

— Если бы старость могла, — радостно подхватил старичок. Они, будто шпионы, обменялись паролем и отзывом. — Ну, кланяюсь. Рад встрече.

На этих словах за спиной у старичка возник кто-то, очевидно, Эмилия Кондратьевна, однако без шуб, зато с двумя котами в руках.

— Подумай, Евгений, — сказала кошководержательница в нос. — Эти сволочи разодрали москитную сетку. Здравствуйте, милочка! — снисходительно приветствовала она Бабуль, не обратив на Гелю никакого внимания.

Москиты в их местности не водились, и в реплике различался колониальный привкус, а предложение подумать перед каждой фразой до сих пор считалось исключительно Бабулиной привилегией.

— Здравствуйте, Милечка, — поприветствовала ее Бабуль как старую знакомую.

Подробности Геля выпытала только вечером — день был перегружен.

— Кто это? — кивнула она на окно в сад.

— С Милей мы вместе учились, — сказала Бабуль с долей мечтательности. — А Евгений Митрофанович за ней ухаживал. Когда-то весь квартал, и наш дом в том числе, принадлежали его отцу.

— И Сто Пятый? — недоверчиво спросила Геля.

— И Сто Пятый. Там, кстати, живет сын комиссара, который их выселял.

Геля кое-что знала о революционной практике не только из школьных учебников. Морковка еще в Туторовском рассказала, как выселяли из дома на какой-то пражке ее свекровь, мать трех морских офицеров, двое из которых погибли на Первой мировой войне, а третьего, мужа Морковки, расстреляли в Новороссийске, хотя он к тому времени и офицером-то быть перестал. А дворник, который занял их квартиру с пряжкой, вывалился пьяный из окна, но, не в пример Феде Водищеву, расшибся насмерть. Вероятно, недостаточно выпил. Другой вопрос, как Евгений ухаживал за Милей, когда, по словам Бабули, их никуда из Института не выпускали. Должно быть, они как-то все же ухитрялись.

— Но у Евгения кое-что осталось — его отец коллекционировал живопись и открыл в городе картинную галерею.

— А почему не отобрали?

— Он всю жизнь работал бухгалтером. С этой профессией при любом режиме не пропадешь. Но ты подумай! — воскликнула Бабуль. — Я до сегодняшнего дня понятия не имела, что они здесь живут.

— И шубы она проветривает с тех времен? — иронически спросила Геля.

— Не смейся, деточка, — печально сказала Бабуль. — Кто много потерял, тот умеет хранить оставшееся.

В один из дней регулярного нездоровья, наглотавшись обезболивающего, Геля сидела у окна, ведущего в сад, и приходила в себя. Перед окном зацвел жасмин, который во Дворе прозаически звали чубушником, хотя Бабуль уверяла, что это не одно и то же. Но Геля смотрела поверх пока еще зелененьких, но уже пахнущих, как земляничное варенье, шишечек на стену, увитую каприфолью, — козьей жимолостью, которая зимой вымерзала и, что ни год, начинала новый рост от корня, цветя и благоухая до поздней осени и превращаясь в плотный ком зелени, перемешанной с несъедобными плодами. Обрезать кустарник хозяевам было уже не под силу. Или просто надоело.

Евгения Митрофановича Геля про себя звала Митрофанычем не из-за неуважения, а для краткости и потому, что ей пушкинское имя казалось не соответствующим фонвизинскому отчеству. У его жены, впрочем, с этим тоже был беспорядок. Митрофаныч вырос из чубушника, будто сидел там в засаде. Он вообще был странный.

— Бабушка дома? — спросил он почти тем же тоном, каким Колян спрашивал: «Геля выйдет?»

— Она варенье варит, — сказала Геля.

— Священнодействие нарушать нельзя, — протянул Митрофаныч. — А что ты читаешь?

Вопросы такого рода раздражали Гелю до крайности, потому что задавались не из любознательности, а в качестве, как выражался дед, проверки на вшивость.

— Вазари, — солгала зачем-то Геля небрежно, хотя читала совершенно другую книгу, написанную в текущем столетии и бойко изображающую его нравы.

— Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих? — неожиданно поймал пас Митрофаныч. — Откуда у тебя? Это достаточно редкая книга.

— От деда, — сказала Геля угрюмо. Номер явно не прошел.

— Ах, да, — сказал Митрофаныч. — Жаль его. Самородок. Истинный русский самородок. Рано ушел.

Геля сделала приличное теме выражение лица, надеясь, что разговор на том и завершится. Но Митрофаныч не отставал.

— А не хочешь зайти ко мне посмотреть тех самых живописцев, ваятелей и зодчих?

— Прямо сейчас? — глупо спросила Геля.

— Прямо сейчас, раз уж ты такая начитанная. Я начитанных ценю.

Геля не помнила, как покидала дом, огибала его и входила в соседние ворота, чугунные, с резьбой поверху, всегда закрытые, которые давно привлекали ее, главным образом, недоступностью. Во владения Митрофаныча и Эмилии она, кажется, перелетела поверх чубушника и обочь обвитой жимолостью стены и очутилась сразу в длинном коридоре, обвешанном по обе стороны картинами, как музей, и подсвеченном вделанными в потолок многочисленными лампочками, напоминающими новогодние гирлянды.

— Смотри, здесь есть настоящие фламандцы, — сказал Митрофаныч, откуда-то оказавшийся рядом.

Поскольку Геля Вазари в глаза не видела, ей пришлось вспомнить, что Бабуль так называла деда, любящего делать запасы. Картины фламандцев были непроглядно темны, и Геля почти ничего не разглядела, кроме какой-то селедки. А Митрофаныч уже бежал дальше, в недра, откуда брезжил дневной свет. Геля, боясь заблудиться и остаться наедине с прожорливыми фламандцами, припустила следом и оказалась в самой натуральной библиотеке со стеллажами до потолка и развернутой многоступенчатой стремянкой. Стол у окна был тоже музейный, крытый зеленой материей, на взгляд мягкой и ветхой. Для имитации кабинета какого-нибудь классика не хватало гусиного пера, зато присутствовал чернильный прибор в виде башенок разной величины.

Митрофаныч забрался на стремянку и достал в полки невиданную папку, обшитую сафьяном, — так Геля, ничего краше не придумав, определила ткань, которой папка была покрыта. Присев на стремянку, Митрофаныч подозвал ее головой, так как руки были заняты.

— Смотри, — сказал он тревожно. — Это рисунок Леонардо. Подлинник.

Не читавшая жизнеописаний Геля, слава богу, знала, кто такой Леонардо, и снизу, из-под стремянки, смутно разглядела переложенный пергаментом листок. Что на нем было изображено, она при всем желании различить не могла.

Митрофаныч поставил папку на причитающееся ей место, спустился и взял со стола книгу — разумеется, старинную, с красивой шелковой закладкой, раскрыл ее, провел ребром ладони по сгибу:

— Сейчас я тебя немного проверю, — сказал он учительским голосом.

«Начинается», — брюзгливо подумала Геля, незаметно нашаривая глазами выход. Перемещения по музейному дому оставались волшебными, и дверь, в которую она вошла, бесследно сомкнулась.

— Восемь лет эту местность я знаю. Уходил, приходил, — но всегда в этой местности бьет ледяная неисчерпываемая вода, — без выражения, как прозу, и не глядя в книгу, прочел Митрофаныч. — Можешь сказать, чьи это стихи? Хотя бы какого времени?

Повезло Геле непередаваемо. В этот самый момент в безвидную дверь, а может, и сквозь стену просочилась Эмилия. Она смотрела на обитателей библиотеки, как смотрят спросонья на грабителей, упаковывающих в скатерть столовое серебро.

— Евгений, — сказала она сдавленно. — Не молода ли для тебя эта особа?

— Милечка, что ты говоришь! — пришел в деланный ужас Митрофаныч. — Это же наша соседка, внучка твоей однокашницы.

— За однокашницей ты, помнится, тоже ухлестывал, — вздымала звук Эмилия.

В этот ничтожный промежуток Геля успела скоситься на обрез книги. Та лежала по отношению к Геле вверх ногами, то есть буквами, но выручила привычка к шпаргалкам, которые приходилось считать и не из таких положений.

— Северянин, — сказала она торжествующе. — Игорь Северянин.

— Молодец девочка, — без всякого восторга, но с нетерпением отозвался Митрофаныч. — Иди домой.

Этого Геля желала и без его советов. Она очнулась на том же месте, где застал ее завязавшийся в чубушнике сосед, словно и не покидала своей жалкой комнаты с печкой и красной тахтой. Из кухни возникла Бабуль в переднике.

— Пора пробу снимать, — сказала она. — Это твоя обязанность.

Геля покорно подошла к коптящей «на коридоре» керосинке, на которой варилось малиновое желе, деревянной ложкой зачерпнула немного сиропа, крепко на него подула и наклонила ложку над тазиком. Сироп с зеркальным отливом стек обратно широкой полосой. Это означало, что варенье близко к готовности. Но Бабуль никогда не ограничивалась одним способом. По ее утверждению, проб было двенадцать, правда, применялись они избирательно.

Геля предпочитала пробу «толстая нитка», когда между пальцев образовывалась серебристая неразъединимая сопелька, но она годилась для клубники и в крайнем случае земляники. Поэтому Геля без лишних слов взяла с кухни блюдце с золотым ободом и осторожно капнула варенья. Через несколько мгновений капнутая лава потускнела, и ее поверхность затянута пленкой, как глаз спящей птицы. Геля тронула пленку, и она сморщилась, точно распаренная подушечка пальца. Третий способ был самый верный. Геля налила в то же блюдце сиропную лужицу, ложкой осторожно провела бороздку, и они с Бабуль вперились в образовавшийся раздел, будто гадальки в кофейную гущу. Бороздка сглаживалась достаточно медленно, чтобы вынести варенье вердикт готовности.

Когда очередь доходила до яблок и айвы, для которых сироп упаривался отдельно, проба носила смешное имя: слабый шарик. Эту ювелирную процедуру Геле долго не доверяли. Много лет подряд она наблюдала, как Бабуль смоченными пальцами виртуозно ловила порцию сиропа, словно бабочку за сложенные крылья, и опускала пальцы в чашку с холодной водой, где сироп свертывался в чуть пенящийся сгусток, из которого после остывания можно было действительно слепить липкий катышек. С прошлого лета Геля научилась проделывать и этот фокус. Но до яблок было еще далеко, и, возможно, все происходило вообще в совсем другое лето.

Посещение музейного дома оставило неприятный осадок, хотя трюк с Северяниным Геле понравился и стихи запомнились. В заветном тугорковском ящике обнаружилась старая хрестоматия с несколькими образцами этого поэта, но все они показались Геле приторно-сгущенными, как слабый шарик.

Тем или другим, но Володя откинулся летом. Легкий, основательно подсушенный тюрьмой, он появился во Дворе в черном рабочем х/б, начищенных справных сапогах и кепке, надетой на особый вызывающий фасон. Металлическая улыбка выдавливалась на щеках ямочки, как у актера Ивашова, витая на его продубленном северными ветрами лице, но не меняя волчьего серо-голубого взгляда. Всем мужчинам Двора стало ясно без слов, что их позиции безвозвратно пошатнулись. Даже Ленья Водищев сбавил обороты и никого не задира.

— Тюремщик пришел, — пронеслось среди старух, обсевших Гунины слепенькие окна. Они не подозревали, что своей неточной атрибуцией наносят новому жильцу самое страшное оскорбление, превращая его из жертвы в палача.

— Тварьфашист, — заклеимила Гуня, впрочем, шепотом и не отваживаясь на «гестаповца».

Сколько и за что Володя сидел и что у кого украл, точно не знал никто. Но принадлежность к касте воров удостоверялась его особостью и непохожестью на местных лояльных разгильдяев. К тому же, в отличие от них, Володя находился в напряженно трезвом состоянии, хотя всегда был взведен, как винтовочный курок, и опасен, как отомкнутый штык того же вида охранительного вооружения, судя по всему, неплохо Володе знакомого. Состоял ли он при этом, учитывая воровские законы, законным мужем цыганки Лидки или поселился у нее между ходками, неизвестно, но отцом взрослого, уже живущего своей темной семейной жизнью Пашки и малолетнего Геньки, унаследовавшего от предков по линии матери ключевые черты ее загадочного племени, похоже, являлся. Генька артистично выпрашивал каждый вынесенный во Двор кусок хлеба, покрытого мокрым сахаром, так, что ему никто не мог отказать, искусно и самоуправно плясал на коллективных празднествах и проныривал туда, куда не звали.

Говорили, что воры не могут иметь семью, потому что для этого надо ставить в загсе печать, а это им кем-то запрещено. С другой стороны, младший Володин отпрыск по срокам мог быть зачат на длительном свидании, куда допускают только близких родственников. Но все это носило характер не более чем произвольных догадок. Точной приметой принадлежности к воровской касте служило лишь то, что Володя нигде не работал и не собирался.

С виду он был открыт, улыбчив и безукоризненно учтив. Для установления теплых отношений играл с мужским населением в домино, так же звонко хлопая завершающей кон костью (прямоугольные плашки с белыми точками он называл «камями») и со сдерживаемым превосходством произносил: «Рыба!» Голос у него был с мужественной хрипотцой. Старухи поначалу беспокоились о своем бельишке, вечно пузыристо сушащемся на протянутых через центр Двора веревках и подпираемом шестью с выемкой сверху во избежание касания земли. От этого белья детвору гоняли как сидоровых коз, чтобы днями не мытые руки, не дай Бог, не запятнали жестко, до синевы, накрахмаленных пододеяльников. Но мужчины внушили неуспынным хранительницам постельных принадлежностей, что воры там, где живут, не тащат, и они мало-помалу успокоились.

К Володе уже начали привыкать и принимать его спокойный перевес. Но Муся Куряка имела обыкновение по ночам бодрствовать и из своего, соседнего с «тюремщиком», подвала усмотрела, что Володя со старшим Пашкой совершают таинственные рейды, возвращаясь с рассветом. Поползли слухи о гомерических ограблениях малочисленных действующих церквей и квартир «торгашей», ничем, впрочем, не подтвержденные. По другим источникам, Володя вел крупную карточную игру в легендарном притоне на Кронштадтской и выигрывал золотые горы. Однако ни его костюм, ни образ жизни его ближних нимало не менялся, на что во Дворе тоже имелись резоны: выигрыши Володя якобы отдавал в «общак», которому задолжал за время отсидки.

То утро долго не разгоралось, пасмурь висела на отцветшем чубушнике и запутанной каприфоли. Мама уже убежала в машину к дождавшемуся ее военпреду. Геля завтракала, глядя в окно, выводящее в королевство проветриваемых шуб, и не знала, как прожить день. Времяборчество со слонянием из угла в угол и праздным висением между тахтой и потолком иногда и летом занимало серьезные про-

межутки. Но острые приступы безраздельного счастья бытия компенсировали их с лихвой.

Она узрела Колобушкина, который шел вдоль жимолостной стены развалисто и длинно, как в кино. За ним семенил низкорослый, судя по шапочке, врач и величаво плыла спутница этого врача, потому что тоже в халате. Медицинские порядки Геля знала по болезни мамы. Не ей принадлежащая посторонняя сила внесла Бабуль. Видимо, это свойство принадлежало всему связанному с законным пространством.

— Ты подумай! Евгения Митрофановича ограбили! — выпалила она. — Мы должны их поддержать в такой момент. Пойдем!

Геля была не прочь поддержать Митрофаныча, но совсем не Эмилию. Волшебство, внесшее Бабуль, истратило силу, и магического перенесения в соседский сад не произошло. Весь полагающийся путь они проделали нормально, пошагово. Чугунные ворота скрипнули с тоской и болью. На крыльце стоял брюнет в костюме и курил.

— Вы куда? — спросил он.

— Видите ли, мы много лет знакомы, еще до революции, — зачем-то пустилась в детали Бабуль. — У меня умер муж, и мы с внучкой переехали к дочери. Случайно оказались соседями. Моя дочь получила здесь жилье после размена. Я просто хотела выразить сочувствие.

— Понятой будете, — мрачно сказал ничего не услышавший брюнет. — Там следственная группа работает. Эксперты. Только не наступайте никуда.

Они миновали коридор с фламандцами. Не наступать не получалось, потому что летать они не умели. Вошли в комнату, где Геля не бывала. На диване лежала Эмилия с одним вывернутым из глазницы, как лампочка, глазом и другим, плотно зашторенным зеницей. Дед еще давно перевел это слово как «веко». Врач измерял лежачей давление, но Геле показалось, что делать этого уже не надо. Эмилия, однако, открыла другой глаз и сказала на insultном эсперанто:

— Э́ни! Э́ни! Абадя́!

— Молчите, больная! — строго остановил ее врач.

Но она продолжала свою немую речь:

— Э́ни! Абадя́!

— Тебе сказали: молчи! — крикнула спутница-медсестра. — Доктору тонов не слышно.

Эмилия затихла, хотя точно не поняла смысла сказанного. В комнату вошел Митрофаныч в шляпе, как будто в ней спал. Он посмотрел на Бабуль и Гелю как на вечно присутствующих здесь.

— У Мили удар, — сказал он.

— Как это случилось? — задала Бабуль не самый важный вопрос.

— Влезли, скорее всего, через дымоход, — сказал Митрофаныч, хотя его спрашивали про удар. — Все перевернули. Я почувствовал чужих, закричал, спугнул их. Но и Милечку напугал до полусмерти... Или до смерти, — Митрофаныч сел на какой-то крохотный пуфик и заплакал.

— Женя, — сказала Бабуль. — Ты должен держаться.

— Зачем? Сколько можно держаться? — спросил он, оторвав от лица руки. — Всю жизнь только и делаю, что держусь непонятно за какие поручни. Я давно все ценное передал в галерею. Если и взяли, так ерунду, копии. Невезьды!

«А Леонардо?» — подумала Геля, но вслух не повторила.

Эмилия на диване выдавила протяжнее, чем раньше, неразгаданное: «Абадя-а-а!», задергалась. Вывернутый глаз внезапно встал на место, черты разгладились, и Геля подумала: «Это смерть?», но спросить не решилась. С крыльца вернулся накурившийся брюнет.

— Девочка, — обратился он к Геле. — Иди домой, нечего тебе тут.

Геля, сутулясь, пошла вон и снова не помнила, как попала во Двор. Колобушкин уже был там и сомнамбулически двигался за сараи, подтверждая, что телепортации возле Митрофанюча подвержены и органы правопорядка. Двор был жутко пуст, и Геля слепо следовала за участковым, чтобы не оставаться в этой пустоте. За сараями, кольцом обвив помойку и сортир, сплотились почти все взрослые, а также Жирный, и Светка, и Лель с Люлем, и Колян. Генька увидел Гелю и приоритетно сообщил:

— Папка удушился!

Из средней двери сортира два младших милиционера вынимали негибкое тело. Один из них держал под мышкой кепку. Володину кепку. «Смерть ходить каждый день», — вспомнилось Геле Данилино. «И не по одному разу», — добавил в ней кто-то незнакомый.

— Он, вишь, подумал, что на него подумают, — умозаключал печник Новиков.

— А на кого ж еще? На тебя, что ль? — злорадствовала жена Новикова.

— Тюрьма — не мать родна, — сипло философствовал Усач. — Кому ж туда охота?

— Да что мы знаем! — сомневалась Кривая, знающая всегда все про всех.

Володю за ноги и под мышки отнесли в сторону и сложили на чахлую траву. Подошел давешний брюнет, наклонился над телом.

— Жаль, — вырвалось у него. — Теперь точно глухарь.

«При чем тут глухарь?» — подумала Геля, как всегда, откликаясь на слово независимо от обстоятельств его произнесения.

— Ага! — торжествуя сказал Новиков. — Не стал ждать, когда на него повесят, — вперед вас повесился.

— Ты помолчал бы! — твердо и задумчиво сказал Колобушкин. — Разошлись все живо!

Никто не расходился. Пришел врач, меривший давление умирающей Эмили. Встал перед Володей на колени, поколдовал.

— Готов, — кивнул Колобушкину. — Густо сегодня как-то.

Дождаться труповозку Геля не стала. Вернулась домой и до прихода Бабуль сидела у Кости, смотрела на рыб, в спокойном состоянии висящих среди водорослей, как елочные игрушки, и слушала гудение компрессора, превращавшего воду из стоячей в проточную. Костя говорил: «аэрация». Он кормил Гелю бутербродами и умело, незаметно молчал. Так повелось с тех пор, как Геля повадилась наблюдать за обработкой Костиных фотографий.

Она полюбила этот таинственный трудоемкий процесс с участием многих предметов: односпирального бачка, удивившего ее при знакомстве, термометра, литровых банок для промывки пленки, которые Костя одалживал у Бабуль и наклеивал на них бумажки с химическими надписями, мензурки, аптекарских весов для правильного отмеривания химикатов, щипцов для отжима пленки. Слова «проявитель», «закрепитель», «стоп-раствор», «фиксаж» и назначение носителей этих слов успели усвоиться. Костя постоянно сетовал на отсутствие светонепроницаемого рукава. Но Геля привыкла к приспособленной для наматывания пленки старой куртке с подвернутым низом и воротом, куда Костя запускал по плечу свои длинные руки.

Он никогда не был доволен снимками и всегда находил причину неудачи.

— Экспозиция неверная, — морщил Костя свой тонкий нос.

Или:

— Недопроявка налицо.

Или наоборот:

— Перепроявил, идиот!

Он не жалел для себя обличений. А для Гели качество фотографий значило мало — лишь бы можно было догадаться, дерево или человек, как в том первом телевизоре. Но Костя показывал ей альбомы знаменитых фотографов и некоторыми снимками восхищался до стонов и заламывания рук.

— Что делаешь, делай хорошо, — его любимая поговорка к искусству фотографии пока не относилась, но Костя, в отличие от Гели, любил учиться. А Геля любила знать заранее и потом только проверять.

Бабуль пришла уже затемно.

— Опись имущества делали, — устало сказала она. — Бедная Милечка! Революцию пережить легче. Там все в той или иной степени заражены варварством, и опасность повсюду, она непрерывна. А здесь не знаешь, с какой стороны и когда ждать...

На следующее утро подвал был пуст. Лидка с Пашкой и Генькой исчезли бесследно. Больше там не поселялся никто, и никто суеверно не входил внутрь. Митрофаныха на фоне стены после похорон Эмилии не возникал. Бабуль иногда носила ему суп в бидончике и по возвращении качала головой и шептывала. Образки Спасителя, Матери Божией и Николая-угодника она развесила открыто. То ли устала бояться, то ли что-то изменилось в атмосфере, Геля не знала.

IV

Тем летом (или другим?) Геля отошла от роевой жизни. Она бродила по городу и познавала ногами не только дорогу до школы или измеренные велосипедом маршруты. Город открывался неохотно, утаиваясь в плотной завеси листвы, тяготеющей по мере протекания летнего времени к зелено-морской насыщенно-плотной окраске, потом покрывающейся пылью, как айва волосками. Моря Геля не видела, но часто представляла. Или вспоминала. Или оно ей снилось. И города она словно тоже не видела раньше, хотя отдельные фрагменты знала со слов Бабуль по ее бесконечным «бывший», «бывшая», «бывшее». Теперь все связалось, и из-под привычных контуров проступали совсем иные черты иного города. Геля без труда разыскала домик на бывшей Дубовой, где проживала юная Бабуль, где играли тихую свадьбу и где умирала от тифа тетка. После Маши, Эмилии и Володи Геля относилась к смерти с новым томительным и почти нежным чувством, но видеть ее вблизи желания по-прежнему не зарождалось. И осени она теперь не боялась в связи со школой и понимала, что лиственная желтизна — это седина стареющих и умирающих к зиме деревьев. Только деревьям дано воскресать, а людям это свойство так и не привилось, зато сохранена надежда.

Домик был как домик, ничуть не изменившийся. Но влекло Гелю почему-то соседнее строение, весьма немного отличное от свадебного — такое же приземистое и остойчивое. Геля часами сидела перед фасадными окнами на скамье с удобной спинкой, ограждаемой двумя липами, смотрела вверх сливающегося с древесной зеленью дома и забора на жестяную крышу и проникалась ожиданием незнамо чего. Так продолжалось день за днем. Город погружался в жару, изредка разряжаемую коротким ливнем, когда ожидательная скамья покрывалась крупными нерасходящимися каплями, и приходилось усаживаться на спинку, затем вытирая за собой следы сандалий, а крыша и водосточная труба с раструбом гремели срочной, быстро иссякающей музыкой. Бабуль рассказывала о духовых оркестрах, которыми город был славен когда-то, и до Гели через дождь будто долетали дыхательные звуки той, другой музыки. Зелень лип делалась постепенно малахитовой, с желтоватыми прожилками, преодолевшее толщу туч солнце охотилось за каждой каплей, и скамейка просыхала неровно, пятнами.

Электромеханик Зайцев очутился рядом с ней, словно никуда не уходил отсюда все минувшие годы. И разговор между ними не завязывался со сбивами, а продолжался с бережно сохраненной точки. Откуда пришло знание, что он именно электромеханик и как его фамилия, Геля не знала и не хотела знать, но профессия старика с преувеличенными лысиной ушами отчего-то была важна и значима, а мизерабельная фамилия будто написалась готовой в ее голове.

— Эх, не поспел я на похороны, — говорил Зайцев с досадой. — Тут ведь откуда узнаешь-то? В газетах не пишут, по радио не объявляют. Потом уж наш прихожанин сказал, когда из Симферополя вернулся.

Кого хоронили в Симферополе, Геля тоже понятия не имела, но твердо знала, что это вскоре выяснится.

— Говорил, там что творилось! — продолжал Зайцев. — Хотели его окраиной провезть, так женщины на дорогу легли, и все равно вышло через центр.

— А вы его откуда знали? — осторожно, с подвохом спросила Геля.

— Владыку-то? — Зайцев посмотрел на такого несведущего человека с жалостью. — Так он жил у меня. До самого отъезда в Крым и жил. В архиерейские покои не въехал. А что? Комната сухая, теплая. Тихо, мирно. Я всегда на подхвате. И храм близко. Тебя ведь тут крестили? В Покровском? — спросил осведомленный Зайцев.

— Тут, — ответила она, вдруг вспомнив то, чего помнить никак не могла, — потертые поручи на державших ее крупных свежих руках.

— Ну и вот, — продолжал Зайцев. — И с Фоминым вся история на моих глазах разворачивалась.

Фомина Геля, как ни силилась, восстановить не могла и решила на новый вопрос:

— А Фомин этот — кто?

— Ну, как кто? — удивился Зайцев. — Кассир. Часы у нас на клиросе читал.

Геля окончательно смешалась и подумала, что если слушать внимательно, то, может, прояснится и с Фоминым.

— Чтец из него был как из кран-балки лебедка. Бывало, половину слов перепутает, а другую перевернет. И вот владыка ему одно замечание, другое. Да Часословом махнул и задел того Фомина по уху. Фомин в истерику, да вон из храма. И перестал ходить совсем. А жил на Полынках. На самой крайней окраине. Владыка крест и панагию надел — да к нему через весь город потопал. Прощения, стало быть, просить. А тот ни в какую, до того обиделся. Дверь не открыл — это архипастырю-то!

— Ну и дурак! — сказала Геля.

— Вот ты старого человека дураком честишь, а владыка не погордился, еще раз пошел. И еще. Так Фомин и корячился вплоть до отъезда владыкиного. Под конец уж только простил. Во как!

— А куда он отъехал? — Геле неловко было спрашивать глупости, но иначе становилось уж совсем безумно.

— Так в Симферополь же! — удивился Зайцев. — Перед отъездом уполномоченный сюда приходил, Медведев по фамилии. Говорит: «Вы уж, гражданин Войно-Ясенецкий, не поминайте нас лихом...» А владыка: «А вот уж нет: не забудем ни-ко-гда». Раздельно так сказал, отчетисто. Никого не боялся, кроме Бога. А уж как мытарили-то!.. Еще прославят его, помяни мое слово.

Зайцев ушел незаметно. То ли Геля задумалась так крепко, то ли привиделась ей вообще эта беседа. Вспомнилась. Приснилась. Но она никогда не слыхивала чудную фамилию Войно-Ясенецкий. Чтобы выяснить у Бабуль, пришлось рассказать ей об электромеханике.

— Ты же там рядом жила, сама рассказывала.

— Я там жила задолго до этого. А во время войны мы с твоей мамой жили на другой улице — Гоголя. Но на архиерейской службе я присутствовала. О, как владыка был прекрасен, как величествен! — голос Бабуль словно надтреснул.

— Гоголя — бывшей какой? — привычно спросила Геля.

Бабуль усмехнулась.

— Представь себе, ее не переименовали, — сказала она с непередаваемой интонацией.

— А что было страшней — революция или война?

— Сама посуди. В войну все знали, кто враг. А в революцию — еще надо было разобратся и выбрать. А выбрав, одних оправдать, других возненавидеть... Давай-ка с тобой сходим к этому Зайцеву. Мне хочется с ним поговорить.

Дом стоял на месте. Но жильцы в изумлении от Зайцева отнекивались. Только одна тетка крепя сердце подтвердила:

— Да, жил тут такой, бывший владелец. В церковь все шастал. Помер он.

— Давно? — спросила Геля на всякий случай.

— Да лет десять тому, — неуверенно сказала тетка.

Они с Бабуль слитно молчали, шли по Комсомольской, бывшей Дубовой, к набережной.

— Ты не удивляешься, — констатировала Геля. — Думаешь, я сочинила все?

— Как ты могла такое сочинить? Давай-ка зайдём в храм, пока чудеса не кончились.

— Ты думаешь, это чудеса? — переспросила Геля.

— А что я, по-твоему, должна думать?

Геля не ответила. Они дошли до Покровской церкви, и Геля наотрез отказалась заходить внутрь, потому что у нее не было с собой платка на голову. Порядки здешние она от Бабуль знала.

— Ты иди, — сказала она. — Я здесь побуду.

Бабуль перекрестилась и вошла. Посреди двора стоял Аркаша в дедовом пиджаке.

— Мелифлютика все, — сказал Аркаша. — Там, — показал он вовне, за ограду.

— Я в курсе, — сказала Геля солидно.

Поискала, где присесть. В глубине церковного двора, под обширным дубом, стояли уютные лавочки. Геля поместилась рядом с бабушкой, держащей на коленях сумку.

— А как Его мытарили! — воскликнула бабушка, словно продолжая речь электро-механика Зайцева. — Как мытарили!

Геля постановила, что речь снова о владыке, дравшемся книгой, и прислушалась.

— У них в плетки кожаные были шарики свинцовые вшиты, — поведала бабушка. — Так они с каждого ребрышка Ему кожу сняли.

Нет, передумала Геля. Наверное, она о своем сыне рассказывает. Но кто же его так мучил? Фашисты?

— А Он, сердешный, застонет тихонечко и смотрит на них ласково. От Его взгляда они с ума потом рехнулись.

— Вы про кого? — наконец поинтересовалась Геля.

— Про Христа, Спасителя нашего, — громкозвучно объявил подошедший Аркаша. — Остальное — мелифлютика!

Старушка порылась в сумке и достала два заскорузлых пряника с облезшей глазурию. Протянула Аркаше и Геле, поклонилась и пошла. Через дыру в сумке закапали монеты — только не в снег, а на подметенную церковную дорожку. Гелю ударило в сердце прозрачным ножом. Она бросилась подбирать денежки, низко наклоняясь за каждой и выпрямляясь, чтобы не потерять старушку из виду. Самой страшной для нее была бы сейчас эта потеря. Старушка шла ровно и неспешно, но догнать ее почему-то стоило изрядных усилий.

— Возьмите, у вас упало, — сказала запыхавшаяся Геля.

— Спаси Христос, деточка, — пробормотала старушка. — Совсем сумка-то прохудилась. Спаси Христос!

Геля остолбенела и долго рассматривала свои руки, как будто к ним могли прилипнуть монетки. Из храма вышла Бабуль — юная, в форменном платье, белоснежном переднике, шляпке и пелеринке — вместе с похожей на нее, только более кудрявой и веселой барышней.

— Познакомься, это Геля, моя подруга, — как ни в чем не бывало сказала Бабуль. — Мы собираемся к Конраду поесть мороженого. А потом в летний сад слушать духовой оркестр. Хочешь с нами?

Геля замотала головой, то ли отказываясь посетить несуществующие кондитерскую и летний театр, то ли стряхивая дореволюционное наваждение. Прояснившись зрением она вдруг увидела, что Бабуль — настоящая — сильно постарела, погрузнела, припадает на ногу и носит очки в коричневой черепаховой оправе. И что волосы, выбившиеся из-под платка, у нее белые и легкие, как тополиный пух.

Геля вернулась во Двор — не на территорию, а к образу жизни, изредка навещающая дом на Комсомольской. Электромеханик Зайцев больше не воплощался. Про владыку Войно-Ясенецкого Бабуль рассказала ей все, что знала, и Геля обнаружила, что учится в здании, где он оперировал раненых и куда раньше приходил к другим раненым царь.

Пучеглазая, дочь Кривой, объявила, что расписывается. По общественному мнению, она засиделась в девках до неприличия. Но еще более неприличным показался ее избранник Олег. Он был моложе невесты лет хорошо на пять, высок и мосласт. Волосы у него росли ежом, что было неподменным признаком женолюбия. А с нареченной они, по выражению дворовых активисток, жили до свадьбы, поскольку Олег некоторое время назад переселился в подвал из общежития с чемоданом средних размеров.

То — или другое — лето и было озаглавлено радиолой «Серенада». Совместно с бадминтоном, сохраняющим выигрышные позиции, это приобретение вдвое повысило Гелины дворовые акции. Все карманные деньги теперь оставались в магазине «Мелодия». Пренебрегая загрязнением жилья, окна на Карлушку были распахнуты настежь, и когда из них доносилось душераздирающее: «Маруцелла, Маруце, тэ мисо динта льоч ё марэ» или паллиативный молдавский «Норок» заводил нетленное: «Де че плынг китареле, тиу дор фернареле», сам красавец и самец Агламазовский гвардейским шагом переходил улицу и благосклонно высился несколько минут, обратив голову датского дога или египетского бога навстречу сладостным звукам.

Вытаскивать радиолу во Двор категорически запрещалось, да и весила она тяжело. Но танго «Маленький цветок» и «Серебряная гитара» насмерть сразили жёниха Пучеглазой Олега. Он остановил Гелю в воротах и умоляюще попросил:

— Слышь, одолжи пласт на пару дней. Я маг у друга возьму, перепишу.

«Маг» и «пласт» были из нового лексикона, и Геля оценила это по достоинству. Мечтать о несбыточном магнитофоне «Яуза-10» она себе запрещала. Но не содействовать прогрессу, а тем более чужому счастью не могла. Пожертвовать Джордже Марьяновичем и Яношем Коошем еще куда ни шло. Но божественной красоты борца за мир Дина Рида отдать в чужие руки было равносильно сдаче Москвы Кутузовым, а лишиться на день Джанни Моранди с его «Джунга-джунга-джун» сопоставимо с потерей глаза, если не обоих. Дружеский магнитофон, видимо, оказался норови-

стым, и через пару дней Геля, превозмогая себя, словно Орфей во ад, сошла в подвал Махи Кривой. Олег как раз завершал процесс записи: пленка на яузной бобине подходила к своему беленькому кончику.

— Заходи! — радостно сказал Олег. — Финиширует.

Он занес руку над тумблером и ровно в нужный момент вырубил гудящий и пощелкивающий агрегат.

— Звук офигенный! Слуханем?

Отказаться Геля не смогла — такими соблазнами искушают не каждый день. Херувимские аккорды «Серебряной гитары» полились из пятнадцатикилограммового чрева при поддержке четырех с половиной кило выносных громкоговорителей. Джаз-секстет Томаша Балаша с умопомрачительными соло фортепьяно и сакса кружил голову и туманил взор.

— Потанцуем? — просто предложил Олег. — Че вхолостую такую роскошь гонять.

— Я танго не умею, — призналась Геля, опасаясь насмешки.

— Да ладно! — успокоил Олег. — Я тоже не из Аргентины. Школа горсада.

Он вытянул руку Гели на всю длину, обхватил талию другой рукой и резко пошел на раз-два-три. Геля интуитивно и послушно заперебирала ногами. Ее голова плыла отдельно на уровне подмышки партнера. Олег незаметно выдвинул их стихийный дуэт в сенцы, и в тот момент, когда он переломил Гелю в пояснице и откинул назад, как полагалось по ходу танца, в темноте мелькнуло и резко погасло пестрое платье Пучеглазой, как будто она обесточила внутреннюю проводку. Геля вынула себя из рискованной позы, но Олег не успел — или не захотел — отпустить или хотя бы опустить ее вытянутую руку.

— Это что? — спросила Пучеглазая, как будто негаданно ослепла.

— Это маленькая репетиция, — находчиво сказал Олег.

Геля уже успела вырваться и метнуться в комнату за пластинками, сложенными стопкой рядом с «Яузой». Пучеглазая ворвалась следом, но опередила Гелю за счет нервного подъема. Она подняла тяжеловесного первенца звукозаписывающей техники легко и празднично, словно торт «Сказка», и, для начала опустив его, как пресс, на пластинки и дождавшись взаимосвязанного хруста, вырывая вилку вместе с розеткой, шваркнула магнитофон об пол.

К вечеру Геля приняла решение утешиться прогулкой и в воротах увидела Олега с чемоданом средних размеров.

— Дура она, — сказал Олег, обернувшись, и пнул оконную раму бывшей невесты, находившуюся на уровне его голени, благоразумно не задевая стекла. — Старая притом. И погреб ее гребаный... — повернувшись к Геле, добавил: — А мы еще станцуем! Вот подрастешь чуток — и дадим джазу.

Геля кивнула, хотя танцами с Олегом была перенасыщена и предвкушала предстоящую гомерическую оценку события Двором, почему хотела выскользнуть на улицу незаметно. Идти вслед за Олегом было глупее некуда, и она вернулась домой. Но сидеть и ждать, когда возвращающейся с работы маме нажалуются на разрушенное с помощью танго личное пучеглазое счастье, было еще глупее. Геля взяла бадминтонные ракетки — самое дорогое из того, что у нее осталось после утраты Дина Рида, и — была не была — вышла во Двор, рассудив, что лучше принять удар на себя, чем встретить его отраженным маминой истерикой, а потому двойным.

На бадминтон отреагировала Светка Новикова. Играть с ней Геля не любила: Светка, в соответствии с фамилией, так и не поднялась над уровнем капризного новичка, оспаривающего каждый свой промах, как смертный приговор, но за отсутствием выбора смирилась и кинула ей кость самой примитивной подачи. Дворовые Марии варганили ужин своим Светам из продуктов, добытых в семнадцатом, до вечер-

него подкидного оставался примерно час, и отложенное обсуждение Гелю устраивало. Но с чердака неспроста спускался по подламывающейся лестнице неповоротливый Жирный.

— Уделал тебя Олежка? — без обиняков спросил он. — Ну, держись! Пучеглазая с тебя не слезет.

Любое его заявление по определению было двусмысленным.

— Отвали, козел, — сестрински приветствовала брата Светка.

— Сама отвали, — не растерялся Жирный. — Я матери все расскажу, с кем ты по ночам обжимаешься.

Он нерасчетливо приблизился к играющим, и Светка, слегка изогнув стан, с чувством треснула сплетника ракеткой по необъятной заднице. Геля внятно услышала второй за сегодняшний день хруст — оплетенного по внешнему краю ободка. Ракетка надломилась, точно тоже танцевала танго, и струны обвисли, как бельевые веревки. Жирный заржал, тряся животом.

— Ой, — виновато сказала Светка. — Ничего, я изолянткой заматаю.

Геля в молчании проводила взглядом ракетку в последний путь и поплелась к дому. Вторично в Польшу мама не собиралась, но безвинный удвоенный просчет заледенил Гелю, как некогда смерть деда. Поэтому встреча с Махой Кривой уже почти ничего не добавила в копилку нынешних потерь.

— Сволочь такая! — коротко сказала Маша. — Шлюха малолетняя. Вся в мать! Чтоб вам счастья не было, как вы чужое разбиваете.

Геля два дня просидела взаперти, ссылаясь на недомогание, но повторить свою эскападу маме Кривая, кажется, так и не дерзнула. Единственное, за что Геле досталось, это кувшин с питьевой водой, который она выпустила из рук, в очередной раз воспроизводя про себя проклятие Махи. Геля вполне могла успеть подхватить его на лету, но равнодушно проследила траекторию падения, не принимая никаких мер. В голове ее слово «сволочь» само собой заменялось на мелодичное «своллоу» — ласточка. В то (или другое) лето Геля занялась английским: пора было научиться понимать, о чем поют «битлы» на рентгеновских снимках или как борется за гражданские права Джоан Баэз на голубых выдержках из новомодного журнала «Кругозор».

Пучеглазая вскоре завербовалась на север, где женихов было хоть ведром черпай. К пластинкам Геля не охладела, но репертуар сменила бесповоротно, и ее новые музыкальные пристрастия никого, кроме Кости и Бабуль, не заинтриговали. Втроем они без комментариев слушали теперь Моцарта, Гайдна или Вивальди и в память о деду оперу «Отелло» на итальянском, единственно пригодном для оперы языке. Когда доходило до «Крэдо ин ун Дио крудэль», Бабуль пускала слезу. Костя ни разу не спросил о причине. Он становился все безмолвней, уклончивыми манерами все более уподоблялся своим рыбам. Пластинки быстро заезживались, пере-скакивали по нескольку тактов или, наподобие Аркаши-мелифлютики, повторяли одно и то же, и постоянной заботой Гели стало прочищение головки звукоснимателя и добывание новой корундовой иглы.

Валентин по прозвищу Сильвер причитался зятем Сомовой Марусе. Старинный фильм «Остров сокровищ» с песней «Если ранили друга» смотрели по сто раз, а у Валентина не гнулась правая нога, потому его так и прозвали. Марусину дочку, вопреки правилам, вообще звали Ираидой, а внучку Аллой, и обе страшно во-ображали, потому что единственные из дворовой родни приезжали в гости на собственном автомобиле «Москвич-408», а не на городском транспорте: мясо, носимое в штанах Ваней Сомовым, давало стойкий побочный доход. Курсант артиллерий-

ского училища Валентин имел ко Двору косвенное отношение: приходился другом ухажеру Светки Новиковой, несколько раз заявился вместе с ним в увольнение и резался с Гелей в бадминтон еще не сломанной ракеткой самым отчаянным образом. Сильвер тоже не чурался побросать волан и, несмотря на увечье, был маневрен и скор.

Геля обращала внимание на Валентина-Сильвера лишь постольку, поскольку он владел собственными ракетками, причем дюралевыми, повредить которые было сложно даже об задницу Жирного, и таким образом игра снова пошла на подъем, а на Валентина-курсанта — потому, что он вдруг чем-то покори́л нелюдимого Костю и стал проводить увольнительные с рыбами, порой сталкиваясь с Гелей в общей кухне и выходя за ней на крыльцо покурить. Разговора с курсантом не получалось. Геля не разбиралась в артиллерийском деле, а Валентин не читал энциклопедии и не знал, кто написал «Мастера и Маргариту». Журнал с публикацией достался Геле дуриком: она взяла его в читальне горсада со стенда новинок и обратно не вернула, спрятав на выходе за пояс юбки. Этот грех мучил ее значительно меньше, чем копейки из старухиной сумки.

В то (или другое) лето умерла Дуся, одна из мышинных сестер. Похорон Геля избегла — она устала от смертей, как замшелый Данила. Но через некоторое время Бабуль сказала с легкой укоризной:

— Туся ужасно страдает. Близнецы плохо переживают разлуку, а уж смерть одного — и подавно. Ты бы ее навестила. Она спрашивала о тебе.

Геля безрадостно собралась в покаты́й дом, купив заранее в Толмачевском печенье «Юбилейное» в красно-желтой упаковке. Она не обратила на марку печенья ни малейшего внимания, но дотошная Бабуль, приставив к очкам складную лупу в металлической оправе под бронзу, изучила на обертке каждую букву.

— Подумай! — воскликнула Бабуль с торжеством. — Они украли рецепт «Юбилейного»!

— У кого? — флегматично спросила Геля.

— Я его в последний раз видела, когда мамантовцы продукты раздавали, — Бабуль оживилась, заминая ответ. — Фабрика «Сиу и Ко» его выпустила к трехсотлетию Дома Романовых. Потому и «Юбилейное».

— Ко? — озадаченно повторила Геля.

— Ну да. Компания. А они, видно, решили к пятидесятилетию Октября отличиться. Но ничего нового придумать не смогли. Взяли хорошо забытое старое. Но не всеми забытое.

— Давай я это оставлю тебе, — предложила Геля. — А Тусе еще куплю. Двадцать две копейки стоит. Это же не дорого.

— Не надо, — отказалась Бабуль. — Я тот вкус помню. И сравнивать не хочу.

Геля пожала плечами и поехала. По дороге подсчитывала, какие вкусы помнит она. Получилось немного. «Айвинское» варенье непобедимо занимало первую строчку. Вторую — редкостные консервы «Сайра». И, конечно, торт «Наполеон», который Бабуль пекла на мамин день рождения. При этом Геля разумела, что Бабуль имела в виду совсем иное, но сайры, если бы позволили, съела бы целую банку. Нет, две!

Туся — боком к искривленному окну — распускала что-то вязаное. Пальцы у нее были заклеены лейкопластырем, давним, не очень чистым.

— Кофточку вот перевязываю. В третий раз уже, — сказала Туся, не здороваясь.

Насыщенно помолчали.

— Ты, говорят, читаешь много? — оторвалась Туся от сматывания клубка. — Знаешь такого писателя — Экзюкери?

— Де Сент-Экзюпері, — поправила Геля, Делать это было ей против души, но аристократическая фамилия автора «Маленького принца» казалась ей неприкосновенной. Вообще-то она уже усвоила, что не только ошибаться в произношении, но и не знать чего-то — не позорно.

— Дуся все хотела его почитать. Мы по радио постановку слушали, — сказала Туся.

— Я вам принесу, — пообещала Геля, понимая, что обещанием вынуждает себя прийти сюда снова. — У меня журнал есть.

О том, что журнал, тот же, где «Мастер и Маргарита», преступно заныкан, Геля, естественно, умолчала. Книги она в разряд воровства не вносила.

— Давай! — безжизненное лицо Туси ненадолго воспряло. — Хочешь, я тебе поиграю? — Туся отложила пряжу. — Я после Дуси за инструмент не садилась, но вдруг захотелось. Благодаря тебе.

Единственное, чего Геля хотела, это поскорее сбежать от безысходного отчаяния, которое сочилось из каждой щели покатога дома. Но подлости отказать у нее не нашлось.

— Вам не больно будет? — на всякий случай спросила Геля.

Туся вытянула растопыренные пальцы и словно впервые их оглядела.

— Это я окно взялась мыть. Разбила, порезалась. Мне надо чем-то себя занимать, понимаешь?

Туся вдвинула Гелю к стене за роялем и уселась на стоявший без малого в коридорчике табурет. Довольно долго разминала суставы рук, задумывалась, откидывалась на табурете и снова ложилась грудью на крышку. Геля истомленно ждала. Наконец крышка была откинута, а руки положены на клавиатуру.

Живой музыки Геля никогда до этого не слышала — только по радио и с пластинок. Сначала она отвлекалась то на мышинный профиль Туси, то снова на залепленные пальцы, но постепенно звуковые волны втянули ее в ритм приливов и отливов, близость исполнителя перестала мешать, и Геля пала на эти волны и закачалась, попеременно наполняясь то великим покоем, то сладостным и чистым возбуждением.

Туся играла, расходясь руками и сплавляясь с музыкой сердцем, и пластырь на ее пальцах розовел, потом плотно краснел, оставляя полосы на желтоватых клавишах, будто под ними сидел тайный кот и планомерно драл пианиста. Геле становилось страшно и высоко, и когда музыка кончилась, ее заметно потряхивало. Она не спрашивала имя композитора, потому что оно не имело значения — наоборот, анонимность укрепляла тайну внесловесного искусства.

После остужающей паузы Геля сказала:

— Давайте я вас перевяжу.

Они отмочили пластырь, подсушили кровь, и Геля старательно и неумело обматывала каждый Тусин палец тряпочками — бинта не нашлось — с новым для себя чувством жгучей бережности. Долго пили чай с печеньем, и Геля пересказывала «Планету людей», как сама поняла. Покатый дом сделался ее частым пристанищем.

Геля вернулась поздно вечером, успокоила вечно волнующуюся Бабуль и отпросилась ненадолго во Двор — ей не терпелось понизить высоту, которой она достигла так легко и негаданно, хоть глупыми анекдотами про Чапаева. На крыльце сидел курсант Валентин, свесив голову до колен. Когда он встрепенулся, Геля увидела, что Валентин выпил. О том, что человек такой, какой он пьяный, она не забывала. Валентин поднялся навстречу, схватил ее выше локтей и мокро поцеловал в губы. Музыка еще не совсем умолкла и поцелуев с артиллеристом не содержала, тогда как Чапаева допускала без возражений. Геля вывернулась и, сбегаая с крыльца, проскандировала:

Держись, мой мальчик, на свете
 Два раза не умирать!

Курсантское достоинство и степень опьянения не позволили догонять ее, на что Геля и рассчитывала. На киноплощадке собралась вся компания, но среди, как выразилась Гуня, «шепаны» и «тварей» Геля увидела Сильвера. Он восседал, положив негнушающую конечность на лавку переднего ряда.

— Чего он тут? — шепотом спросила она Жирного.

— С бабой поругался, — на пониженных тонах открыл Жирный. — Наказывает.

Наказание, очевидно, заключалось в неприсутствии на семейном ужине с последующим отлыниванием от ночевки у тещи. Машины видно не было. Сильвер между тем что-то рассказывал, и ему внимали. Заслужить внимание Двора было не так легко, и Геля прислушалась.

— Главное, Керн запретил Мари трогать кран. Иначе, мол, голова немедленно умрет. Но голова мимикой показала Мари, что это ерунда. Ей и хочется, и колется, но в конце концов кран она отвернула. Раздалось шипение, и послышался слабый голос — голова заговорила! Тогда-то Мари Лоран и узнала подробности оживления. Этот Керн был ассистентом профессора, тоже хирургом. А у профессора астма, и во время операции случился приступ. Когда он очнулся, отдышался, то видит — тела нет. Керну только мозг его был нужен. Доуэль сотрудничать ни в какую не хотел, а Керн через голову ток пропускал.

— Во гад! — не выдержал Колян Водищев.

Геле немедленно вспомнилась Эйвазовна, оставившая тампон в мамином животе, и впервые она посмотрела на Сильвера с интересом. Лицо у него было меленькое, как и вся фигура, смазливо-игрушечное, но волосы богатые, курчавые.

— А Керн еще двух оживил. Один рабочий, под машину попал, а другая — певичка в кабаке. Профессор всегда головой работал, а этим двум скучно, делать нечего, головы пустые. Ну, Мари их, как может, развлекает, кино крутит. А певичка все просит Керна, чтобы ей тело пришел. Тут Керн просек, что Мари с профессором беседы ведет и журналы ему показывает.

— С бабами голыми? — оживился Жирный.

— Сам ты голый! — осадил его Сильвер. — Медицинские.

На этом месте Геля перехватила взгляд Сильвера. То (или не то) лето запаздывало, словно задержалось на другой работе, и Геля не снимала гранатового плаща из искусственной кожи с охристым кантом по воротнику. Плащ мама достала из-под полы — битва за каждую вещь прикрывалась этой полкой, возмещающая унижения. Плащом Геля законно гордилась: такого не было ни у кого. «Эпоха Валентино», — подумала Геля, читавшая журнал «Советский экран» от корки до корки. Она давно поняла язык таких взглядов, но почему-то именно сегодня, после музыки, ответила Сильверу, а не отделалась отводом глаз.

— Вот пусть Геля дальше расскажет, — скромно уступил пальму Сильвер. — Она наверняка читала.

Трехтомник Беляева Геля вправду прочла у отца, и уже довольно давно. Но от Сильвера таких познаний не ожидала.

— Ну ее! — возразил Жирный. — Она непонятно рассказывает. Половина слов нерусские.

Геля вдруг физически почувствовала резкое и само по себе несимпатичное отчуждение и поняла, как книги, музыка, электромеханик Зайцев, церковный двор и даже дурочка на ослике отделили, откинули ее от Двора. Она повернулась спиной к ком-

пани и тихо пошла в направлении ворот. Одиночество, связанное с отлучками близких, ее прельщало, но применительно к дальним сжимало горло удушливым страхом.

— непонятно, потому что вы дупла, — сказал Сильвер ей вслед. — Неучи пролетарские! Никакой в вас благодарности.

Краем глаза Геля покосилась на крыльцо, проверяя наличие курсанта. Крыльцо опустело. Сильвер догнал ее уже на Карлушке.

— Я машину оставил за углом, — сказал он со значением. — Проедемся? Ветерка захотелось перед сном глотнуть.

На негнувшейся ноге он двигался резво и по-своему грациозно. Последним автомобилем, которым Геля пользовалась, был ГАЗ-51, увозивший ее из рая. В ад можно было проехаться и на «москвиче». Дошли до оговоренного «за углом», и Геля уселась на переднее сиденье. Тронулись. Сильвер начал с ошибки, которая объяснялась общей неловкостью.

— Из Москвы сам его пригнал. Прямо с завода. Хотел четыреста третий брат, а тут этот. Пришлось, конечно, добавить. Зато колесная база длиннее. Правда, первая скорость как была несинхронизированная, так и осталась. Но за граница покупает. Они что попало не купят, да ведь?

Геля ровно ничего не смыслила в колесной базе и в ответ поленилась хотя бы кивнуть. Остановились на светофоре. Сильвер, ошеломленный собственной дерзновенностью, попытался развлечь ее информацией иного рода.

— А знаешь, светофоры сначала изобрели пятиглазые: по бокам два желтых, сверху зеленый, снизу красный. До конца тридцатых висели в перевернутом состоянии. Я маленький был, помню.

— Сколько же ему лет? — принялась мучительно подсчитывать Геля.

Они вырвались из города на шоссе, по которому, со слов Бабуль, красные драпали от казаков.

— Я тебе сейчас свое любимое место покажу, — суетился Сильвер. — Тут недалеко. Не боишься?

— Чего? — спросила Геля самоуверенно.

— Ну, как чего? — удивился Сильвер. — Вечером, со взрослым мужиком...

— А вы не боитесь? — Геле становилось все смешнее.

— Да я же ничего плохого не думаю, — слишком поспешно вывернулся Сильвер.

— Ну и я не думаю, — сказала Геля. — Зачем тогда спрашиваете?

Проглотил. Скорость была приличная, и Геля открыла окно, повертев ручку. Откуда-то она про нее знала — наверное, из кино. Холодный воздух загулял по салону.

— Закрой, — сказал Сильвер. — Простынешь.

Геля не подчинилась. В ней говорили стихи из хрестоматии, которые сейчас раскрылись, как неяркий цветок, и расшифровали ее состояние, так что добавить было нечего:

И как-то тяжело, больно даже
Душою жить — который раз? —
В кому-то снившемся пейзаже,
В когда-то промелькнувший час.

Сильвер съехал на обочину, в лесную кромешность. Схватил Гелю за руку и приложил под полу куртки. Там набух и двигался невидимый поршень.

«Вот что значит „из-под полы“», — подумала Геля.

— Ты понимаешь? — спросил Сильвер осипло.

Геля вышла из машины, хлопнув дверцей громче, чем нужно. Он тоже вылез и пошел за ней, но скоро вернулся, видимо, боясь оставить колесную базу без присмотра. На шоссе неподалеку было тихо, но светло. Геля шла неспешно и почти бесстрашно. За спиной взревел четыреста восьмой мотор. Сильвер догнал ее и остановился.

— Садись, — сказал он. — Не дури. Я за тебя отвечаю.

Геля села, и они поехали обратно, некоторое время по-прежнему «в кому-то снувшемся пейзаже», потом через тот же светофор, мигавший теперь желтым куриным глазом. Остановились на том же углу. Сильвер снова взял ее руку, но робко и прижал к губам.

— Эх ты, малолетка! — сказал с горечью. — Иди вперед. Там небось охрана уже выставлена.

Мама ждала за дверью. Пощечины Геля не ощутила, но по замаху поняла, что в замысле была именно она.

— Я гуляла, — неизвестно зачем сказала Геля.

— Сволочь! — крикнула мама беззвучно. — Бабуль с давлением. Костя пошел тебя искать.

Геля выскочила задним ходом и успела припереть вторую дверь первой, уличной. Прием был отработан на Люле, когда от него надо было удрать за обрезками кожи к глухонемым. Первая дверь под углом клинила вторую, так что снять ловушку удавалось лишь снаружи. Мама рвалась и билась, но шуметь сверх меры опасалась.

Между крыльцом и Гуниными окнами стояли друг против друга Сильвер и Костя, и Геле бросилось в глаза, что горбун совсем ненамного ниже колченогого. Выкаченная грудь Кости упиралась в ребра Сильвера, а длинные руки обхватили его, будто бы в братском объятии.

— Ты козлина, — дрожащим тенором говорил Костя, понемногу стискивая объятия. — Я тебя убью, козлина! Ты знаешь, сколько ей лет?

Геля подбежала и принялась оттащить Костю, но он упирался в землю расставленными ногами.

— Он этого не сделал, — повторяла Геля. — Отпусти его.

— Уйди отсюда! — Костя на мгновение отвлекся от противника, и этого хватило Сильверу, чтобы пнуть его в пах подвижной ногой. Но на негнущейся Сильвер не удержался и повалился прямо в Гунино окно, пробив его головой. Гуня изнутри заорала не совсем благим матом:

— Ой! Ой! Караул! Тварь фашистгестаповец!!! — ей наконец подвернулся случай произнести фирменное проклятие полностью.

— Уйди отсюда! — твердил согнувшийся пополам Костя, от чего горб топырил рубаху парусом.

Оставалось несколько спасительных мигнов, пока Гуне были видны только ноги, и то плохо. Геля изо всех сил потащила Костю к крыльцу, ухватив за ремень. Костя все не разгибался, и с точки зрения Гели было похоже, будто она волочит мешок картошки. Кое-как втянув аквариумиста на крыльцо, Геля отработанным движением расклинила двери. «На коидоре» они по инерции еще немного поборолись с участием мамы и благополучно втроем втиснулись в кухню. Там стояла Бабуль с пузрычком нашатыря.

— Спасибо, Костя. Идите спать, — спокойно напутствовала она защитника.

Мама мечтала, судя по многим признакам, продолжить воспитание, но Бабуль сказала непререкаемо командно:

— Хватит! — и обращаясь к Геле: — Кушать будешь?

Это детское «кушать» изумило Гелю до потери дара речи, и она мерно закивала, как котенок в ботинке — такую игрушку когда-то привез ей дед.

Бабуль кормила Гелю жареной картошкой, мама всхлипывала в другой комнате. Геля поковыряла еду и сказала:

- Ты говорила, у тебя крестик есть лишний.
- Есть. Не лишний, а твой крестильный.
- Дай. Я буду носить, — Геля услышала, как отяжелел ее голос.

Бабуль из заветной тумбочки, где помещалось все ее нехитрое богатство, включая складную лупу, достала маленький, не больше спичечного, коробок. И крестик в нем был крошечный, на белой тесемке.

- Надень сама, — попросила Геля.
- Бабуль обвинила тесемкой ее шею и перекрестила.
- У тебя неприятности будут, — сказала она.

— Пусть! — сказала Геля непримиримо к будущим неприятностям.

Она разделась и легла на тахту, как всегда, к стенке. Бабуль еще понюхала нашатыря, отдуваясь, и прилегла с краю.

- Пойдем завтра к Тусе музыку слушать, — сказала Геля просительно.
- У Тусечки рак, — сказала Бабуль глухо. — Она в больнице.

«Когда же Туся успела заболеть? — подумала Геля. — Ведь я сегодня ей пальцы перевязывала. Или это было в прошлом году?»

— Значит, пойдем в больницу, — сказала Геля, не вдаваясь в вычисления, и провалилась.

Наутро Геля заболела любимой посреди учебного года, но совершенно не подходящей для лета ангиной. Через два дня, когда не то что глотать, но и дышать не было возможности, а температура не помещалась в градуснике, ее забрали на «скорой». «Только не к Эйвазовне», — думала Геля по дороге сквозь накатывающее забытье. Ее хоть и привезли в ту же больницу у вокзала, где чуть не уморили маму, но положили в совсем другое отделение. В палате она была одна — на соседней койке лежал свернутый матрас.

— Повезло тебе, — сказала нянечка, мывшая в палате полы. — Бабушка тут лежала тяжелая. Умерла вчера.

Температуру сбили уколами. Врач был мужчина, но, по контрасту с Эйвазовной, с женским чистым розовым лицом.

- Тонзиллэктомия однозначно, — сказал он, когда в палату пустили маму.
- Это опасно? — специальным смятым голосом спросила мама.
- Риск осложнений превышает риск операции, — заученно сказал розоволицый. —

Функция защитная ослаблена — интоксикация организма постоянная. Удалять однозначно. Из двух зол выбирают меньшее.

Ему нескрывая нравилось произносить банальности. Он обратился к Геле и закричал ей, как глухой и одновременно умственно отсталой:

- Миндалины будем удалять. Гланды. Чтобы горло не болело.

Собрали анализы. Два дня заставляли то и дело разевать рот и часто дышать. Перед операцией на ночь снова сделали укол. Ягодица в этом месте затвердела яблоком.

Утром принесли белую рубаху с короткими рукавами и сказали:

- Трусов не надевать!

В операционной ей напялили целлофановый фартук и шапочку. Усадили в пыточное кресло. Привязали руки бинтами. Голову обмотали простыней. Геля смотрела на себя как на чужую и успела подумать, что такая самопотеря и есть страх. Возле кресла стояла тележка, прикрытая другой простыней. «Орудия пыток», — подумала Геля.

Не наживший следов мужской растительности врач подобрался, гипнотическим усилием, не касаясь, разинул Гелин рот и, словно фехтовальщик, дважды уколол —

справа и слева. Больно было так, как если бы в горло воткнулась настоящая рапира. Врач сел почти Геле на колени, но привязанными руками согнать его не представлялось возможным.

— Глубоко не дыши. Не глотай. На инструменты не смотри, — приказал он оптом, и Геля немедленно вдохнула полной грудью, сглотнула полным глотком и покосилась, насколько позволяло положение, на тележку. Там лежали крючья, петли и ножи, похоже на бумагорезательные, и стоял лоток в форме почки с анатомического плаката.

В разинутый рот сунулась чужая рука с этим, по виду декоративным, ножом, что-то соответственно резанула, и Геля впервые основательно поняла, что значит «хлынула», когда кровь изверглась из ее рта и, чуть задержавшись на весу, алым водопадом пала на фартук.

«Клубничный сироп», — подумала Геля.

— Не глотай! — напомнил врач.

Геля снова рефлекторно сглотнула в ответ, ее необратимо затошнило собственной кровью, и она мощно срыгнула ее пополам со слюной на операционный врачебный халат.

— Хорошо, молодец! — одобрил врач.

Пока сестра обтирала его и промокала Гелю салфетками, он алчно схватил с тележки петлю, задвинул ее в Гелино горло движением, каким суют в компостер автобусный билетик, и рванул.

— Не теряем, не теряем сознания! — услышала Геля разносимый эхом голос и успела увидеть, как из ее рта вынули в петле Костину пецилию — пурпурную, с черным охвостьем — и бросили задыхаться в почковидный лоток.

«Так вот она какая — душа, — подумала Геля. Потерять сознание назло врачу ей не удалось. — Она, оказывается, пецилия. Как же я теперь буду? Что скажет Костя? Он так ее любил!»

Врач снова зачем-то сунулся во все еще распахнутый Гелин рот пирографом, каким в кружке «Умелые руки» безуспешно учили выжигать по дереву. Запахло шашлычной, куда водил ее отец, — смесью жареного мяса и углей. Из рта пошел дым, но быстро иссяк.

— Вот и все! — сказал врач. — Ахнуть не успела, да?

Геля хотела подтвердить свое неаханье. С нее сдирали мясницкий фартук и весь наряд умалишенных.

— Молчать, молчать! — вдруг закричал врач. — Три дня молчать! Голова не кружится?

Теперь у Гели не было души — не то что головы, но она чем-то отрицательно крутнула. Смертная рубаха была вся мокрая.

— В палату! — скомандовал врач, и бездушную Гелю повели, набросив халат, накануне облитый киселем, на тусклую голизну того, что от нее осталось. Это оставшееся дрожало каждой деталью. Ноги подгибались. Стыда вообще не было.

С кровати сняли подушку, лечь велели на правый бок, положили на обезжизненную шею ледяную грелку и поставили под нос миску, а под кровать судно.

— Сюда плевать будешь, — сказала нянечка. — Только молчи. Вот этой пленкой утирайся. В туалет не вставай. И молчи! Завтра мороженого принесут. От пуза!

Геля утерлась, и пленка покрылась слюнно-кровоавой массой.

Боль началась, как только перестала действовать заморозка. Ледяная грелка помогла ненадолго. Выяснилось, что без души любую боль можно вытерпеть почти равнодушно.

Утром пришла Бабуль с охапкой мороженого. Оно долго таяло на прикроватной тумбочке. Бабуль гладила Гелю по руке и тоже молчала, как пережившая тонзил-

лэктомию. С ложечки попыталась накормить Гелю, но разжиженное мороженое потекло у нее из носа, и процедуру пришлось прекратить.

Ночью Геля выползла в большой холл с обильной комнатной растительностью. На откидном стуле из ряда вдоль стены сидела женщина.

— Не спишь? — обратилась она к Геле — а больше и не к кому было — и сама себя одернула: — Какой глупый вопрос! Ты думала когда-нибудь о том, что на вопрос: «Ты спишь?» — так же нельзя ответить положительно, как на «Ты умер?»

Тема была Геле гжуче близка, но поскольку говорить она не могла, оставалось кивать.

— У тебя что? — спросила женщина.

Геля показала на горло.

— Понятно, — сказала женщина. — Меня зовут Миля. Но это не расстояние. Это Эмилия.

Геля внутренне ооченела от очередного совпадения. Она так и не разгадала, что значит «Абадя». Но если учесть всех Марий, Свет и Валентинов, такие случаи в мире живых, видимо, были рядовыми.

— Мили есть сухопутные и морские, — продолжала нервно оправдываться собеседница, с которой нельзя было вести диалог. — Я предпочитаю морскую — десять кабельтовых. Одна морская миля в час — один узел. В час! А сколько узлов в год? А в сто лет? Не слишком ли узловато?

Геля видела, что Миле безразлична ее немота, — более того, она Милю устраивает и частично спасает от чего-то непроходимого.

— Мне делали аборт под наркозом — по большому блату, — сообщила Миля. — Женщина, которая злоумышленно, тайно и по своей воле убьет ребенка, уже получившего жизнь и сформировавшиеся члены, да будет, согласно обычаю, заживо погребена и прибита колом. Но дабы предупредить смущение от этого, мы разрешаем топить таковых злодеек тем судам, кои имеют подходящие для сего водоемы в своем распоряжении. Это законы Каролина — по имени германского императора Карла Пятого. 1532 год. Ужасы средневековья. Из обвинительной части исчезла только тайна. Тайное стало явным — остальное неизменно. Злоумышленно и по своей воле. Я почему-то думаю, что ты запомнишь этот разговор. Или вспомнишь, когда придет время. Говорят, эмбрион защищается от иглы. Выставляет ручки вперед, как вратарь.

Миля встала и ушла.

На следующий день у Гели продолжало вытекать носом все, принятое ртом, но уже не пугало, а смешило. Вошла нянька и ревниво сказала:

— Пришли к тебе. Ждут во дворе.

Геля не могла спросить кто.

Больничный двор был заполнен посетителями, кормившими хворых родственников с таким усердием, как будто только что прорвали блокаду. Навстречу Геле поднялся курсант Валентин.

— Я от Кости узнал, что ты болеешь. Вот груш тебе принес — из нашего сада. Я дома был, в деревне.

Геля, за завтраком едва успевшая подобрать молочные сопли, полившиеся в кружку, взяла кулек твердокаменных зеленых бесполезных груш и показала, что не может говорить. Из двери приемного покоя вышла Миля с мужчиной в дорогом начальственном костюме. Был час выписки.

— Ты выздоравливай, — сказал Валентин обязательное.

Геля покивала и вернулась в казенный дом.

Вечером явилась мама, съела новые закупки мороженого и заявила:

— Едем к морю. Тебе необходимо окрепнуть.

Назавтра безголосую Гелю выписали. На Карлушке она первым делом забежала к Косте.

— Привет! — радостно-дрожливо сказал Костя. — Все о тебе спрашивали.

Никого, кроме рыб, по обыкновению, в комнате не просматривалось. Геля заглянула в аквариум, где металась от стенки к стенке живехонькая, словно никогда не выбрасываемая в заплыванный лоток пецилия.

— Я мальков отсадил, — сказал Костя. — Вот она и переживает.

Геля подумала, что теперь, пусть и ненадолго, они, по крайней мере, сравнялись с пецилией немотой и бустрофедонным перемещением с края на край.

— Грекам везде волю мерещатся. Воловьёв культура, бычьи мозги, — сам набычившись упрямством, делающим голос похожим на удар молотка о дерево, сказал Алейпт. — Священные символы Зевса — дельфин, орел и лев. Быком его представляли пастухи. «Образ скрыл бога и, вид изменивши, в быка превратился...» Почему бы ему не подкатить к Европе в образе дельфина? На морском-то берегу?

Спор о том, кто похитил и куда увез сидонскую царевну, сопровождал утреннюю трапезу не впервые. Алейпт любил перекусить здесь, на кладбище северо-восточнее перешейка Селлады, между Периссой и Камари, среди голых куросов с выдвинутой левой ногой и кор с плоскими улыбками, на холстине с неотмываемыми пятнами оливкового масла и печеной рыбы. В эту же тряпку был завернут и нынешний завтрак: лепешки, козий сыр, зелень. Воду пили из ручья, холодного до зубной лоты, бегущего неподалеку от стелы, которую Латипос подрядился украсить эпитафионом. Вина Алейпт не употреблял, хотя напиток богов привезли на Феру его любимые финикияне. Но Алейпт старомодно считал вино жреческой привилегией. Латипос был с этим не согласен в корне, однако с учителем не спорил. Вина в округе водилось — хоть залейся.

Ставить стелу над водой было не лучшим замыслом. Заказчик не хотел, чтобы его жену кто-то видел даже каменной и задрапированной, поэтому велел водрузить над погребальным сосудом не кору, а простое надгробие из пирейского пороса, серо-желтоватое, с круглым навершием. Алейпт подозревал, что это от жадности, но Латипос так не думал. Он вообще старался избегать какого-то отношения к заказчикам, но учитывая, что женщинам почти никогда не заказывают эпитафионы, понимал, что этот вдовец свою суженую любил. А может, она оставила ему такое наследство, что заслужила, по крайней мере, известняковой памяти.

Латипос слышал много разных версий похищения. Взгляд его тихо плавал. От многометрового трехслойного жерла вулкана к буро-красной рогоже берегового песка, похожей на настоящую, какая, чуть трепеща, покрывала теперь стелу от соленого ветра, и оттуда — к черно-фиалковому гляncy содержимого бездонного котла — кальдеры, образовавшейся после катастрофы и заполненной беспрепятственно хлынувшей эгейской водой.

Алейпт, выросший в лабиринтах Пиргоса и привыкший смотреть на Феру сверху вниз, как все горцы, отличался заносчивостью. Из Пиргоса можно было увидеть даже скалы Крита. Латипос был родом из портовой Периссы, и мать его, как все местные женщины, трудилась на сборе шафрана и пропиталась его запахом до корней волос. Говорят, из пасти быка, укравшего царевну Европу, тоже несло шафраном. Отец Латипоса, как все мужчины, рыбачил и навек провонял подтухшим на жаре клюворылом. Песок в Периссе черный и море открытое — не то что вулканическая яма кальдеры. Зато водоросли красные, и рыбы мечутся туда-сюда, словно натываясь на

прозрачные стены и в ужасе поворачивая назад, уже успев забыть, что там их встретит такая же незримая препопа.

История Агенориды куда меньше занимала его, чем история ее брата, привезшего грекам дар, который кормил плоть Латипоса и давал пищу воображению. Именно воображение подвигло его на выходку, которую после завтрака предстоит оценить Алейпту и которая, возможно, будет стоить Латипосу работы. Зачем он выкинул такой фокус, Латипос и сам не знал. Впрочем, как отреагирует Алейпт, тоже. Латипос был уверен, что человек непредсказуем, и не любил голословных «так я и знал». Никто ничего не знает о другом! И Алейпт, не верящий в то, что Зевс-громовец обратился быком, чтобы унести Европу через море, тоже ничего не знает, но лишь представляет ход событий, хотя в логике ему не откажешь. Но на всякий случай Латипос оттягивал обнаружение Алейптом его затеи и делал вид, что ужасно интересуется похождениями дочери царя Агенора.

Он тоже не особо верил в то, что Европа ни с того ни с сего взгромозилась на спину быка и, ловкая, как дельфин, не прыгнула в прибрежное мелководье.

— Как же это критяне перехитрили финикиян — первейших мошенников среди народов моря? — равнодушным голосом спросил Латипос, изо всех сил провоцируя Алейпта.

— Повторяешь ерунду, которую нагородили ревнивцы и завистники, — начинал горячиться Алейпт. — Есть народы, которые создают мир, и народы, которые этим пользуются и уводят создателей в тень.

— Это греки, что ли, завистники? — придал ехидства Латипос.

— А кто? Столько получив от хананеян, могли бы и помолчать, если уж лишены благодарности.

— За что нам их благодарить? Мы и сами с усами. Ну, допустим, они — пронырливые торговцы и хорошие мореплаватели, — Латипос успевал поднажать, чтобы вывести разговор на нужную тему.

— Торговцы? — возмутился Алейпт. — Да, Зенон был купцом. И что с того? Вся так называемая греческая философия вышла из его финикийских воззрений. Вторые всегда хотят стать первыми.

Латипос был уверен, что греки первенствуют во всем, но показывать этого Алейпту не решался: тот намного превосходил его знаниями.

— А Кадм? — Алейпт наконец выворачивал, куда надо. — Он тоже мошенник? Вот ты выбивал на стеле эпитафион. — Латипос насторожился. — От кого ты знаешь буквы?

— От вас! — подмахнул Латипос.

— А я — откуда?

— От своего учителя, — брякнул Латипос.

— Это та же сказка про белого бычка, что с похищением Европы, — отмахнулся Алейпт, впрочем, явно польщенный. — Только тот, кто признал первенство другого, а не присвоил его, может считаться мудрым. Бог в образе быка — древнейший образ. Священное животное приносили в жертву, совершали очистительные ритуалы, а потом устраивали игры. Быка разгоняли, и на полном скаку через его спину прыгали девушки.

— Но ведь первая финикийская буква — тоже бык, — попробовал возразить Латипос. — Наша «альфа». По-ихнему «алеф». Бык и есть. И Дельфийский оракул велел Кадмосу следовать за коровой, которая показала ему место закладки Фив. Да имя Европа что значит, как не «волоокая», то есть быкоглазая.

— Это совсем не то, — поморщился Алейпт. — И не зови ты его с греческим окончанием. Он Кадм, сын Агенора, царя Сидона и Тира.

Так он всегда морщился и примерно так бормотал, когда ему что-то было не по нраву.

— И почему ты переставляешь местами причину и следствие? — Алейпт пошел в наступление. — Нет чтобы сначала назвать исток — «алеф», а потом устье — «альфу»! Вечно эти греки все извратят!

— А вы не грек, что ли? — огрызнулся Латипос, неожиданно для себя почувствовал укол обиды.

— Я — ферянин, — приосанился Алейпт. — Ты думаешь, Фера — просто терраса над морем? Нет, это имя лакедемонянина, который привел сюда спартанцев на трех тридцативесельных кораблях, спасая их от вероломных минийцев, потомков аргонавтов. Но это случилось через восемь колен после высадки Кадма. Я — каллистиец, отпрыск Мемблиара, сына Пойкила. Кадм оставил его здесь начальствовать над поселенцами. Я — элассонец: Элассоном звали остров при атлантах. Я — стронгилит, наследник идеально сферического пространства, Стронгилы. Какой я грек? Мои предки ушли от вулкана в море, оставив дома́ и пожитки. Под нами лежат засыпанные лавой города с четырехэтажными жилищами и весь скарб. Когда-нибудь их найдут и увидят, что на Каллисте — прекраснейшей из земель — не испражнялись на улице и омывались в ваннах. Очистят наши прекрасные фрески, ритоны и прохусы с двойными ручками в форме женской груди и все, что не поглотило море, устремившееся в кальдеру. И не обнаружат ни одного человеческого скелета, ни одного украшения. Это все лежит на дне, если феряне погибли, или служит на благо их потомков, если кто-то спасся. Наша культура старше критской, но критяне этого никогда не признают.

Пафос Алейпта нарастал, и Латипос предпочел вернуть наставника слегка назад.

— И что же, Европа прыгала через быка и застряла у него на загривке?

— Вполне возможно. Ты лучше подумай, почему ее братья, которым отец их, царь Агенор, приказал не возвращаться, пока не найдут сестру, так и не нашли ее.

— Плохо искали. Или не там, — Латипосу ненадолго стало интересно. — Может, им надоело жить под надзором отца, и они рады были от него улизнуть? А Европу охранял сам Зевс! Приставил к ней Лайлапа и Талоса. Попробуй у них отбери!

— И ты веришь в ходячих медных истуканов? — уничижительно скривился Алейпт. — Слушай, я ведь много старше тебя, но уже в детстве смеялся над этими фантазиями. Лайлап — просто верный пес, причем не Европы, а Прокриды, жены охотника. В этих мифах такая путаница! А великан Талос рожден развитием металлургии, дружок. Металлон плюс эргон. Ведь железо, олово и медь в бедной нашей земле не водятся. Только серебряные рудники в горах Лавриона — и те выработаны. Мы лес из Македонии завозим. Что уж говорить о металлах? Вот и насочиняли медных великанов, пока дети в штольнях сгибались в три погибели и тюкали молотами. А Европа мирно жила в Тевмессе, что в Беотии, там и родила сыновей. И, потвоему, Кадм, заложивший по соседству Фивы, этого не знал?

— А, это где лисица в пещере пожирала младенцев? — припомнил Латипос. — Но как тогда она попала на Крит?

— Насчет лисицы не знаю. А царевну похитил ахеец Астерион. Так полагалось по их обычаям.

— И Кадмос... ну, Кадм обошел стороной Крит, зная, что сестра там? Ерунда какая-то!

— У сыновей Агенора были другие задачи. Он — Кадм, что значит «восток». Поиск сестры был условием сделки Агенора с Кадмом, Фениксом, Киликом и Фасосом. Заметь, от всех царских сыновей, кроме Кадма, сохранились лишь греческие варианты имен. На пяти кораблях вышли братья в море, а когда корабли скрылись с глаз

любопытствующих, то разошлись в разные стороны. И никто не ведал, куда они направились. Во Фракию, в Ливию, где от зноя мутится разум, или в страну гипербореев.

— Но Минос, Радаманф и Сарпедон — дети Вершителя?

— А кто знает? — пожал плечами Алейпт.

— Ахеец-то знал? — понадеялся Латипос.

— Думаю, и он не знал. Европа ему голову заморочила этим быком. Что финикиянам Зевс? Они поклоняются Великой Матери. Но Астерион страшился Талея, как звали Зевса критяне, иначе убил бы чужих сыновей. А так — смотри сам. Минос стал царем Кносса, критской столицы. Радаманф дал критянам законы. А Сарпедон, любивший мужчин, помог своему дяде Килику и стал ликийским царем. Кадм принес ферьянам шестнадцать букв, навсегда изменивших ход событий. Каждый выполнил свое предназначение. Европа стала Великой Матерью Крита. Без хотя бы небольшого обмана великим не станешь.

— Но зачем Кадм высадился на Фере? Ведь остров столько веков после извержения лежал в запустении?

— Чудак человек! — огорчился Алейпт. — Фера — идеальная гавань между Критом и материком. Когда бы Кадм просто хотел отдохнуть, не основал бы здесь колонию. Но Эгейя всегда спокойна, а торговля — наоборот — неумна и всегда ищет новых путей сбыта.

Латипос понимал, что близок к цели беседы, но у него зверски чесалась спина. Вероятно, подстилка шлюхи, у которой он ночевал, кишела блохами, но пока девка ездила на нем, он этого не замечал. Латипос потерялся всласть о надгробие и осторожно перешел к делу.

— Но разве буквы придумал не Паламед?

Алейпт встал, поправил пряжку на хитоне, размял захрустевшие члены и долго смотрел в небо.

— Ласточки так и не вернулись на Феру после извержения, — наконец сказал он. — Стронгила изгнала их, видимо, навсегда.

Латипос терял терпение, и только отдаление ожидающей учителя неожиданности сдерживало его. Имя вулкана, уничтожившего самый южный из Кикладских островов, давно никого не пугало. Алейпт старел и все дальше вглядывался в невозвратное.

— Ты хочешь знать, кто придумал буквы? Все великие изобретения имеют одного отца. Но неблагодарные дети расхватывают наследство по кусочку. Буквы создал Таавт. Финикияне сделали его богом, что справедливо. Ибо время разрушит все, а письменность останется. Как и египтяне, они считали величайшими тех, кто измыслил нечто полезное для жизни и просвещающее народ, дающее ему толчок к развитию. После смерти таких благодетелей им строили храмы, освящали стелы и жезлы и устанавливали праздники. Имена своих царей они дали мировым стихиям, а из стихий почитали только солнце, луну и планеты. Таавт стал богом мудрости, пусть и смертным. Из всех живущих под солнцем он первым начал записывать мысли и истории. Историей становится только записанное — остальное превращается в миф. В беритском храме Йево хранились его книги о сотворении мира. Их глубоко изучил Санхунйатон, великий человек, возжаждавший познать начало всего и все дальнейшее, произошедшее от этого начала.

— Он тоже написал книгу? — не унимался Латипос.

— Да, опираясь на сочинения Таавта, как на фундамент, и не забыв указать его первенство. Египтяне называют финикийского бога письмен Тавт, александрийцы — Тот, а греки зовут Гермесом, чтобы увести от первоисточника подальше. А критянин Паламед — герой троянской осады, не то побитый камнями за несовершенное предательство, не то утопленный Одиссеем большеухим в отместку за его собственную

трусость. Главный паламедов подвиг остался в трухе из мешков пшеницы, доставленной им из Фракии и накормившей голодное войско. Улисс не сделал и этого. Паламед — достойный командующий. Он и маяк изобрел, и диск, и шашки, и систему мер и весов. Не хватит ли с него? Ну, хорошо, бросим в копилку его славы еще и три буквы: тету, фи и хи. Надо же нам добрать до двадцати двух, не так ли? Но письменность все равно будет зваться даром Кадма. Ты доволен?

— Я за справедливость, — Латипос услышал свой голос со стороны. Он сочился, как виноград в давилъне.

— Забудь это слово, — сказал Алейпт. — Справедливости нет. Есть память, но она — как неверная жена. Верность сохраняет только письменность. Ее называют второй памятью, но на самом деле она — единственная. Ты бы привел еще продажного поэта — Симонида Кеосского, за вознаграждения готового воспеть любого прохвоста. Не его ли эпитафионом украсил ты стелу?

— Нет, — поспешно выдал Латипос, хотя Алейпту был прекрасно известен исходный текст высечения.

— И на том спасибо, — поклонился Алейпт. — Симонид оттеснил великого Пиндара на обочину, подбирал и приукрашивал расхожие изречения, хвастался тем, что на поэтических состязаниях получил в награду пятьдесят шесть быков и треножников. Но ему этого было мало, и он распространил слух, будто изобрел двойные согласные и долгие гласные, хотя всего-навсего ввел их в употребление. Кстати, для надгробных надписей. Ты ведь наверняка выдолбил на стеле и кси, и пси, и эту, и омегу, завершающую алфавет?

Латипос впервые в этот момент осознал непоправимость того, что натворил, и прибегнул к очередной уловке, оттягивающей возмездие.

— И что же там было — в начале всего? До чего докопался премудрый Таавт?

— Там были Время, Страсть и Облако. Когда Страсть и Облако полюбили друга и совокупились, от них родились Воздух и Дух. От Воздуха и Духа появилось яйцо. Яйцо расколосось на две части, и верхняя стала небом, а нижняя — землей.

— Но и до Кадма как-то писали, — Латипосу поднадоели все эти дуновения.

— Писали, если можно назвать письмом зарубки на деревьях, египетские каракули и неудобочитаемый силлабарий, которым кичились критяне. А сами называли писцов финикастами — знатоками финикийского письма. Дар Кадма — это величайший сдвиг, сравнимый со взрывом Стронгилы, только не разрушительный, а созидательный. Финикияне первыми оценили алфabetику, когда буква равна звуку. По форме большинство греческих букв остались похожими на финикийские. И даже такой ленивец, как ты, смог овладеть письмом. Писцы перестали изображать посвященных и драть деньги с неграмотных купцов. Сильные мира сего потеряли часть силы. Хватит, однако, болтать. Пора принимать работу. Показывай, что ты там накорябал.

Латипос всегда хотел резать глипты по рубину или аметисту, рельефно изображать сцены охоты и войны. Еще доходнее были печати с богами, жрецами и вельможами. А больше всего ему нравились сердоликовые камеи. Латипосу даже снилось, как он на специальном станочке режет вслепую, сквозь слой масла и алмазной пыли, смывком, снимая с камня тончайшие слои. Но денег на взятку за обучение не было. Алейпт же с учеников мзды не брал, провощенные деревянные церы, на которых писали тексты, утверждали их в магистрате и потом переносили на плиты, не стоили почти ничего. Работа сама по себе неплохая. Да и зря, что ли, грамоте учился у того же Алейпта? Мог бы при желании стать и гипограмматеем, а там, глядишь, выбиться и в секретари, но больно уж ответственная должность, да и зависимость к тому же. Зубило и молоток надежнее.

Правда, на освоение прямого четырехугольного шрифта для высечения понадобилось время, но не столь большое, как на зубрежку букв. К тому же Алейпту, который издавна служил софронистом — воспитателем юношей, по жребии выпал белый боб, и он теперь стал эпимелетом. Ему поручили наблюдать за порядком на кладбище. Латипос расценил это как волю богов. Работать по известнякам хоть и пыльно, зато споро. Это не так долговечно, как мраморные фигуры, которые Алейпт называл сокровищем Киклад, но на жизнь хватает. И даже на шлюх.

К ремеслу камнереза он привык и многое делал, уже не замечая действий. Ставил леса на высоту надписи. Размечал пропорции. Рассматривал и трогал камень, определяя направление слоев. Смачивал его, чтобы ярче обозначились линии изгибов. Наклонял резец под нужным углом, не пользуясь отвесом. Научился избегать «каменных ушибов» из-за слишком острого угла, когда камень белел, как мертвец, и на готовом изделии оставались неустраняемые пятна. Высекал от края к середине, но уже не боялся и краев, ударяя молотком глубоко, мягко и в направлении неизбежных на любом камне мелких трещин.

Многое зависело от того, насколько тщательно камень подготовлен для высечения. Отесчики те еще лоботрясы. Если при резьбе вдоль трещины отколются даже крохотные чешуйки, намаешься до одури при шлифовании. А борозды должны быть одинаковыми по глубине и не съезженными по краям. Камнерез то и дело меняет точки удара, а туловищем и руками владеет не хуже гимнаста. Если бы надпись была в одну строку, как просят скупые заказчики, он бы не совершил открытия. Но этот, сэкономив на камне и кóре, размахнулся аж на четыре строки. Латипос помнил все свои надписи наизусть, а эту — лучше остальных, пусть она и казалась ему косноязычной:

Слез не могу сдержать:
Над могилою стела —
Памятник нашей любви.
Как же ты рано ушла!

— Ну, что стоишь? — разбудил его Алейпт. — Снимай тряпку, давай смотреть.

Латипос прынул назад, но справился с собой и пошел к стеле. Он понимал, что тянуть дальше бессмысленно. Сорвал рогожу и стоял, словно курос. Алейпт приотстал: он в последнее время вообще заметно сдал. И видеть стал хуже.

— Может, не заметит? — мелькнуло у Латипоса.

Он усмехнулся от собственного мальчишества: Алейпт славился дотошностью и воспитанников изводил, пока не добивался своего.

Софронист подковылял к могиле, прищурился, защитив глаза ребром ладони. Кинул взгляд вверх. Время потекло густо, как тимьяновый мед. Алейпт, кряхтя, осторожно взобрался на леса. Смотрел на стелу долго, гораздо дольше, чем требовалось для прочтения.

— Ты рехнулся? — спросил он, не глядя вниз, достаточно спокойно и крайне устало. — Что ты сделал? Зачем?

— Даскалос... Пэдагогос... — залепетал Латипос снизу. — Учитель... Я сейчас объясню.

— Подожди-подожди... — зачистил Алейпт, колеблясь на площадке и поставив руки враспор, как делают, не желая слушать собеседника. — Я хочу сам понять. Тебе что, работа не нужна?

— Нужна, — вздохнул Латипос. — Еще как нужна!

В голове разом сложилась причудливая фигура всех долгов и неутолимых желаний.

— Так, — Алейпт словно отряхнулся от тяжелого сна. — Лезь сюда. Давай разбираться. Значит, ты, как обычно, шел слева к середине.

— Да, — вскарабкавшись на площадку, подтвердил Латипос очевидное.

— Дошел до правого края, — продолжал расследовать Алейпт. — Загнул строку вниз...

Он ощупывал надпись, как слепой, водя по каждой бороздке пальцем.

— Затем повернул назад... Но не прервал работу, а стал выбивать буквы наизнанку. Так?

— Да, — сказал Латипос.

Бояться разоблачения оказалось не столь мучительно, как слушать эти догадки.

— Затем снова дошел до края и снова избежал пустой проходки в обратном направлении, завернув слово теперь кверху. Стало быть, две строки получились обычными, а две зеркальными. И как это назвать?

— Бустрофедон, — скороговоркой пробормотал Латипос.

— Ка-ак? — слово отшатнуло Алейпта от надгробия, и он ухватился за Латипоса, чтобы не свалиться вниз.

— Бустрофедон, — повторил ученик, прочистив горло. — Бык идет за плугом, и пахарь не дает ему отдыха в конце борозды.

— Да ты поэт! — насмешливо воскликнул учитель. — «Или, изогнутый плуг волоча, пересекает им землю». Так, что ли?

— Так, — повторил Латипос, вдруг почувствовав уверенность.

— Вот до чего доводит лень! — назидательно, но полушутливо припечатал Алейпт, начиная осторожное схождение. — Вот к чему ведут бычьи мозги. То есть тебе надоело двигать леса вхолостую, и ты испещрил камень абракадаброй? И что мы скажем заказчику?

— Он неграмотный, — поспешно вывернулся Латипос и спрыгнул на землю. — Для него это немой узор, не более. Он будет смотреть только, ровно ли лежит строка.

— Откуда ты знаешь? — через паузу спросил Алейпт.

— Я проверял. Я дал ему табличку с заготовкой. Он смотрел на нее, как баран на солнце.

Алейпт отошел от стелы и присел на постамент куроса, изображавшего юношу с конским членом и плотно прижатыми к бедрам руками.

— А на табличке ты тоже так вывернул?

— Нет, — возразил Латипос. — То, что имеет смысл для камня, глине и свинцу не нужно. Там рука с молотком не заслоняет букв. И это не лень. Это змейка.

— Какая еще змейка? Которая ужалит твоего быка? — усмехнулся Алейпт.

— Ну, цепочка, — уточнил Латипос. — Которая делает текст связным, а не прерывистым. Воловья пахота. Бустрофедон. И притом это красиво.

— Так ты нашел способ письма на камне? — словно только что догадался Алейпт. — Ты совершил открытие? Ты хочешь стать бессмертным?

— Хочу, — сказал Латипос, снова охрипнув. — А кто не хочет?

— На камне вечно писать не будут. Ты же это понимаешь. Уже давно пишут на папирусе, на коже, на пальмовых листьях, на подкорье липы, на ионийском льне. Даже на глине писать проще. А там еще что-нибудь придумают. Человек всегда будет искать облегчения. Как и ты его ищешь. И это облегчение будет сжимать вечность. Она сократится до дня, а потом и до часа. Рано или поздно мир станет одно-разовым, как еда и вода. Если нельзя дважды войти в одну воду, то нельзя дважды и съесть одну лепешку.

— Только камень останется, — твердо сказал Латипос. — Конечно, и он не вечен, и Стронгила это доказала. И Талос, в которого вы не верите, выворачивал скалы и швырял их в чужие корабли. Но если что и сохранится, так это камень.

— А на нем — твой бустрофедон? — насмешливо подхватил Алейпт. — Он не приживется.

— Почему? — спросил Латипос.

Глаза его жгло, точно перца насыпали. Он старался проморгаться, но не получалось.

— Потому что во всем должна быть система. Единообразие. Иначе мир погибнет еще раньше, чем задумано богами. Если даже разум большинства перевернется, как твоя надпись, и люди начнут писать слева направо, то сначала подведут под это закон. И будут наказывать всех, кто его нарушает, а потом смеяться над ними...

— Что, не примете работу? — перебил Латипос речистого софрониста.

— Не приму! — отрезал Алейпт.

Ученик присел рядом с учителем. Двойное молчание напрягло воздух, и он погуживал, накапливая ярость, как готовящийся сняться с гнезда осиный рой.

— Вы просто боитесь. Старое избегает нового. Вы даже тунику не меняете, — сказал Латипос безжалостно.

— Что ты знаешь о страхе, молокосос, — в голосе Алейпта не было самого чахлого вопросительного оттенка.

Он встал, подошел к ручью, горстью наплескал воды в лицо и напился.

— Нет, — сказал Алейпт. — Не вернутся сюда ласточки. Никогда. Я это сегодня окончательно понял.

Ни распаренные очереди в столовую, ни жидкое пюре, ни даже военпред, сопровождавший маму и в каждую фразу вставлявший не менее трех «значит», — ничто не раздражало Гелю так, как общий пляж. Первые два дня она, чтобы не обижать маму, которая ради нее жертвовала пляжем санаторным, более чистым и менее людным, терпеливо покоилась на лежаке с утыканным окурками и пахнущим мочой серым песком под носом, шла в нестерпимо мокром купальнике переодеваться в дальнюю кабинку вместе с квадратными тетками. На третий день отнекалась девичьим недомоганием, и ее с облегчением оставили в покое. Раз в день военпред по заданию мамы забегал проверить пост и к обычному «значит» прибавлял еще четыре «так».

Покой обеспечивался в домике музрука Акопа, армянское имя которого донельзя походило на русский «окоп», но Геля была уже благодарна, что не Валентин. Домик, точно так же обросший жимолостью, как Митрофаньчев, стоял под казарменными корпусами санатория Минобороны, на спуске к морю. По утрам и вечерам Акоп на аккордеоне услаждал военпредов и их спутниц «Прощанием славянки» и «Дунайскими волнами». На самом деле спуститься вниз, не свернув шею, не было ни малейшего шанса, что Гелю устраивало. Прямо из окна ее комнатки с низким потолком и волнящимися «шубой» стенами можно было бесконечно смотреть на море.

В отношениях с ним Геля выбрала, как ей казалось, единственно верную дистанцию, с которой были очевидны его перемены в течение дня, а ему не докучало барахтаньем хоть одно тело. Сегмент, видимый с точки обзора, представлялся тоже достаточным. Воспринимать море в большем объеме казалось почти кощунством. Оно зависело от неба, но ведь и небо человеческий глаз видит лишь долями. Прозинь и празелень, то переходящие друг в друга, то друг друга сменяющие, на закате подпаливались йодисто-красным, а на восходе отдавали бирюзой со спиртовыми сполохами. Но самим собой море было ночью, когда только слух и обоняние знали о его присутствии. И южная непроглядность, и ровные моторчики цикад, и взлеты ветра поверх изредка взблескивающих черной листвой кустарников — все работало на непостижимое предприятие моря. Геля засыпала, когда этот многопрофильный завод ненадолго смолкал.

Акоп совсем ей не досаждал, только его сын Саркисик, готовящийся к роли первоклассника и трепетно-романтически ждавший осени, иногда просовывал в дверь вороную голову и учтиво спрашивал:

— Покушать будешь?

Вечерами Геля нетерпеливо играла с ним в «дурака» и отводила глаза, когда Саркисик поджимал под себя ноги и из его трусиков вываливалась толстенная сосиска с двумя сморщенными котлетками. Она ждала, когда останется с морем наедине. Появления квартиранта Сергея Геля не замечала до тех пор, пока он не спросил, где она питается, и не попросил занять ему очередь в столовой. Они цедили пюре кисельной консистенции и немного болтали. Сергей учился в московском вузе — кажется, техническом, потому что Гелю это совершенно не заинтересовало. Был серьезен и словно досуха выжат.

— Сессия приморила, — сказал он. — ТММ. Знаешь, как расшифровывается?

— Нет, — сказала Геля, вообще-то не любившая признаваться в незнании.

— Тут моя могила, — пояснил Сергей.

Зачем так мучительно изучать могильное дело, Геля не постигала. Чтобы превзойти эту науку, достаточно сдать на удаление миндалин.

Разделавшись с развлечением Саркисика в один из наиболее стояче душных вечеров, Геля совсем уже расположилась для созерцания и дыхания, когда Сергей заглянул в ее комнатку.

— Слушай, — деловито сказал он. — Ты танцевать умеешь?

— Интуитивно, — отозвалась Геля не без остроумия.

— Это как? — не понял Сергей.

— Ну, то есть я знаю, как это делается, но пробовала только однажды, — пояснила Геля.

— А-а-а, — сказал Сергей. — Слушай... В общем, давай вместе учиться. Мне одну девчонку надо охмурить, а она танцевать любит.

— Музыки нет, — нашла Геля спасительный предлог. Она с неудовольствием уразумевала, что у нее собираются украсть ночное море.

— В санатории танцы, — осведомленно сказал Сергей.

— Нас туда не пустят, — успокаиваясь, привела Геля аргумент.

— Там местечко есть рядом. И фонарь. Я уже разведал. Пластинки у них из древнего мира, но для тренировки сойдет.

Возразить было нечего. Местечко оказалось небольшой площадкой, засыпанной щебенкой, — очевидно, под какой-нибудь киоск. Из санатория действительно раздавалась музыка — танго «Маленький цветок». Геля немедленно вспомнила несчастный опыт перегибания с Олегом и не удержала в себе смеха.

— Ты чего? — серьезно осведомился Сергей.

— Так, — сказала Геля.

Они встали в стандартную танцевальную позу. Ни о каком танго Сергей и не помышлял, а просто затоптался на месте, иногда подвигая Гелю назад, как мебель. Ей было неохота давать наставления и мечталось о комнате с «шубными» стенами.

— Нормально? — спросил Сергей.

— Тебе надо в кружок записаться, — сказала Геля.

— Нас в сентябре на картошку отправят, — разъяснил партнер. — Там в клубе танцы, и время есть на кадрей. Вернемся — запишусь.

Пластинка заиграла что-то незнакомое, инструментальное, щемящее. Сергей понемногу расковывался, двигался плавнее и не так нажимал Геле на плечо.

— Тебе сколько лет? — спросил он.

Геля сказала.

— Я думал, больше, — разочаровался Сергей. — Ты такая умная.

— Откуда ты знаешь? — спросила Геля, вместо того чтобы скромно отрицать за-
явленное.

— Лицо у тебя такое... — Сергей не стал вдаваться.

Музыка действовала постепенно, как вино, и они сближались, соприкасаясь ще-
ками. Сергей сомкнул руки у Гели на спине и вел ее, не сбиваясь с такта. В какой-
то момент соприкосновение стало чревато поцелуем, и они оба это поняли, но музы-
ка оборвалась. Судя по всему, отдыхающим было пора на боковую.

— А пойдем купаться? — предложил Сергей, и Геля почувствовала, что танц-
класс может иметь последствия.

— До пляжа неохота пилить, — сказала Геля нарочито грубо.

— На санаторный пойдем. Там дырка в ограде есть.

— Там сторож в будке есть, — уточнила Геля.

— Да он давно пьяный, — со знанием предмета сказал Сергей.

— Я без купальника, — с последним сомнением сказала Геля.

— Ну, так и я без плавок, — впервые засмеялся Сергей.

Они обошли фасад санатория и спустились по лестнице к пляжу. Дырку Сергей
нашел оперативно. Песок под ногами ощутимо отдавал дневной жар.

— Штиль, — сказал Сергей.

Геля давно догадалась, что искать у моря следствия простых школьных причин —
занятие напрасное. Оно вело себя так, как считало нужным, и все морские познания
были чисто умозрительными. Волна вправду понизилась до ряби, напоминающей
стиральную доску и лицо Феди Водищева, но, может, именно поэтому море издавало
недовольное шипение, как будто на раскаленную сковородку упала капля масла. Ге-
ля плавала по среднерусским меркам неплохо, но здесь действовали совсем другие
законы, о которых она имела самопроизвольное или — что опаснее — книжное пред-
ставление. Дурной восторг, подкатывавший к груди, толкал на приключения. Она
кинематографически, на ходу, сбросила сарафан и пошла в воду, краем глаза замечая,
что Сергей медлит, но не потому, что трусит, а потому что без плавок.

— погоди! — крикнул Сергей, сбрасывая штаны. — Я сейчас!

Геля полезла в воду, выставив руки. На зыби лежала преломляющаяся лунная по-
лоса. Море дышало мерно. Неожиданно Гелю подхватила непреодолимая сила и по-
тащила вперед. Она попыталась бороться, изумляясь этой тяге при таком слабом те-
чении, повернула назад, но ее отбросило сразу на несколько метров, и она увидела на
удаляющемся берегу нагого, мечущегося взад-вперед, как пещиция, Сергея. Геля
начала понимать, что борьба ее обречена, но снова и снова пыталась выгresti на-
зад. Дыхание уже сильно сбилось, и в поджившем после операции горле возникла
кровяная соленость.

— У крови с морем одинаковый вкус, — заметила Геля.

— Мертвая волна, — в зловещем шипении услышала она близкий голос, Сергею
явно не принадлежащий.

Страх не было — только веселое согласие с убийственным раствором неба, не вы-
пускающим ее из объятий. Сергей бросился вниз лицом и отчаянно греб по направ-
лению к ней, стараясь поймать ритм. На воде растекались коричневые, противореча-
щие окружающей бирюзе трупные пятна и выступала густая пена, как с пива или заг-
нанной лошади. Геля услышала звуки тяжелого бега увязающих в песке ног.

— К пирсу! К пирсу плывите! Вдоль! — кричал кто-то невидимый, но не тот, кто
сообщил о мертвой волне.

Сергей первым послушался доброхота и поплыл, как начинающий, вдоль бере-
га. Геля устремилась следом. Метров через двадцать они оказались в нормальной,

тихо струящейся темно-синей воде. Выбрались на карачках и упали на остывший песок, забыв и о первородной нагоде, и о скромных намерениях, не стыдясь друг друга, как все тяжкоболящие и чудом избежавшие гибели. Сергей доковылял до их одеяний, вернулся уже в штанах и подал Геле сарафан, не пряча взгляда.

— Почему это было? — голос не повиновался Геле, как только что тело.

— Отбойное течение, — сказал Сергей сдавленно.

Такое объяснение ничего к происшедшему не добавило. «Мертвая волна» сказала ей куда больше. Скрипя песком, к ним приближался, скорее всего, тот самый сторож, от которого Сергей избавился в уме, зачислив в пьяные.

— В тягун попали, — сторож сел рядом с одевшейся Гелей. — Дурная штука этот тягун. Ловушка форменная.

Он находился в стадии «выпимши» и был не опасен, но мог в любой миг набрать обороты недопитого.

— Как так получается? — просипела Геля.

— Отток воды в отлив мощный. Обратную волну дает. Ты туда, а она тебя обратно отбивает. Пятнадцать километров в час дует. Поняла? — ударение он делал на «о» и в километрах, и в сомнении по части понимания.

— Тайна, — подумала Геля. — Что тут можно понять и зачем?

— Днем колидор отбойный видно. А ночью что? Обманка.

Родной «колидор» напомнил Геле Карлушку, и ей горячо захотелось во Двор, к Лелю и Люлю, и особенно — к Бабуль, к ее боковому теплу. На берегу заметно светало, а море оставалось глухим и смертельным хранителем ночи. Сторож повернулся к Сергею и поднял палец.

— Побаловаться хотел? С морем не забалуешь. Чуть не утопил девку. Как жить бы стал? Иди и не грехи, — обратился он уже к Геле и положил ей на голову разрешительную руку. Геля, явственно испытывая возвращение на новое необмятое место души, ампутированной безволосым врачом, приникла к этой корявой, воняющей луком, мало что не крабьей клешне и благоговейно поцеловала.

На вокзал Гелю провожал военпред. Мама узнала о ночном походе случайно: проболтался невинный Саркисик. Истерика продолжалась много часов. Военпред неустанно твердил свое «значит, так». Очень тянуло спросить, как зовут его жену. Правда, удалось заблаговременно изолировать Сергея, переселив его к молочнице Люсе, равнодушной к вдовому Акопу.

Билеты даже в воинской кассе были только в общий вагон. Маме это обстоятельство казалось оптимальным видом наказания за разврат, а Геле было все равно. Так она обозначала повторное обретение жизни. Искоса поглядывала на след от прививки, но изменений не находила. Он оставался так же бел и кругл, как при миндалинах и как до мертвой волны.

Место располагалось в обычном купе, только оно было набито под завязку, а не четырьмя пассажирами. Геле досталось соседство со студентами, но не застегнутыми, как танцевальный Сергей, а старшекурсно распоясанными и расхристанными, словно отпетые персонажи «Очерков бурсы». На прощание военпред не придумал ничего лучше, как обратиться к бурсакам с просьбой:

— Значит, так... За девочкой присмотрите.

Старшекурсники воспаленно воззрились на него, синхронно перевели взгляды на Гелю и совокупно заржали.

Всю дорогу они курили что-то сладко тянущее, пили портвейн местного разлива и ржали по нарастающей. На станции Геля вышла проветриться и размяться, в окно высунулась лохматая, всех заводящая студентка и громко сказала:

— Девочка, не отстань от поезда. Твой папа просил тебя опекать.

— Это не папа, — угрюмо опровергла Геля.

— Ну, извини, — сказала студентка. — Он такой старый — кто бы мог подумать.

Оставшийся путь Геля простояла попеременно в тамбуре и в проходе. Но это ее не беспокоило. У нее теперь была морская миля, мертвая волна и вернувшаяся душа.

Иногда — и даже довольно регулярно — бывает зима. Ее наступление сопровождается таким щедрым и холодным тополиным пухом, что он скапливается не только в углах, но покрывает все обозримое и при этом не горит от поднесенной спички, но гасит ее. Зимой надо перетерпеть — другого способа нет. Тотально делать вид, что ходишь в школу, слушаешь, что там тебе говорят. Держать вытяжку перед Колчигиным, сидеть, набывчившись, перед мамиными обвинениями. Все это кончится, когда резец дойдет до правого края. Тополиный пух смягчится и защекочет лицо, Лядов высунет в окно зад, Марии сядут за «подкидного». Только Аркаша-мелифлютика не снимет дедова кашне, а еще туже закутается — у него аллергия на пух.

Зимой огненный телетайп мысли в Гелиной голове строчил чаще, потому что время шло иначе и темнота не связывалась напрямую с ночью. Зима — это двойные рамы. Нельзя открыть окно в жимолость и смотреть. Зима — это прогулочный, пошаговый пейзаж. Не застоишься. Геля думала о том, что человек такой, какой он мертвый. Любовь к живым совсем другая. Чем ближе находится человек, тем ближе к нему воспринимается.

Что она знала о деде, пока он был жив? Что он привозит из командировок мандарины, книги и игрушки. Что глуховатым от рабочей усталости голосом читает ей «Конька-горбунка». Но когда дед еще только умирал, он успел превратить конька в Костю, который готов за нее драться и разводиться пецилий, чтобы Гелина душа не переставала трепыхаться. Когда еще только умирал, он поручил Геле Бабуль. А что она может сказать о Бабуль? Что та мастерица варить варенье? Даже внешность ее путем не опишет, если спросят. Или о Морковке с ее Сиануком? Настоящее знакомство с человеком начинается после его смерти. Человек проявляется, как Костины фотографии. Перепроявка или недопроявка зависят от правильной установки времени.

У своих ворот копошился, полагая, что чистит снег, Митрофаныч. На нем почему-то был эковский бушлат, а не хорошо сохранившееся солидное пальто с воротником из бобрика. Раньше Геля думала, что это детеныш бобра, но на поверку оказалось, что кролик. Кролика, впрочем, жалко тоже. Наверное, пальто теперь было некому проветривать, и оно истлело. Митрофаныч одряхлел и сгорбился.

«Скоро и он проявится», — успело мелькнуть в Геле.

— Здравствуйте, Евгений Митрофанович, — сказала она как можно приветливее.

— О! Как хорошо, что я тебя встретил, — отозвался Митрофаныч, уже не тратя дефицитного периода на приветствие. — Хочу кое-что тебе показать. Сначала ты проинспектируешь, потом бабушку позовем. Ей надо это видеть.

Отбойное течение отбило всякую охоту думать о скабресном. Геля зашла следом за Митрофанычем в ворота, но в дом он ее не пригласил, а повел в невидный из окна край двора. Участок был довольно обширный, с фруктовыми деревьями, различать породы которых мешали снежные утки.

— Зима — это близнячество. Сходство до одинаковости, — поразмыслила Геля. — Отдых от разности и несочетаемости.

В центре участка высилась и посверкивала прозрачная ледяная до голубизны скульптура. Сердце Гели прыгнуло и ударилось о ребра. Это был застывший призрак девочки на ослике. Девочка сидела прямо, и лед скрал ее болезнь и все, что с ней

случилось после потери любимой живой забавы и всех, кто ее окружал и кого она научилась узнавать.

— Памятник Милечке, — представил Митрофаныч и оправдался: — Временный. Весной закажу такой же из гранита. Мрамор не потяну. И так придется кое-что продать.

Геле не хотелось этих комментариев, но из вежливости приходилось кивать.

Она подумала, что вести сюда Бабуль не стоит. Зачем видеть то, что и так невынимаемо сидит в тебе?

— Нравится? — спросил Митрофаныч.

— Здорово! — сказала Геля — только чтобы не сбивать температуру стариковского самолюбия.

— Ну вот. Я знал, что ты оценишь, — утешился Митрофаныч малым. — Дорожку надо расчистить до темноты. А то видеть стал плохо, упасть боюсь. Теперь обязан до весны дожить.

Они простились снаружи. На углу Геля свернула на Кронштадтскую. Прошагала до набережной и выдвинулась к попечительским развалинам. Ворота были распахнуты и ржавы, но Геля почему-то воспользовалась узкой боковой калиткой, которую заприметила в кладке забора, когда были здесь с Бабуль. Эта калитка вела к заднему фасаду того, что некогда воплотилось для Бабуль и ее соучениц в образе дворца. Черные потеки вдоль остова делали строение при снеге похожим на ствол гигантской березы, зубчато срезанный всепокрушающей доисторической молнией. Штука-турка облипла так прочно, что исподний кирпич до сих пор не проступил.

Геля обогнула здание по часовой стрелке в направлении главного, переднего фасада. Над тазом бывшего фонтана, который набравшая много ненужных познаний Геля сравнила бы теперь с высокобортной японской ванной о-фуру, прозрачно голубел едва угадываемый контур, рассмотреть очертания которого издали мешал контрсвет. Геля усилила зрение шорами ладоней и прибавила шаг. Безобразный штырь обмерз ледяной девочкой на ослике, точно такой же, как во дворе Митрофаныча, только развернутой в другую сторону.

«Бустрофедон, — подумала Геля и добавила: — „Снежная королева“ — неправильная сказка. Лед не имеет к вечности никакого отношения. Лед — временный мрамор зимы».

Кадм, сын Агенора, царя сидонского, брат похищенной Европы, жених Гармонии, уже пристал к острову Каллисти с буквами финикийского алфавита. Кадмейские письма, именуемые в честь дарителя, открываясь влево, обращались лицом вправо. Трудоемкая жизнь бустрофедона была не слишком длинна, ибо человек пренебрегает усердием. Он маниакально ищет облегчения.

Но пахарь не водит плужного быка порожняком, и плуг пашет в обе стороны.

— Это ей снится...

— Это она вспоминает...

— Это она представляет...

**ПРОСНУВШИЙСЯ ОТ ПЕСНИ
НАД КРЫШАМИ**

медленным январем
ходит под фонарем
тумас почти транстрем-

ересь бухтит под нос
полночь январь мороз
(ходит выходит в кос-

мост никого вокруг
желтый фонарный круг
и тишина но вдруг)

СКРИП

Скрип поскрипывает сверху.
Скрип слетает, будто перхоть,
с черных плеч.
Эти двое вдрызг устали,
но свиваются хвостами,
чтоб сберечь
добермана, дочь и сына,
хлам в сетчатке паутины
и багаж
недомолвок, ссор, записок.

Скрип так явен,
скрип так близок,
словно наш.

**КАТАНИЕ НА ВЕРБЛЮДЕ
В ГОРСАДУ ИМЕНИ ПУШКИНА
ПО СЛУЧАЮ МОЕГО ШЕСТИЛЕТИЯ**

верблюдов по кругу мчится,
на Пушкина глядит.
а Пушкин — он из бронзы

(на тумбе голова,
в глазах торчит по дырке).
а я верхом сижу.
смотрю на все на свете.
так папа захотел.

круг. другой. на всех парáх.
меж двумя утесами.
и — предчувствие.
и — страх:
заманили.
бросили.

УТРО ВЕСНЫ

клювы, и клювы, и клювы
там, на карнизе, вовне.
голуби пляшут аллюром
и крылоплещут весне.

музыка-азбука морзе,
точки стучат и тире.

ты в навороченном ворсе
и в старомодном каре
варишь какую-то жижу,
смотришь на клювы в окно.

мы всё роднее и ближе,
мы всё единственной, но...

ПОЛЕТ

о, я б летел над сельским магазином,
где продавщица плачет и течет,
и, вылив треть канистры из бензина,
сводя с судьбой невыставленный счет,
в обычных обстоятельствах тщедушный,
а тут с цепи сорвавшийся фома
бесплатно хочет водки самой лучшей,
в противном, угрожает, всем хана...

но я б летел и дальше. возле мкада,
хоть я не знаю, что такое мкад,
где ингуши торгуют виноградом,
пока чеченцы тырят виноград,

и на арбузной горке восседает
виталий (не кальпиди, а другой),
и чертит голова его седая
по воздуху параболу дугой...

но я б летел, поскольку приземлиться
уже мне не придется ни за что.
виталии, фомы и продавщицы
мелькают, как бочонки из лото,
которым липкий запах рук не сносен,
по клеткам поля вставшие, как есть:

12.

49.

28.

4.

30.

86.

ПРЕВРАЩЕНИЯ

вот и дождь. этот дождь на космической фазе полета
превращается в снег, потому что февраль и суббота.

это снег. он летит синусоидно и неповадно,
превращаясь в соседку. в соседку с клубком. в ариадну.

ариадна летит с на губах исполняемым соло,
превращается в сельдь непонятного вовсе посола.

и когда до земли остаются какие-то крохи,
превращается сельдь в полуночные ахи и охи,
то есть в сон о любви, ежеклеточной и долговязой,
что проходит — как сон — после каждого третьего раза.

и когда этот сон превращается в дождь перекатный,
я иду под него.
и хожу.
и туда.
и обратно.

ШОПОТ ДОЖДЯ

Повесть

1.

Этот упорный дождь шел безостановочно — сыпал мелкими острыми каплями; они ползли по оконному стеклу, словно стая прозрачных насекомых. Дождь шелестел в подступивших к дому диких зарослях алычи, перешептывался с ее влажно блестящей листвой, с забытой на крыльце газетой, с серым небом и плоскими камнями, устилавшими здешние тропинки. Он убеждал Алексея Житаря: беги! И сюда за тобой придут. Сегодня или завтра полицейский наряд нагрянет на твою квартиру, перепугает жену и сына, а убедившись, что там тебя нет, ринется за город, к садовым участкам.

Да, конечно, местоположение казенных дач для полиции не секрет. Но был Алексей Житарь в состоянии паники, когда, вернувшись после судебного заседания, кидал в рюкзак необходимые вещи. Хотел уехать. Немедленно! Вопреки подписке о невыезде! В тишине и одиночестве обдумать ситуацию. И решить: куда себя деть. Сюда, к дачам, казалось ему, не поедут, все-таки прокурорское место. Заговоренное. Здесь у рядовых сотрудников прокуратуры скромные кособокие домишки, словно смущенные выпавшими на их долю привилегиями, у начальников же двухэтажные, оснащенные телеантеннами особнячки, необитаемые сейчас из-за осенних холодов — их шиферные крыши торчат из высоких зарослей по всему пологому спуску к беспокойному морю. А море, вон оно, внизу, тускло светясь сквозь кроны старых сосен, окаймляющих галечный пляж, сердито катит крутые, увенчанные белыми гребешками стеклянные валы, разбивает их о берег с трескучим звоном и ворчливыми вздохами.

Уезжать за сто верст от семьи, нет, не хочется, но и здесь, конечно же, не спасешься. Придут. Вывернут руки. Затолкают в полицейский уазик. Да еще покажут потом по местному телевидению, как его ведут в здание суда — невысокого, с всклокоченным чубом и блуждающим взглядом, похожего на провинившегося старшекласника. А в суде представят закоренелым взяточником — это его-то, старшего следователя городской районной прокуратуры, известного своей изматывающей дотошностью. Ну да, запутался он в одном деле. Заблудился. Потому

Игорь Николаевич Гамаюнов — прозаик, публицист. Родился в 1940 году в заводском селе Питерка Саратовской области. Окончил журфак МГУ, был специальным корреспондентом «Пионерской правды» и «Советской России», заведующим отделом журнала «Молодой коммунист». С 1980-го по 2014 год работал в «Литературной газете». Автор множества судебных очерков, романов «Капкан для властолюбца», «Майгун», «Жасминовый дым», «Щит героя», повестей «Однажды в России», «Мученики самообмана», «Свободная ладья», «День в августе», «Бог из глины», «Лунный челн», а также рассказов и очерков, опубликованных в «Новом русском слове» (Нью-Йорк), в «Литературной газете», в журналах «Знамя», «Нева», «Огонек», «Юность». Член Союза писателей Москвы и Союза журналистов России, лауреат литературной премии имени Антона Дельвига (2014). Живет в Москве.

что молод и горяч. Первый раз в жизни, после пяти лет безупречной работы, решил словчить и — попался. Глупо. Нелепо. Так разберитесь же, прежде чем сажать за решетку. Наказать? Можно. Объявить, например, взыскание *за потерю бдительности*. А они — сразу в суд. Но вот ведь и в суд он, как законопослушный гражданин, приходил сам, без понуканий и опозданий. Входил в полупустой зал, садился на скамью, нет, не в клетке, а перед ней, где обычно сидят адвокаты. Причем адвоката не нанимал, уверен был: защитит себя сам, и вся эта заваруха обойдется ему временной потерей должности. В крайнем случае дадут срок — год условно. А тут вдруг — будто ледяной водой окатили — услышал речь обвинителя, тот потребовал лишить подсудимого свободы на шесть (шесть!) безусловных лет. То есть — отправить «за колючку» к тем, кого Житарь сам туда отправлял.

Был конец дня, оглашение приговора отложили на завтра, и Житарь понял: судья, конечно же, пойдет на поводу у обвинения — даст ему эти шесть лет. Видимо, городскому руководству такой приговор нужен для отчета перед областью. Остановить же суд можно неявкой подсудимого. И Житарь не явился. В спортивной куртке, в надвинутой на глаза бейсболке, с рюкзаком за спиной уехал на дачу. Там мучил себя вопросом: сдать? Или бежать? Если бежать, то куда? В какой-нибудь заштатный, забытый Богом городок? Но в малолюдь быстрее заметят. Нет, только в большой город, где в густом человеческом коловращении можно затеряться. Сменить имя. Найти другую работу. Снять жилье. И — главное! — перевезти туда жену и сына. Ради них он втянулся в эту историю. И какой же нелепостью она завершилась, страшно представить: скамья подсудимых, клеймо вымогателя.

Шелестел дождь в кустах, монотонно уговаривая Алексея Житаря: вспомни, пойми, наконец, когда ты сделал неверное движение, превратившее тебя, следователя, в подследственного? Серdito сипел чайник на электроплитке. За окном, в зарослях алычи, копились ранние сумерки, напозавшие с гор, из глухих, лесных урочищ. Капризно помаргивала лампочка под потолком, грозила погаснуть — это здесь случалось нередко. В темном кухонном углу, где стоял ящик с плотницкими инструментами, скрипел сверчок, словно спрашивал: «Ну что? Ну что?»

2.

Да, конечно, первое неверное движение он сделал, когда подал рапорт об уходе, а после длинного разговора с прокурором Олегом Есауловым уходить передумал. Убедил его речистый молодой прокурор: мерил аршинными шагами свой кабинет, ерошил чуб, прожигал пристальным взглядом светло-серых глаз, размашисто жестикулировал.

Они почти ровесники, Есаулову тридцать, всего на два года старше Житаря, а как уверен в себе! В своих принципах! Не ищет личных выгод, хотя мог бы, ведь он, прокурор центрального городского района, числится в первой десятке городской элиты. Но вот уже лет пять теснится в двухкомнатной квартирке с женой и двумя детьми — в отличие от других городских начальников, недавно получивших в новом доме просторные апартаменты. Нет у него хватательного навыка. По утрам на балконе Есаулов делает физзарядку с гантелями и, бывая на работе в выходные и праздничные дни, называет себя *сбрэндившим трудоголиком*.

Да, мы работаем с перенапрягом, говорил он Алексею Житарю, по вечерам, по выходным, но как иначе?! В стране ситуация аховая, совместить свободную экономику с законностью пока не удастся. В центральном городском районе, за который мы в ответе, тоже положение тревожное. И только мы, понимаешь, только мы можем хоть что-то изменить!..

Увлеченный своей проповедью, он не преминул напомнить Алексею о недавно полученном им жилье (правда, в старом доме), ведь до этого почти три года обитал на съемной квартире. В большом курортном городе жилплощадь — подарок судьбы, его надо отработать. А иначе нечестно получается.

Второе неверное движение Алексей вспоминал с неутраченной досадой. Опять — разговор с женой. Анна, стесняясь слез, отворачивалась, промокая глаза платком. Объясняла: в библиотеке с читателями тяжело общаться, мешает колющая мысль: а как я выгляжу? Кофта на локтях светится. Туфли износились, как, впрочем, и ее старомодное пальто, и многое другое из одежды и обуви, а денег на крупные покупки не было. Не было в их квартире и мебели — они спали на старом диване, подаренном им прежними хозяевами, освобождавшими квартиру, а сыну Витьке стелили на раскладушке в другой, пустой и гулкой, комнате, с цветным календарем на стене и грудой игрушек в углу.

Но это, наверное, можно было пережить, если бы не эпизод с добросердечной подружкой Викой, женой адвоката, который когда-то работал в прокуратуре, как и Житарь, следователем. Вика зავала Анну к себе в роскошную, утопающую в коврах, набитую электроникой трехкомнатную квартиру на чашку чая. Но чаем дело не обошлось — она попыталась подарить Анне свой почти не ношенный жакет, не успевший окончательно выйти из моды. А еще подруга Вика, не замечая, как Анна напряглась, оскорбленная таким благодеянием, жаловалась ей на скупость мужа: ведь зарабатывает сейчас хорошие деньги, но все никак не решится сменить потрепанный «форд-фокус» на новенькую «нисану».

— Неужели и ты не смог бы работать адвокатом? — допытывалась у Алексея жена. — Стыдно ведь так жить, как мы живем.

Алексей успокаивал ее, говорил о скорой прибавке к зарплате, но понимал: обещанное, скорее всего, окажется мелкой подачкой и не решит его семейных проблем. И на следующий же день снова подал рапорт об уходе.

И опять прокурор Есаулов шагал по кабинету, в распахнутом пиджаке и приспущенном галстуке, размахивал длинными руками, стыдил Алексея за нестойкость, объясняя, что по характеру своему он *настоящий следак*, в каждой ситуации доискивается полной правды, а такие *копальщики-правдолюбцы* в адвокатской среде не уживаются, там нужны другие свойства характера, которыми он, Житарь, не обладает. Поэтому лучше быть самим собой, жить скромно, но с *чистой совестью*, ведь только она, *чистая совесть*, делает человека сильным, а не деньги и должность... Сказав про должность, прокурор, пересекая кабинет, похлопал по своему заваленному служебными бумагами столу, словно всадник по холке любимой лошади, и добавил: «Сейчас она есть, а завтра нет, ну а совесть-то всегда при тебе, что бы ни случилось».

И снова Алексей изорвал на клочки свой рапорт, хотя проповеднические слова о совести слышал от своего начальника не раз и не очень-то верил в его искренность.

А потом случилась эта встреча в центре города, на Платановой аллее. Здесь, в открытом кафе, у цветного фонтана, пировал в летний вечер пестрый курортный люд. Здесь в невероятных количествах поглощали мороженое, пробовали инжир и хурму нового урожая, пили шампанское, провозглашая изошренно-пышные тосты. Сын Витька потянул отца за руку к свободному столику, и они сели совсем близко к фонтану. Витька крушил в стеклянной вазочке тающие шары, смотрел, как под разную музыку меняют цвет освещенные снизу струи, и не заметил официанта, поставившего на их стол тяжелую бутылку шампанского. Услышал только:

— Это вам гостинец во-он от того столика!

«Тот столик» располагался довольно далеко, но оттуда им, поверх голов сидевших, привстав, приветливо махал рукой рослый упитанный человек в летней дыр-

чатой шляпе и белом льняном пиджаке с распахнутыми полами, похожими на готовые к полету крылья. Алексей его узнал сразу: это был «бригадир» рейдерской группы, несколько лет мошеннически отнимавшей бизнес у разбогатевших предпринимателей; на допросах он улыбался Житарю и, отвечая, приговаривал: «Такая кругом путаная жизнь, хороший ты человек, кто-нибудь да в обиде, но только не ты! В обиде не будешь, дорогой!» На «бригадира» тяжело было смотреть: у него, известно-го в уголовном мире ненасытной жестокостью, избивавшего несговорчивых недругов до крови, сейчас был умильный взгляд, говорил же он торопливо и с пафосом. И все про хорошую жизнь, которая ждет следователя Житаря.

Алексей, прикидываясь, будто не понимает его намеков, довел дело до суда. Городской суд отправил «бригадира» за решетку на семь лет, но приговор неожиданно отменил облсуд, и при повторном рассмотрении наказание «бригадиру» сократили до трех лет. И уже через год, выпущенный на свободу «за хорошее поведение», «бригадир» появился на городских улицах в своей неизменной дырчатой шляпе и льняном пиджаке.

— Молодой человек, — остановил официанта Житарь, — отнесите эту бутылку ее владельцам.

Но избавиться от нее было не просто. Перенесенная на свой столик, она оказалась в руках «бригадира», и тот, сдвинув шляпу на затылок, понес ее обратно, не уложив лавируя меж столами и стульями. Подсев к столу Житаря, «бригадир» улыбался все так же умильно, но на этот раз сквозила в его улыбке снисходительность.

— Не обижай, дорогой, возьми, дома жену угостишь. Она ведь у тебя хорошая. И ты хороший, только немножко упрямый. А не будешь упрямый, у тебя все будет. Захочешь — автомобиль будет. Нехорошо следователю пешком ходить...

И сказав все это, ушел. И Житарь почувствовал себя наивным мальчишкой, которого отчитали за неправильное поведение. Подумал: ведь стоило лишь намекнуть «бригадиру» на свою главную домашнюю проблему, и на другой же день у их подъезда оказался бы автофургон с новой мебелью. Как вот эта бутылка шампанского на столике.

Расплатившись за мороженое, Алексей с сыном собрались уходить, и Витька потянулся было к бутылке: «Папа, давай возьмем», но отец, загадочно усмехаясь, объяснил:

— Нельзя! Это собственность работников областного суда.

3.

Дождь стал затихать. Посветлело небо над кронами сосен, над беспокойным морем. Прорезалась сизая линия горизонта. И тут же над крышами обезлюдивших дач, над зарослями алычи, в кроне старого тополя, что стоял у поворота проселочной дороги, зазвучали резкие голоса. Это были сойки, крупные красивые птицы кремово-белой расцветки, с пронзительно синей полосой на крыле. Они по-хозяйски шумно облетали участок, перекликаясь нетерпеливо и хрипло, будто были простужены и очень сердиты.

Алексей стоял на крыльце, наблюдая за птицами, прислушиваясь к звучащему в нем самом тревожному напоминанию: пора уходить! Надо, скатав спальник, забросить его на чердак, пусть полежит до лучших времен под висящими на стропилах пучками лаврушки, настриженными хозяйственной Анной здесь же, на участке, и забытыми в суматохе осеннего отъезда. И не забыть вылить из заварного чайника оставшуюся заварку, выбросив сойкам остатки черствого хлеба.

Укладывая рюкзак, он увидел на подоконнике обломок пластмассового гребня. Анна причисывалась им и даже закалывала пучок на затылке, не разрешая Алек-

сею отправить его в мусорное ведро. «Я привязалась к нему, — объясняла, смеясь. — Он мне родня». Кинув его в кармашек рюкзака, Алексей зацепился взглядом за Витькин рисунок, приклеенный над кухонным столом: оранжевая лодка в синем море, выпуклый парус, похожий на упавшее с неба пузатое облако, и маленький человек на корме с тонкими растопыренными руками — то ли от восторга, то ли от страха перед огромной, выросшей впереди кудрявой волной. Витька нарисовал все это после того, как в непогоду сходил с отцом на пустой пляж — смотреть шторм.

Алексей сунул аккуратно сложенный рисунок в блокнот, застегнул рюкзак, вышел на крыльцо. И увидел под соснами, на шоссе полицейский газик. И понял: они уже здесь. Несколько секунд он колебался, не сдать ли. Но, вообразив отвратительный звяк скользких наручников, которые непременно на нем защелкнут, замкнул дверь и, пригнувшись, ринулся в заросли алычи: в них были извилистые ходы и ниши, протоптанные местным зверьем.

Слышно было, как надсадно воющий газик карабкался по каменистому проселку, как, чихнув, заглох. Вот щелкнула открытая дверца, и молодой голос покрыл окрестности матерным словосочетанием:

— Ну, и где его здесь искать? В этих избушках сейчас только мыши живут. Номер-то дачи у тебя записан?

Звучали тяжелые шаги по каменистой тропе. Владелец молодого голоса потоптался на крыльце житаревской дачи, дергая запертую дверь.

— Я же говорил, не стоило бензин жечь. Он деньги-то нагрел и махнул, наверное, в Анталию, пузо греть. Или в Египет.

— Да ты посмотри, не в кустах ли сидит?

— Что он тебе, заяц?! *Следак!* Помнишь сержанта Веденяпина? Его на три года закатал, а теперь сам попался... Слушай, переборщили мы с пивом... Опять приспичило...

В ближних кустах алычи послышалось звонкое журчанье с утробным побрякиванием.

— Ну, что, айда обратно? Доложимся, пусть федеральный розыск за ним побегает.

И — снова шаги. Теперь они удалялись.

Хрястнула захлопнутая в сердцах дверца, рывкнул включенный двигатель. Газик, развернувшись, покотил вниз, к соснам.

— Мурло! — выругался Алексей, таившийся в зарослях алычи, в двух шагах от «журчавшего» мента. — Рюкзак, скотина, забрызгал.

Шумело неугомонное море, звенели, разбиваясь о каменистый берег, стеклянные валы, оставляя на гальке пенистые гребешки, мгновенно терявшие свой воинственный вид. Житарь долго шел по бровке шоссе, вскидывая руку, но никто не останавливался. Его фигура не обещала выгодной оплаты: в поблекших джинсах, куртке-ветровке и надвинутой на глаза бейсболке, с рюкзаком за спиной, он был похож на отставшего от туристической компании студента.

Увидела бы его сейчас мать, не узнала бы. Он приезжал к ней в отпуск, в степной поселок, на два-три дня щеголем: в лакированных туфлях, в пиджаке и шляпе. Держался строго, как и положено прокурорскому чину. Выговаривал своей замужней сестре, распустившей, по его мнению, выпивоху мужа, водителя совхозного грузовика, с которым случались у него словесные стычки. Тот, подогретый выпивкой, насмешливо косился на узконосые туфли Житаря, уязвляя его одной и той же фразой: «И обут одет уже не по-нашему, эт-то чтоб легче было народ в тюрьму сажать».

С бывшими же однокашниками (а был Житарь в школе пятерочником), встречаясь на улице, общался коротко, словно торопясь куда-то. «Куда?» — спрашивали его, и он, озабоченно морщась, говорил: «Уезжать пора. Служба!» Как теперь объяснить матери, мелочно-педантичной, всю жизнь в бухгалтерии совхоза счи-

тавшей чужие копейки, ту ужасную перемену, которая превратила жизнь ее сына в постыдную игру в прятки?

Алексей устал голосовать, когда вдруг на его вялый взмах притормозил потрепанный пазик, насквозь пропахший бензином, в нем ехали работяги в спецовках. Свободные места были, и Алексей сел ближе к дверям, осторожно осматриваясь из-под козырька бейсболки. Автобус заносило на поворотах петлистого шоссе, и усталые пассажиры в грубых робах одинаково покачивались в такт, безмолвные, как статуи, будто кто-то вылепил их из глины, вырезал из дерева, выпилил из пористого известняка, забыв вдохнуть жизнь. Они безучастно смотрели на дорогу, автомобили, кусты, на вечернее тусклое море за ними, на горбатый лесистый спуск. Вот в нем открылась освещенная площадка с продолговатым строением и яркой неоновой надписью: «Хачапури». Два белых «мерседеса» и зеленый полицейский уазик дежурили у широкого крыльца. По его ступеням не торопясь спускались двое полицейских в синей форме и фуражках с красными околышами. Эти двое сели в уазик, съехали вниз, на шоссе, перегруженное вечерним потоком, пристроились в хвост пазику, и Алексей напрягся: неужели те самые, что приезжали за ним? Будет забавно, если он, выходя из автобуса, наткнется на них, и они, свернув его внешность с полученным в отделении фотоснимком, тут же, на виду у всех, заломят ему руки.

Уазик перестроился в правый ряд, шел в потоке машин почти рядом с автобусом, и Алексей приник к окну, всматриваясь. Лобовое стекло уазика отблескивало, но вот на повороте отблеск исчез, стало видно лицо водителя — тот наклонился к баранке, следя за потоком машин, и их взгляды пересеклись. Алексей отшатнулся, отодвинувшись от окна, хотя трудно было представить, что его вот так, на ходу, могли бы разглядеть. И — узнать. И, остановив автобус, войти. И, схватив за руки, волоком потащить в уазик.

Но воображение уже трудно было остановить. Житарю представилось, как цепко хватают его за локти, как он, сопротивляясь, кричит: «Люди, помогите!» И сидящие в автобусе истуканы, не шевелясь, с безмолвным интересом смотрят на эту сцену, потому что давно уже приучены к мысли: наша жизнь кишит преступлениями. Они везде. Их нужно сразу отправлять в тюрьму, а лучше — сразу ставить к стенке... Да, конечно, толпе, уставшей от неустроенной жизни, нужна подобная жертва, объяснял себе Алексей. Толпе чужда мысль о том, что бывают преступления, совершенные по необходимости. Да, в моей истории, убеждал он себя, есть признаки преступления, но вина моя мизерна. Просто я единственный раз в жизни попытался жить так, как живет сейчас большинство.

Транспортный поток втянулся в пригород, море заслонили помпезные, увитые виноградными лозами здания санаториев, справа потянулись с гористых спусков ступенчатые ряды длинных пятиэтажек, и на первой же развилке полицейский уазик свернул, растворившись в запруженном автомобилями переулке. Алексей облегченно вздохнул, порылся в кошельке, передал водителю деньги. И вышел у вокзала.

...Спустя час, устроившись на верхней полке купейного вагона, он уже ехал в Москву.

4.

Вагон качало. Стучали на стыках колеса, будто переговаривались, что-то доказывая друг другу, то ссорясь, то успокаиваясь. В купе пили чай — две полные пожилые женщины и бойкий сухонький старичок, без конца повторявший:

— Сахар вреден. Я всю жизнь пью без сахара, и вот жив.

Женщины, звеня в стаканах ложечками, сочувственно кивали, вспоминая свои рецепты продления жизни, рассказывали о чудодейственных целебных травах, а непоседливый старичок, отхлебывая чай, часто кивал, со всем соглашаясь, и время от времени напоминал:

— Двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Сипело вагонное радио, сообщая что-то неразборчивое. За окном в синеватых сумерках проплывали огни пристанционных поселков, и Алексею представлялось, как он сходит на ближайшей остановке, устраивается путевым обходчиком, отращивает бороду, присматривает какой-нибудь старенький дом с одинокой старушкой, селится к ней, обещая ее содержать, и выписывает сюда жену с сыном. Какая могла бы получиться спокойная, счастливая жизнь: с заботами об огороде, со столярно-плотницкими занятиями, ветхий дом нужно же отремонтировать, с прогулками на ближайший пруд, где они с Витькой наперегонки ловили бы карасей!

Намечтав себе все это, он усмехнулся, потому что знал про себя: при всем своем упорстве и навыке распутывать сложные дела, он оставался человеком непрактичным, по-мальчишески порывистым, неспособным противиться своим эмоциям. Он и женился-то на Анне, познакомившись с ней в библиотеке, увидев ее беззащитно белеющую в кружевном воротничке шею, ее склоненную над формуляром гладко причесанную голову с пластмассовым изогнутым гребнем, которым она закалывала волосы чуть пониже затылка. После нескольких месяцев их скитаний по бульварам областного города, их торопливых поцелуев этот гребень оказался на его прикроватной тумбочке, в комнате студенческого общежития, где им наконец повезло остаться вдвоем на всю ночь.

Годы спустя, когда он уже работал в прокуратуре курортного города и у них появился Витька, а жили они еще на съемной квартире, обломок этого гребня оказался на их служебной даче, и, как-то наткнувшись на него, Алексей вдруг понял, какое сокровище подарила ему судьба. Анна, до беспамятства любившая его и сына Витьку, со старыми вещами, бывшими свидетелями пережитого, расставалась неохотно — так дорожила она каждой минутой своего счастья. И вот сейчас он, Алексей Житарь, обрек ее на муку неопределенности, на ожидание худшего!..

Ну, почему, почему это случилось, мучил он себя поздним раскаянием, ворочался на второй полке купе, глядя в заоконную ночную темь, вслушиваясь в издевательски-насмешливый стук колес.

...В тот вечер он был ночным дежурным по прокуратуре, и к нему пришли на прием две женщины — жаловаться на мужчину. Пухлая девушка лет двадцати, в прозрачной блузке и синих шортах, назвавшись Варей Мятлевой, нервничала, рассказывая. То приглаживала короткую стрижку, то взлохмачивала ее растопыренными пальцами. Лихорадочный взгляд прыгал с лица следователя на стол с папками, на незадернутые шторы и темное ночное окно, на неплотно закрытую дверь. Казалось, Мятлева сейчас сорвется со стула и убежит, но мешает этому бегству присутствие наблюдавшей за каждым ее движением строгой спутницы, объявившей себя родной тетей взволнованной девушки.

Сюжет жалобы был прост: Мятлева у киоска с мороженым познакомилась с мужчиной, лет ему сорок, а может, пятьдесят. В общем, он ей показался серьезным. Ни на что не намекал. Гуляли по набережной. Он говорил про себя, что тренер, Павлом назвался, повел смотреть спортивный зал, там же, у пляжа. А когда вошли, запер дверь изнутри. И — надругался над ней. На лежавших на полу матах.

На «ночную бабочку» не похожа, подумал Алексей, та бы излагала историю побойчее, а эта вроде стесняется. Но может, она из начинающих? И только вживается в образ? А тетка ее, с сумочкой на длинном ремне, с упругой шестимесячной завив-

кой и остро щупающим взглядом, назвавшаяся Раисой Петляновой, судя по всему, режиссер ситуации. Тертая баба, вон как напряглась, боится, вдруг не доиграет Мятлева свою роль.

На вопрос о следах насилия Варвара Мятлева лишь передернула круглыми плечами — нет у нее никаких следов, ни синяков, ни порванного белья. Зато готово заявление на имя прокурора — о поруганной чести. С требованием — судить насильника, обязав возполнить денежной компенсацией моральный вред. Было понятно: их обеих интересует не столько строгость закона, сколько денежная компенсация, такой на здешних пляжах образовался *бизнес*.

— И как вы собираетесь доказать факт насилия? — спросил Житарь.

— Павел не откажется, — глядя в темное окно, уверенно произнесла Мятлева.

— Павел? А где мы будем искать вашего мифического Павла? Он, что, номер своего телефона вам дал?

— Он мне свой адрес дал, чтоб приходила, когда жены нет, — с насмешливой гордостью ответила Мятлева. — Его жена в ларьке спорттоварами торгует. С утра до вечера.

— И вы верите, что адрес не выдуман?

Адрес оказался подлинным. По звонку из прокуратуры наряд полиции приехал в микрорайон частной застройки, где жили в типовых трехэтажных особнячках разбогатевшие бизнесмены, свернул в Четвертый Виноградный переулок, к дому номер семь, поднял из-за стола хозяина, оторвав его от позднего ужина, и, убедившись, что он Павел, муж бизнесменши, продающей спорттовары, доставил в кабинет следователя Житаря.

Алексей с брезгливым интересом рассматривал немолодого грузного мужчину в спортивном адидасовском костюме (не успел переодеться), слушал его сбивчивые объяснения. Таких персонажей в своей следственной работе он еще не встречал. Оказывается, с Варварой Мятлевой у Павла Петрухина *все было по согласию*: она, по его словам, сразу, как он закрыл изнутри дверь, сама стала спешно раздеваться. Чем его слегка удивила:

— И куда так торопилась? Теперь-то ясно куда. К вам, жаловаться.

Он и в самом деле намеревался встречаться с ней, потому что жена, как он выразился, «не уделяет сексуальному вопросу должного внимания». Думал же следователь Житарь в этот момент не о судебном преследовании пожилого плейбоя Петрухина, судя по всему, преследовании бесперспективном. Алексей не понимал, как можно жить с одной женщиной, а обниматься с другой. Тайком. На затоптанных матах. Ну, почему бы не развестись этому Павлу Петрухину с бизнес-женой? Что держит их вместе? Дом? Банковский счет? Взаимные измены и привычное вранье, будоражащее кровь?

Тяжело вздыхал, навалившись на приставной столик, несчастный Петрухин, писал, вымучивая свое объяснение. Бормотал: «Вот дура эта Варька, ну и дура!» Поднимал всклокоченную голову со сверкающими потными зальсынами, спрашивал следователя:

— А что, теперь измена жене карается по закону?

На следующий день прокуратуру вновь посетила Раиса Петлянова, на этот раз без племянницы. Принесла новое заявление Мятлевой. В нем уже отсутствовало требование судить Петрухина, а содержалась лишь одна скромная просьба: посодействовать оскорбленной девушке в получении материальной компенсации. «За что? За сексуальное приключение, которое сама же и спровоцировала?» — поинтересовался у Петляновой Житарь. Та не сразу ответила на вопрос следователя. Выдержала длинную паузу, глядя на него с чуть-чуть наметившейся улыбкой тайной сообщницы, и наконец произнесла:

— Ну, вы же понимаете, что это пока нигде не зарегистрированное заявление вас ни к чему не обязывает. Просто когда вам позвонят, вы скажите, что такая бумага у вас имеется, но вы ей пока не дали ход. И все. После чего выбросите этот листок в мусорную корзину.

— И что дальше?

— Дальше жена Петрухина, не желая скандальной славы, по-тихому выплатит моей племяннице требуемую сумму. Без судебной волокиты.

— И какую же сумму?

Озабоченно нахмурившись, Петлянова щелкнула замком сумочки, висевшей на длинном ремне, извлекла миниатюрный блокнот и авторучку, нарисовала на вырванном листке шестизначную цифру и показала ее следователю. Издалека. И тут же, смяв листок, кинула его в сумку.

— В рублях? — уточнил Житарь.

— Да ну что вы, смеетесь? Конечно, в долларах.

И понизив голос почти до шепота, Петлянова добавила:

— Половина — вам.

На нее можно было накричать и выгнать из кабинета. Но Алексея вдруг осенило: он, молодой следователь, может провести блестящую операцию с разоблачением профессиональной вымогательницы. Мало того: потом, когда он усадит эту наглую особу на скамью подсудимых, в местной прессе и по местному ТВ можно будет объявить беспощадную борьбу так называемому *пляжному бизнесу*. Он, Житарь, появится на экране, напористо расскажет, как вел расследование и какие при этом чувства переполняли его.

А пока надо притвориться. Пусть Петлянова думает, что он клюнул на ее приманку. Затем нужно довести ситуацию до передачи денег и в момент, когда на столе появятся пачки долларов, пригласить понятых. Решившись на все это, Житарь выдержал такую же длинную паузу, как и Петлянова в начале разговора. Затем, солидно кашлянув, сказал: «Ну что ж, действуйте...» — и, выдвинув ящик, смел в него со стола заявление Мятлевой.

Сейчас, глядя в окно на мелькающие огни пристанционных поселков, вспоминая подробности визита Петляновой, Алексей спрашивал себя, почему, дойдя до края, он свернул с намеченного пути? Ведь было бы так просто — назначить этой хабалке свидание в собственном кабинете и при передаче денег дать знать понятным, дежурящим у его дверей.

...Нет, встреча прошла в другом месте. И без понятых.

5.

Соседи по купе, звеневшие ложечками в стаканах, покончив с чаем, не торопились укладываться. Обсуждали целебные свойства меда и оздоровительную пользу от укуса пчел. Воркотливые рассказы женщин перебивал дребезжащий голосок суетного старичка:

— Я вот слышал, змеиный яд тоже хорошо действует, — повествовал он. — В маленьких дозах, конечно. У меня был случай: наступил я в нашем лесу на змею...

Алексею вдруг вспомнилось: в парке, под старыми платанами, в теплый осенний день катал Витьку на велосипеде и поздно заметил на утрамбованном песке аллеи ползущую поперек гадюку, она сверкала на солнце иссиня-черной чешуей. И не успел затормозить. Под первым колесом она рванулась вверх, но ее переехало второе, отдавив половину длинного туловища. Судорожно извиваясь, змея

волочила за собой отдаленную часть к обочине, к спасительным травянистым зарослям. Но когда Алексей остановился, помог Витьке спуститься с прикрепленного к раме детского седла и они оба, оставив велосипед, стали приближаться, чтобы рассмотреть ее, змея остановила свое движение. Прижавшись к земле, развернулась, приподняла смуглую продолговатую головку с хищно мелькающим из ее пасти раздвоенным язычком, готовая кинуться на подходивших. И — остановила их. А потом уползла в траву. Жалостливый Витька спрашивал отца, что с ней теперь будет. Алексей, объясняя ему, какая это опасная тварь, сказал: «Выживет. Гадюки — существа живучие».

И, вспомнив этот эпизод, Алексей стал думать о сыне, о том, что ему теперь говорит Анна, когда тот спрашивает, где папа. Ну да, ответ один — в командировке, где бы на самом деле ни был — в тюрьме или в бегах. Где ему теперь быть?

...И как он сразу не понял, что Раиса Петлянова из тех азартных хищниц, которые, в погоне за добычей теряя осторожность, чаще других попадают в ловушку. Она, конечно, прежде чем подсказать племяннице, кому надо улыбнуться у киоска с мороженым, разузнала все о самом Павле Петрухине и его жене Софье Васильевне, владелице небольшого магазинчика. Торговля спорттоварами у входа на городской пляж там шла бойко, и, по расчетам Петляновой, Софья Васильевна, боясь огласки, легко могла бы расплатиться крупной суммой за эротические развлечения мужа.

Так Петлянова предполагала. И ошиблась. Софья Петрухина не спешила расставаться с деньгами. Попросив у Петляновой отсрочки, она вначале позвонила в прокуратуру, следователю Житарю. И, выяснив, что заявление у него, уточнила: «Вы ведь не будете пока с ним торопиться?» — «Все зависит от вас», — понизив голос, ответил Житарь, входя в роль. Затем Петрухина дозвонилась до начальника специального полицейского подразделения. С начальником этой службы она однажды общалась, когда продавала его ведомству спортивные костюмы по льготной цене. Там ее информацией заинтересовались. Пригласили на беседу. Попросили прийти еще раз — с деньгами. Она пришла. Ее усадили за стол, показали, как нужно помечать прозрачной жидкостью каждую купюру. Ей помогали два сотрудника этой службы. Перед тем как сложить деньги обратно в сумку, Софья Васильевна попросила показать, что получилось. Ей показали: на просвеченной специальной лампой купюре проступало одно короткое, как выстрел, слово: «Взятка».

Но время и место передачи денег Петлянова и Петрухина согласовали не сразу. Наконец определились: у гостиницы «Приморской», в салоне женской парикмахерской, там небольшой бар, где дамы за кофе с коньяком расслабляются после стрижки.

А Житарь, в конце концов вошедший в роль, уже нервничал, спрашивая себя: не обманут ли? Ведь могут же эти две плутовки обойтись без него, спрашивал он себя. И отвечал: могут. Воображение рисовало ему, как они, сидя в баре, обмениваясь любезно-змеиными улыбками, решают его «кинуть». Ведь получив всю сумму, Петлянова просто заставит мнимую пострадавшую Варвару Мятлеву написать в прокуратуру третье заявление о том, что отказывается от всех прежних обвинений. И — все. Конец операции.

Да, но что могло бы измениться в нашей муторной жизни, рассуждал Алексей, окажись вот эта прохиндейка-вымогательница в тюрьме, а он, Житарь, — на экранах ТВ? Ну, расскажет он обо всем, следом поднимется шум в прессе, он, Житарь, на короткое время станет местной знаменитостью. Пляжные сводни вначале притихнут, потом перенесут свой живучий бизнес в другие подходящие места. И в разных иных сферах нашей неустроенной жизни по-прежнему ловкачи будут ловчить, а люди при должностях — получать оговоренную часть их наживы. А тебе, следователю прокуратуры, живущему в пустой, без мебели, квартире, дадут лишь почетную

грамоту за успешно проведенную операцию. Ну, может быть, еще и денежную премию, на которую можно будет купить наручные часы марки «Командирские». Со светящимся циферблатом.

Так почему бы не получить петрухинские деньги ему самому — без понятий? В качестве премии за безупречную службу? Сумма, которую готовит Петрухина, такая, что и на мебель хватит, и на пальто жене. И сразу после этого — уйти из прокуратуры... В адвокаты!.. И не поддаваться больше пылкой агитации прокурора Есаулова. «Что я ему — мальчишка, что ли, быть у него на поводе?!» — рассуждал Житарь.

Ночь накануне назначенной встречи прошла у него почти без сна. Он то проваливался куда-то, в пестрое мельтешение незнакомых лиц, то выплывал из этого морока, стараясь не шевелиться, чтобы не разбудить жену скрипом старого дивана. Анна же притворялась, будто спит, и молчала, приученная особенностями работы мужа не задавать лишних вопросов. Но в конце концов не выдержала: «У тебя что-то случилось?» — «Бессонница одолела, — объяснил Алексей. — Спи!.. Это я чаю крепкого напился».

Утром, уходя, он поцеловал ее в щеку, привычно шепнув в ухо: «У нас все будет хорошо»; потрепал чубчик сына, только что вынырнувшего из-под одеяла, скомканного на раскладушке, Алексей сказал ему, протянув руку: «Дай пять!» Заспанный Витька протянул ему горячую ладонь. Они обменялись рукопожатием — такой был у них по утрам ритуал, и Витька, окончательно проснувшись, пробормотал: «А я вчера пиратов нарисовал. Посмотришь?» — «Обязательно, — сказал Алексей, — как только приду с работы». И вышел в прихожую. «Возьми зонтик, — окликнула его жена, — там дождь».

На улице и в самом деле шел мелкий дождь. Он что-то упорно лопотал, стучась над головой Житаря в тугое зонтичное полотно, о чем-то с монотонной безнадежностью предупреждал, и Алексей догадывался о чем, но лишь ускорял шаг, повторяя себе самому: «Хватит! Надоело! Невозможно так жить!»

Встреча у гостиницы «Приморской» была назначена на десять утра. Прикрывая зонтиком лицо, Житарь прошел мимо парикмахерского салона, взглянув сквозь витрину на пустующие столики бара. У крайнего к витрине он разглядел двух женщин. Одну из них он узнал сразу: это была Раиса Петлянова — все с той же модной сумкой, висевшей почти до пола на длинном ремне. Вторую, судя по всему — Софью Петрухину, он увидел впервые, и его насторожила ее воинственная поза: склоненная, словно к схватке готовая, голова с гладко зачесанными и собранными на затылке в пучок волосами, кофейная чашка зажата в руке так, будто это средство самозащиты.

Алексей прошел дальше, прогулочным шагом, словно поджидая кого-то. У поворота в переулок, возле тротуара, у бордюрных кустов желтой акации он заметил автомобиль. Да, все правильно, петляновский «форд», как и договаривались, на месте. В нем Петлянова должна передать ему его долю. И — отвезти на Цветной бульвар, к дому. Напротив, у широких ступенек гостиницы, возле двух «нисан» и одного автобуса с задернутыми шторками, маячили какие-то люди. Они там маячат всегда, подумал Алексей.

А дождь между тем затихал, бессильно шепча что-то неразборчивое, сеясь на влажный тротуар, на стриженные кусты желтой акации, на зонт Алексея Житаря, фланирующего мимо витрины салона. Подходил к своему завершению и разговор двух дам в баре, записываемый Софьей Петрухиной на портативный диктофон, помещавшийся в кармашке ее жакета. Вот она, отставив чашку с недопитым кофе, открыла, щелкнув замками, сумку, стоявшую на столе, извлекла два больших плотных конверта, подвинула их к чашке своей собеседницы, поинтересовавшись: «Пересчитывать будете?» — «Ну, что вы, — сказала Петлянова, — я вам верю...» Она

ловким движением вздернула свою сумку, висевшую почти у пола, к себе на колени, бесшумно открыла ее широкий зев, кинула в него конверты и улыбнулась своей себе-седнице длинной извилистой улыбкой, празднующей очередную жизненную победу.

Они вышли из салона вместе, и Софья Петрухина направилась через дорогу к своей «нисане» у гостиничного подъезда, а Раиса Петлянова — к «форду», возле которого стоял, словно статуя, человек с незакрытым зонтом. Хотя дождь уже прекратился. «Садитесь, что это вы маячите, — упрекнула его Петлянова, ловко помещая свое гибкое тело за руль. — Автомобиль был для вас специально не заперт». Щелкнув наконец закрывающимся зонтом, Житарь, и в самом деле пребывавший в заторможенном состоянии, взялся за ручку дверцы. Она не поддавалась. Петлянова ему помогла изнутри:

— Там у меня немного заедает, надо было дернуть, а вы какой-то нерешительный.

И вынула из сумки один конверт:

— Вот ваша доля. Пересчитывать будете?

— Да ну, что вы, — поперхнулся Житарь.

Незапечатанный конверт был тяжел и плотен и не лез во внутренний карман пиджака. И пока Алексей с ним возился, автомобиль окружили возникшие откуда-то люди в камуфляже, распахнули все дверцы. Один из них со словами «Вам придется проехать с нами» показал в развернутом виде удостоверение. И только тут Алексей Житарь словно бы очнулся. Он, рассыпая купюры, швырнул конверт на колени Петляновой с застревающим в горле криком:

— Это не мои деньги, мне их подкинули!

А в ответ услышал ее задушенно шипящий голос:

— Неправда! Я только передала! Меня попросили!

Люди в камуфляже, осматривая автомобиль, багажник, пол, подбирая выпавшие из конверта доллары, успокаивали:

— Не волнуйтесь вы так. Сейчас приедем к нам и во всем разберемся.

Их вели через дорогу, к подъезду гостиницы, к автобусу с задернутыми шторками, крепко держа за руки.

...Сейчас, вспоминая эти подробности, Алексей спрашивал себя: откуда в нем возник этот паралич сознания? Видимо, все последнее время что-то копилось в нем помимо его воли. Бесконтрольно. И обернулось оцепенением. Нет, там, у «форда», стоял с зонтом не он, а другой человек.. Управляемый извне. Так объяснял сейчас свое состояние бывший старший следователь Алексей Житарь.

Соседи по купе наконец-то угомонились, стали укладываться; шуплый старичок неожиданно легко и ловко влез на вторую полку и, оказавшись напротив Алексея, спросил:

— Не спишь, сосед?.. Заморочили мы тебя разговорами про болезни, извиняй. Знать-то заранее все надо. Я вот когда на змею наступил, не знал, что ее укусы надо сразу прижечь. И к врачу не пошел. Полгода маялся, чуть не помер...

Он еще что-то рассказывал, но Алексей, убаюканный его воркотней, ритмичным перестуком колес и вагонной качкой, уснул наконец, измученный событиями этого дня. Словно упал в бегущие волны звуков, и его несло, вращая в медленных водоворотах. Потом в блеске водяных струй сверкнул изогнутый руль велосипеда, прорисовался Витькин затылок, показалась лесная тропинка. Куда-то они с сыном ехали, их трясло на кочках, длинные ветки задевали их, колеса вязли в чем-то... В чем?.. Алексей наклонился к затылку сына, взглянул на переднее колесо. Оно вращалось с трудом. Ему мешал клубок змей, оказавшийся на тропинке. Змеи впились в велосипедные спицы, намотались на колесо, тянулись все выше, к рулю, мотая острыми оливковыми головками с мелькающими раздвоенными язычками. Они

готовы были впитаться в лицо и шею Витьки, кричавшего отцу: «Папа, я боюсь!» — «Не бойся! — отвечал Алексей. — Сейчас мы их прогоним!» Но разбухающая лавина скользких, извивающихся, кровоточащих тел хлынула на них обоих, опрокинула их, подмяла под себя, и Алексей закричал: «Люди, помогите!»

Он проснулся от того, что кто-то тряс его за плечо.

— Сосед, ты чего орешь? — спрашивал старик. — Что случилось-то? Сон страшный?

— Сон, — признался Алексей, приходя в себя, чувствуя дрожь во всем теле. — Извини, дед.

— Ладно, давай успокаивайся. И ничего не бойся. Жизнь-то наша бывает страшнее любого сна. Вот у меня был случай...

И под очередной рассказ старика о своих бесконечных злоключениях бывший старший следователь прокуратуры Алексей Житарь стал медленно засыпать.

6.

В Москве он пробыл один день, показавшийся ему странно длинным. На площади трех вокзалов, вспомнив студенческий опыт, нашел бригаду вольных грузчиков — спрашивал в длинном, под площадью, переходе у помятых личностей с искаженными взглядами. Те пятились, с подозрением оглядывая его фигуру — не опер ли из полиции, потом молчаливыми кивками указали на небольшую толпу. В ее центре оказался невысокий остроглазый мужичок, бригадир, отсеивавший слабосильных пьяниц. Алексея Житаря, взглядом обежав его плотную фигуру, он принял сразу, но с условием — одна пятая дневной выручки в «общак» бригады. После чего Алексей, сунув рюкзак в ячейку камеры хранения, полдня на товарном складе таскал из вагона ящики с позвякивающими бутылками. В перерыве в вокзальном туалете он нашел розетку, зарядил мертвый мобильник, заговорщицки мигнувший ему голубым окошком. Позвонил жене.

Да, конечно, рассказала Анна приглушенным голосом, полицейский наряд навевдался снова. На этот раз приехавшие вели себя сдержанно, голос не повышали, под диван не заглядывали. Выспрашивали, где живут родственники беглеца, но как-то вяло, похоже, им самим эта бесполезная возня надоела. Уезжая, рекомендовали сказать «подсудимому гражданину Житарю», когда позвонит — пусть возвращается добровольно, ведь федеральный розыск его все равно найдет и этапирует обратно. «Только тогда с ним церемониться не будут, — пообещали Анне полицейские, переглянувшись с усмешкой, — у нас на этапе всякое случается».

Московский же телефон ответил не сразу. Вначале звучала мелодия «Прощание славянки», потом она резко оборвалась, и женский голос на вопрос, нельзя ли услышать Вениамина Петровича, капризно провозгласил:

— Веня, опять тебя!..

— Ну, зачем взяла трубку, я же специально ее подальше положил, — слышалась виноватая скороговорка, — не сердись!.. Алло, я слушаю...

Вениамин, в недалеком прошлом сокурсник Алексея, считался закадычным другом, был на его свадьбе свидетелем, где за скудным студенческим столом произносил витиеватые тосты. Потом приезжал в его южный приморский город отдыхать, всегда с разными девицами, и наконец два года назад женился на москвичке, став столичным жителем. Но карьера у него здесь не заладилась — работал скромным юристом-консультантом на каком-то закрытом предприятии.

Он заволновался, услышав голос Житаря:

— Ты где? На вокзале? Надолго? Почему не предупредил?.. Ты же знаешь нашу тесную квартиру... А что у тебя стряслось?

Скупая телефонная информация взволновала его еще больше:

— Не понимаю!.. Какой суд?.. Ты-то при чем?.. У меня отгул, но мы с Таней в кино собрались... Но если у тебя все так серьезно...

Он отстранил трубку, просительно объяснил жене:

— На вокзал надо. На Казанский. Туда-обратно. Друг Лешка проездом, что-то там у него закрутилось, по телефону сказать не может... А в кино — на следующий сеанс, ладно?..

Алексей ждал его у центрального входа. Долговязая фигура друга вынырнула из метро, нерешительно лавируя в разношерстной толпе, сторонясь гомонящих цыганок в длинных цветастых юбках и спортивных куртках китайского происхождения, обходя чернявых, плотно кучкующихся молодых таджиков. Поозиравшись, Вениамин увидел Алексея, заулыбался, махнув рукой, кинулся к нему. Они обнялись.

— А ты все такой же, — смеясь, глядя сверху на невысокого коренастого Алексея, похлопывая его по выцветшему плечу джинсовой куртки, сказал Вениамин, — крепенький! Так что там у тебя, в курортном раю, произошло? Как говорят твои коллеги — колись давай.

Они прошли за угол вокзального здания, там было небольшое кафе. За шатучим пластмассовым столиком пили кофе, всматриваясь друг в друга. Алексей рассказывал, как и во что он «вляпался», передумав разоблачать профессиональную вымогательницу, в результате чего оказался на одной с ней скамье подсудимых. По мере рассказа Вениамин менялся в лице, опускал голову, стараясь не встречаться с Алексеем взглядом, будто эта исповедь была не признанием друга в случившемся с ним несчастье, а приговором, навсегда прекращающим их дружбу.

— Не знаю, чем тебе помочь, — энергично замотал головой Вениамин. — Виноват? Да, виноват. Ну, так вернись и покайся. Все равно найдут. Хотя, я слышал, федеральный розыск под завязку загружен, найдут не сразу. У нас ведь страна большая, есть где побегать.

— А ты не можешь сделать мне другие документы? У тебя ведь здесь связи...

— Во-первых, связей таких у меня нет. А во-вторых, если бы и были, знаешь, какую сумму они с тебя слупили бы? Побольше, я думаю, чем та, что в конверте была... У тебя еще какие-то варианты есть?..

— В Питер поеду. Там у меня кое-какие адреса.

— Ну, давай. Извини, жена ждет, в кои-то веки в кино собрались, опаздываю. Может, тебе денег дать? Правда, у меня с собой немного...

Вениамин полез в пиджачный карман, но Алексей остановил его:

— Не суетись, у меня есть. Сегодня заработал.

— Где? Здесь?

— Да. Ящики с водкой таскал на товарной станции.

— Ну, ты даешь! Как когда-то студентом?! Ладно, удачи тебе!

Они расстались там же, где встретились, — у центрального входа Казанского вокзала. Вениамин пожал Алексею руку, выхватил из кармана мобильник, запевший «Прощание славянки», и со словами «Иду, Таня, иду!» растворился в кипевшей толпе.

«Так уходят друзья... И никаких комплексов!..» — думал Алексей, извлекая рюкзак из ячейки камеры хранения, пересекая по длинному подземному переходу необъятную площадь, входя в гулкий зал ожидания Ленинградского вокзала.

...В Питере он оказался утром следующего дня. И тут же, не выходя из Московского вокзала, набрал номер Влада. Чужой голос с дикторской четкостью произнес исчерпывающий текст: «Владимир Валерьевич Ивякин находится в отпуске, вернется в среду следующей недели». Это означало одно: Вэ Вэ (так его звали, когда он был студентом юрфака) улетел с женой в Грецию, где они несколько лет назад присмотре-

ли остров с белеющими на склонах гор коттеджами и уютными бухточками. Влад был начальником отдела безопасности крупного банка. Попав на эту должность случайно, благодаря ресторанному знакомству с молодым банкиром, Вэ Вэ стал тщательно отцеживать прежних друзей-приятелей, но с Алексеем Житарем продолжал созваниваться.

Алексей, выругав себя растяпой (ведь мог же недели две назад позвонить — на всякий случай), стал прикидывать, где приклонить бедовую голову. Денег даже на самую захудалую питерскую гостиницу у него не было. Знакомых, кроме Вэ Вэ, тоже. Но грузчики нужны были везде, и он пошел бродить по окрестностям. На вокзальных задворках заметил двух одетых в заношенный камуфляж чернявых парней, азиатов, идущих куда-то молча и целенаправленно. Окликнул их. Они замедлили шаг, насторожившись, повернув к нему широкоскулые лица.

— Что грузим сегодня? — как старым знакомым заулыбался им Алексей Житарь. — Бананы? Алкоголь?

— Мешки какие-то, — ответил один из них, вежливо улыбнувшись в ответ.

Он таскал с ними эти мешки, пахнувшие чем-то прогорклым, чувствуя, как ноет спина, напрягаются упрямые сплетения мышц, потрескивают сухожилия, злее становится пульс, острым молоточком стучавший в виски. Житарь внушал самому себе, что нет, не пропадет он, живут же люди и без теплых кабинетов с вертящимися креслами, пашут землю, пасут скотину, косят траву, гнут спину в гулких цехах возле жужжащих станков. Таких большинство.

И зачем он, Алексей Житарь, пошел на юрфак, жил студентом впроголодь, на скудную стипендию и редкие мамашины переводы. Зачем? Да, конечно, работа следователя засасывает, чувствуешь себя властителем чужих судеб, это поначалу кружит голову. Но потом-то, потом однообразие уголовной хроники начинает утомлять, суммы украденных денег, конверты с «откатами», мелькающими в текстах обвинительных заключений, — при скудной своей зарплате действуют на нервы. Правда, приезды домой отчасти меняли отношение к своей работе. Он, приезжая в свое большое степное село, снисходительно разговаривал с бывшими одноклассниками, в чьих фигурах уже намечалась мужичья грузность. Он ощущал себя там существом другого мира, воителем с человеческой скверной, отмахиваясь от мысли, что это не совсем так, что он чаще всего бессилен против этой скверны, диктующей свои неписанные правила жизни.

И вот он попытался жить по этим правилам... Оказалось — нет, такая жизнь не для него, в ней нужно уметь лгать, лицемерить, притворяться другим. Не получилось. Надо начать все заново. Дождаться из отпуска Вэ Вэ, у него, кажется, неплохие связи. Но вначале нужно подыскать место для ночлега. В перекурах разговорился с азиатами — нет, они ютились в каких-то подвалах, в тесноте и духоте, раскладушек и нар не хватало, спали по очереди. Пожалуй, эту первую ночь в Питере придется провести на вокзале.

Ему пришлось там пробыть трое суток. И всякий раз, увидев в зале ожидания полицейского, осматривающего ряды дремлющих пассажиров, Житарь напрягался — ему казалось, это за ним. Но все три ночи стражи порядка выуживали из зала одну и ту же тетку, в деревенском платке и затрапезном плаще, с громоздкой сумкой на попискивающих колесиках. Куда-то уводили. Потом она появлялась, осматривалась, поправляя сбившийся платок, и медленно шла к своему месту, спрашивая по пути заговорщицки приглушенным голосом: «Чайку с булочкой не желаете?» Угоститься среди ночи булочкой желали многие. Тетка извлекала из сумки вместительный термос, пластмассовый стаканчик, и аромат свежесваренного чая растекался по рядам. Расплачивались с оглядкой, но полицейских не было видно, да и тетка после общения с ними смелела, на вопрос, почему так дорого, отвечала словно бы

шутя: «Ночной тариф». И добавляла: «В ресторане дороже будет». Возле Житаря она с длинным вздохом опустилась на свободное место, видно, выбилась из сил, и Алексей, отхлебывая чай, похвалил: «Душистый!» Посочувствовал: «Тяжело по ночам работать?» Пристально взглянув на него, разносчица чая пожаловалась полупшепотом:

— Не столь тяжело, сколь обидно. Ведь половину выручки отдаю этим жлобам *смотрящим!* И не стыдно им пенсионерку обирать ?!

Под смотрящими подразумевались полицейские.

Остальные четверо суток до возвращения Ивякина Житарь прожил у этой тетки — Евдокии Ивановны, подрабатывавшей еще и дворничихой, ночевал в захлапленном пыльном чуланчике, на продавленной раскладушке, возил на автобусе немислимой тяжести сумку на вокзал, стараясь не появляться в зале ожидания, чтобы не мозолить глаза полицейским. Такой была его плата за чулан. Евдокия Ивановна, догадываясь, что у случайного постояльца какие-то житейские сложности, ни о чем не спрашивала, зато о своем житье-бытье охотно рассказывала. На пенсию она вышла, работая уборщицей в большом гастрономе. Там даже с маленькой зарплатой прокормиться было легко: с просроченными продуктами списывались на сутки раньше совершенно годные, их увозили домой, они растекались по родственникам. Да и большинство просроченных годились — при дополнительной обработке. Это была ощутимая добавка к зарплате, и Евдокия Ивановна, став пенсионеркой, не собиралась уходить со своей маленькой сытной должности. Но — вынудили: ее место понадобилось дальней родственнице заведующей молочной секции этого гастронома.

— А заступиться за меня было некому, — повествовала Евдокия Ивановна, — вот и пришлось зарабатывать прибавку к пенсии. Хорошо, по старой памяти дают списанные продукты, за небольшие деньги, конечно, а то хоть ложись да помирай.

— Но и от списанных продуктов помереть можно, разве нет? — спросил Алексей.

— Я аккуратно ими пользуюсь. Вот, к примеру, черствые булочки: перед выездом грею в духовке, они становятся пышными. Из прокисшего молока делаю простоквашу... Нет, милок, я человек грамотный. Да и не одна я так. Любой продуктовый магазин возьми, и не только у нас, в Питере, а по всей стране, *езде так*. Честно в наше время не проживешь...

«Послушал бы ее мой начальник Есаулов, — думал между тем Алексей Житарь. — Народ приспособливается, ловчит, чтобы как-то выжить, а мы его „за колючку“ на перевоспитание. И удивляемся, почему не перевоспитывается». О своем бывшем начальнике Алексей на днях, позвонив жене, узнал: после его, Алексея Житаря, бегства из зала суда прокурору Есаулову предложили покинуть свой пост и перебраться из курортного мегаполиса в пыльный степной поселок городского типа, замом районного прокурора. «Чтоб не отсвечивал», — процитировала Анна бывших коллег Алексея. «Вот еще одна жертва моего безумия», — подумал Алексей и спросил о сыне.

— Выучил все буквы, складывает из них слова, — доложила Анна. — Ждет папу.

— Пусть напишет мне письмо. На главпочтамт, до востребования.

— Хорошо, скажу.

7.

Вернувшийся из отпуска Вэ Вэ назначил Житарю свидание на набережной. Они сидели в ресторанном «поплавке», на застекленной веранде. Сквозь запотевшее стекло было видно, как осенний ветер гонит по Неве наискось крупную рябь и рваные сизые облака низко несутся над городом, норовя снести Адмиралтейскую иглу. Загорелый Ивякин, с улыбкой сообщивший Житарю в первые минуты встречи, что хотя и любит Питер, но хотел бы *«жить и умереть в Греции»*, сейчас

слушал историю Алексея с выражением нарастающего изумления. Мотал выбрированной до блеска головой, барабанил пальцами по столу. Поражался:

— Да ты ли это? Ты же в институте был таким правильным, на собраниях выступал. И вдруг — конверт с долларами, суд?!

— Не вдруг, — по слову выдавливал из себя Алексей, — ты ведь приезжал ко мне... Видел, как мы живем... Защитники закона в потертых пиджаках... Стыдоба!.. Вот я и решил: словчу один раз...

— Да, жизнь у вас, прокурорских стражей, странная. Будто нарочно проводят с вами эксперимент, соблазняя большими деньгами. Хотя сейчас так почти везде... Но неужели ты, следователь-профессионал, не мог предположить, что эта твоя затея попадет на контроль спецслужбы?

— Был в состоянии ступора.

— Понимаю. Пытался стать пройдохой и — не сумел?! Ну что, самый простой выход такой: вернись, отбудь наказание, тебе его наверняка скостят, и уходи потом в адвокаты.

— Не могу я вернуться!.. Представляю, как меня в наручниках ведут в автозак... Слышу, как сын спрашивает маму: «А куда ведут моего папу?»

— Есть другой выход — уехать из страны, — тут Вэ Вэ вдруг заулыбался. — В ту же Грецию, например. Устроиться мотористом прогулочного катера и всю оставшуюся жизнь катать обалдевших от счастья туристов... Шучу! Это я в отпуске примерял на себя такую перспективу.

Ивякин мало изменился со студенческих времен. Он и тогда любил озорные неосуществимые выдумки, был мастером приятельских розыгрышей. Сейчас, приутишив улыбку, всматривался в Житаря, словно прикидывал, освоит ли Алексей профессию моториста. Ивякин и в самом деле пытался понять, как делал это, когда подбирал сотрудников в службу безопасности банка, на что способен в таком состоянии бывший его сокурник.

— Греция мне не светит, зарубежный паспорт просрочен, — признался Житарь. — Да и все равно таможенный досмотр тормознул бы. Федеральный розыск, наверное, уже по мне сучает.

— Розыск?! — презрительно усмехнулся Вэ Вэ. — В его базе данных знаешь, сколько имен? Около миллиона. Вот даже у нас, случается, крупные банковские заемщики, не желающие возвращать кредиты, годами от суда бегают. Ждут, когда дело закроют — по сроку давности. И никакой розыск нам помочь не может. Помогает агентство по сбору данных на таких пройдох... Ты вот что, — взгляд Ивякина засветился озорным блеском, — сними-ка однокомнатную квартиру, заключи с таким агентством трудовой договор (телефон я тебе дам) и поработай у них коллектором. Сразу сошлись на мою рекомендацию. Будешь собирать информацию о крупных заемщиках, не возвращающих долги: телефонные звонки, встречи, изучение документов и так далее. Словом, хлопотная работенка, не все выдерживают, поэтому там всегда вакансии. Ты цепкий, выдержишь. А через год-другой, глядишь, грянет очередная амнистия, и твое дело закроют... Идет?

— Но я же беглый подсудимый, — Житарь растерялся, заподозрив Вэ Вэ в приятельском розыгрыше.

— Но мы же об этом можем не знать? Можем! Ты нам про это не говорил? Не говорил. И я надеюсь, никому в агентстве не скажешь. А если вдруг про тебя эта информация выплывет, то мы, самое большее, можем схлопотать выговор от начальства. Причем устный, скорее всего. Ну? Дерзнем?

...Вэ Вэ был удачлив и верой в свою удачливость умел заражать других. Житарь довольно легко снял по объявлению квартиру. Изучая кредитные досье долж-

ников, Алексей с каждым днем все увереннее звонил им и казенным голосом уточнял причины их растущего долга, предупреждал, когда их хроническая задолженность подходила к черте, за которой маячило судебное преследование.

Вели себя должники по-разному. Кто-то пугался, нервничал, объяснял свой долг непредвиденными обстоятельствами, но все-таки обещал погасить его на днях, ну, самое большее — в течение месяца. А кто-то с выматывающим занудством уточнял, какие могут последовать санкции, насколько они законны, как их можно избежать. И было понятно, что этот персонаж оплачивать свой долг не собирается, ищет обходные пути и может исчезнуть из поля зрения с деньгами, которые наверняка вложил в бизнес, оформленный на подставное лицо. Житарь с такими должниками был терпелив и настойчив, в его голосе и аргументах звучала уверенность человека, наделенного непреодолимой силой закона, в нем просыпался прежний азарт следователя, жаждущего — нет, не «крови», а лишь справедливости.

Но стоило ему оказаться на улице, увидеть идущего в его сторону полицейского или подъезжавший к тротуару автомобиль патрульно-постовой службы, и та уверенность, с которой он полчаса назад общался с должниками, мгновенно покидала его. Он цепенел от приступа страха. Останавливался у витрины магазина, будто разглядывая ее, или у перехода, словно раздумывая, идти ли, переводил дыхание и только потом шел дальше.

Постоянное ожидание худшего изматывало. Он понимал — это психоз — и ничего с ним поделать не мог. Погружения в кредитные истории заемщиков отвлекали, успокаивая, но как только Алексей вспоминал, где он и почему именно здесь, все вокруг становилось враждебным, угрожающим: казенный стол, заваленный папками, синеватый экран служебного компьютера, высокое окно старого здания, где располагалось их агентство, влажные питерские улицы с их сырым волокнистым туманом.

Преодолевать эти состояния ему отчасти помогала уголовная хроника. Как-то в городской газете Алексей прочел об осужденном на восемь лет следователе милиции; он за взятку прекратил дело, которое и без того подлежало прекращению. Этот собиравшийся на пенсию по выслуге лет следователь на первом же допросе признался, что деньги позарез нужны были его дочери для поступления в вуз, куда без взятки попасть невозможно. То есть он в свою очередь собирался стать взяткодателем. В другой подборке Алексей наткнулся на эпизод, ставший крушением карьеры молодого участкового врача: он выписал своему пациенту больничный лист за благодарность размером в пятьсот рублей.

И Житарю вспомнилась история фельдшерицы их села — ее таскали по судам именно в те дни, когда он гостил у матери. Медпункт был закрыт, но односельчане, страдавшие разными недугами, проклинали не фельдшерицу, а какую-то скадальную, недавно приехавшую на жительство тетку — по ее заявлению началось следствие. Житарев зять за обедом, после третьей рюмки, высказался о происходящем так:

— Это твои, Алексей, соратники изгаляются над простым народом. Никак не уймутся! Нет чтоб настоящих преступников ловить...

Здесь, в Питере, Алексей стал выуживать из газетных и интернетных сообщений информацию о мелких преступлениях. Припомнилась ему и вокзальная Евдокия Ивановна, промышлявшая ночным чаем с булочкой, ее ведь тоже можно усадить на скамью подсудимых. Алексей зачем-то коллекционировал эти истории, потом понял — зачем. Ему становилось легче от мысли, что он не один такой.

И еще одна мысль стала точить его: по статистике, в которую он однажды погрузился, персонажами этих уголовных дел чаще всего становились отнюдь не законченные преступники, а малооплачиваемые сограждане. Словом — простой народ... А ведь и он, Житарь, часть именно этого — малоимущего! — народа, Алексей хоро-

шо помнил детство, измотанную заботами мать, растившую его с сестрой без отца, — нет, они не голодали, их, по выражению матери, *кормил огород*. И вот став служителем власти, он ощутил себя «над этим народом». А сейчас, оказавшись подсудимым, убегающим от неизбежного наказания, он снова почувствовал себя частью той жизни, в которой большинство не обходится без нарушений закона. Нарушений неизбежных — так он теперь считал.

8.

Среди должников особенно донимал Житаря некий Скребков. У него была странная манера разговаривать: он как-то очень ловко перехватывал инициативу и, переключая внимание на собеседника, засыпал его разными вопросами.

— Вы сами-то, — спрашивал Скребков, — занимались бизнесом? Нет? То есть не представляете, какой это риск? А что вы заканчивали? Юрфак? Женаты? И дети есть? Сын, дочь?

— Ну, это к делу не относится, — осаживал его Алексей. — Вернемся к вашим проблемам.

— Извините, но мне показалось, что вы не питерец, откуда-то с юга, такое у вас произношение, и я бы мог быть вам полезен... Ведь в каждом городе свои особенности... К тому же у меня много нужных знакомств...

Было похоже, что этот ловкий Скребков хочет стать его приятелем и тем самым выхлопотать себе снисхождение, оттянув возвращение долга. Как-то он приехал к Житарю в офис, привез документы, не имевшие прямого отношения к делу, искательно ловил взгляды и здоровался с сотрудниками, сидевшими за соседними столами, а когда Алексей вернул его бумаги, наклонился, сказав вполголоса:

— Может быть, пообедаем? Здесь недалеко я знаю неплохой ресторан.

— Спасибо, нет, — сказал Алексей, выключая компьютер, — я поздно завтракал, к тому же мне нужно еще кое-куда съездить.

— Так давайте я вас подброшу, я при автомобиле.

Они уже шли к лифту, Алексей раздумывал — слишком уж настойчив был этот Скребков, ведь рассчитывает на ответную любезность, да и по лицу видно — обычный махинатор, попавший в финансовую ловушку. Ну да ничего ему не обломится, решил про себя Алексей.

— Мне своим ходом удобнее.

— Ну, это вы напрасно, я и обидеться могу.

На его лице мелькнула улыбка, казалось — он так шутит. Но знал Житарь: с людьми такого склада любая шутка может обернуться мелкой мстостью. За то, что не пошел на поводу. Потом, спускаясь в метро, Алексей заколебался: «Может, напрасно я с ним так строго?» И убедил себя: нет, не напрасно.

А ехал Житарь на главпочтамт... Он получал там письма из дома. Вот и сейчас, увидев свое имя, написанное на конверте образцово каллиграфическим почерком, он заволновался. Там же, в центре зала, в толпе посетителей, в их говоре и шелесте шагов, Алексей, читая распечатанное в нетерпеливой спешке письмо, слышал негромкий голос Анны, словно бы приглушавшей свою тревогу. На тетрадном листке в клетку она перечисляла домашние новости: Витька уже читает по слогам и без конца что-нибудь рисует; мама Алексея прислала письмо, спрашивает, что с ним, Алешей, почему не пишет, неужели бывают такие секретные и такие длинные — целых три месяца! — командировки?

В конверте оказался сложенный четверо плотный лист, вырванный из альбома для рисования, — Витькино послание. Там был изображен огромный, чуть не до неба,

велосипед с двумя седоками, большим и маленьким. К их головам из облаков тянулись стрелки с неровно пляшущими на облаках буквами: это ПАПА, а это ВИТЯ. Оба были в неуклюже горбящихся, красных куртках. Внизу автор рисунка такими же неровно печатными буквами сообщил: «Мы катаемся». А строчкой ниже высказал просьбу: «Папа, приезжай!»

И еще через неделю Житаря пригласил к себе руководитель агентства, грузный человек с насмешливо-сумрачным лицом — оно сейчас выражало крайнюю степень раздражения.

— Знакомьтесь, — кивнул он в сторону двух мужчин, сидевших каменными изваяниями друг против друга за приставным столиком. Один был массивный, с круглой бритой головой, в спортивной куртке, второй — щуплый, в просторном свитере. Массивный поднялся, достав из внутреннего кармана удостоверение, поднес его развернутым к самому лицу Житаря.

— Это ваши земляки из уголовного розыска, — хозяин кабинета слово «земляки» произнес с нескрываемой издевкой. — Оказывается, вас там, на благословенном юге, давно ждут, о чем вы нам при устройстве на работу сообщить не удосужились.

Житарю велели выложить на стол мобильник, пристегнули звякнувшими наручниками к левой руке того, что в свитере. На вопрос Алексея «Нельзя ли без наручников?» массивный проворчал:

— Нельзя. Очень уж прытко бегаешь.

— А мы уже, что, перешли на «ты»? — спросил его Житарь.

— Вот этапируем тебя домой, там будем на «вы». Если захочешь.

«Все-таки они меня нашли, все-таки я в наручниках, — повторял про себя Житарь, когда его вели к лифту, сажали в полицейский автомобиль, везли на съемную квартиру. — Все-таки кто-то позвонил в розыск. Кто?» Приехав, пристегнули его к батарее парового отопления, осмотрели все углы и закоулки однокомнатной квартиры, что-то искали. Что? Пачки денег? Наркотики? Алексей хотел оставить извинительную записку владельцу, с которым виделся всего один раз, но массивный запретил. С ним, сказал, участковый разберется, ну а ключи кинем в почтовый ящик.

Этапировали Житаря в обычном пассажирском поезде, в четырехместном купе, где одно место пустовало. Полицейский, к руке которого был пристегнут Житарь, перестегнул его к никелированному поручню для полотенец и подергал — прочен ли. Когда состав уже пересекал присыпанные первым снежком поля и перелески, массивный сказал своему щуплому напарнику:

— Серега, посторожи его, я к бригадире поезда схожу. Надо предупредить, чтоб к нам никого не селили.

— Да оплати ты им, Андрей, это место, только квитанцию не забудь для отчета.

— Квитанцию они мне и так дадут. А командировочные нам есть на что тратить.

— Химичите?! — Житарь засмеялся, удивившись жестяному звуку своего голоса, ставшего вдруг непривычно резким. — Тоже мне, исполнители закона.

— Заткнись, сопля эковская, — Андрей, качнувшись всем корпусом в сторону Житаря, поднес кулак к его лицу, — пока я тебе мозги не вышиб.

Он сердито грохнул дверью, ушел, оставив ее открытой. По коридору нетерпеливые пассажиры тянулись к бачку с кипятком. Проводницу звали Раей. В форменной тужурке, с высоко взбитой прической, она отчитывала торопыг. «Хосподи, ну что за спешка такая, — причитала Рая, — я ж еще билеты не собрала». По коридору сновали дети, смотрели в окна, приплюснув носы к стеклу, заглядывали в открытые двери. Вертлявый, что-то жующий мальчишка, увидев в купе пассажира, прикованного к поручню, от чего его рука была на весу, спросил:

— Чего это он так сидит?

— А чтоб не убежал, — ответил ему полицейский по имени Серега, копавшийся в раскрытом чемодане. — Ты иди-иди, мальчик, гуляй дальше.

Но мальчик попался настырный.

— Я в кино видел, там бандита так держали. А этот тоже кого-то убил, да?

— А ну давай без вопросов! Мотай отседова, пацан! — полицейский Серега задвинул чемодан под нижнюю полку и захлопнул дверь. И тут же услышал, как мальчишка с радостным воплем понесся по коридору, сообщая всем, что в их вагоне везут настоящего бандита. На цепи. Чтоб не сбежал.

«Вот я теперь уже и бандит», — подумал Алексей, ощутив вдруг усталость, от которой цепенело тело и клонило в сон. Что-то неразборчивое бормотало вагонное радио, проносились за окном посеребренные первым снегом полустанки, колеса выстукивали с упрямой монотонностью свой упрек: «Опять не в масть! Опять просчет!»

Алексей, прикрыв глаза, вспоминал последние дни в Питере, пытаюсь понять, кто его сдал «землякам», и наконец догадался: обидчивый Скребков, почуяв в житаревской неуступчивости и закрытости какой-то секрет, воспользовался своими связями, выяснив: Житарь значится в списках федерального розыска. И — дал знать о его местонахождении. Больше некому.

9.

«Земляки» обедали. Лили водку в стаканы с подстаканниками, хрустели солеными огурцами, пластали ножом с выскакивающим лезвием мясистую корейку, отламывали от батона куски. Жуя, не переставали говорить. Хвалили огурчики, вспоминая какую-то Валюху, их посолившую. Ругали водку, в которой «горечь есть, а крепости нет». Щуплому Сереге стало жарко, он рывком стянул с себя свитер, под которым у него на фоне сине-белой тельняшки висела сбоку на ремешке кобура с «макаровым». Массивный Андрей, с каждой минутой багровеющий от выпитого, распахнув куртку, скреб под расстегнутой рубашкой широкую грудь. Мешавшую кобуру он отстегнул и сунул в сумку. Пожаловался: «Сквозь рубаху натирает». — «Родная мозоль», — поддакнул Серега, хихикнув.

Житарь, сидя в углу, у самой двери, с пристегнутой на этот раз левой рукой, молча слушал их застольные разговоры, ощущая себя неодушевленным предметом, чем-то вроде обременительного багажа. И в самом деле «земляки», обмениваясь репликами, громко жуя, напрочь забыли о его присутствии. Напомнила проводница Рая. Она принесла обедающим два чая, поставила стаканы на столик и замешкалась, уходя. Спросила:

— А что, арестованного кормить не положено?

— Какого арестованного? — удивился, продолжая жевать, массивный Андрей. — Этого-то? Да он молчит, видно, аппетиту нет.

Рая принесла еще один чай и булочку.

— За мой счет, — сказала строго.

— Спасибо, я и в самом деле не хочу, — отказался Житарь.

— Он не хочет! Ха-ха-ха! — смеялся после ухода проводницы Андрей, разливая по стаканам остатки водки. — Тогда, может, выпьешь с нами?

— Что-то не хочется. Да и не положено вам со мной пить.

— Не положено, говоришь? И не хочется? А почему, Серега, ему с нами пить не хочется, знаешь? А потому что три года назад он нашей кровушки напился! Помнишь сержанта Веденяпина? А, ну да, не помнишь, ты еще тогда у нас не работал. Так вот его, нормального парня, этот крысенок закатал на пять лет! Будто бы за сис-

тематическое вымогательство. А Сенька Веденяпин ничего не вымогал — ему предлагали, он брал. Ну и попался. И вот этот гад вел следствие, убедил его покаяться. Сенька надеялся — признание зачтут и срок скостят, а суд дал ему на полную катушку. А теперь этот *следак* сам в капкане!

- Да мы все в капкане, весь народ, — устало возразил ему Житарь.
- Закрой хлебало, гад! Слушай, Серега, там у нас еще бутылка была. Давай ее.
- Не много ли будет?
- Так мы ж не за рулем.

Понимал Житарь: нелепо, глядя на них, злиться. Глупо их ненавидеть. Ну, такие попались оперативники. Выполняют хлопотное, муторное поручение. Устали. Расслабились. Везли бы другого, так же напились бы, потому что ехать в поезде да не выпить — грех, такова традиция. К тому же вспомнили Веденяпина — кровотокащую «честь мундира», о том деле писала городская газета, поэтому его до сих пор помнят. Все понимал Житарь, но — ненавидел этих двоих, будто они были главными виновниками его бед.

За окном текли мимо заснеженные поля, березовые рощи, пристанционные поселки — Житарь и это все теперь ненавидел, потому что, казалось ему, везде и у всех внешне благополучная жизнь таит скрытую угрозу, катится под откос, в гибельную пропасть, только мало кто об этом догадывается. Да, именно так — ведь мы живем вслепую! Врем сами себе и верим в свое вранье! Думаем, будто искореняем зло, а на самом деле множим его. И калечим-калечим-калечим без конца и без счета людские судьбы, воображая, будто улучшаем их.

Он ненавидел сейчас и себя самого, представляя, как его покажут по телевизору, пойманного беглеца, не сумевшего скрыться вот от этих туповатых оперов, приковавших его к металлическому поручню. Воображение рисовало Житарю, как его, в наручниках, выводят из автозака, как ведут по длинному коридору в зал суда, запускают в металлическую клетку, а в зале, среди любопытствующей публики — сын Витька и жена Анна. Витька изумлен, сбит с толку, не понимает, почему папа в клетке, как зверь в зоопарке, а жена Анна зажмуривается, прячет лицо в ладони, чтобы не видеть все то, что происходит.

Да, конечно, эти два стража, жадно хлебающие водку, везут его на муку, которую ему придется пережить... Но нет, я им не дамся, подумал Алексей. Ни за что не дамся!..

- Мне нужно руки помыть, отстегните меня, — попросил он.
- В туалет, что ль? Чтоб ты потом сиганул и где-нибудь в поезде спрятался, а мы тебя ищи? Нет, только в наручниках!.. Серега, пристегнись, своди его.

Не понравилось шуплому Сереге это поручение. Массивному Андрею было бы сподручнее вести крепенького, плотно сбитого арестованного, но Андрей был старшим по званию, к тому же его, багрового от выпитого, клонило в сон. Пристегнув к своей руке Житаря, Серега вывел его в коридор. Вагон качало, шуплого Серегу в полосатой тельняшке кидало то влево, то вправо, болталась у него кобура под мышкой, мешали встречные — они испуганно прижимались к стенке, и все равно приходилось протискиваться. Туалет оказался занят. Опер Серега стал барабанить в дверь крича в пьяном кураже: «Немедленно освободить! Производственная необходимость!» И смеялся, подмигивая Житарю. Вышла из своего купе проводница Рая, попросила не шуметь. Наконец дверь открылась. Сердитая женщина в халате, выходя, обозвала их хулиганами.

— Окно там заперто? — придирчиво спросил у проводницы Серега. Он отомкнул кольцо на руке Житаря, пропустил его в туалет и стал у дверей, прислушиваясь к доносящимся оттуда звукам.

— Ночевать арестованный у вас тоже на цепи будет? — спросила Рая и, услышав в ответ: «А как иначе», ушла к себе.

Что произошло потом, она поняла не сразу: щелкнул замок туалетной двери, и тут же прозвучал короткий вскрик, затем — шум упавшего тела. Выглянув, она увидела на полу сбитого с ног опера Серегу, перегородившего своим щуплым телом узкий проход, и бросилась его поднимать. Мелькнула у дверей в тамбур коренастая фигура арестованного, и тут же ее загородили шедшие из соседнего вагона пассажиры. Расшвыривая их, опер Серега кинулся вслед убежавшему, вопя: «Стой, стрелять буду!» Навстречу из вагона-ресторана шла подгулявшая компания, и его крик был принят ею за розыгрыш хорошо выпившего весельчака, вооруженного детским пу-гачом, похожим на настоящий пистолет, — уступали дорогу, смеялись вслед.

Тем временем Житарь миновал ресторан, где на него не обратили внимания, пересек соседний с ним седьмой вагон и сунулся в открытую дверь, к проводнице, полоскавшей стаканы в мойке: «У меня там дверь заклинило, ребенок в купе один, плачет, дайте ключ!» — «Какой номер купе?» — спросила проводница, но пока она вытирала полотенцем руки, Житарь, войдя, схватил за ее спиной со столика ключи. Потом проводница седьмого вагона рассказывала следователям: «Схватил и убежал. Смотрю, нет его в коридоре. И вдруг слышу — в тамбуре дверь стукнула. А с другого конца вагона этот бежит, в тельняшке, с пистолетом...»

Житаря настигли в тамбуре, он уже открывал там тугую тяжелую дверь. Ворвавшийся ветер вздыбил его чуб, перехватил дыхание, обжег ощущением близкой свободы. Его манили плывущие мимо деревеньки, поля, окаймленные березовыми рощами, кусты под гравийным скатом, там, казалось ему, другая тихая жизнь, но, выбирая, куда прыгнуть, он медлил. Именно в этот миг в тамбур ворвался опер Серега, с пистолетом в руке, с лицом, искаженным гримасой страха, с разинутым ртом, раздираемым визгливым криком: «Стой, стреляю!» Он выстрелил в спину Алексею Житарю, который уже оттолкнулся, уже летел вниз, навстречу земле, припорошенной первым снегом.

Алексей упал, как и рассчитывал, в кусты — они смягчили удар. Лежал на холодной земле, стиснутый острой опоясывающей болью — она жгла его спину и грудь. Он пытался откатиться подальше от железного грохота поезда, от насмешливо-издевательского перестука колес, но не пускали густые заросли.

Житарь видел кровь на снегу, свою кровь, она сочилась из него вместе с уходящей жизнью, со всей ее жестокой нелепостью, и, понимая, что это конец, Алексей повторял, как заклинание, слова: «Все-таки я ушел от них... Все-таки ушел...»

10.

Анне о смерти мужа сообщили коротко: погиб при попытке к бегству. Прошел год, а сыну Витьке она так и не решилась сказать о том, что случилось с его отцом. Она не представляла себе, какими словами это можно объяснить пятилетнему человеку. Витька же продолжал писать отцу письма, рисовать в них море и лодку с парусом, лесную дорогу и двух велосипедистов, выводить неровными печатными буквами слова о том, что ждет его из командировки.

Анна запечатывала эти листки в конверт, обещая отнести на почту. Таких конвертов у нее накопилось больше десятка.

РОССИЯ

М. А.

Тебе, не верящей слезам,
снегам твоим, воронам, галкам,
зачем поэзии Сезам,
его сияющая свалка?

Ты без него была и есть.
Собачьим воем, птичьим граем.
Быстра на ласку и на месть,
на то, что мы не выбираем.

Быстра на выбитый сустав,
на «пасть порву», «поешь, сыночек».
К чему тебе еще состав
певучей крови одиночек,

что смотрят в небо (тучи там),
живут, как звери, много квасят,
и видят — с двух сторон Креста
твои, родная, ипостаси¹.

ПРАВА

Н. П.

Больничный сквер. Все валится из рук.
Попробуй удержи-ка папиросу.
Зато так ясно слышен ультразвук
до этого неслышимых вопросов.

Всех этих «сколько», «ради», «почему» —
не увернуться, не поставить блока.
Впервые даже птичью кутерьму
не видишь умиленно-однобоко.

Владислав Александрович Пеньков родился в 1969 году во Владивостоке. Сменил несколько мест жительства и работ. Но главными считает проживание в Витебске и Таллине и работу над стихами. Выпустил два поэтических сборника. Печатался в российской и эстонской периодике. Член Союза российских писателей с 2006 года.

¹ Лк. 23:39–43.

Кипит, как гречка, голубиный пир
без признаков согласия и мира —
об этом мог бы написать Шекспир,
создай Господь зоолога Шекспира.

Конечно, биология права.
А все-таки я выдержал экзамен,
я получил хоть птичьи, но права
глядеть на все особыми глазами.

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

Р. Г.

Почаевничаем, что ли?
Сердце бьется и скорбит.
В чисто русском чисто поле
выпал вечером сорбит.

А тебе хотелось снега?
Тройки блоковской полет?
Чтобы нежность? Чтобы нега?
Не волнуйся, заживет.

Перья страуса в стакане.
Чашка чая на столе.
Мышь в «Урале», вошь в аркане,
корни в небе и в земле.

А в груди темно и тесно.
Пусть за нас ответит он —
всю изящную словесность
озаряющий закон.

Выпьем с горя, человек,
выпьем горькой, человек.
Не увидать смертниц-свечек
из-под гоголевских век.

НА ДНО

Р. Г.

На горизонте чей-то узкий парус,
а здесь трава, иголки и песок.
И нечего, казалось бы... Но парюсь,
как будто — от чего? — на волосок.

В траве лежат еда, бутылка пива,
сухой табак приятно кисловат.
И облако, плывущее красиво,
уходит навсегда, идя в закат.

Уходит навсегда. Так вот в чем дело.
Опять застала истина врасплох.
Купальщики визжат в прибое белом,
издалека похожие на блох.

И хочется потише и поглуше.
Но весело кричат, идя ко дну,
стоящие обеими на суше,
зашедшие по пояс в глубину.

СУДЬБА

Н. П.

Не эта судьба, так другая.
Но тот же, наверно, набор —
выходит окно на сараи,
присыпанный листьями двор,

на снегом присыпанный вечер,
на серого цвета траву,
на землю, где сын человеческий
опять не преклонит главу.

Саша КРУГОСВЕТОВ

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА

Повесть

Если сегодняшнее утро и наша встреча — только сон, пусть каждый думает, что этот сон — его собственный. Может быть, мы от него проснемся, может быть, — нет. Мы вынуждены его принять, как принимаем этот мир и факт, что появились на свет, что видим и дышим.

Х.-Л. Борхес

Скамейка длиною в тридцать пять лет

Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.

И. Бродский

В мае 2002 года Феликс оказался в Хургаде на берегу Красного моря. Остановился в отеле «Лампа Аладдина», расположенном в том месте, где безымянная речка впадает в Красное море. Приехал один. Купаться, нырять, глазеть на кораллы, на разноцветных рыбешек и всякую другую невиданную морскую нечисть. Планировал быть с сыном и женой Вероникой — не получилось. У сына — экзамены, жена не смогла уехать из-за болезни матери. С момента знакомства с Никой он впервые отправился в отпуск один.

Десять дней под южным небом. Здоровый образ жизни. Ожидание восхода, когда краешек солнца появится над горизонтом. Утреннее купание, море, море и еще раз море. Вечерние прогулки вдоль линии прибоя или по узким переулкам старого города. Феликсу и раньше нравилось оставаться одному, наедине с самим собой. Зачем? — чтобы бездумно расходовать время. Наблюдать негу и буйство природы, размышлять,

Саша Кругосветов — прозаик, публицист. Родился в 1941 году в г. Галиче Костромской области. Окончил Ленинградский институт точной механики и оптики. Публиковался в «Независимой газете», «Литературной России», «Российском колоколе», на многих интернет-ресурсах. Лауреат Московской литературной премии, Литературной премии имени В. Гиляровского, финалист премии «Нонконформизм-2016» и других. Автор 15 книг. Живет в Санкт-Петербурге.

думать о «прекрасном и возвышенном». Чтобы шаг за шагом успокоить, привести в порядок, разложить по полочкам собственные мысли и чувства... И теперь в этой далекой арабской стране все ему было по душе — и непостижимое море, и яростное солнце, и восхитительное ничегонеделание.

Встал раньше обычного — небо светлело, но до восхода оставалось еще не меньше часа. Феликс сидел на скамье недалеко от берега моря. Справа, метрах в пятидесяти, в густом тумане виднелись неопределенные очертания дайвинг-станции, а рядом — мимо скамьи, мимо нашего задумчивого героя — лениво ползли темные непрозрачные воды зачуханной речки, ворочались, глухо вздыхали — предчувствовали скорое окончание своей самостоятельной жизни, горбились волнами, со скрежетом отползали назад, пытались отползти, переживали от того, что неминуемо сольются с безбрежным мировым океаном и навсегда исчезнут.

Вспомнилась Гераклитова метафора «река времени». Время, река времени, неразрешимая загадка... Мы, человеки, — настоящие повелители времени. Сами того не осознавая, ежеминутно управляем его движением. Думаем о прошлом — плывем против течения, останавливаем время. Произносим набившие оскомину слова: «Остановись, мгновение, ты — прекрасно!» Строим планы, создаем образы будущего, конструируем будущее детей, близких, свое собственное, проектируем города, машины, синхрофазотроны — плывем по течению, упираемся что есть силы, скорее, скорее, вперед к будущему. Опережаем свое время. О таких говорят: «Их время еще не наступило». А можем никуда не спешить — ни вперед, ни назад, — пусть поток времени несет нас к неведомым берегам, будем пассивно лежать и спокойно наблюдать за естественной «сменой пейзажа». Пока хватает сил, плывем «по» или «против». А силы кончатся — время успокоит и первых, и вторых, и тех, кто никуда не стремится.

Феликс хорошо выспался. Пребывал в отличном настроении. Накануне он выезжал к дальним песчаным пляжам. Корабль бросил якорь метрах в ста пятидесяти от берега. Отдыхающие попрыгали в море и веселой стайкой направились к светло-желтой отмели. «Какая глубина?» — спросил Феликс у кого-то из экипажа. «Цепь выбрали на двадцать пять метров, значит, глубина — метров двадцать».

Надел маску и без ласт сиганул в воду. Через каждые два с половиной-три метра зажимал нос, продувался и продолжал движение вниз. Становилось все темнее и холоднее. Погружение проходило гладко. Наконец появились неясные очертания волнистого песчаного дна, совсем рядом, перед самым лицом. Причин для беспокойства не было. Феликс чувствовал себя великолепно. Он достиг той счастливой фазы погружения, когда спешить уже больше некуда, когда самое трудное позади, а воздуха пока хватает и дышать еще совсем не хочется. У ныряльщика на некоторое время возникает иллюзия, что море — его родная стихия, что можно оставаться здесь сколь угодно долго, жить в воде постоянно, словно он теперь волею Нептуна навсегда превратился в безмолвную и бездушную рыбину.

Коснулся рукой белоснежного песка, стал на ноги и задрал вверх голову. Боже, как далеко до поверхности воды! Ее серебристый купол, кажется, улетел высоко в небо, так высоко, будто этот купол находится теперь где-то на луне. Страх сжал сердце — куда исчезло счастливое ощущение свободы? Феликс попытался укротить волнение, оттолкнулся от дна и заставил себя замедлить движение вверх. Все в порядке, нет причин для беспокойства. Двадцать метров — это всего лишь пятнадцать-двадцать секунд подъема, нет причин для волнения... Ну вот... Наконец-то он наверху... Первый глоток воздуха. Сумел! В свои шестьдесят, без ласт, так легко нырнуть на двадцать метров!

Он ликовал. Никогда прежде ничего подобного ему не удавалось... Даже в молодые годы. И сегодня, этим ранним утром его не покидало пришедшее к нему нака-

нуне — там, на глубине — ощущение необыкновенной легкости и свободы. Свободен. Он свободен! Где-то на далекой периферии сознания еще маячили остатки переживания внезапно возникшего там же, у самого дна, безотчетного чувства страха, такого же волнистого и нереально белесого, как и само это дно, но он постарался избавиться от ненужного и неприятного воспоминания.

Феликс никому не говорил об этом своем достижении. Однако вчера вечером около бассейна, именно вчера, его обычные компаньоны по курортному времяпровождению — новые приятели и просто соседи по отелю и пляжу — почему-то были особенно доброжелательны и держались с ним подчеркнуто уважительно. Когда на душе легко, от нас расходятся волны уверенности, силы и спокойствия. У Феликса была харизма, был некий магнетизм, к нему и раньше тянулись люди... Знакомые и незнакомые. Но вчера... Вчера это было особенно заметно.

Оглянулся по сторонам — вокруг ни души. Ночные гуляки отшумели пару часов назад, а купальщики еще не пробудились.

Внезапно его посетило ощущение «дежавю». Будто это все уже происходило с ним. Или, вернее, будто он когда-то предвидел сегодняшние переживания, наблюдал туманный пейзаж, темные непрозрачные воды реки, размытые очертания дайвинг-станции... Будто подобное ощущение посетило его во второй раз. Будто он уже побывал именно в этой временной точке. И видел то же, что сейчас. Пережил это в прошлом. Раньше. Он попытался вспомнить, когда что-то похожее могло произойти с ним. Если времени не существует, если время — только свойство нашего мышления, только способ последовательно вспоминать одно событие вслед за другим, тогда можно «вспомнить» не только прошлое, но и будущее. Феликсу показалось, что прошлое и настоящее подошли вплотную к какому-то очень важному моменту его жизни, «дежавю» коснулось его памяти и сообщило: «Вы немного сбились с пути, мой друг, но сейчас успешно вернулись уже на свою, единственно верную тропу. Поздравляю! Теперь вы можете двинуться дальше, вас ждет необыкновенное приключение».

Кто-то сел на другой конец скамьи. Феликс предпочел бы остаться один. Встать и уйти? — пожалуй, это выглядело бы невежливо.

Молодой человек стал насвистывать. Феликс вздрогнул. Этот «кто-то» пытался выводить рулады мексиканского мотива — знакомая с детских лет песня «Коимбра», которую когда-то исполняла Лолита Торрес. Мотив перенес его в старую коммуналку на Моховой. Песенку любил насвистывать их сосед Толя (надо отметить — он делал это мастерски), когда, готовясь к очередному свиданию, начищал до блеска выглядывающие из-под клешей носки ботинок. Где теперь Толя с Моховой? Как же давно это было! Незнакомец тихо пропел: «Коимбра, чудесный наш город, ближе нет тебя и краше. Мы позабудем не скоро свет из окон старых башен». Голос и свист принадлежали не Толе, но явно ему подражали.

Феликс повернулся к пришельцу и спросил:

— Откуда вы, молодой человек, из Петербурга или из Москвы?

— Не из Москвы и уж тем более — не из Петербурга. Какой Петербург — вы что, с луны свалились? — Петербург в царской России остался. Я в Ленинграде живу.

Некоторое время они сидели молча. Потом Феликс задал еще один вопрос:

— В доме тридцать шесть по Моховой, против Театрального института?

Незнакомец подтвердил. Вот это да, вот это попадание! Невероятно... Испарина выступила у него на лбу. Не может быть, неужели... Черт побери, не упускай случай, Фея, решайся, хватай удачу за хвост, пока туман не рассеялся!

— В таком случае, — жестко сказал Феликс, — вас зовут Феликс Петрович, фамилия ваша — Эйлер, вы правнук или праправнук знаменитого петербургского математика. Я тоже Феликс Петрович Эйлер. Сейчас 2002 год, мы в Египте, в Хургаде.

— Нет, это не совсем верно, — ответил незнакомец голосом Феликса, но каким-то отстраненным и притушенным, будто пришедшим издалека. И, помолчав, добавил:

— Я нахожусь сейчас в Ленинграде, на скамье в двух шагах от Невы. Странно, но мы похожи; правда, вы намного старше, и волос у вас на голове осталось совсем немного.

Феликс почувствовал внутреннюю дрожь.

— Могу доказать, что говорю правду. Послушай меня, чужие не могут знать этого. У нас комната в коммунальной квартире. Кровать родителей отделена от тахты, на которой ты спишь, книжным шкафом. В трюмо сохранилась фронтовая зажигалка отца в виде серебристого шара с ватой внутри, пропитанной керосином, и с кремешком для высекаания искры. В шкафу стоят полное собрание сочинений Диккенса и академическое издание Пушкина. Между томиками стыдливо втиснута книжка о сексуальных отношениях мужчин и женщин, которую в твою юность, как бы случайно, родители оставили на видном месте. Могу еще рассказать про тот вечер, который ты провел в гостях у Риммочки, когда был еще студентом, вечер, после которого ты твердо решил, что непременно женишься на ней. Но не женился.

— Рената, ее звали Рената, — поправил «другой».

— Да, конечно, Рената, Рина. Тебе достаточно того, что я сказал?

— Нет, нет и нет... Ничего, ровным счетом ничего это не доказывает. Видимо, вы мне снитесь, а в этом случае нетрудно понять, что вы знаете все, что знаю я. Так что ваш страстный монолог ничего доказать не может.

Феликс подумал и согласился. Молодой Феликс абсолютно прав.

— Если сегодняшнее утро и наша встреча — только мираж, видение, пусть каждый думает, что это его собственное видение. В конце концов, вся наша жизнь — не более чем сон Господа.

— Видение, сон... А если наш сон прервется? — с беспокойством спросил собеседник, пропустив мимо ушей фразу о сне Господа.

Феликсу захотелось успокоить его, заодно и самому успокоиться. Он изобразил уверенность, которой совсем не чувствовал в этот момент.

— Мой сон длится больше шестидесяти лет. Когда я вспоминаю что-то, я встречаюсь с самим собой в прошлом. С нами сейчас происходит ровно то же, только нас двое. Хочешь, расскажу тебе кое-что из моего прошлого? Для тебя оно станет будущим.

Молодой человек внимательно посмотрел на Феликса. Сказал, что тот неплохо выглядит для своих шестидесяти. А потом добавил лаконичное: «Ну ладно, рассказывайте». Феликс, теряясь и путаясь, стал перечислять.

— Мама покинула нас пятнадцать лет назад, отец — совсем недавно. Он очень болел последние годы. Твоя сестра вышла замуж. Ее муж оказался отличным мужиком, но был старше ее почти на тридцать лет. Неудивительно, что она пережила мужа. От брака осталась дочь, твоя племянница... Она уже совсем взрослая, пока не замужем, детей у нее нет. Мы теперь живем совсем по-другому. Не «за железным занавесом». Знаем обо всем, что происходит в мире. Я, например, объехал всю Европу. Побывал в Океании, Америке, Антарктиде. Стоял на мысе Горн. Ты сейчас об этом даже мечтать не можешь.

— На мысе Горн? Фантастика! Вы бывали на мысе Горн?

«Из какого своего далека, из какого далекого прошлого явился ко мне этот гость?» — подумал Феликс и осторожно спросил:

— Как там наши домашние сейчас? Как твои друзья?

— Сейчас уже неплохо. Все треволнения позади. Отца реабилитировали. Он вернулся из Воркуты, где работал на шахте с заключенными — поселенцами. Восстановили в партии, помогли трудоустроиться. Мама тоже работает. Вы ведь знаете об

этом. Отец пытается наверстать упущенное. Читает, как бешеный. Все свободное время. Из каждой командировки привозит связки новых книг. У нас образовалась небольшая библиотека. Если спрашиваю о сталинских временах, он отмахивается, смеется: «Лес рубят, щепки летят». Я по-прежнему дружу с Левкой-Нахалюгой и Мишкой-Ортодоксом.

«Шестьдесят шестой—шестьдесят седьмой год, тридцать пять лет назад», — отметил про себя Феликс.

— Левка, Мишка — у нас тогда было принято называть друг друга Левками и Мишками. Да и сейчас, пожалуй, тоже... Что я могу сказать? Левка соблазнит Мишкину сестру, красавицу Клару, потом бросит ее. Из-за этого они с Мишкой — как бы это сказать? — в общем, перестанут видеться и разговаривать. Миша с родителями и молодой женой уедет в Америку. Иногда они приезжают в Россию. Редко. Мы редко с ними видимся. С Левкой тоже.

— Вот как получилось. Неожиданно. А мы ведь сейчас втроем — не разлей вода. Что еще? Бегаю на свидания с одной маленькой чертовкой. Влюблен без памяти. Она замужем. Может, я ей и симпатичен, не знаю. Скорее — забавляю, играет со мной как кошка с мышкой. Мы часто пьем кофе на втором этаже стекляшки — угол Суворовского и Невского. Напротив — огромный брендмауэр.

— Помню, помню. На штукатурке выбиты три женские фигуры в длинных летящих одеждах — аллегория дружбы народов: белых, черных и желтых.

— Это вы перепутали, «Дружба народов» совсем в другом районе. На брендмауэре сейчас большая реклама будущего фильма «Начало» с изображением Чуриковой в доспехах Жанны д'Арк.

Молодой Феликс на секунду заколебался, но все же спросил:

— А как вы?

— Не могу сосчитать, сколько статей ты напишешь, но точно, что их будет великое множество. Будешь увлекаться то одним направлением математики, то другим. Чистая теория принесет тебе неожиданные взлеты фантазии и одинокую радость, радость, которой ты ни с кем не сможешь поделиться.

Не хотелось говорить о сокровенном — о жене, о детях, а тот, «другой», не спрашивал. Феликс постарался абстрагироваться, говорить о нейтральном.

— Что касается истории. Карибский кризис и отставка Хрущева — это ты знаешь. У руля встал Брежнев, потом будет череда сменяющих друг друга старцев. Появится генсек Горбачев. Сдаст Восточную Германию, разрушит Берлинскую стену, распустит Варшавский военный блок. Североатлантический блок — обещали больше не расширяться на восток. Но они нас обманули. В 1991-м рухнул Союз и его политическая система, закончилась монополия компартии на власть. Мы теперь живем в Российской Федерации. Республики разбежались по национальным квартирам. Чтобы элиты могли без помех пилить национальные бюджеты. Хвастаться пока нечем. США почувствовали себя единственной империей и всем диктуют, как жить. Россия взяла на себя обязательства Советского Союза. Потеряла основную часть своей военной мощи. Мы теперь страна с так называемой рыночной экономикой. При этом — полное крушение идеалов, плюс — нищета и пустые магазины. Это было в совсем недавнем прошлом. Сейчас поднимаемся понемногу. Но все равно мы превратились в огромную третьесортную страну, по привычке бряцающую оружием, но с отсталой экономикой и разрушенной инфраструктурой.

Феликс заметил, что «другой» оцепенел, впал в ступор. «Бедный парень. Встретить самого себя в будущем... Мало этого — узнать, что стало с его страной, которая казалась неизблемой... Нерушимой и вечной, как мир. Столько всего сразу...»

Такое впечатление, что «другого» парализовал страх... Страх перед невозможным, непривычным, невероятным... Когда наяву сталкиваешься с тем, чего в принципе не может быть... Конечно, страшно. Потому что этого не может быть никогда. Сталкиваешься наяву... Наяву или во сне?

Попытался отвлечь своего собеседника. Молодой человек сжимал в руках какую-то книгу.

— «Как человек плыл с Одиссеем», — безучастно ответил он на вопрос Феликса.

— Припоминаю. И как тебе поэма?

«Другой» долго молчал, потом задумчиво переспросил: «Простите, что вы сказали?»

— А, поэма... Печатающиеся стихи.

Внезапно он оживился.

— Тема странствий бесконечна, Улисс появляется вновь и вновь, он плывет на своей галерее через века: Гомер, Данте, Джеймс Джойс, Луговской, — произнес юноша чеканным голосом. — Жюль Верн — тоже певец Одиссеи; Александр Грин, Мелвилл... «О, сколько лет мы рвемся по неверным пустым зыбям среди чудес попутных, среди островов, встающих из пучины, среди проливов гибельных и смрадных, что пахнут скалами и дохлой рыбой, меж тучами и сине-цветной влагой на родину, на родину, в Итаку, чтоб никогда ее не увидеть».

Пафосный тон — «другой», видимо, сумел взять себя в руки. Феликс с удовольствием вспоминал забытые стихи; ему захотелось узнать, что еще этот «другой» читал в последнее время. Тот назвал несколько поэтических вещей, среди них — «Баллада о тигре». «Какая мощь в твоей руке, какое волшебство! В руках твоих и кулачке и теплоте его», — с жаром произнес он.

— Стихи трогают нас, если мы чувствуем в них томление и порыв, а не воспринимаем их как отчет о случившемся. Если Сельвинский так пишет о женщине, с таким неестественным восторгом, значит, он так и не узнал ее наяву, она осталась для него только недостижимой мечтой, кем-то типа Дульсинеи Тобосской, — почему-то раздраженно ответил Феликс.

Молодой человек обескураженно посмотрел на Феликса, казалось, он потерял дар речи. После некоторой паузы все-таки возразил:

— Не могу согласиться с вами. Как вы можете так говорить? Вы совсем его не знаете. Он работал грузчиком, натурщиком, репортером, цирковым борцом. Воевал от звонка до звонка — с сорок первого по сорок пятый. Это настоящий человек, он не стал бы кривить душой, он пишет о том, что с ним действительно было.

— Было — не было, какая разница? Томление есть, порыв есть — превосходные стихи! Собираешься прочесть все его сочинения целиком?

— Не думал об этом; честно говоря, нет, — ответил «другой», сам удивляясь своему ответу.

Феликс поинтересовался, чем он сейчас занимается.

— Увлекаюсь разными теориями, много чем занимаюсь... Дневник веду. Это самый верный друг. С ним можно делиться всем, что беспокоит.

— И что же тебя беспокоит?

— Разное. Непонимание друзей, например. А главное — то, что работаю на оборонку.

— Интересно, что плохого в оборонке?

— Плохого? Мы создаем технику для разрушения — вот что... Она несет в мир ненужное напряжение, даже если не используется, а людям приносит одни страдания. Мне не хотелось бы впредь иметь отношение к орудиям разрушения.

— Чего тебе бояться, друг мой? Электроника, которой ты занимаешься, быстро устареет, через десять-пятнадцать лет ее заменят более современной — на основе западных разработок. А боевые системы, для которых она предназначена, будут

списаны лет через тридцать. Войны не будет, говорю тебе достоверно, потому что знаю; системы эти так и не найдут себе применения, никогда не будут использованы. Зато твоя страна встроена в планетарную эволюцию высоких технологий. И инженеры ваши, и ты в их числе. Оборонный заказ всегда был локомотивом нашей экономики. Так что пусть тебя совесть не мучает. Занимайся своим делом, раз тебе нравится, тем более что у тебя неплохо это получается.

«Другой» привык.

— Напрасно вы все это мне говорите. Все равно уйду из оборонки, как только представится возможность, — буркнул он.

— Ну и чем ты хотел бы заниматься?

— Не знаю пока. Тем, что приносит кому-то пользу. Что укрепляет братство людей. Современный человек не может отворачиваться от своей эпохи.

Феликс подумал и поинтересовался:

— Послушай, неужели ты на самом деле чувствуешь себя братом всех людей на земле? К примеру, всех сантехников всех домохозяйств, всех запойных алкоголиков, всех бомжей и эзков, всех страдающих несмыканием связок и недержанием мочи, всех девушек, обслуживающих дальнобойщиков на перекрестках дорог, всех вечерних бабочек с Московского вокзала?

— Я хотел бы, чтобы моя работа помогала массам слабых и униженных, оскорбленных и обиженных судьбой, — бубнил «другой».

— Массы униженных — как же в тебя въелась суконная терминология центральных газет! Нет на свете никаких масс. Существуют только лишь отдельные люди. Да и те постоянно меняются. Сегодня я уже не тот, что вчера. Мы с тобой — вот показательный пример — два разных человека, сидим на этой скамье — то ли в Хургаде, то ли в Ленинграде... То ли в двухтысячные годы, то ли в шестидесятые прошлого столетия...

Феликс подумал, что их действительно разделяют более тридцати лет. Они похожи, но имеют разный опыт за плечами... и совсем разные вкусы. Каждый из них напоминает карикатуру другого. Им трудно друг друга понять. Разговор не клеится. Советы и объяснения ничего не дадут. Да и не нужно пытаться что-то доказывать. Результат все равно будет один — тот, «другой», обречен в конце концов стать мною. Но Феликс не мог остановиться.

— Вокруг все так изменчиво и непостоянно. Ты весь в порыве, в желании опередить этот меняющийся мир, поймать ускользающую жар-птицу. Я же, наоборот, свое призвание вижу в поисках спокойствия и гармонии. Только спокойный человек готов к любому изменению ситуации, если он сумеет остановить бесконечную и бессмысленную трескотню собственного сознания. Это и есть свобода. Свободный человек готов ко всему. Наше сознание должно стать гладким, как поверхность пруда. Тогда оно сможет адекватно отображать любые явления.

«Другой», видимо, слушал в пол-уха, он думал о своем. И неожиданно спросил:

— Если вы действительно когда-то были мной, почему тогда вы не запомнили давнишнюю встречу с довольно образованным пожилым мужчиной, который в 1967 году уверял, что он тоже Феликс Эйлер?

«Это действительно так, почему я об этом не подумал?». Феликс ответил, но в его словах не было большой уверенности:

— Не все сны вспоминаются. Мы, как правило, стараемся забыть о неприятном. А наша встреча настолько невероятна... Легче забыть ее, чем искать объяснения. Обычно мысль непроизвольно отгораживается от того, что не может объяснить, и эта скамья длиной в тридцать пять лет, на которой мы сейчас сидим, попала в своеобразную ловушку сознания и была забыта.

«Другой» поднял глаза на собеседника и нерешительно спросил:

— А у вас, извините, все в порядке с памятью?

Феликс подумал, что для молодого мужчины двадцати пяти лет человек за шестьдесят выглядит, наверное, безнадежным стариком.

— Голова уже не та, я могу оставить дома ключи от машины или забыть заплатить за квартиру. Но пока еще помню английский и немецкий, помимо родного русского. И неплохо говорю на этих языках.

Для сновидения их беседа длилась слишком долго. Феликса осенило.

— Попробую доказать, что я — не твой сон. То есть ты видишь меня во сне. Но я — сам по себе, я — не часть спящего тебя. Прочту тебе стихи, которые ты еще не читал. Хотя написаны эти строки в шестидесятые, проснешься и можешь проверить... Но тогда ты их еще не знал. Не читал и не слышал, а я помню.

Плывет в тоске необъяснимой пчелиный хор сомнамбул, пьяниц. В ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец, и выезжает на Ордынку такси с большими седоками, и мертвецы стоят в обнимку с особняками¹.

— «Плывет в тоске необъяснимой пчелиный хор сомнамбул, пьяниц», — задумчиво повторил «другой», бережно ощупывая губами каждый звук. — Необыкновенные слова, столько тревоги... и никакого страха. «Мертвецы стоят в обнимку с особняками» — сколько же ему пришлось испытать, этому человеку, чтобы написать такое!

Стихи свидетеля далекой советской эпохи на мгновение сблизили их. Феликсу пришла в голову неожиданная мысль: «Я оставляю ему вещественное доказательство того, что он побывал в две тысячи втором; когда проснется, в его руке будет предмет из будущего, вот это класс!»

— У тебя есть какие-нибудь деньги?

— Есть, рубля три. Сегодня вечером я позвал Левку в грузинское кафе на Толмачева.

— Хорошо знаю улицу Толмачева, теперь она называется Караванной. Передай Левке, что скоро он станет большим боссом в театральном мире. А теперь дай мне одну монетку.

Тот, не понимая зачем, протянул Феликсу двадцатикопеечную монету.

— Вы, наверное, не помните... На это можно купить батон, еще сдача будет. Есть батоны за одиннадцать, тринадцать и пятнадцать копеек. Мы берем обычно за тринадцать. Он внешне посимпатичней будет — более поджаристый, что ли, да и на вкус лучше других.

Феликс дал ему пятидесятирублевую купюру.

— На эти деньги тоже можно купить батон, и тоже сдача останется.

Младший Феликс так и впился в нее глазами.

— Не может быть, здесь стоит дата — 2002 год. Это чудо какое-то! Говорят, что чудеса внушают страх. Я, например, не верю в чудеса — ни в купюру из будущего, ни в семь хлебов, которыми можно накормить четыре тысячи человек.

Неожиданно он разорвал купюру, а монету оставил Феликсу.

— Зачем ты сделал это?

— Вы сами сказали, что наша встреча настолько невероятна, что легче забыть о ней, чем искать объяснения. Лучше забыть, чем иметь подтверждение сверхъестественного...

Феликс проявил солидарность и выбросил монету в реку. Купюру развеяло по ветру, монета — на дне, никаких улик о необыкновенной и необъяснимой встрече.

— Сверхъестественное пугает. Но если оно будет повторяться? Можно ли к этому привыкнуть? Давай попробуем: предлагаю завтра встретиться на этой скамье, находящейся одновременно в России и Египте и в двух разных эпохах.

¹ И. А. Бродский. «Рождественский романс».

«Другой» для виду согласился и сказал, что ему пора. «Ну, пора так пора, мне тоже, наверное, пора», — вздохнул Феликс. Неожиданно «младший» выпалил то, о чем, видимо, думал на протяжении всей встречи.

— А скажите, получится ли у меня что-нибудь с той девушкой? Ну, с которой я пью кофе...

— Не следовало бы рассказывать об этом, но ты все равно забудешь... Это ведь твой сон... В какой-то момент тебе покажется, что у вас с ней может получиться. Но в конце концов вы расстанетесь... По обоюдному согласию, так сказать. Не расстраивайся, все, что ни делается, к лучшему.

«Другой» заметно погрузился, опустил голову. Потом они простились. Два Феликса. Подать друг другу руку не решились.

Феликс остался на скамье. Спешить было некуда. «Вот я здесь, — он ощупал, пощипал себя. — Не сплю. Была встреча. Я говорил с тем, „другим“, наяву и поэтому могу вспоминать сейчас о нашем разговоре. Тот говорил со мной во сне, вот и забыл о встрече. С самого начала хотел забыть о ней. Тем более что многое из нашей беседы ему не понравилось. Возможно, даже немного напугало. Еще во сне он постарался выбросить неприятное из головы. Но это неприятное, оно ведь осталось в нем и произвольно подтолкнуло на неожиданные решения. Получается, что я все-таки повлиял на него, что мой «совет» дошел до адресата. Интересно, что сохранилось у «другого» в памяти, когда он проснулся? Кстати, он очень удивился, когда увидел дату — 2002 год. А ведь на купюре нет даты выпуска. Значит, ему снилась купюра из будущего с несуществующей датой. А я, может быть, ему вовсе и не снился».

Весь день Феликс чувствовал подъем настроения и прилив сил. Новое чувство, которое он испытал впервые на самом дне, накануне, на двадцатиметровой глубине. Ощущение полной свободы. Такое ли уж новое? Может быть, он раньше уже испытывал нечто подобное? Ему казалось, это как-то связано — чувство свободы и то, что теперь он может легко путешествовать во времени. У свободного человека, наверное, снимаются какие-то ограничения. Небольшое путешествие во времени только добавило ему спокойствия и уверенности. Поверхность моего сознания, подумал он с удовлетворением, видимо, становится все более гладкой, все больше напоминает зеркало тихой воды.

Вспомнилась маленькая, прелестная девушка, в которую он был так безнадежно влюблен тридцать пять лет назад и которая теперь почему-то напомнила ему Жанну д'Арк с афиши фильма «Начало». Для него она всегда была в глухих, непробиваемых доспехах. Ангел в доспехах. Но без меча.

Феликс мысленно перенесся в то раннее утро, когда он добрался до Пицунды. Накануне все решилось. Еще один разговор с девушкой в доспехах. Последний. Конечно, последний — так больше продолжаться не могло.

Надо бы перекусить с дороги. Феликс зашел в разбитое, затертое стеклянное кафе. Какое кафе? Заштатная совковая, дешевая столовка самообслуживания. Ищарапаные, изломанные пластиковые подносы с бахромой стекловолокна по краям, старые тарелки и алюминиевые вилки и ложки. Ножей там не было, салфеток не было, солонки тоже не было. Но что это была за еда! Салат из южных помидоров с огурцами и капелка растительного масла непонятного происхождения. Тарелка с пучком ароматных кавказских трав: мята, петрушка, кинза, базилик. И тарелка лобио. Стоило это копейки. Плюс стакан пива местного разлива.

Уставшая (с утра — и уже уставшая!) немолодая бледная тетка за стойкой насыпала ему на край тарелки сероватой соли крупного помола. Феликс посмотрел брезгливо на дистрофический гуляш, бледно-желтую котлету, на липкую, бесформенную лапшу и отказался от мяса и гарнира. Все остальное его вполне устраивало.

На Феликсе — полосатая матерчатая кепка, простые холщовые штаны, завернутые по колено длинных худощавых ног, расстегнутая рубашка, завязанная узлом на голом мускулистом животе, легкие сандалии на босу ногу. Он стилистически вписался — и в теплую атмосферу маленького южного городка, и в эту замызганную столовую с вкусной натуральной закуской — травой, лобио, — от запаха которой кружилась голова. Нет, голова кружилась не от запаха травы и лобио. И не от пряного, душистого воздуха. Голова кружилась от неожиданно охватившего его ощущения свободы. Он свободен! Молодой, сильный, ничего не боится. Ни с чем и ни с кем не связан. Свободен!

В столовой было мало народу в это раннее утро. К стойке раздачи подошла молодая пара — парень и девушка, оба в шортах, — видимо, из отдыхающих, возможно, молодожены. Они робко озирались по сторонам. За ними увязался молодой развязный кавказец, рыжий, в веснушках, — наверное, абхазец из местных. Он требовал, чтобы девушка пошла с ним. «А ты не лезь, — говорил он парню, — хочешь, чтобы я тыбэ лицо ножычком почикал?» На ребят было жалко смотреть. Никто и не думал вмешиваться, чтобы попытаться помочь им.

Неизвестно откуда пришедшее ощущение подъема и свободы толкнуло Феликса вперед, он подошел к абхазцу. «Послушай, генацвале. Ты такой парень — орел, настоящий джигит! Зачем тебе эта девушка? Она что, оценит тебя, разве такая девушка тебе нужна? А ее парня ты и так до смерти напугал уже. Сегодня-завтра придут из России или с Украины стоящие девчонки, будут счастливы провести время с таким, как ты. А эта — зачем она тебе?» Это что еще за новости? «Я тэбе нэ гэнацвалэ! Ты кьто такой?»

Джигит осмотрел высокого, плечистого Феликса, хотел продолжить в том же духе. Но что-то его остановило. Веселая, добродушная улыбка Феликса окончательно обезоружила рыжего. «Да я нычего, я так. А то эти приезжие вабражают о себе больно... Ты откуда, из Лэнынгграда? Это хорошо! Гьдэ остановылся, на рыбьзаводэ? Харошеэ мэсто». Инцидент был исчерпан.

Феликс вспоминал это происшествие, смаковал ощущение пьянящей свободы, пил его маленькими глотками, словно терпкое молодое вино. Откуда оно тогда взялось? Не из-за этого же провинциального абхазского парня... Конечно, нет! Его больше не мучили сомнения и переживания. Как-то все само собой получилось — он принял важное решение, отказался... Отказался от своего прошлого, которое совсем недавно представлялось ему таким важным... Недавнее прошлое... Оно словно стерлось из памяти... И он получил свободу. Прошлое тянет назад. Связи, обязательства, чувства, привязанности, они тянут назад и вниз, не дают взлететь. Так думал теперешний Феликс. А тот, молодой Феликс, ни о чем не думал. Ему просто было хорошо.

На этой стороне сновидения

Над волной ручья ловит,
ловит стрекоза собственную тень.
Тиё-ни

Вечером того же дня, когда спала жара, Феликс появился у бассейна. Плавал, нырял, кувыркался в прозрачной голубой прохладе, чувствовал себя совсем молодым. Можно все скинуть — очки, ласты; свобода — только ты и вода! Сидел на краю

бассейна — его тело было украшено легкой кольчужкой из радужных капель воды — и смотрел, как солнце, уже не палящее, как прежде, медленно приближалось к горе на западе. Солнце зайдет, и сразу станет холодно.

Подошла его знакомая — Дина, женщина лет сорока с небольшим, — устроилась рядом на краю бассейна, обхватила колени руками.

— Как дела, Фил? Что-то вас не видно было сегодня на пляже.

— Все хорошо, море волшебное. С утра заметил недалеко от берега большого наполеона² и увязался сопровождать толстяка. Плыл над ним, представляешь — а он повернулся на бок и смотрел снизу. Вот так, смотрим друг на друга и плывем... И добрались аж до тех дальних скал.

— Ух ты! А что потом?

— Кто-то сказал, что мальчишки нашли мурену... В пещере, на трехметровой глубине. Что дразнят ее палками, хотят выманить из логова. Этого никак нельзя делать. Разыскал ребят — оказались наши, из России, — объяснил им... Не дразните мурену, у нее ядовитые зубы, может испугаться, покусать. Нырнул посмотреть, батюшки-светы! — огромная уродливая голова... Закрывает вход в расщелину, где рыбина сама и прячется. Пока наблюдал, она выбиралась из укрытия. Под водой мне показалось... Длина — никак не меньше двух с половиной-трех метров! Извивалась, словно угорь... И неторопливо удалилась по своим делам. Считается, что мурена — опасная рыба. На самом деле — совсем безобидная и, кстати, почти слепая. Если ее не беспокоить — никого не тронет. Вот так, Диночка, я и провел сегодняшней день. Доклад окончен. А где ваш муж и подружка?

— Вон там, на тех лежаках — Денис, а чуть дальше Риточка, она, кстати, как и вы, из Петербурга. Нет, я смотрю, Рита уже ушла. Ну, вы нас всех вчера удивили, Феликс. Каждому рассказали, что его ждет и как долго он проживет.

Феликс взглянул на Дину — милое, скуластое, немного неправильное лицо, светлые волосы, затянутые в кичку, открытые доверчивые глаза. Ровный золотистый загар. «В возрасте, немного полновата, пожалуй, а как хороша! — подумал Феликс. — Да, во времена Рубенса люди понимали толк в женской красоте. Не то что эти современные худосочные модели, тоже мне примеры для подражания».

— Скажите, Дина, а почему вы все вдруг так сразу мне поверили? Этого ведь напоминает... ворожбу, что ли. Может, я шутил? Такой розыгрыш, вроде прикола.

— Знаете, Феликс... невозможно вам не поверить. Мне кажется, вы не умеете лгать. Но как это у вас получается? Как вы обо всем этом узнаете?

— Честно говоря, никак. Не обдумываю, не вычисляю и не анализирую. В общем, я не Шерлок Холмс. Просто смотрю на человека и вижу, что будет. Не знаю, как это получается, сам удивляюсь... Видимо, помогают «высшие силы». А если серьезно... Мне кажется, я что-то вижу... Точно ведь не знаю — как это можно проверить?

— Но вы о некоторых из нас почему-то не захотели говорить.

— О ком я просто ничего не могу сказать. Кого-то вижу, кто-то открывается. Ну, мне так кажется... А о ком-то ничего не могу сказать. Иногда специально ничего не говорю: если человека ждет плохой конец, зачем его зря тревожить? Тем более... а вдруг я ошибаюсь?

— Вы сами себе не доверяете, а я, например, верю вам. Это про кого вы только что говорили? В смысле плохого конца... Есть такие?

— В вашей компании и среди соседей по пляжу никого такого не заметил. А вообще-то встречал здесь. Вот посмотрите — эти двое вам знакомы?

² Рыба-наполеон — одна из самых крупных коралловых рыб в мире и самый большой представитель семейства губанов.

Феликс показал на пару, отдыхающую на противоположной стороне бассейна, изогнутого наподобие большого бирюзового полумесяца. Она — крупная наглаватая блондинка не первой свежести со стрижкой под мальчика. Ее спутник — видимо, немного старше — породистый, сухопарый, сильный еще мужчина, с коротким ежиком седеющих волос и решительным лицом. Дина ответила, что не знакома с ними.

— Она — чужая жена, он — чужой муж. Любовники по зову плоти, так сказать, никак не сердца. Потому что так принято, потому что для здоровья полезно. Потому что, по их мнению, «хороший левак укрепляет брак». А я вижу другое... что он уже давно болен, болен неизлечимо. Через полгода узнает об этом, еще год продержится на химии. Как говорится: «Не возжелай жены ближнего своего». Хотя человека все равно жаль, он уже на той стороне...

— Не поняла, на той стороне бассейна? Что вы имеете в виду?

— На той стороне сновидения. Послушайте, Дина... Я много думал об этом... Это, конечно, только мое мнение... Нашу жизнь можно сравнить со сновидением: жизнь заканчивается, и человек просыпается. Тот человек уже почти весь на другой стороне сновидения. Здесь осталась лишь малая часть его — лишь то, что мы видим. Он говорит, двигается, чего-то хочет, а его уже нет с нами, он — там, хотя и не осознает еще этого.

Дина ошеломленно посмотрела на Феликса, на мужчину, отделенного от них голубой дугой поверхности воды.

— И ничего нельзя сделать?

— Диночка, я же не пророк и не Иисус, не могу подойти, тронуть рукой и сказать: «Излечись!» А просто сообщить... — зачем? Посмотрит на меня, как на идиота, все равно ведь не поверит. И неприятный осадок останется. Тем более что я не уверен... Может, это все мои большие фантазии. Пусть живет в свое удовольствие. Хотя бы полгода. Но даже если я не ошибся... Посмотрите на это с другой стороны: если бы я не показал вам этого человека, не объяснил его проблем, он бы для вас и не существовал. А так у вас осталось воспоминание о нем. Но это ведь только воспоминание, которого могло бы и не быть, а его самого, этого человека, и так уже почти не существует. Всех нас ждет неизбежное... Все мы когда-то превратимся в чье-то воспоминание. Мы, люди, — веселое племя. Знаем, что путь каждого отмерен... Но не унываем и живем на полную катушку.

— Феликс, я вижу: у вас на шее крестик, вы верующий?

Феликс кивнул.

— Неудобно спрашивать... Почему вы верите? В том смысле — почему вы верите, что Бог есть? Можете это как-то объяснить мне? Когда вы в церкви, это помогает вам встретиться с Богом? Не отвечайте, если... Наверное, я нетактичная...

— Ничего страшного, вопрос как вопрос. Другое дело — смогу ли я ответить. Не люблю об этом говорить... Это ведь очень личное. Но раз вы просите... только я не поучаю и ничего вам не советую.

Вначале о церкви... Молиться можно не только в церкви, мне так кажется. Конечно, есть таинства причастия, крещения... Это намоленная за две тысячи лет дорожка. Но верующий всегда найдет Господа в своем сердце — это может случиться под каждым кустом. Помолиться, попросить о помощи можно везде, в любом месте и в любое время. Если веришь. А сама по себе вера — вопрос приватный. Можно сколько угодно читать Библию, Новый Завет, изучать трактаты и ничего не знать о Господе — есть он или нет, каков он, как относится к людям...

Верит человек или не верит... Это зависит только от одного — был у него собственный мистический опыт, или его не было. Если такой опыт был... Если хоть раз человек почувствовал, что святой дух спустился к нему, сомнений больше не возникает.

Наверное, святой дух посещает каждого, к каждому приходит. Отцы церкви учат, что ангелы небесные расставляют на нашем пути знаки и предупреждения. Надо быть очень внимательным, чтобы не пропустить знаки, не пройти мимо. А мы... В суете жизни, в шуме пустых устремлений и ненужных хлопот ничего этого подчас не замечаем. Если хотите знать мое мнение... Вера не терпит суеты, она может жить только в тишине сердца.

— Как же добиться этой тишины?

— Тишина приходит, когда человек становится свободным... если он перестает быть рабом. «По капле выдавливать из себя раба»... Вначале научитесь... Одним словом, избавьтесь от страха.

— Избавиться от страха... — Дина задумалась. — Скажите, Феликс, Бог — это любовь, так ведь? Ну, вы все так говорите. Почему Господь жесток и несправедлив к людям? Почему допускает, чтобы в мире оставалось столько горя и несчастья?

— Вечные вопросы. Кто я такой, чтобы отвечать на них, тем более — давать рецепты?

— Но вы-то сами что об этом думаете?

— Что думаю? У каждого человека и у каждого народа свой путь. Каждому даются испытания по делам его. Люди, народы, культуры, они появляются и выковываются... в тяжелых испытаниях. Или исчезают.

— Я понимаю, когда жизнь и судьба наказывают грешника, разбойника, развратника, прелюбодея. Почему горе и наказания обрушиваются на головы ни в чем не повинных людей?

— Эх, Дина, Дина, заставляете меня заниматься не своим делом. Я ведь не проповедник. Ну ладно, давайте, попробую. Господь не вмешивается в мирские дела, так? Мне так кажется... Чтобы изменить мысли и поступки людей, ему пришлось бы отнять у нас свободу выбора. В этом случае мы перестаем быть существами, созданными по образу и подобию... становимся просто куклами в руках обитателей небес. Ты свободен, человек, но будь добр — отвечай за свои поступки. Господь учит, подсказывает, но не вмешивается. Он любого человека любит. И больше всего радуется, если закоренелый преступник становится праведником и возвращается в Христову церковь, — это не мои слова, я повторяю толкователей знаменитой притчи о блудном сыне.

— Нет, он жесток. Почему самые тяжелые испытания обрушиваются на головы лучших людей?

— «Каждому свое». Мудрецы и праведники считают, что человеку даются испытания по его силам. Так ли это? Нам не дано узнать, в чем состоит промысел божий. Мы можем только одно: учиться жить по заповедям Иисуса и терпеливо нести свой крест.

— Не могу согласиться с вами. Моя подруга Риточка — ангел, а не человек. Растила сына без мужа. Растила, растила, а теперь тот пропал, полгода — никаких известий. За что ей, ее сыну — за что?

— Вы говорили, ее сын в армии? Пусть Рита не беспокоится. Я думаю, ее сын жив. В плену у чеченцев. Сидит в земляной яме. Цел он, пока ничего с ним особенно плохого не случилось, не били, не калечили, исхудал только очень. Спецслужбы уже ищут его. Скоро вырвут. Передайте Рите: пусть ждет сына.

— Вы не ошибаетесь, вы уверены? В любом случае спасибо вам, Феликс, за добрые слова. И за надежду... А вдруг вы действительно правы? Вы ведь еще ни разу не ошиблись. Как же вы меня обрадовали! Пойду искать Риточку. Не знаю, говорить — не говорить? — а вдруг ошибка?

— Мне кажется, все у нее будет в порядке... Просто постарайтесь успокоить ее... Всегда надо верить в лучшее и ничего не бояться.

— Значит, вы считаете... Верить в будущее и жить без страха?

— Жить без страха — только первый шаг. Верить надо... Я много лет шел к этому. Верующий ничего не боится. Что бы с ним ни случилось, он не одинок — Бог всегда рядом, Бог никогда не оставит и не предаст.

— Только первый шаг... Эх, Феликс, рассуждать легко. А как не беспокоиться, как не бояться за родных, за близких? Ну, скажите, вы боитесь за своих?

— Конечно, Диночка, вы правы, я всегда за них переживаю.

«Как не бояться за родных? — подумал Феликс. — Если бы я сам мог ответить на этот вопрос!»

Сотри личную историю

Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних,
и пахнет сладкою халвою;
ночной пирог несет сочельник
над головою.

И. Бродский

На следующий день Феликс опять встал рано и двинулся к заветной скамье. На душе было спокойно. Вряд ли «другой» придет сегодня, но почему не попробовать? Что-то подсказывало ему: сегодня опять может случиться нечто неожиданное. Густой туман окутывал скамейку и весь окружающий пейзаж. Туман был еще гуще, чем накануне. Встречи и разговоры вчерашнего дня пробежали перед его глазами, будто кто-то перелистывал страницы книги. Он вспоминал, видел все, что случилось, очень четко, но будто бы это произошло не с ним, а с кем-то другим, будто это его не касалось и совсем не трогало. Прошло полчаса, и Феликс собирался было уже уходить, когда из молочной пелены вынырнула фигура высокого мужчины, одетого почти по-зимнему: пухлая теплая куртка с поднятым воротником, темные брюки, огромные зимние ботинки на высокой рифленой подошве, напоминающие туристские «вибрамы», на голове — мягкая кепка, сшитая из толстого драпа. Почти по-зимнему... При этом — ни шерстяных варежек, ни кожаных перчаток, руки его были голыми и почему-то покрасневшими, будто от мороза. Легким шагом мужчина подошел к скамейке, внимательно посмотрел на Феликса.

— Разрешите присесть? Единственная скамейка, не занесенная снегом.

Голос незнакомца чуть вибрировал и, казалось, приходил издалека. Феликс воспринял его замечание как шутку.

— Откуда здесь может быть снег? Садитесь, не возражаю.

Незнакомец сел, откинулся на спинку скамьи, спросил, не глядя на Феликса:

— А вы, уважаемый, по какой причине голышом в такой холод?

— Разве холодно? Что-то я не заметил.

— Пожалуй, вы правы. Здесь, на «вашей» скамейке, вроде совсем и нехолодно. Просто вы — горячий человек, растопили зиму своим жарким дыханием. Наверное,

последователь Юры Зубкова? Мой приятель, отставной военный. Большой оригинал. Причем, что интересно, эта его «оригинальность» проявляется практически во всем. Занимается единоборствами. Ходит на какие-то «любки», такая борьба в парах — не на победителя, а на гармонию. Говорят, что занимался когда-то раскопками НЛО. В общем, чем только он ни занимается. Изменяет жене, а называет это «тантризмом». Как говорится — ни слова в простоте. Ну и круглый год ходит в одной футболке с короткими рукавами, шортах и сандалиях на босу ногу. Это в нашем-то северном петербургском климате.

Феликс не стал расспрашивать незнакомца, ничего не стал объяснять.

— Вы удивитесь, но я действительно был когда-то знаком с Юрой Зубковым. Наверное, лет десять тому назад. Это правда — он большой оригинал. Но я никак не его последователь.

— Судя по всему, вы держите себя в тонусе. Наверное, закалялись с детства. Молодец. А Юру я совсем не осуждаю. Пусть ищет свой путь. Каждому свое. Знаете, ваше лицо кажется мне знакомым. Нет, не встречались? А, я понял: мы очень похожи. Только вы, пожалуй, старше. Слушайте, мы ведь на одно лицо. Только волос на голове у вас поменьше. И загорелый вы очень, я вначале за араба принял. Может, мы и родственники, чем черт не шутит. Ну, точно — мы на одно лицо: губы, глаза, покатый лоб. И фигуры похожи. Вы мою не видите, а я вашу вижу — точно говорю: мы очень похожи. Вот она игра генов. Вам ничего не говорит фамилия Эйлер?

— Как не говорит — знаменитый математик восемнадцатого века. Работал в петербургском университете. А вообще-то вы в точку попали. Наверное, я вас удивлю, но мы оба Эйлеры. И оба когда-то занимались математикой.

— Здорово, но как вы определили, что я занимался математикой?

— Не знаю, просто так подумал. Потому что вы — потомок Эйлера. Потому что похожи на меня, потому что в моей жизни тоже была математика... Чем вы вообще занимаетесь? Что делаете?

— Даже не могу вам толком ничего ответить. Пятнадцать лет пахал в оборонке. Мечтал перебраться куда-нибудь в открытую шарашку, на другую тематику, чтобы никакой секретности не было. Перешел в Академию наук. Отработал там десять лет, только встал на ноги, и вот началась перестройка. Теперь мы все строим капитализм. Мое научное направление закрыли, науку не финансируют, наука никому теперь не нужна. Я в свои пятьдесят оказался на улице.

— И что вы решили?

— Что можно решить? У меня молодая жена, ребенку восемь лет. Семью кормить надо. Конечно, остались связи, контакты... Пробовать идти по проторенному пути, жить, как раньше, пытаться найти скромную работу в каком-нибудь заштатном НИИ? Тянуть ляжку, с трудом сводить концы с концами, гадать: выплатят зарплату или не выплатят? Утешаться тем, что государство тебе должно, может быть, когда-нибудь и погасит. Но я принял вызов. Раз того требуют обстоятельства... Решился на то, чтобы круто изменить свою жизнь. Мы с друзьями сняли подвальчик и теперь пытаемся «предпринимательствовать».

— Получается?

— Как сказать? Опыт у меня есть, создавал уже раньше кое-что... Что там было? Кооператив, малое предприятие... Не отходя, так сказать, от «научного станка». Но сейчас дела, честно говоря, не очень. В общем, друг мой, начинаю с Нового года новую жизнь. Послезавтра куранты возвестят о том, что наступил 1992-й. Готовлюсь. Вот выскочил елку купить. Мы каждый год елку ставим на новогодние праздники, чтобы дома хвоей пахло, для настроения. А на базаре чечмек, который елками торгует, написал: «Ушел на полчаса перекусить», так что я болтаюсь пока, к вам прибился.

Фу, как жарко, оттепель ударила, потому и туман, а я совсем по-зимнему оделся. В общем, вынес на помойку научную библиотеку, оставил только самые любимые книги по математике. Думаю, никогда я уже к науке не вернусь. А что выжить — выживем, я в свою звезду верю. Сколько раз начинал с нуля. Когда в академию переходил, тоже тяжело было все бросать: и интересную работу, и друзей, и тематику, в которой я как рыба в воде. Уважаемым человеком был. Но решил и отсек. И главное — ни о чем потом не пожалел. Будто кран чистой воды открылся — и пошел поток новой, свежей, незнакомой жизни, а старое смылось. На свалку, так сказать, личной истории. Не боюсь начинать с нуля, стереть и забыть свое прошлое. Это дает какое-то необыкновенное ощущение свободы. Вот кто я теперь такой? Начинаю с чистого листа, а страха нет. Жизнь должна меняться, и надо всегда быть готовым к этому. А что у вас?

— У меня все очень похоже. И связей с прошлым у меня уже почти нет. Только самые близкие остались — жена и ребенок, все как у вас. Ребенок на десять лет старше вашего. Уже почти взрослый. И ни за что я не цепляюсь, кроме как за них. Поэтому у меня всегда мир в душе. В общем, мы очень похожи. Я чувствую себя совершенно свободным и абсолютно спокойным. И кажется, что мне теперь на многое глаза открылись.

— Ну, вот и скажите, уважаемый, как у меня — получится продержаться на плаву, ваше мнение? Или вернуться назад, на поклон к обнищавшему государству, которому такие, как я, яйцеголовые, теперь совсем уже не нужны? Не потяну ли я своих любимых вслед за собой в пропасть? Работы нет, кругом бандиты, что настоящие бандиты, что менты, что госчиновники — тоже бандиты, облеченные правами. Только похуже братков будут. С братками хоть о чем-то договориться можно. По понятиям. А эти... Сами живут по понятиям, а с нами, лохами обыкновенными — именно такими они нас всех и считают, — ни о чем договариваться не станут. Действуют во имя «высшей государственной целесообразности». Для них «целесообразно» только одно — набить свой карман.

— Получится, дружище, не сомневайтесь, все у вас получится. Идите вперед и не оглядывайтесь.

— Как говорится, «доброе слово и кошке приятно». Затаскано, конечно, но абсолютно верное высказывание. Что вы обо мне знаете? Ровным счетом ничего. Только то, что веселый с виду дядька. Вот то-то и оно — «с виду». А сказали «все у вас получится», и я почему-то сразу поверил вам. Мне тоже почему-то люди обычно верят. Наверное, потому что стараюсь не врать и всегда готов помочь любому, не из соображений «высшей целесообразности», а от души.

— Хотите, оставлю вам интересный сувенир?

Феликс протянул новому знакомому пятисотрублевую купюру. Тот взял купюру и с удивлением рассматривал ее.

— Ого, пятьсот рублей — будь здоров, почти мой месячный заработок. Но не сейчас, сейчас я ничего не зарабатываю. А месяца два назад... И написано: «2002 год». Суперская купюра. Вы, наверное, в Центробанке работаете, проект новых денег показываете. Которые еще будут через десять лет. Да нет, спасибо, не возьму. Это же макет. А если бы даже и деньги... Все равно бы не взял. Зачем мне деньги? Деньги приходят сами, когда в них есть потребность. Человек не для денег живет. Господь не оставит тварь земную, что птицу божию, что человека. Он даст нам и пищу, и кров над головой, и денег — ровно столько, сколько нам для жизни потребуется. Так что, извините, я ваш подарок не приму. Да мне уже и идти пора, а то все хорошие елки разберут. Приятно было поговорить с вами. Адьё! — сказал на прощание собеседник. — Может, еще увидимся, Питер — город маленький.

— Это вряд ли, — ответил Феликс, но объяснять ничего не стал.

— Ну ладно, продолжай закаляться, всего тебе, давай лапу, мужик.

Феликс заметил, что рука того, другого, казалась стеклянной и прозрачной, он побоялся пожать ее, подумал, что ненароком может каким-то образом нарушить очарование этой необыкновенной встречи. Сослался на то, что «у меня, знаете ли, рука побаливает — наверное, кисть повредил». Поздравил с наступающим Новым годом, пожелал успехов. «Он постарается», — ответил ему собеседник и исчез в молочном тумане.

Феликс задержался на лавке.

«Матерый, — подумал он о недавнем собеседнике. — С виду. А на деле — такой-же торопыга, каким был в свои двадцать пять, все спешит, спешит. Пожалуй, тот „другой“ оказался пронизательней „матерого“; во всяком случае — наблюдательней и критичней. А этот не понял даже, почему я не в зимнем, кто этот незнакомый человек, которому он, не задумываясь, выкладывает свои проблемы и самые сокровенные мысли. Да и я за прошедшие десять лет не очень-то, видно, изменился. Просто я сейчас в более выгодном положении — знаю, кто он такой, а он нет. Я говорил с ним наяву, поэтому сейчас вспоминаю нашу встречу, а он говорил со мной во сне и наверняка обо всем забудет. У того молодого, „другого“, есть желание разобраться, понять, а этому — „матерому“ — все ясно. Дата на купюре его совсем не удивила: будущая дата? — значит, я из Центробанка и дарю ему макет. Мы обсуждали поворотное решение в его жизни, и он получил от меня подтверждение верности своего решения. Как и вчера, я, видимо, незаметно повлиял на него, вернее, подтвердил правильность уже принятого решения. Вряд ли он вспомнит меня, проснувшись, купюру — точно нет. Скорее всего, он запомнит ту часть сна, где обсуждалось — „стереть личную историю“».

Феликса по-прежнему не покидало ощущение прилива сил, подъема настроения — это было на дне, это было вчера и позавчера — и какое-то новое чувство освобождения. Свобода и возможность путешествовать во времени... Еще одно путешествие во времени не только не обескуражило его, наоборот — добавило спокойствия и уверенности. Поверхность его сознания... Зеркальная гладь... Он еще раз вспомнил о принятом тогда, в те годы решении... О том, как отправился в самостоятельное плавание по бурному морю «бандитского капитализма», по «гуляй-полю» России начала девяностых. Прошел год, все его дела, затеи клеились, все получалось. Ему уже было чем управлять: реконструкция объектов недвижимости, капремонт жилого дома, склады автомобилей, торговые площади разного профиля... Вот он только что въехал в новый, отремонтированный офис на Рубинштейна... Зима девяносто третьего года. Облик Феликса существенно изменился. Работая в академии, он одевался в свободную одежду спортивного покроя: вельветовые брюки, свитера. Теперь на нем синий кашемировый клубный пиджак с металлическими пуговицами, рубашка с галстуком и брюки, все подобрано в тон и приобретено в комплекте с участием дизайнера в торговом центре в Гааге, модные очки со слабо тонированными стеклами, дорогие фирменные туфли. Положение обязывает. Феликс часто встречается со столпами крупного бизнеса, отцами города, с депутатами. Презентации, открытие новых объектов, поездки в Москву, к зарубежным партнерам: президенты, вице-президенты компаний, послы, консулы... У него по-прежнему легкая походка, выправка спортсмена и немного покатые плечи боксера. Все налажено: есть штат вышколенных сотрудников, знающих свою работу. В небольшой приемной — милиционер Юра на договоре, две расторопные секретарши, работающие поочередно день — через день, с девяти до девяти, в глубине офиса небольшая столовая для сотрудников.

В приемную вбежал заполошенный Влад Скуницын, партнер Феликса по некоторым проектам, очень высокий мужчина, худощавый, с большим орлиным

носом. Обычно пряткий, наглый и нахрапистый, он сейчас выглядел бледным и испуганным. На шум в приемной Феликс вышел из кабинета. Что случилось? Чем так напуган нахальный и бесцеремонный Скуницын? Рядом с Владом — приземистый, красноречивый, изрядно пьяный милицейский сержант в зимней одежде камуфляжной окраски, круглый, как колобок, к боку Скуницына приставлен пистолет. «Что вы здесь делаете, сержант? Как вы себя ведете? — уберите оружие! В каком вы состоянии?» «Этот ваш длинный на нас с Вованом сам набросился. Вован подтвердит. Щас грохну его прямо у вас в офисе». «Вы в своем уме, сержант, что вы несете? Из какого отряда? Кто ваш командир? Юра, вызывай группу захвата, скажи: вооруженное нападение, чего ты ждешь? У тебя же тревожная кнопка!» Сержант сконфуженно удалился, Скуницын одернул одежду, будто страяживая с себя постыдный страх, пытаясь снова выглядеть смелым и независимым.

Сколько было неприятных и опасных эпизодов — наезды некоего Фомича, радостно поменявшего работу помощника мэра на лавры лидера доморощенной ОПГ, наезды других авторитетов, в недавнем прошлом — почетных сидельцев, руководителей полукриминальных охранных структур, наскоки некоторых наглых «народных» артистов и режиссеров, искренне верующих, что им все чего-то должны...

Все это проходило как бы мимо его сознания. Будто кто-то без него решал возникавшие сиюминутные проблемы, разруливал, вел переговоры, ездил на стрелки. По большому счету все эти неприятные и опасные ситуации не могли вывести его из себя, Феликс оставался спокойным, и по гладкой поверхности его сознания лишь иногда пробегала мелкая рябь. Что помогало ему сохранить невозмутимость человека, освободившегося от многого ненужного, наносного? Главное, что ему ничего не нужно было ни от этих людей, ни от других, ни от жизни вообще.

Он работал, много работал — так, как это делал всю свою жизнь, двенадцать-пятнадцать часов в сутки, часто без выходных. Не боялся вызовов времени, не боялся браться за новое. Юридические вопросы? — будем изучать законы, экономические проблемы, банки, кредиты, лизинг; страхование? — будем изучать и это, а еще — маркетинг, сервис, техобслуживание, строительство... Феликс брался за все, он был готов к новым вызовам. Трудился много, работал легко, с подъемом. Свободный человек. Он занимался делом и, как всегда, старался делать его хорошо. А деньги? Как таковые деньги его не интересовали. Деньги — это лишь аппарат, средство приводить в движение различные механизмы бизнеса: партнеров, смежников, служащих, транспорт, проекты, недвижимость. Феликс слыл бескорыстным человеком. Часто помогал сотрудникам и друзьям. Бескорыстие... Обязательное качество по-настоящему свободного человека. А если говорить об опасных посетителях, об опасных ситуациях, которые постоянно сопровождали жизнь и работу деловых людей в девяностые годы, то Феликс, конечно, не думал о всяких высоких материях.

Во всех своих деловых контактах, в том числе — с криминалом, он придерживался двух простых правил. Первое: оставаться самим собой, ясно понимать свою позицию и неизменно ее выдерживать, ни под кого не прогибаться. А второе: быть со всеми неизменно уважительным, никого не обижать, не оскорблять — ни помыслом, ни словом, ни делом. Это, последнее, легко ему давалось. Никогда он не ощущал себя выше кого-то, уважал всех — на самом деле, от души — с кем бы ему ни приходилось сталкиваться в его новой непростой жизни, будь то мэр, бизнесмен, простой охранник, бандюган, криминальный авторитет, несчастная бабушка... Все они — люди, достойные уважения, внимания, сострадания и доброго слова. В том числе и посетители с криминальным душком. Как еще мог он относиться к этим убогим, заблудшим здоровякам, которым казалось, что они живут правильно, строго, по понятиям? И каждый раз, когда можно было сказать наконец «инцидент исчерпан»,

Феликса посещало это необычное ощущение пьянящей свободы. Откуда оно взялось? Оно появилось раньше. Тогда, когда он принял для себя принципиальное решение: в очередной раз круто изменить свою жизнь. Очередная порция прошлого постепенно стиралась из памяти, и он получал свободу. Связи, привязанности тянут вниз. Так думал теперешний Феликс. А тот, другой Феликс, «матерый», он ни о чем не думал. Ему было просто хорошо. И он пер как танк, не обращая внимания на препятствия.

Даже в те сумасшедшие годы ему иногда удавалось вырываться из вихря встреч, приемов, совещаний, стрелок, и тогда Феликса несло по родной стране... Поездки тех лет, немногочисленные дни, свободные от работы, поездки с женой и сыном по любимым местам Северо-Запада: яблоневые сады Псковщины, лебеди на озере близ Изборской крепости, Успенский пещерный храм Псково-Печерской лавры, леса и озера Карелии, карельский материковый разлом, церковь в Марциальных Водах, в строительстве которой принимал личное участие его, Феликса, кумир — император Петр Великий...

Откуда вы знаете, что это рука?

О да, я знаю, это по мне колокол вечный звонит,
но в тишине прохладой дышу.

Кобаяси Исса

Вечером, как обычно, Феликс появился у бассейна. Устроился подальше от людей, но Дина опять разыскала его.

— Феликс, Феликс, как же я рада вас видеть! Нет, нет, я должна вас обнять, вы даже себе не представляете, какой вы молодец! Относительно Риты... Вы были абсолютно правы. Я Риточке ничего не сказала о нашем разговоре. А ей сегодня позвонили из Петербурга, из каких-то органов... Сказали, что сына нашли и уже освободили. Он на пути к дому, скоро будет. Типа — ждите! Рита взяла билет на самолет, на вечер. Чтобы встретить его. Рита сама не своя, еще не может поверить в свое счастье... Какой же вы молодец, Феликс!

— Спасибо, конечно, но при чем здесь я? — никого не разыскивал, никого не освобождал... Просто хотел поддержать ее... Ну... я почему-то не почувствовал тревоги за судьбу ее сына. Подумал, что там, наверное, чеченцы замешаны, а сейчас уже не те времена... Конечно, я очень рад за Риту и за ее парня тоже, хорошо, что все так закончилось. Передайте ей мои поздравления.

— Все равно, вы — большой молодец. Мне кажется, что вы как-то на это повлияли.

— Ну ладно, Дина, что вы говорите, как я мог повлиять? Кстати, у меня вопрос... Почему сегодня утром никого из вас не было у моря?

— Рита уехала за билетами. Мы с Денисом не пошли, потому что погода плохая, тучи, волны, море взбаламучено и ветер холодный. А вы такой — вам, конечно, все нипочем...

— Да, я купался, и с преогромным удовольствием. В такую погоду в воде теплее, чем на воздухе. Только надо быть очень осторожным. Нагнало ядовитых скорпен³ — не дай бог ненароком дотронуться до их колючих плавников. А на воздухе действи-

³ Скорпены — род морских лучеперых рыб. Одни из самых опасных морских животных. Название этих рыб происходит от принятого в иностранных языках наименования «скорпионозная рыба».

тельно очень холодно... Пока мокрый. Завернешься быстро в полотенце — и ничего. Экстрим!

— Мне не дает покоя ваш вчерашний рассказ. Мы могли бы еще немного поговорить на эту тему?

— Отчего же, давайте поговорим. Мы с вами все вдвоем и вдвоем. Денис не станет ревновать, он у вас ревнивый?

— Ничего не могу сказать. Мы с ним дружная пара... У него никогда не было причин для ревности, я не давала повода. Надеюсь, и впредь не будет...

— Ну, выкладывайте, что вас беспокоит?

— Я, наверное, надоедливая... Скажите, когда в первый раз вас посетило озарение, прозрение... просветление, что ли... не знаю, как это правильно называть?

— Вы имеете в виду «мистическое откровение»? Опять настраиваете меня на исповедальный лад. Первый раз... это было давно. Точно не помню — мне, наверное, чуть больше двадцати. Я увлекался Гитой⁴. Читал о беседе великого Арджуны с Черной Кришной (Шри-Кришной).

Тот наставлял Арджуну перед битвой. Говорил, что воину необходимо выполнить свой долг, не следует избегать сражения, хотя оно несет гибель множеству достойных людей. «Найди в себе бойца, пусть он сражается за тебя. А сам не участвуй, оставайся над схваткой» — читал я слова Кришны и в этот момент почувствовал пробежавший по спине холодок.

Я понял, что не один. Что рядом кто-то есть. Сильный, добрый, кто-то, с кем мне по-настоящему хорошо, так хорошо, как было когда-то давно, в прежних жизнях, о которых я ничего не помню, будто я снова нахожусь в «отчем доме». Нет, это был совсем не Кришна... Не отец ли небесный посетил меня в тот момент? Я почувствовал, что все вокруг — это Бог: и люди, идущие по улице за окном, и мамаша на скамеечке с ребенком на руках, и молоко, которое она наливает в кружку для своего дитяти... Потом это чувство возвращалось ко мне, иногда — при чтении Евангелия или преподобного Антония Сурожского, а бывало и тогда, когда совсем не ждешь ничего такого.

— Могу это понять. Со мной случалось нечто подобное. Черный скворец постукивает желтым клювом в окно... Или песню услышишь. Что-нибудь лирическое... Когда девушка встречает своего парня после армии, а ты случайно подглядишь со стороны... И сердце вдруг так защемит, а на глаза будто слезы наворачиваются. Чувствуешь беспричинную радость... И почему-то плакать хочется... Все плохое забывается, жизнь снова кажется прекрасной, и ты опять готов к любым неожиданностям...

— Дина, вы пишете стихи?

— Да нет, совсем нет, почему вы решили?

— Поэты принимают все слишком близко к сердцу. Они навязывают нам эмоции применительно ко всяким обыденным, житейским вещам, применительно к явлениям природы и живого мира, которые, по моему мнению, начисто лишены всякой эмоциональной начинки.

— Мне казалось, что это и составляет смысл поэзии. Разве не эмоции — основа поэзии и музыки? Вы не будете возражать, если я закурую?

— «Дайте мне ответ. Верно, это цикада пенем вся изошла? Одна скорлупка осталась». «Слово скажу — леденеют губы. Осенний вихрь!» «Я сейчас дослушаю в мире мертвых до конца песню твою, кукушка!»

— Что это?

— Японские стихи. Очень хорошие. Но в них, согласитесь, нет особых эмоций.

⁴ Бхагавадгита (санскр. «Божественная песнь» или «Песнь Господа») — памятник древнеиндийской религиозно-философской мысли на санскрите, часть шестой книги «Махабхараты».

— Здорово вы переполошили нашу небольшую тусовку. Особенно этих снобистских киевских богачей с плохим русским. Я так поняла, что вчера поздно вечером, когда нас с Денисом уже не было, вы имели с ними задушевный похоронный разговорчик. Сегодня они весь день ходят как пыльной подушкой ударенные, словом, не в себе — какие-то нервные и взволнованные; можно предположить, что вы сделали им какие-то предсказания, я не ошиблась?

— Не понимаю, почему считается хорошим тоном по каждому поводу испытывать и обязательно демонстрировать свои эмоции. Моего отца уже нет, матушки — тоже, ничего о них сказать не могу. А вот родители жены убеждены, что это отличительная черта каждого нормального человека — находить какие-то вещи грустными, неприятными или, наоборот — приятными и духоподъемными. Мой тесть, очень неплохой в сущности человек, он волнуется, когда смотрит футбол, когда читает газету и даже когда гладит свои брюки. То же в какой-то степени касается и моей любимой жены.

— Непонятно, Фил, неужели вы сами никогда ни из-за чего не переживаете?

— Раньше я был очень даже переживательным. Но с годами многое во мне изменилось. В последнее время начинаю даже забывать, что такое «переживание». Понимаю, что вещи следует принимать такими, какие они есть, и стараюсь не давать выход своим эмоциям. Надо стремиться, чтобы сознание оставалось гладким, как поверхность воды. От эмоций один только вред. Чем меньше обращаешь внимание на то, что могло бы в принципе тебя обеспокоить, тем меньше остается интереса к тебе у носителей, субъектов этого беспокойства.

— Получается, что вы не одобряете всяких там эмоций, чувств и переживаний. А любовь? Хорошо, хорошо, вы любите Бога? Разве не на этом стоит крепость вашего духа?

— Любовь и сантименты — разные вещи. Сантимент, душещипательная любовь — ненадежная штука. Я люблю Бога. Люблю своих близких, люблю жизнь... природу, море. Люблю вас, моя милая собеседница. Но без соплей... и без сантиментов. Богу, наверное, тоже было бы неинтересно, если бы его любили с истерикой и навзрыд.

— Вы любите жену, ребенка?

— Конечно. Но «любить» означает для меня совсем не то, что для вас. Или, например, для них.

— Допустим. Тогда что вы понимаете под этим?

— Они — часть меня, а я — часть их. Наши жизни переплетены так, что трудно разобраться, где я, а где они. Мне необходимо, чтобы они были счастливы, чтобы прожили свою жизнь так, как им этого хочется. Люблю их такими, какие они есть. А вот они любят меня совсем иначе. Они любят меня так, чтобы еще немного меня переделывать на свой лад, любят свои представления о том, каким должен быть, по их мнению, идеальный муж и отец. У нас немного разная любовь. Простите, не скажете, который час? Не пора ли нам на ужин?

— Наверное, рано, пока что нет и шести — видите, солнце не зашло за гору, значит — время ужина не наступило. Мне еще хотелось бы поговорить с вами, хотелось бы лучше понять, что вы подразумеваете... когда говорите о «мистическом опыте».

— Поверьте, Дина, ничего особенного я не подразумеваю. Живу обычной жизнью, как все; но стараюсь жить еще и духовной жизнью, много размышляю, в Индии это, наверное, называется «медитировать».

Как это объяснить? — размышляю, но не думаю. Наоборот, стараюсь, чтобы мысли не пульсировали, чтобы они покинули меня, чтобы я стал пустым и не проспал момент, когда ко мне спустятся небесные посетители... момент, когда сверху приходят новые знания, особое понимание и новые смыслы.

Иногда люди замечают, что меня уносит куда-то. Они считают это видом легкой ненормальности... Жена и тесть с тещей считают меня странным. Жена говорит, что я зря слишком часто «думаю о Боге». Ей кажется, что на самом деле я переживаю из-за каких-то других женщин, о которых она ничего не знает. «И знать ничего о них не хочу!» — это ее мнение. Она-де не думает, что я обманываю ее или изменяю, а как бы немного изменяю ей в своих мыслях. В каком-то смысле она права. Но не с женщинами, не с друзьями, не кем-то другим из наших знакомых, ей-богу... Не могу же я все время быть в мыслях только с ней, это невозможно! Я пытался объяснить это, но она, кажется, все равно не очень мне верит.

Феликс задумался.

— Знаете, это так непросто — научиться преодолевать четырехмерное пространство-время. Я бы хотел научиться этому.

— Что-то я не понял! Звучит как-то несерьезно. Разве можно преодолеть четырехмерность вещей? Вот пластиковый лежак. Что было раньше с ним, чем он был — пластиковыми мешками или детскими игрушками китайского производства, чем он станет — бутылкой для молока или водопроводной трубой? Даже с трехмерностью лежака есть проблемы. Как ее можно преодолеть? У него есть форма, длина, ширина...

— Дина, я знаю, что вы образованный человек, к тому же еще и хороший полемист. Как я это все вижу? Мы считаем, что у вещей есть границы, просто мы не умеем смотреть иначе. А вещи? — им все равно, как их воспринимают, на самом деле они совсем не такие. Все окружающее, и мы с вами в том числе, пронизано энергетическими линиями, которые связывают все со всем. Вещи не имеют границ, они переливаются одна в другую. Дайте мне вашу руку.

Дина улыбнулась:

— Эту?

Феликс кивнул.

— Что это?

— Как что? Рука!

— Откуда вы знаете? Вы знаете, что это *называется* рукой, а может быть, она вообще не рука? Докажите, что это рука.

Дина опять закурила.

— Рука — она и есть рука. Как она еще может называться? Нельзя же рукой назвать одновременно руку, ногу и плечо. Тогда мы спутаем одно с другим.

— Вы рассуждаете логически, пытаетесь дать осмысленный ответ. Так работает наш бедный, довольно ограниченный мозг. Из-за этого мозга у нас возникает путаница с тем, что мы называем временем, он не может охватить явления в целом. Поэтому мы находимся всегда только в одной точке — то живем в настоящем, то вспоминаем о прошлом, то мечтаем о будущем. А если отключить мысль, мы сможем перемещаться во времени, находиться одновременно и в прошлом, и в настоящем и, например, вспоминать не только о прошлом, но и о будущем, а также мечтать, например, о прошлом. Извините, Дина, я немного отвлекся, вернемся к вашей руке. Сожмите пальцы, что получается?

— Кулак.

— А где рука? Осталась? Так что это — рука или кулак?

— И то, и другое.

— Разожмите пальцы, куда делся кулак? Нет его. То-то! Чтобы вырваться из привычных понятий, надо избавиться от логики. Чем меньше будет логики, тем лучше мы сможем понимать окружающий мир.

Официант в белых шортах и белой футболке предложил прохладительные напитки. Дина обескураженно молчала.

— Джин-тоник со льдом для меня и фруктовый коктейль безо льда для дамы, — заказал Феликс.

— Нам всем надо вернуться на десять тысяч лет назад, когда праотец «человеков» Адам знал существо каждой вещи и давал им имена в соответствии с их существом. Великие учителя прошлого оставили нам специальные упражнения, чтобы мы научились отключать повседневную, до оскомины навязшую на зубах, обычную логику. Они оставили вопросы, о которых надо размышлять, но не следует искать на них ответы. «Монах подал золотую монету нищему. Кто должен благодарить — нищий монаха или монах нищего?» «Вода не имеет ни ребер, ни костей. Почему она легко держит на плаву огромные суда?» «Молния ударила в землю. Где у нее начало, где конец?»

Надо очистить голову и все вернуть на свои места, научиться понимать то, что кажется навсегда утерянным.

Можно изучить, как устроен организм человека, его клетки, хромосомы, понять сложнейшую химию процессов. Но давайте, Дина, зададимся вопросом. Вот вы были когда-то маленьким, хорошеньким эмбрионом. Кто выращивал ваше тело? Питание вам давали. А кто строил стройное тело, этот великолепный, гибкий мозг, оснащенный не только логикой, но и сложнейшими эмоциями и чувствами? Кто помогал вам в этом? Родители? Не-е-е-ет! Родители кормили вас с ложечки, они только подвозили на тележках стройматериалы. А строили вы себя сами. Сложнейшая работа, которой вас никто не учил... И получилось, между прочим, первоклассное сооружение... Есть чем гордиться. Можно даже восхищаться. А кто строил? Сами, вы сами и строили себя, пусть бессознательно... Но сами, сами себя выращивали. Вспоминайте, вспоминайте... А как вспомните, снова станете венцом творения, построенным по образу и подобию... Вот так-то.

Наступила неловкая пауза. Дина выглядела немного растерянной. Ей захотелось поскорее разрядить обстановку.

— Можно спросить вас еще об одном. Если я, конечно, не надоела вам своими дурацкими вопросами... Правда ли, что вы сообщили этой киевской компании, где и когда они умрут. Если не хотите... В общем, извините меня, я, наверное, слишком навязчива.

— Да что вы, не берите в голову. С удовольствием... Пожалуйста, на любые темы. А что касается киевлян... это неправда. Я сказал, где, кому и когда необходимо быть особенно осмотрительным, что можно посоветовать... Потому что про это не следует говорить как о неизбежном. Они чуть ли не силой вытягивали из меня всякое такое. Было совсем поздно, а они все пили коктейли, дымили и без конца выспрашивали.

— Так вы не говорили, где, когда и как они покинут наш бранный мир?

— Ни в коем случае. Я вообще не хотел об этом. Тем более что я не убежден, может, мне только так кажется... А они выспрашивали... потому что-де это влияет на то, чем им лучше сейчас заниматься, как использовать оставшееся время... Ну, вот я им и сказал кое-что.

Феликс помолчал.

— Но про то, кто, когда и как, я не говорил. Мог бы сказать, если б был сам уверен... И то вряд ли. А на самом деле им этого знать и не хотелось... Потому что... В общем, чем бы ты ни занимался, какого бы крутого из себя не корчил... смерти боятся все.

Феликс прилег на лежак.

— Как это, в сущности, глупо. Всех нас ждет такое рано или поздно. Сейчас мы спим. Но в конце концов каждый из нас пробудится. Чтобы покинуть наш мир. Чтобы оказаться ближе к Богу. Причем это может случиться в любую минуту.

— А вы знаете что-нибудь о последних днях вашей жизни?

— Мне не хочется заглядывать за кулисы сцены. Идет спектакль, горят софиты. Надо наслаждаться своей ролью. Пусть все идет своим чередом. Ибо не знаем, в который час Господь наш придет... В который час спектакль закончится... занавес закроют и свет отключат. Разве здесь есть место для трагедии? Ко мне подойдет тот, кому положено, и с огромной силой бросит в длинный тоннель. И тогда я полечу к новому свету, он будет гораздо ярче того света, который мы все знаем, к новой жизни, о которой на этой стороне сновидения нам ничего не известно. Все мы проснемся и вернемся в царство божие, в райский сад, из которого когда-то изгнали наших праотцов. И в которое все неминуемо возвращаются.

— Вы меня удивляете, Феликс. Лично для вас, может быть, тот момент, когда занавес закроется и свет погаснет, не будет трагедией. По крайней мере, именно так вы сейчас об этом говорите. Ну, а как близкие, жена, ребенок? Наверняка... Это ведь будет для них ударом. Почему вы о них не думаете?

— Вы правы, Дина. Если я по какой-то причине исчезну из их жизни... или уеду. Исчезну, одним словом. Они это все воспримут совсем по-другому. Потому что у них уже заготовлены специальные названия на этот случай. И чувства. Знаете, я могу ошибаться. Не хотелось бы, чтобы это выглядело так, будто я вас поучаю, говорю свысока и все такое... Просто вы спросили... А я именно так вижу это, вижу и ощущаю...

Феликс внезапно поднялся с лежака, руками подтянул к себе согнутые ноги.

— Давайте представим себе, Дина, что у вас есть любимая кошка.

— Это правда, у меня есть любимая кошка.

— Вот, например, вам приснится сегодня, что ваша киса-мурочка внезапно умерла, на нее набросилась соседская собака... В общем, она скончалась, и вы будете переживать и мучиться во сне, потому что ужасно любите свою киску. А потом вы проснетесь — и вот вам, пожалуйста, все в порядке, кошка спит у ваших ног. И вы понимаете, что это был просто сон.

Дина кивнула.

— Ну и что? Что это нам с вами объясняет?

— Если ваша киска и вправду погибнет от нападения ужасной собаки, вы будете переживать. Но это будет в точности так же, как во сне. Просто вы этого не поймете, потому что ваша жизнь-сон продолжается. А когда сон закончится, на той стороне сновидения, только на той стороне, вам станет очевидно, что это был просто сон.

Дина медленно терла левой рукой виски. Ее правая рука — потухшая сигарета между пальцами — неподвижно лежала на подлокотнике. Мертвенно-бледная, как бы неживая, под яркими лучами заходящего солнца.

Старомодные игры

Скажи мне, для чего, о, ворон,
в шумный город отсюда ты летишь?
Мацуо Басё

На следующий день Феликс поднялся опять очень рано. Вышел за пределы территории отеля и направился в сторону старого города по скалистым безжизненным холмам, аккумулятившим в своей кирпично-красной тяжелой плоти жаркое тепло безжалостного египетского солнца. Небо покрылось низкими облаками, и время от времени на нашего путника налетали порывы довольно холодного ветра. Хол-

мы и беспокойная поверхность Красного моря, взявшего, видимо, свое название от напряженной декоративной окраски его берегов, — весь библейский пейзаж, напоминавший о временах исхода евреев из Египта, был заметно притушен тенью от одеяла этих низких и неприветливых облаков. Чьей-то могущественной рукой и по чьей-то воле облачная пелена оказалась разорванной как раз над тем местом, где Феликс легкой походкой совершал свой довольно ординарный вояж к старому центру. Словно солнце открывалось только ему одному, только ему одному улыбалось и приветливо освещало тропу, как бы одобряя сегодняшние начинания одинокого путника.

Сакральная земля. Именно здесь, наверное, Моисей обратился к Богу за помощью и, наученный небесным властелином, жезлом своим ударил по воде... Море расступилось, и евреи пошли посреди моря, аки по суше, вода же стала им стеною по правую и по левую стороны. Может быть, как раз отсюда первая пара чернокожих кроманьонцев, которых потом в святой книге окрестили Адамом и Евой, отправилась на стволе оливкового дерева в опасное плавание через Красное море в поисках земного рая. Отправилась в неизвестное будущее и обрела свой рай в Месопотамии, где и дала начало роду человеческому. Как же здесь хорошо, ведь именно здесь — начало всех начал! Нет, не случайно я оказался один на один с древней землей Египта. Это рука провидения. Как бы мне хотелось задержаться, остаться надолго, очень надолго, в этой грозной, загадочной стране, где упрямый путник сможет, наверное, постигнуть смысл жизни, бесконечно балансируя на тонкой грани между жаром раскаленных холмов уснувшей суши и прохладой неумолчного, неугомонного моря. Остаться одному — только я и эта таинственная земля. Затеряться, как затерялись Адам и Ева, которых никто не знал, никто не искал и никто никогда не ждал. Превратиться в пустоту, в полное ничто.

— Ну вот, еще чуть-чуть, еще совсем немного, — размышлял Феликс. — Скоро вокруг меня, рядом со мной можно будет различить только туман, один лишь туман... и больше ничего. Никто здесь не знает, чем я занимаюсь, кто я, откуда родом, кто мои мать и отец. Я свободен, почти свободен... Конечная цель близка. До нее шаг, последний шаг... Истина где-то здесь, совсем рядом... Не случайно мой отель называется «Лампа Аладдина». Наверное, мне удалось потерять эту волшебную лампу. Что-то со мной странное происходит... — горло перехватывает, на глаза слезы наворачиваются... Может, это предчувствие чего-то особенно радостного, слезы, так сказать, очищения? Предчувствие какой-то новой, светлой жизни?.. Напоминает то, о чем Дина вчера говорила. Тишина. Какая-то особая. И одновременно — неземные звуки, наверное, это ангелы с небес спускаются, протягивают мне руку помощи. Иду, иду... Нет, уже не иду... Я готов лететь, ноги и так едва земли касаются...

У меня уже почти нет личной истории. Из моих новых знакомых... Только Дина знает о жене и ребенке. Кто эта Дина? Просто знакомая, как приехала, так и уехала. И нет ее. Меня тоже почти нет. Нет нужды в моей истории. Это не мое прошлое. Было нечто. То, чего уже нет. И ничего не осталось в памяти других людей. Потому что никому не интересно личное дело какого-то Феликса Эйлера из далекого северного города. И мне тоже оно не нужно. Все знаки на пути уже расставлены, они говорят, подсказывают: не нужен, не нужна... Надо только решиться. Еще один шаг... И разом избавиться от прошлого. Как от привычки курить. Зачем держаться за него? Жить здесь и сейчас. В течение двух дней я дважды встречался со своим прошлым. Прошлое задавало вопросы, суетилось и переживало. А у меня не возникало вопросов к прошлому, задавать ему вопросы — никчемное, бессмысленное занятие. История мне не нужна. Она шумит, вызывает страхи, беспокойства... Ка-

кая уж тут тишина, какая гармония? Головой я согласен с этим, интеллекту представляется довольно заманчивым получить полную свободу от своей истории. Но такая свобода... как бы это сказать? От нее почему-то веет грозным и неуютным одиночеством.

Временами я думаю, что личная история мне ужасно дорога. Без глубоких семейных корней в моей жизни не было бы преемственности, цели, не было бы математики, которую я так люблю, не было бы традиционных семейных ценностей. И в то же время... Кажется... нет, я уверен — эти связи и это прошлое держат меня мертвой хваткой, не дают пошевелиться под тяжестью опыта, традиций и воспоминаний, не дают сделать ни единого шага, ни одного нестандартного поступка; боюсь, если так пойдет, у меня больше никогда не появится собственных мыслей и идей. Надо освободиться из плена традиционных ограничений; на наши поступки незаметно влияют, давят, связывают... нас держат в узде стереотипы и ожидания других людей. Никому не рассказывай, Феликс, что ты делаешь. Расстанься со всеми, кто тебя хорошо знает. А кто у тебя остался? Только самые близкие, только Вероника и ребенок, которых ты любишь... любишь больше собственной жизни. Какой же ты бездушный, Феликс, как ты можешь думать о том, чтобы оставить их? Это же форменное предательство... Если так получится, что я все-таки расстанусь с ними... Они будут и дальше жить в моем сердце, я, конечно, не забуду их, буду любить... так же, как и прежде. Может быть — даже больше. Но впредь я уже ничего не услышу о них, а они — обо мне. И тогда Феликс Эйлер перестанет существовать, перестанет наконец быть реальностью, превратится в туман, туман, сливающийся с вечерней мглой. И никто не сможет сказать, кто этот седовласый незнакомец. Тогда-то и наступит момент, когда можно спросить самого себя: «А сам-то ты знаешь, кто ты?» И ответить себе: «Я-то? Будь уверен, Феликс, я тоже не знаю, кто я такой».

Феликс широко раскинул руки, осмотрел красные холмы, тропинку, по которой он шел, море вдалеке и громко засмеялся:

— Откуда мне знать, кто я такой, если все это я?! Когда нет определенности, мы все время начеку, всегда готовы к прыжку. Как это интересно, если не знаешь, за каким кустом прячется кролик! Хотя какие кролики могут быть в Египте? Но пока это не совсем так, моя проблема в том, что пока я слишком реален: у меня реальные намерения, начинания, действия, настроения, побуждения...

Не знаю — готов я, не готов, — пора принимать решение, наверное, пора уходить. Это так нетрудно — затеряться в диком Египте, стать похожим на обычного пожилого араба, ни с кем не дружить, никому о себе не рассказывать. Дружить только с теми, кто тебя не знает: Эсхил, Еврипид, Данте, Шекспир, Кафка... Здесь тоже есть Интернет; я могу говорить с самыми мудрыми, с теми, кто ближе моему сердцу, с теми, кого уже нет, кто не может думать обо мне, питать ко мне каких-либо чувств, хороших или плохих. Буду писать книгу о том, что видел, знаю, о том, что лично пережил. Об истории моего народа, о загадках человеческой психики, о том, что шепчут мне по ночам тайные голоса. Вопрос, конечно, только в жене и ребенке. Здраво рассуждая... с ними ничего не может случиться, когда меня не будет. У них есть все, чтобы жить безбедно. Конечно, они будут скучать по мне, им будет меня не хватать. И мне тоже. Будет не хватать их. Но они смогут постепенно найти свою дорогу, если будут точно знать, что меня уже нет. Время лечит. Может быть, им в конце концов будет даже лучше без меня. Вероника моя, она еще женщина в самом соку, красавица, она, конечно, сможет устроить свою жизнь, если захочет. Вопрос только в том, как мне тихо исчезнуть, пропасть с горизонта? У меня, наверное, много общего с Федором Протасовым⁵. Тот не мог вести «добропорядочную» жизнь, жизнь

⁵ Федор Протасов — центральный персонаж пьесы Льва Толстого «Живой труп».

по канонам того времени; что бы он ни делал, всегда чувствовал одно и то же: «То — не то... этого — не надо... а вот такое и вообще стыдно». Или вот еще: «Быть предводителем, сидеть в банке — так стыдно, так стыдно... Служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь...» Сбросить прошлую жизнь, как герой Льва Николаевича, сбросить, словно старое, обветшалое платье. «Смотри, обветшалое платье мы сбросим, а после другое наденем и носим». Много раз в жизни я уже делал это. Стирал прошлое. Как рекомендовал Кастанеда. Но как сделать это сейчас? Оставить на пляже одежду, в номере — паспорт и документы. Вроде — ушел купаться и не вернулся. Разве можно найти человека в огромном Красном море? «Мои» попереживают и смиряются в конце концов... Но вообще-то ерунда получается... Свинство, конечно, и довольно трусливо. Это какая-то не та роль... Для слабосильного, что ли? Нет, все-таки разные мы с Протасовым. Быть «живым трупом», это что значит? Быть опустившимся, опустошенным, изжившим себя, ничемным, никудышным... Не моя роль. Для меня это тоже непросто. Поступок... Отважный, наверное... Но я ведь всегда так поступал. А теперь? Не знаю, не уверен. Придется напрямую с Вероникой говорить — типа «расстаемся». Непростая задача получается, что я могу ей сказать? Духовные поиски, стереть прошлое... Как это объяснить? Не поверит. Не поймет и не поверит. Сказать, что потерял к ней интерес как к женщине... Тоже неправдоподобно, с чего бы это? Супер, а не женщина. Никто и сорока не даст. На улице мужики норовят записку ей в руку сунуть, свидание назначить. Сказать, что встретил другую? В принципе правдоподобно, почему бы и нет? Вон эта малышка аниматорша из Испании... Почему из Испании — беленькая, ресницы, брови — светлые, пушистые, какая она испанка? За тридцать уже, далеко за тридцать, а все по отелям мотается, по странам и весям, непоседа какая... А ведь она выделяет меня из всех. Дина тоже выделяет. Но совсем не так. А эта испаночка — точно выделяет, не понимаю, зачем ей такой стариман сдался? Мою-то не проведешь, не возьмешь на фу-фу, она не смирится. Скажет: «Хватит сказки придумывать, сказитель... Опять крыша поехала. Ты что, думаешь, я тебя так просто отдам какой-то профурсетке? Да и нет у тебя никого...» И ведь от нее не спрячешься. Все равно найдет. Она скажет: «Значит, так — слушай меня внимательно, Феля. Несешь черт знает что — седина в голову, бес в ребро. Сегодня делай, что хочешь. А завтра-послезавтра я приеду, словом, как только рейс подходящий будет. Двое суток проведешь со мной в постели — сразу вся дурь из головы вон, быстро все станет на свои места... Ишь ты, другую он встретил...» Нет, с моей так быстро не разделаешься. Куда подевалось твое хваленое спокойствие, Феликс, твоя пресловутая мудрость, твоя прозорливость, твоя способность соединять прошлое и будущее? Почему так болит сердце? Почему вокруг такая тишина, совсем не та тишина... какая-то мертвая, что ли, почему внезапно замолкли неземные голоса? Зачем я все это затеваю? Господи, на Тебя одного уповаю, на правду и милость твою полагаюсь, под сенью Твоей сохрани от вреда, к тебе одному обращаюсь: не оставляй раба своего... Научи, подскажи, укрепи, мудрость в сердце пролей...

«Не горюй, Феликс, не рви душу, момент X еще не настал, есть еще время все обдумать, найти верное решение, пусть в голове все уложится, утрясется, пусть сердце успокоится; а „доработать легенду“ — разве в этом дело, что может быть проще? Зачем вообще нужна эта „легенда“, не хватает мужества правду сказать?» — Феликс думал, размышлял, сам с собой разговаривал, а ноги тем временем уже выносили его на пыльные улицы старого города Эль-Дахар.

«Правду говорить легко и просто. Если это правда. А в чем, собственно, твоя правда?» — спросил себя Феликс и вошел в здание нового, современного «Апарт-отеля».

Смартфон из будущего

Твой Новый год по темно-синей волне среди моря городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево.

И. Бродский

Феликс оказался в шикарном вестибюле свеженького, видимо, совсем недавно возведенного здания. Спросил, где можно найти администрацию. Несколько раз его посылали из кабинета в кабинет. Он бродил по инстанциям, подолгу беседовал с шустрым, приторно приветливым, жуликоватым арабским персоналом. Выяснил, что отель еще строится, вводятся новые жилые объекты, бассейны, зоны отдыха. Не вся территория еще благоустроена. Но пляж... Пляж хороший, уже сейчас вокруг много цветов. Администрации нужны деньги. Поэтому сейчас апартаменты можно приобрести очень дешево. Феликс рассмотрел планы, подобрал уютное бунгало с соломенной крышей, расположенное в дальнем конце территории. На берегу моря. В окружении цветущих кустов. То, что нужно. «Пожалуйста, нам все равно, кто приобретает — резидент, нерезидент. Если оплатите сразу, будет скидка». Покупка укладывалась в умеренную сумму — Феликс мог бы рассчитаться хоть сейчас. «Давайте посмотрим договор, как вы регистрируете право собственности? Меня все устраивает. Сделайте мне копию, я хочу показать юристам. Нет, подписывать договор будем завтра, я приду к вам утром. Будет уже поздно, все будет распродано? Не смешите меня. Если такой спрос, то вы запросили бы вдвое больше, а не продавали бы за бесценок. Уйдет бунгало, завтра его не будет? Ну, не будет так не будет. Будет другое. Да не машите вы руками, я уже все сказал». Феликс нашел мэрию в центре старого города. Поднялся наверх. Отдел регистрации сделок с недвижимостью. «Могу я получить консультацию? Платная? Пожалуйста. Сколько? Сто долларов, хорошо». Консультант Мухаммед, одетый с иголочки, высокий, очень интересный молодой белозубый араб. Приветствовал его на безукоризненном английском. «Учился в Александрии, потом во Франции. Теперь служу в мэрии. Так, посмотрим ваши документы, господин Эйлер». Мухаммед любезно ответил на все вопросы по гарантиям, по регистрации сделки, по виду на жительство, по налогам, по охране и обслуживанию апартаментов. «Рад был вам помочь, господин Эйлер. Рад, что вы решили обосноваться у нас в Хургаде». Мухаммед поднялся, раскинул руки и захохотал. Он становился все выше и выше и заполнил собой все помещение: «Добро пожаловать, господин Эйлер, в наш арабский мир!» «Похоже на то, что этот арабский мир не сулит мне ни тишины, ни спокойствия», — подумал Феликс. Он с удивлением смотрел снизу на огромного Мухаммеда, на его голливудскую белозубую улыбку, а консультант продолжал громко хохотать. Потом неожиданно снова стал деловым, скукожился и стал собирать свои бумажки. «Все, я тороплюсь, вот ваши документы, вот счет — оплатите внизу, на выходе». И мгновенно исчез, сунув файл с документами в руку опешившего посетителя. «Куда вы, Мухаммед? Здесь счет на сто двадцать, а мне сказали — сто». Где теперь его искать? В ресепшн

долго рассматривали счет, объясняли на плохом английском, что, наверное, оказывались еще какие-то услуги, звонили несколько раз Мухаммеду, потом еще кому-то. Ну, давайте карту, сто так сто. Из терминала выполз чек опять на сто двадцать. Мы же договорились на сто. Ничего уже не сделать, мы сняли с карты сто двадцать. Я не согласен. Ну, ладно. Дадим вам сдачу. Долго собирали серебряные монетки и медяки — вот вам десять долларов. А еще десять? Опять какие-то звонки, неясные объяснения. «Ладно, возьмите маску для ныряния», — сказали Феликсу разочарованно. Новая маска пригодится, его, Феликса, маска уже подтекает. Рядом со стойкой висят два десятка масок. Почему маски висят в мэрии, подторговывают ими, что ли? Как тот король из еврейского анекдота, который сказал, что он будет «еще немного шить». Феликс долго мерит маски, находит подходящую... «Эта не годится, — говорят ему, — она стоит не десять, а почти двадцать долларов». — «Ну, тогда дайте наконец мои десять долларов и возьмите назад свою маску». Служащие у стойки опять посоветовались и нехотя согласились. Феликс взял маску и хотел направиться к выходу, но нигде не мог найти свои документы. Он долго всех расспрашивал, опять побежал в кабинет Мухаммеда, никак не мог его найти, нашел в конце концов кабинет, но там не оказалось ни Мухаммеда, ни документов. Да, когда долго возишься с мелочью, это к неприятностям. Черт с ними, документами, завтра оформлю новые. Правда, эти прохиндеи могут поменять цену. Он обнаружил, что пока бегал, где-то потерял свои сандалии. К счастью, шорты при нем. Хорош бы он был — остаться без штанов при таком стечении народа. Но где же здесь выход? Из этого сооружения. Из арабского мира, который, похоже, не обещает ему ни спокойствия, ни умиротворения. Куда вдруг подевались ощущение сакральной тишины, звуки неземной музыки, предчувствие новой жизни и ожидание таинства?

Надо выбираться из этого чуда неомусульманской архитектуры. Феликс оказался в огромном холле неизвестного назначения. Полированный гранитный пол, по периметру — стеклянные стены. Во всех направлениях бегут задумчивые люди с бумагами, торопятся... У всех свои дела. Что я здесь делаю? Прочь, прочь... Феликс медленно поднимается в воздух и летит. Вот и славненько, я теперь, оказывается, умею летать. Слава богу, я умею летать, иначе как бы я покинул это ужасное заведение? Полет почему-то получался совсем даже не стремительный. Может, мешает маска в руке, может, именно она перекашивает, разбалансирует движение? Феликс летит медленно и очень низко. Никто из служащих не обращает на него ни малейшего внимания. Облетает вдоль всех стеклянных стен — нет выхода. Поднимается к стеклянной крыше атриума и вдруг оказывается на свободе. Прохладный ветер остужает его разгоряченное лицо. Над берегом и морем нависают свинцовые тучи. Совсем низко. А внутри них посверкивают молнии. Не стоит высоко забираться. Феликс летит над самой землей. Вначале было светло и ясно, все хорошо видно, потом он попадает в полосу сплошного тумана. С трудом рассматривает стрелки на циферблате часов. Сколько времени? Шесть утра? А он вышел из отеля в пять. Ему казалось, что он пробыл в старом городе целый день, а выясняется — всего лишь час. Ну что ж, значит, он не пропустит утреннее купание. Странно, почему офисы в Египте начинают работать так рано?

Феликс стал ногами на землю, огляделся. Он опять на берегу, у скамейки. Там уже кто-то сидит. Странный тип — летом в дубленке. Правда, без шапки, и дубленка расстегнута. Деловой костюм, рубашка, галстук, очки. Черные кожаные туфли тоже какие-то странные — с длинными пухлыми клоунскими носками, будто набитыми какой-то ватой. «Пожилкой», — мысленно окрестил его Феликс.

— Разрешите с вами посидеть? — спросил Феликс. Его голос странно вибрировал и будто исходил не от него, а пришел откуда-то издалека.

— Садитесь, места всем хватит, — ответил «странный тип».

Голос «пожилого» показался знакомым. Феликс сел, посмотрел на свои побелевшие, как бы стеклянные ладони. «Наверное, я сплю. Когда я успел уснуть, неужели там, в мэрии? Прямо на приеме у юриста. Как неудобно получилось. Арабы, наверное, там вовсю обсуждают и смеются над нелепым русским. „Добро пожаловать, господин Эйлер!“ „Как вы себя чувствуете, господин Эйлер? Может, вам подушечку под головку?“ Дон Хуан⁶ рекомендует рассматривать ладони во сне. Тогда сон превращается в реальность, и можно заниматься любимыми делами — так, будто это делается наяву. Интересно, что это за тип рядом со мной? Не спит. А сопит — громко, будто во сне. Та же самая скамейка. Любопытно, из каких она теперь времен?»

— Не подскажите, уважаемый, откуда вы и как сюда попали?

— Вы что, с Луны свалились? — спросил «пожилой» хриплым голосом.

«Знакомые слова, знакомая риторика, где-то я эту сентенцию слышал недавно», — подумал Феликс.

— Откуда, откуда? — спрашивали уже об этом. Что с вами, «юноша», забыли, что ли? Объясняю еще раз для слабоумных и невнимательных. Ниоткуда я сюда не попал. Просто сижу здесь. И когда вы появились, я уже сидел здесь. Сейчас 2012-й. Через два дня будет Новый год. Еще вопросы? Знаю, знаю, хотите выяснить то, что вас сейчас больше всего беспокоит, — недовольно продолжал «пожилой». — Да-а-а, люди не меняются. Кто смолоду был балбесом, останется таким до конца дней. Все суетитесь, суетитесь. Мысли в голове так и шастают, так и шастают. А толку — чуть. Многомыслие — это еще не ум. Жили бы проще. Как обычные люди живут. Не хуже нас с вами. И незачем своей умственностью упиваться. Такие высококолыбы, как вы, они и есть самые дураки. Ничего я вам советовать не буду. Заигрались вы, книжечек разных начитались, вот сами и выпутывайтесь. Поразмышляйте-ка вы, мой друг, над тем, что вам и без меня ведомо. Что говорил Гедель⁷ о неполноте? Мы не можем установить истинность или ложность суждений, не выходя за пределы наших человеческих возможностей. А выйти за эти пределы мы тоже не можем, хоть во сне, хоть наяву. Потому что не боги. Пока что. Пока что мы не боги. Этот парадокс «Я лгу» вы знаете не хуже меня. Напоминаю... Если высказывание ложно, то говорящий сказал правду, и, значит, сказанное им не является ложью. Если же высказывание не является ложным, а говорящий утверждает «я лгу», то это его высказывание все-таки ложно. Оказывается, таким образом, что если говорящий лжет, он говорит правду, и наоборот. Простой пример ограниченности нашего разума. Вы спросите, к чему это я. Объясняю... Вы чего ищете, свободы? Нельзя быть свободным, не избавившись от личной истории. Вроде правильно. Прошлое мешает, ограничивает. Заставляет лукавить, действовать несвободно и напыщенно называть этот малодушный маневр «осознанной необходимостью». Ну, хорошо, вы решили стереть прошлое, быть свободным, как ветер. Теоретически возможно. А с другой стороны? Вы любите своих близких, жену и ребенка, хотите быть с ними, вам с ними хорошо. Им тоже, как это ни странно, хорошо с вами. Если вы остаетесь с ними, вы — не свободны. А отказываетесь от них против своей воли, ради каких-то вымышленных принципов — разве это свобода? И так, и так несвобода. «Очиститься от личной истории, чтобы освободиться», — элементарный парадокс. Не имеющий разрешения. Ни по ту сторону сновидения, ни по эту. Вот так-то, многоумный вы наш. А советовать я вам ничего не стану. Сами

⁶ Дон Хуан. В своих книгах Карлос Кастанеда описывает свое обучение у Хуана Матуса (дона Хуана) — мага, представителя древнего шаманского знания.

⁷ Теорема Геделя о неполноте — теорема математической логики о принципиальных ограничениях всякой формальной системы.

и решайте. Голова-то вам на что дадена? А если мозгов не хватает, спросите сердце... Вот и решайте, вы же свободный человек. Созданный, так сказать, по образу и подобию... И выбросьте вы эту маску. Вы что, ненормальный? Зимой ходить по улицам босиком, в шортах и с маской для ныряния. Правда, зимы в этом году — никакой, декабрь — ни морозов, ни снега. Но с маской по улице — это чересчур.

Феликс подавленно молчал.

— Да не грустите, друг мой, я вам презент сделаю. Чтобы проснувшись, вы точно знали, что мы встречались — вы во сне, а я наяву. Так что не зря вы ладони свои рассматривали. Как дон Хуан рекомендовал. В результате — думали, что вы во сне, а оказались как раз наяву. Видите эту игрушку? — смартфон называется, его нетрудно освоить. У вас пока нет таких. Вы из 2000-го? А, из 2002-го, ну все равно — у вас нет таких. Посмотрите, вот так можно звонить. А так — нажимаю S — разговаривать по скайпу. Да не задавайте вы вопросов, смотрите, смотрите.

На экране появилось знакомое женское лицо, похожее на лицо Вероники.

— Говорите, юноша, говорите, — подсказал «пожилой».

Феликс молчал, а знакомый женский голос оживленно вещал с экрана.

— Феликс, это ты? Что-то тебя плохо видно. Что ты хочешь? Вышел на полчаса за елкой... А тебя все нет и нет. Давай-ка возвращайся скорее. Пора елку устанавливать, Новый год на носу. У меня тут, кстати, почти все лампочки поперегорали, надо срочно поменять. Терпеть не могу, когда в доме рыбий жир вместо света. Давай шевелись, конец связи.

Феликс проснулся весь в слезах. Ему снилось, что какие-то люди хотели разлучить его с семьей и уже почти разлучили. Он кричал, бился изо всех сил, дрался — ничего не мог сделать. Попытался вспомнить подробности сна — тоже не получилось. Осталось только очень сильное переживание, такое впечатление, будто все это происходило с ним не во сне, а наяву. Нет, это было все-таки во сне, именно во сне. Тем не менее Феликс долго не мог успокоиться. В памяти всплывало жесткое, наглое, улыбающееся лицо чеченского полевого командира. Почему-то Феликс точно знал, что его зовут Магометом. Наверное, этот белозубый горец и забрал его жену и ребенка. Магомет громко хохотал: «Теперь ты никуда не денешься — как миленький будешь на нас работать, а иначе твоим полный кирдык будет. Добро пожаловать в наш мусульманский рай, господин Эйлер!» Ужасный сон! Там была еще какая-то мелочь, какие-то монетки, это всегда к неприятностям. А тут не просто неприятности... Потеря близких, потеря свободы. Крушение всего, что понастоящему дорого...

Феликс обнаружил в руке какой-то незнакомый гаджет с большим экраном. «Очередная игровая шелобушка». Он напрочь не признавал электронные игры. Брезгливо потрогал какие-то кнопки, потыкал пальцем в экран. Появились фотографии. Вот отель, в котором он живет, парк, набережная, уютные уголки пляжа. Вот его номер. А это «Апарт-отель» в старом центре — однажды во время прогулки Феликс видел издали этот новый отель. Вот вестибюль, номера отеля. Бунгало на берегу моря. Открыточные виды, живописно — ничего не скажешь. Какое-то административное здание — возможно, местная мэрия. На фото — жуликоватые лица персонала. Какой-то улыбающийся белозубый арабский красавец в безукоризненно сидящем костюме. «Очень похож на Магомета, который приснился мне этой ночью, — подумал он. — Странное совпадение. Просто один к одному». Разглядывая значки и кнопки, Феликс обнаружил, что гаджет позволяет звонить по телефону. На экране высветился только один номер. Номер незнакомый, но первые

цифры +7921 — это номер питерского «Мегафона». Нажал кнопку «вызов»... Длинные гудки, потом механический голос произнес: «Абонент вне зоны приема». Феликс заинтересовался «иконкой» на экране в виде буквы «S» и вызвал эту «S». Он не знал о существовании «скайпа», но вызов почему-то делал осознанно. Закрутился бегунок, побежал по светящемуся колечку, на дисплее появилось имя его жены. Феликс ткнул пальцем в «вызов» — гудок, пауза, надпись: «Абонент вне сети». Что за ерунда, откуда взялась эта штука? Позвонил администратору отеля.

— Мистер Эйлер. Через три дня вы покидаете наш отель. Мы очень благодарны вам за то, что вы выбрали именно наш отель. Гаджет, о котором вы спрашиваете, это наш комплимент. Мы оставили его вчера на вашей подушке вместе с ночной шоколадкой на память о нашем отеле «Лампа Аладдина» и о счастливых днях, которые вы здесь провели. Спасибо, мистер Эйлер.

Внимательно осмотрел гаджет. Пиаровская финтифлюшка. С виду сделано неплохо. Начинка — примитив, дешевая китайская поделка. Вышел на балкон и зашвырнул гаджет в цветущий куст рододендрона.

Он снова вспомнил о том, о чем размышлял последние три дня — «стереть личную историю, чтобы стать свободным». Одна из главных рекомендаций учения дона Хуана «Путь знания индейцев племени яки». Ловушка для ума. На первый взгляд все логично, а на деле... ерунда какая-то получается. Что хорошо для тольтеков⁸ и дона Хуана, для современного человека — просто бездушная схема, убивающая живую душу... Вместо обещанного освобождения... Многомыслие — это еще не ум. Излишнее знание тяготит, оно тянет вниз, делает несвободным. Стереть прошлое, говоришь, дон Хуан? *Лишние знания, лишнее* надо стирать, просто следует освободить голову от всякого словесного хлама. Дон Хуан и даже дон Карлос⁹... Они, конечно, ни в чем не виноваты перед нами. А вот кто раскручивает «кастанедовцев»... Кто превращает последователей древнего учения в секту... Кастанедоведение превратилось в бизнес. Не слишком ли все это стало публичным? Ведь изначально учение тольтеков распространялось совсем не так — бережно, тайно, из рук в руки. Виктор Санчес¹⁰, кто вы? Пособия, всяческие растолковывания, упражнения, группы, ученики... Просто бизнес. Для них бизнес, а я-то здесь при чем? «Бойтесь единственно только того, кто скажет: „Я знаю, как надо!“»¹¹. В чем здесь отличие от сект: от секты Виссариона¹², нового мессии, от секты Муна¹³, программирующего межконтинентальные христианские браки? К черту лишние знания, к черту «стирание прошлого»!

Феликс вновь чувствовал себя сильным, молодым и свободным. «Я свободен еще и в том... В конце концов, я сам решаю, забыть свое прошлое или нет. Люблю мою Веронику, люблю нашего сына. Они меня тоже. Если люди нужны друг другу,

⁸ Тольтеки — индейский народ юто-ацтекской языковой семьи, живший на территории средневековой Месоамерики. Тольтеки — одна из величайших цивилизаций прошлого.

⁹ Карлос Кастанеда (дон Карлос) — американский писатель и антрополог, этнограф, мыслитель эзотерической ориентации и мистик, автор книг-бестселлеров, посвященных шаманизму.

¹⁰ Виктор Санчес — мексиканский исследователь, создатель рабочих семинаров для личностного и духовного роста. Вдохновленный книгами Карлоса Кастанеды, он разработал широкий спектр техник и методик для личностного и духовного роста.

¹¹ А. Галич. «Поэма о Сталине».

¹² Виссарион — основатель и глава нового религиозного движения «Церковь последнего завета». Последователи Виссариона убеждены, что он — «Второе пришествие Христа». Христианские церкви считают, что Виссарион-шарлатан, Лжехристос и лжепророк, его община — тоталитарная и деструктивная секта, а его последователи — несчастные люди.

¹³ «Церковь объединения» — новое религиозное движение, основанное Мун Сон Мёном в 1954 году в Сеуле. «Церковь объединения» причисляется к деструктивным и тоталитарным сектам.

зачем отказываться от этого, зачем по живому резать? Какая тут может быть гармония? Разве в этом состоит свобода? Господь никогда не требовал отречься от любви... К черту догмы! Я готов выслушивать чьи-то рекомендации, если это интересно — почему бы и не послушать? Но решать буду сам. Кто, если не я, поддержит Веронику? Кто сына научит, что надо выбирать собственный путь в жизни, а не плыть по течению, сложив ручки?» Феликс позвонил в ресепшн.

— Закажите, пожалуйста, такси. В аэропорт. Да, я уезжаю.

— Но, мистер Эйлер, у вас же оплачены еще три дня.

— К черту три дня.

— Когда вам подать машину?

Феликс осмотрел разбросанные по номеру вещи. Заметил новую, ни разу еще не использованную маску. Надо бы ее испытать. Может быть, сходить еще разок на море? К черту море!

— Я буду готов через тридцать минут.

Ровно через полчаса Феликс вышел из отеля с дорожной сумкой. Такси уже ждало его. Больше всего на свете ему хотелось в этот момент поскорее оказаться дома и нырнуть к жене под одеяло.

Новый 2012 год. Отшумели зимние каникулы. Феликсу вспомнилась неожиданная встреча с прошлым за два дня до праздников. Вспомнились другие похожие встречи, которые произошли в Хургаде десять лет назад. Он нашел тетради со старыми записями, некоторые сорокапятилетней давности. Листал пожелтевшие страницы, читал, ухмылялся, в какой-то момент даже немного загрустил. Нашел последнюю запись.

«Май 2002 года. Пока хватает сил, не стой на месте, плыви „по“ или „против“ течения. Возвращайся к прошлому, цени свое прошлое. Или опережай время, плыви вперед, приближай будущее. А силы кончатся — время успокоит всех — и первых, и вторых, и тех, кто никуда не стремится. Не стоит думать об этом: пока жив, ты — властелин времени. И сего дня. И прошедшего. И будущего. Позаботься только о том, чтобы дети продолжили твое дело. Стали настоящими повелителями времени, а не плыли по течению, сложив руки в ожидании, куда это течение их вынесет».

ГРАНАТА ЗА ПАЗУХОЙ

(в штрафной роте. 1943 год)

23 марта в расположении роты появился командир с адъютантом из штаба 123-й дивизии, в состав которой вошла наша рота. Состоявшая в основном из штрафников, она вполне могла называться батальоном, так как численность ее личного состава превышала 250 человек. Дивизией командовал генерал-майор Иванов. От бойцов этой прославленной дивизии узнали, что в состав 55-й армии ее включили на время проведения Красноборской операции. До этого 123-я занимала оборону на Карельском перешейке. Прибывший командир, узнав о том, что командир роты погиб, а ротой командует командир первого взвода красноармеец Роговенко, внимательно выслушал его боевой рапорт об активности противника, о наличии бойцов и их самоотверженной стойкости, о вооружении, о снабжении.

— Молодцы! Доложу Военному совету армии, но сейчас вам придется еще труднее, а продержаться на этом участке нужно еще суток двое. Работу артиллерии и минометов усилим. А пока выделите немедленно двадцать пять надежных бойцов, назначьте старшего. Боевую задачу поставлю лично. В чем суть дела — узнаете. На подготовку — четыре минуты.

Для формирования боевой группы четырех минут даже много, Роговенко просто называл фамилии находившихся поблизости. Тех, кто выглядел совсем ослабевшим, возвращал обратно. Ему помогал расторопный красноармеец Райда, исполнявший обязанности командира взвода.

— Группа готова, старшим назначается Ковалёв.

Боевая задача состояла в следующем. На расстоянии одного километра к югу от нас один из наших танков ворвался на линию обороны противника. Атаку немцы отбили, все другие танки и пехота отошли на исходные рубежи, а ведущий танк с десантом застрял под носом у противника. Экипаж танка героически отбивается, ждет помощи. Но силы десанта на исходе. Угроза захвата нашего танка вполне реальна. К участку леса надо прорваться через болотистую лесную поляну, контролируемую с севера и юга немцами, обеспечить охрану экипажа танка до прибытия помощи. Командир, обращаясь ко мне, посоветовал:

Григорий Поликарпович Ковалёв родился в 1917 году на хуторе Гезов в Воронежской области. Работал на заводе. В 1938–1942 годах служил на кораблях Амурской флотилии. В 1942 году по приговору военного трибунала за опоздание из увольнения был отправлен в штрафную роту на Ленинградский фронт. Был тяжело ранен и контужен взрывом снаряда, после чего освобожден из штрафной роты. В 1943–1944 годах служил на канонерских лодках «Ока» и «Зея». Воевал под Ленинградом (корректировщик артиллерийского огня), на Финском заливе и в Моонзундском архипелаге (сигнальщик). С 1945 года на сверхсрочной службе. Командовал отделениями сигнальщиков, преподавал сигнальное дело в ВВМУ им. Фрунзе, служил помощником командира торпедного катера. В 1957–1962 годах участвовал в испытаниях ядерного оружия на Новой Земле. В 1962 году уволен в запас в звании мичмана. Работал в охране Военно-морского музея, сторожем в универмаге. Умер в 2002 году, похоронен в Санкт-Петербурге.

— Ваше продвижение обязательно обнаружат, и вы попадете под автоматнопулеметный огонь с близкого расстояния справа и с тыла. Продвигайтесь короткими перебежками с интервалом не более десяти метров. Команда для всех — ваши личные действия. Для примера держитесь впереди. Скажете тем, которых хорошо знаете, — своим надежным друзьям, чтобы не отставали от вас.

Из надежных рядом находились только двое — Бойченко и Каримов, задачу они поняли без разъяснений.

Командир закончил напутствие словами:

— За ходом продвижения группы я буду наблюдать с этого места. За тем редколесьем и кустарником станет легче, а сейчас — вперед!

Обратившись к Роговенко, приказал:

— Немедленно всей ротой откройте огонь и демонстрируйте атаку. Не жалейте горла, кричите «ура» и что хотите.

Усталость была такая, что быстро бежать никто не смог бы и по ровной дороге, а тут кочкастое, залитое водой болото, но, напрягая откуда-то взявшиеся силы, бойцы короткими бросками преодолели половину опасного участка, как на образцовом учении. Помог шум, организованный отчаянным Роговенко. Наконец немцы поняли, что их дурачат, и вскоре группа из двадцати бойцов попала в рой пуль. Перебежки стали совсем короткими и редкими, пули засвистели не только справа, но и с дальней опушки — почти навстречу нам.

Мои действия служили командой для двигавшихся следом бойцов. Я падал, когда находил нужным. Через несколько минут вскакивал и, махнув рукой вперед и пробежав метров десять, оглянувшись, снова падал. После каждого такого броска людей поднималось все меньше. И вот спасительная маскировка — кусты. Упали и отдышались рядом со мной двое — Бойченко и Каримов. В надежде, что еще кто-нибудь добежит сюда, смотрели на поляну. На ней были заметны движения раненых, уползавших в обратном направлении, темные бугорки убитых и тяжелораненых, безнадежно ожидавших помощи. До кустов не добежали только те, кто был убит или ранен. Если бы среди нас оказались трусы, их бы расстрелял командир, а может быть, и сам Ваня Роговенко.

Убедившись, что к нам больше никто не присоединится, Бойченко и Каримов выжидающе смотрели на меня: что дальше?

Прежде всего нужно было определить свое состояние и возможности. Бойченко болезненно морщит лицо, расстегнув ремень и засунув руку под шинель, ощупывает правый бок. Пальцы левой руки испачканы кровью. Пуля навывлет пробил поясной ремень, прошла под кожей. Мышцы не задеты — такое касательное ранение считается легким (угоди она на два-три сантиметра выше — повреждены были бы ребра и печень). У меня тоже легкое ранение, полученное вчера ночью, — на правом бедре. Боль чувствуется только в состоянии покоя. На рану Бойченко под рубаху наложил смоченную йодом подушечку пакета первой помощи и зафиксировал бинтом повязку гимнастерки.

Каримов считает дыры от пуль в своей почти новой шинели, которой он очень гордится и которую бережет. Рыжий, крепкого сложения татарин, по-русски говорит плохо, зато постоянно внимательно слушает, пристально смотрит в глаза, безошибочно угадывает, о чем идет речь и что от него требуется. Приказания исполняет ревностно, очень злится, если кто-то опередит его в деле. Молча, удивленно смотрит то на дырки, тыкая в них пальцем, то на нас. Произнес только: «А крови нет». Бойченко удивляется: так много пуль его задело, а раны ни одной...

Не удивлялся бы Каримов, если бы мог знать, что где-то здесь, совсем близко, оружие в руках немецкого солдата уже заряжено патроном, пуля которого окажется коварнее тех шести, что пролетели мимо, повредив только одежду.

Медленно идем в заданном направлении, внимательно осматриваясь по сторонам. Оружие готово к немедленному бою. Если сегодня голоса немцев слышны так близко справа, то почему бы им не просочиться вот сюда, где можно хорошо замаскироваться в кустах, за редкими деревьями и в кочках на болоте? Странно: где же здесь передовая линия нашей обороны? Ее просто не существует.

Лес становится все гуще, но вдруг кончается, а недалеко на опушке мы видим танк с тридцатиградусным дифферентом на нос. Водитель не заметил глубокой воронки или просто ямы, и машина весом 60 тонн клюнула в нее — и двигатели заглохли. В линии обороны противника, как и у нас, очень неустойчивой, образовалась вмятина. Немцы отошли метров на триста к густой полосе леса и там закрепились. Танк оказался под их прицелом с фронта и с флангов. Хорошая приманка, но в танке почти полный комплект снарядов и патронов для пулемета. Десант тоже был помехой. Танкисты рады нам, теперь они не одни. Сознывая, что рядом кто-то есть, сидеть в танке спокойнее. Сказали нам выбрать места для обороны, хорошо замаскироваться и быть начеку. Немцы все время шарят кругом, подходя совсем близко, и кричат, чтобы мы сдавались в плен.

Прямых следов попадания снарядов в танк и повреждений нет. Зато много следов от осколков и пуль. От попаданий бронебойных пуль следы на броне в виде оспин.

Бойченко держится за бок и смотрит на нас умными глазами грустно и прощально, словно предчувствуя беду. Заметив мой беспокойный взгляд, улыбнулся слабенькой улыбкой, пытался приободриться, но не получилось. Улыбка и бодрость, как огонек тоненькой свечки на ветру, гаснут. Каримов лежит на животе, его лицо часто опускается между кочек, он утоляет появившуюся жажду. Он всегда молчит и постоянно что-то соображает и что-то делает. Напившись, Каримов внимательно, по-хозяйски осматривает свою винтовку, приоткрывает затвор, проверяя, есть ли в патроннике патрон: посмотрел, трогает патрон пальцем, как бы не веря своим глазам, закрыв затвор, кладет оружие рядом с собой, оставив его на боевом взводе. Смотрю на него, спрашиваю: «На предохранитель ставил?» Отрицательно вертя головой, с видом человека, глубоко понимающего суть дела, произносит: «Так лучше». Затем неугомонный Каримов идет к танкистам и кланчит у них закурить. Старшины молча делятся последними крохами эрзаца. Осторожно сворачивая сигарку, по-восточному сложив ноги калачиком, садится передо мной и, не говоря ни слова, не моргая, выжидательно смотрит мне в глаза. Это означает: у тебя самое хорошее кресало, давай прикурим и вдвоем будем курить. Курим взятяжку по очереди. Когда сигарка в моей руке наклоняется ближе, его глаза расширяются, следят, не делается ли затыжка больше того, что называется «поровну». Понимаю, что человеческое достоинство превыше всего, поэтому затыжки мои короче нормальных. Каримов это замечает.

Может быть, поэтому, когда на следующий день я скажу ему: «У тебя тяжелое ранение и высокая температура, не теряй время, уползай отсюда, может быть, останешься в живых, а здесь тебе и, наверное, всем нам, скоро будет каюк», — упоминающая Аллаха и шайтана, надрывно кашляя и выплевывая кровь, Каримов твердил: «Нет, пусть что угодно. Я до конца буду с тобой».

Очень холодно и голодно. Глаза закрываются, но расслабляться нельзя, нужно постоянно все видеть и слышать. Каримов предлагает вдвоем обследовать новое место нашей дислокации.

Голод не тетка... Кроме того, хочется найти немецкий автомат с патронами, гранату, пистолет. Напарник уже рыскает, наклонившись, деловито что-то рассматривает. А я, прежде чем последовать его примеру, решаю все-таки осмотреться.

Нельзя быть таким беспечным. Влез на танк и сразу, на расстоянии примерно трехсот метров, увидел двух немецких солдат. Как ни в чем не бывало, набросив оружие на ремень, они медленно шли вправо, в сторону леса. Став на правое колесо и положив винтовку на башню танка, хорошо прицелился, сделал выстрел. Хорошо стрелять я научился задолго до военной службы, в 1934—1935 годах в Осоавиахиме, а на службе еще больше навострился. Не верю, что на этот раз промахнулся. Такие отличные условия для стрельбы с упора при отличной видимости, а главное — самостоятельно, без команды и контроля со стороны начальства. Из танка послышался голос: «Попал?» Отвечаю: «Не знаю. Упали оба». Тот же голос: «Падают и когда близко просвистит пуля». Отвечаю: «Про это знаю». Другой голос, наверное, командира танка: «Много ты, видать, знаешь. Лучше слезай с танка, пока не полетел оттуда вверх тормашками, как это было здесь с некоторыми, не дразни их больше, если не хочешь, чтобы и в эту ночь они организовали сабантуй».

Я ухожу туда, где ведет свой поиск Казанская Сирота (такую кличку дали Каримову остряки), а Бойченко смотрит беспокойным взглядом, слабым голосом говорит мне вслед: «Не увлекайтесь, не попадите на мушку...»

Мы настолько измучены, что нет сил правильно сориентироваться и сообразить, что делать и как себя вести. Бродим, делая зигзаги, незаметно удаляясь от танка, и вдруг слышим из кустов спокойный разговор немцев.

Немедленно залегли. Внимательно осмотрелись, осторожно и благополучно откочевали на свое место. Находиться в танке тоже не мед, хотя и сухо, — там, наверное, холодно и жутко.

Подбодренные тем, что их полку все-таки прибыло и что мы еще и инициативу какую-то проявляем, танкисты вылезли из танка, хлопчут вокруг него, жалуются Бойченко, что не работает рация. Говорят, что их пытались вытащить, но не получилось. Приказали держаться, обещали не оставить в беде. Надеются, что этой ночью, может быть, придет аварийно-спасательная группа. По их словам, это единственный новый танк в их бригаде. Узнав от меня, на каком расстоянии и в каком направлении только что слышали немецкую речь, три танкиста не обратили на это почти никакого внимания. Я был удивлен этим, как и тем, что из танка они вылезли одновременно все, вместо того чтобы выходить по одному, если нужно поразмяться или сделать что-то другое.

По совету Бойченко и одного из танкистов мы втроем выбрали для себя неплохие позиции. Кроме основных, организовали по две запасных, маневренных, чтобы создать у противника впечатление, что у танка находятся не три человека, а больше. На всех рубежах оставили подобранные вокруг винтовки и автоматы с патронами.

День заканчивался, и танкисты сделали последнюю на сегодня вылазку, поднялись во весь рост, чтобы забраться в машину, и в этот момент, с близкого расстояния, застрочили длинные очереди нескольких автоматов. Каримов, Бойченко и я из винтовок открыли ответный огонь. После каждого выстрела, прежде чем сделать следующий, секунду тратили на то, чтобы посмотреть в опасную зону. Целью стрельбы противника могло быть отвлечение внимания от его групп, подбирившихся с других сторон. Тишина наступила через минуту. Бойченко и Каримов живы, а как танкисты? Все трое ранены, один, видно, тяжело. С предельной осторожностью стреляем. Стрельбу возобновили после того, как танкисты скрылись в танке. Скрытые темнотой, мы превратились в слух и зрение. Думалось о том, что же принесет ночь после такого дня.

Совсем тихо и темно. Впереди, на юго-западе, на опушке леса, где немецкая оборона, слышны четкая, местами понятная чужая речь и нудный зуд губной гармошки, а вскоре шорох осторожных шагов. Валежник, кочки, лужи воды — тихо не прой-

ти и не проползти, особенно в темноте. За звонким выстрелом двухствольной ракетницы застрочили немецкие автоматы. Две белые ракеты, выпущенные почти вертикально, на высоте до двухсот метров, утратив силу толчка, сделав маленькую траекторию, разгорались, спускаясь над нами. Вот так ночь! Куда светлее, чем днем. Пока шипящие ракеты не сгорели, автоматчики не жалели патронов, прочесывая освещенную вокруг танка местность. То, что нас только трое, а не больше, свело к нулю шансы попадания пуль по назначению. Танкисты, несмотря на ранения, все-таки сумели произвести два выстрела из пушки и прострочить несколько очередей из пулемета. С наступлением затишья каждый из нас сделал по два винтовочных выстрела, которые условно означали: «Я жив», после чего, соблюдая осторожность, сменили позиции. Я вспомнил слово «сабантуй», сказанное днем танкистом. Это был *малый сабантуй*. *Большой сабантуй* немцы устроили часа через два...

Мы знали свое очень ненадежное положение: казалось, достаточно половине немецкого взвода дружно броситься с трех сторон к танку — и все будет кончено с нами, с танком и его экипажем. Но немцы не знали, сколько нас, и не шли в атаку. Трусили. Боялись напороться в темноте на штык или выстрел в упор.

Подсветки больше не было. В сопровождении стрельбы вокруг танка рвались ручные гранаты с промежутками в десять секунд. Оглушенный, я успел только приготовить свою единственную гранату, чтобы взорвать ее в случае, если на меня набросятся. Этого не случилось — снова наступила внезапная тишина. Живы ли друзья? Сделал два выстрела, справа — тоже два выстрела. Это Каримов, а Бойченко молчит. Если убит — одно дело, а если ранен и истекает кровью? Все равно теперь менять место, поползу к нему...

...Оружие беспорядочно разбросано на месте, а Бойченко нет. Что здесь случилось, я понял тогда, когда нащупал шапку и перчатки друга. Здесь же лежала неготовая к бою немецкая граната, потерянная в возне вражеским солдатом. Вот, оказывается, в чем состояла цель немецкого наскока, и они достигли ее.

В правой руке почувствовал небольшую боль. Легкие осколки гранаты, пробив манжету шинели, впились в кожу возле кистевого сустава. Выковырял их. Это пустяк, кисть работает. О рваной шинели на спине и плече узнал на вторые сутки. Немцы считали нас дураками, почти все их гранаты рвались у танка. Думали, что мы ютимся возле него.

До случая с Бойченко и после него я убеждался в правильности где-то прочитанных и запомнившихся слов: чем сложнее обстановка, тем слабее чувство страха и меньше колебаний. Мысль и поступки решительнее. Случившееся вызвало откуда-то взявшийся прилив сил и решимости. Да и чего теперь бояться? Удовлетворенные враги удалились. Теперь они волокут обессиленную жертву или, подкалывая ножами, гонят впереди себя.

Иду сообщить о случившемся Каримову, тут же возвращаюсь туда, где остались лежать шапка и рукавицы Бойченко. А ведь это место было приготовлено мною для себя. Здесь мы лежали вдвоем. Последние слова товарища были: «Я останусь здесь, а вы идите туда», — и я безвольно согласился, устроился на его месте. Что заставило Бойченко сказать так — жалость к младшему по возрасту или уважение к старшему по боевому заданию?

В одной из любимых фронтовиками песен есть слова:

Давай с тобою поменяемся судьбою,
Махнем не глядя, как на фронте говорят.

Создана эта песня на основе фронтовой традиции. При встрече или расставании земляки или подружившиеся бойцы обменивались предметами солдатского

обихода. Чаще всего это были алюминиевые котелки и ложки, на которых в минуты досуга они острым ножом вырезали с разными завитушками свои фамилии, имена и отчества и всякие слова, какие были на душе. Слово «сменяем» заменили словами «махнем не глядя». Когда эти слова произносил один, а второй соглашался, оба доставали из кармана или вещмешка какую-то вещь и дарили друг другу. Ничего, если вещи не совсем совпадали по материальной ценности. Такой подарок имел огромную моральную ценность.

Для меня же слова припева особенно дороги, потому что тогда, под Красным Бором, мы с Бойченко в прямом смысле слова поменялись судьбами...

В конце ночи тишину нарушили наши полковые минометы и орудия. Разрывы первых мин — в ста метрах впереди нас. После каждого залпа установка на квадрANTE угломера меняется, и мины ложатся все дальше и дальше в сторону противника. Вот снаряды наших пушек рвутся уже где-то на вражеских огневых позициях. Создаются условия для спасения танкистов. А совсем скоро мы услышали в рассветных сумерках нарастающий шум быстро приближающихся танков. Они уменьшили скорость, развернулись на 180 градусов, остановились, приглушив моторы.

Это танки другого типа — слабее того, который попал здесь в беду. На броне каждого — по восемь десантников. Ребята, сразу видно, на подбор. Группой командует порядительный и храбрый немолодой старший лейтенант. Его левая щека сильно изуродована шрамом от осколочного ранения. Старший лейтенант одет в совершенно новенький, без единого пятнышка, белый дубленый полушубок. На фоне здешней невероятной слякоти и грязищи выглядит он более чем странно. Даже Каримов, молчаливый и безразличный ко всему, кроме страшного холода и той ситуации, в которой мы оказались, буркнул: «Вот человек живет, ему совсем нехолодно».

Десант занимает оборону. Тот, кого называют сержантом, с изумлением смотрит на меня и щедро угощает настоящим табаком. Судя по тому, как выглядели Каримов и исчезнувший Бойченко, мой внешний вид заслуживал не меньшего внимания и удивления. Рассказав, что здесь случилось, я подарил сержанту немецкую гранату и спросил, умеет ли он такими пользоваться. Он кивнул. Поделится и сухарями. А чего еще в нашем положении хотеть? Воды? Так она вокруг. Бедствие становится удобством.

Два танка завели буксиры. Наступили долгожданные минуты, когда пострадавшая машина будет вытащена и все муки людей, связанные с ее аварией, останутся позади, но — увы!..

Самый ответственный момент, от которого зависит успех работы: после заведения и закрепления буксирных устройств нужно на самых малых оборотах двигателей, без малейших рывков, выбрать слабинку тросов до их полного натяжения и только после этого давать малый ход, внимательно наблюдая, как ведет себя буксируемый, смещается ли он или остается неизбежно на своем месте. Вес аварийного танка 60 тонн, к его весу нужно прибавить такую же силу присоса к глинистому грунту.

Трудно сказать — что зависело от руководителей работ, а что не зависело, но только был допущен губительный рывок. В месте обрыва буксирного стального троса сверкнул пучок искр. Увязший в яме танк лишь слегка вздрогнул и остался на месте. Наступило замешательство. Почти совсем рассвело, и противник, оправившись от удара нашей артиллерии и поняв, что происходит, открыл довольно точный, сосредоточенный огонь. Среди десантников появились раненые. В нормальных условиях, несмотря на то, что один буксирный трос порван, работу можно успешно завершить, но здесь... Стрельба противника становилась точнее, а сверху, по радио, поступила правильная команда: работу немедленно прекратить, танки вывести в безопасное место, половину десанта оставить на месте.

К сожалению, как раз половина прибывших уже была ранена, они и убыли на двух танках. Артиллерийская дуэль сторон продолжалась недолго. Немцы умолкли после нескольких залпов «катюш».

Старший лейтенант предупредил одного бойца и сержанта, получившего в подарок трофейную гранату, чтобы они были готовы с ним вскоре отступить. Невероятно, но факт: сержант спокойно заявил своему командиру: «Я член партии и не уйду от своих бойцов». Старлей не возразил. Просто приказал другим двоим вернуться и доложить командиру подразделения, занимающего линию обороны, следующее: немцы рядом, их можно видеть, слышать, они проявляют активность, своих за спиной не чувствуем, линию обороны необходимо приблизить к танку.

Бойцы, получив задание, ушли, но совсем скоро один вернулся, с трудом держась на ногах, тяжело дыша, махнул рукой и произнес: «Там немцы». На вопрос «Где?» рассказал:

— Мы шли на расстоянии друг от друга. В кустах услышал «Хальт» и «Хенде хох». Бросился бежать, были выстрелы.

— Теперь ты знаешь, где немцы, — сказал командир, — с тобой пойдет... — старший лейтенант резко повернулся в сторону, где в цепи, с интервалом в несколько метров, лежали красноармейцы. Было видно, как бойцы, повернув головы вправо, внимательно слушали разговор. А когда командир произнес последнее слово и посмотрел на нас, головы бойцов опустились ниже. Было ясно почему. Я понял, что выбор падет на меня, что-то помешало отвернуться.

— Вот ты, с бинтом на руке, пойдешь с ним, — приказал командир.

Напарник мой шел быстро, у меня кружилась голова и болела нога, расстояние между нами становилось все больше и больше. Странно, что он ни разу не оглянулся и направление держал именно туда, где, по его же словам, были немцы. Убедившись, что мне скорохода не догнать, решил держаться левее. В одиночку действовать лучше, как-то свободнее. Кусты. Полянки, завалы от сбитых с деревьев веток. Пробираюсь осторожно — и вот грозный оклик: «Стой!»

Двое красноармейцев с очень строгими, решительными лицами, убедившись, что свой, опускают оружие, а из воронки голос:

— А я тебя, парень, хотел из пулемета — тово, да они помешали.

Подвели к лейтенанту, пытаются доложить обо мне, но он занят. Лейтенант сидит с пистолетом, направленным в стоящего на коленях тощего, пожилого бойца. «Товарищ лейтенант, это неправда», — молит боец. «А зачем ты винтовку бросил?»

Противно видеть такую сцену и не хочется терять время. Подошел ближе и настоял, чтобы выслушали, кто я и что нужно.

— Ведите в штаб, — распорядился лейтенант.

Отошли с бойцом метров двадцать... За спиной раздался звук пистолетного выстрела.

...Командир взвода разведки ведет в землянку. Вместо двери две распятые шишени. Лужа воды во всю землянку завалена хвойными ветками. Жалкое освещение от фонаря «летучая мышь». Лейтенант догадался усадить меня на ящик, спасибо ему. В углу землянки два радиста часто сменяют один другого, дважды повторяют свой позывной и позывной адресата. Они настолько измучены, что речь их понять можно с большим трудом: языки заплетаются и рты еле открываются. Как только их голоса смолкли, старший лейтенант настойчиво потребовал продолжать вызов. Тип радиции — «РБ». Работает ли она у них? Может быть, батареи сели? В таком состоянии радисты могут просто не заметить этого.

За столом из ящиков спит человек. Его осторожно будят. Просыпается. Лицо давно не бритое. На вопрос «Кто это?» разведчик потом уклончиво ответит: «Он теперь выполняет обязанности многих...»

Выслушав мой короткий рапорт, командир сдвинул на край стола котелок и еще что-то, посмотрел на карту и устало произнес:

— Танк находится в системе нашей обороны.

Я повторил еще раз сказанное, подозревая, что он настолько устал, что до его сознания не полностью доходит суть дела. Добавил еще, что немцы ведут себя нахально: перехватывают наших людей, идущих от передовой к танку или обратно. Командир сказал лейтенанту: «Пошлите с ним двух разведчиков, пусть уточнят обстановку».

Разведчики смотрели на меня как-то криво. Я торопился, а они медлили, и напрасно. Было бы лучше, если бы ушли сразу. Я спросил, нет ли у них чего-нибудь поесть. Пожевали хлеб, потом закурили и в это время услышали со стороны противника вой сирен — залпы их шестиствольных минометов. Бойцы, которых можно было видеть вокруг, бросились в укрытия. Мы по одному втиснулись в неглубокие ниши, вырытые в штабелях торфа. Восемь 120-миллиметровых мин одним залпом накрыли наш квадрат. От близкого разрыва звенело в голове. Меня засыпало торфом. Медленно выбрался и увидел, что батарея полковых минометов нанесен большой урон. Два миномета, наверное, выведены из строя, лежат на земле, рядом со штабелем мин горят пустые ящики. Толстая пожилая медсестра, обутая в резиновые сапоги, в грязи болота оказывает помощь раненым. Один из моих разведчиков ранен, второй явно контужен, пытается оказать помощь напарнику. Лейтенант, очень занятый последствиями обстрела, послал меня подальше...

Поняв, что мне задерживаться здесь нет смысла, я ушел, прихватив в противоголовую сумку патронов для автоматов и сунув туда же краюху недоеденного хлеба.

День был пасмурный. Единственного ориентира — солнца — совсем не видно. В этой очень сложной обстановке в моем положении прежде всего следовало как-нибудь сориентироваться на местности и выбрать хотя бы приблизительно верное направление, но усталость была такой, что сил для этого не нашлось. Совсем не думая, я брел, не сомневаясь в том, что путь мой верный. Станным казалось только то, что живых на моем пути не попался ни один человек, а мертвых было много. Где-то поблизости должна быть передовая обороны. Пройду, думалось мне, ее, скажу командиру — куда и зачем, а дальше буду двигаться со всей возможной осторожностью. А пока оружие можно нести, набросив через плечо за спиной. Подобрал чистенький, но без единого патрона в магазине немецкий автомат. Это была моя мечта. Орудовал им, как палкой, ковыряя в разных местах землю в надежде найти к нему патроны.

Чем дальше, тем чаще останавливался, осматривался, желание поскорее встретиться с живыми усиливалось. Впереди, довольно далеко, увидел фигуры людей. Ну, вот и хорошо. Стало немного веселее; успокоившись, продолжал двигаться по направлению к ним, осматриваться совсем перестал. Люди уже так близко, что слышен треск переламываемых веток. Подумал — все ясно: маскируют линию занятой обороны. И тут слух уловил немецкую речь. Остановился. Поднял голову: в тридцати метрах увидел немецких солдат, которые действительно готовили линию обороны, только повернутую в нашу сторону.

Один солдат из группы старательно работавших в полном изумлении, вытянув шею, смотрел на меня, как, наверное, смотрят на привидение. Толкнул рукой стоявшего рядом и что-то ему сказал. Мне нельзя было выражать удивление — оно бы меня выдало. Мое спасение — сохранять спокойствие, выражать безразличие, равнодушные. Главное — в руках у меня «шмайсер» — точно такой же, как у них, а шинель больше похожа на немецко-итальянскую, чем на нашу. Меня бросило в жар — рефлекс, который срабатывает при смертельной опасности. Организм включил все резервы. Граната? Рано. Надо использовать любую возможность выйти из почти безвыходного положения. Ведь я пока не подстрелен, ноги и руки не связаны.

Дурачить врагов долго не удастся. Вопрос решится в течение считанных секунд. Я не нападаю и не убегаю. Пусть думают, что хотят... Стараюсь сохранить вид человека, увлеченного поиском чего-то. Но медленный темп моего маневрирования не позволит быстро приблизиться к кустам. Наклонившись, я начал делать быстрые короткие перебежки зигзагами — так выглядит человек, старающийся поймать какую-то зверушку, но ему никак не удастся ее схватить — она все время ускользает... Сквозь шум в ушах и голове от усиленного кровообращения слышу голоса, потом окрик — «Хальт!» — и что-то еще, но кусты уже рядом. Сейчас последует выстрел. В прямом смысле слова нырнул в кусты. Запнулся. Упал — и очень хорошо. Автоматные и пистолетные пули пролетели выше — мимо. Ужом прополз несколько метров. Автомат бросил. Снял из-за спины карабин: уверен, что меня постараются поймать или убить.

Старший из немцев отдает какие-то команды. Глядя вперед и по сторонам, открываю затвор: ладонью по рукоятке, снизу и назад. Толчок рукой вперед — оружие готово к выстрелу... Но что это? Ладонь скользнула по открытой магазинной коробке. Не сработала затворная задержка. Затвор вылетел — искать его нет смысла. Такое может случиться только в кустах: коварная ветка... Теперь — только граната. Сейчас на меня набросятся — это конец. Сгибаю усики чеки взрывателя: теперь ее легко вынуть, дернув пальцем кольцо. Разжать ладонь — и все. Вначале зашипит, потом взорвется.

Но погони нет. Не нужно терять время. Дальше, за кустами, поляна метров двести, за нею лес. Бежать через поляну нужно без передышки. Посреди поляны белое пятно снега. Не подозревая ничего плохого, бегу и проваливаюсь в глубокую воронку, наполненную рыхлым снегом, льдом и водой, ноги вязнут в жидком иле дна. Глубина метра полтора. Сам себе нашел могильную яму и угодил в нее. С какой стороны ни появишься враг — в ловушке меня видно как на ладони. Если будут преследовать, взорву гранату. Смотрю туда, откуда может появиться неприятель. Странно и невероятно, но там никого нет. Не суются. Сами, наверное, перетрусил и теперь, вспомнив о боевом охранении, принимают меры.

В метре от меня убитый боец, рядом с ним винтовка и много рассыпанных обойм с патронами. Теперь, если появятся из кустов, хоть немного смогу повоевать. Граната за пазухой. Открываю затвор винтовки: магазин пустой, а из патронника вылетает пустая гильза. Стрелял человек до последнего патрона. Патронные под сумки тоже пусты. Не думая и не подозревая ничего худого, хватаю обойму патронов и вдавливаю в магазинную коробку. Пятый, верхний патрон, как положено, загоняю в патронник, но затвор не закрывается — выстрела не будет. Надо выбираться. Может, и не суждено моим костям тлеть именно в этой яме... Вылез, бегу. За спиной стрельбы нет, но в кустах, куда я ворвался, меня еще раз берут в плен — уже наши. Вот беда. Свой среди врагов, чужой среди своих. Берут, да как! Угрожая штыками, орут: «Бросай оружие!» — и свирепо ругаются. Но мне не только не обидно, а даже приятно: ругаются-то по-русски.

Грозный тон смягчился после первых моих слов.

— Что орете? Немцы рядом. Это они стреляли по мне. Вот винтовку возьмите, она не стреляет.

Один не унимался (наверное, старший), вырвал висевший у меня на поясе нож, спросил: «Еще оружие есть?» — «Граната за пазухой, только выну ее сам, потому что она приготовлена к взрыву». Опешили мои пленители — момент крайне опасный, но уже верили, что перед ними не враг. Старший примирительно сказал: «Доставай...» Я вынул гранату из-за борта шинели, и все убедились, что опасность мною не была преувеличена, а, скорее, наоборот. Чека взрывателя с кольцом от движения выдвигается.

нулась и держалась в отверстии на самом кончике. Сделал, что нужно, протянул гранату старшему, но он только выругался и небрежным жестом дал понять, чтобы мое осталось при мне. Один из бойцов успел осмотреть винтовку и, тоже ругнувшись, пробурчал:

— Какой же дурак стреляет из нашей винтовки *немецкими* патронами?

И дал мне другую винтовку, а эту бросил.

* * *

Молодой деловой лейтенант развернул карту. Хочет уточнить, где я вчера и сегодня видел немцев и где танк. Мне тоже полезно взглянуть на карту, чтобы выбрать правильное направление.

...К танку вышел точно в том месте, с которого мы втроем увидели его вчера. Десантники, сгрудившись, сидели у гусениц правого борта. Обрадованный, во весь рост шагал к ним, не обращая внимания на их взмахи руками вверх-вниз. Понял, когда из-за танка послышались выстрелы в мою сторону. Пули пролетели близко. Пришлось залечь и ползти.

Одетый в полушубок ушел с раненым еще в начале дня. Старшим оставил танкиста, который еще ни разу не выходил из танка. Он ругливый и злой, как мне сказали его товарищи. То, что ругливый и злой значит неумный, что полагаться на такого старшего особенно нельзя, не догадывались.

Каримову пуля насквозь пробила грудь рядом с сердцем, задела легкое. Он часто и глубоко кашляет, плюет кровавой слюной. Чтобы наложить повязку, нужно и без того замерзшего раздеть. К ранам на груди и под лопаткой присохла одежда. Кровотечения нет. Поэтому перевязку делать нет смысла. В одной из брошенных сумок первой помощи нашел для Каримова аспирин. У него температура. Предлагаю ему, пока светло или когда стемнеет, уходить, но упрямец без раздумья решительно мотает головой.

Спрашиваю: почему собрались у танка? Достаточно одной гранаты или меткой очереди — и всем конец. Один из четверых неуверенно отвечает, кивая головой на танк: «А он ничего не говорил...» На реплику не возражаю, но демонстративно занимаю крайнее дальнее место, где все еще валяются никому не нужные вещи Бойченко. Поделился принесенными патронами. Сам решил довериться лежавшему тут же автомату ППД, к которому вчера отнесся с подозрением. Говорили, что у него заедания, дает только одиночные выстрелы или совсем короткие очереди.

Полностью снарядив магазин автомата, попробовал экономно стрельнуть. Вроде бы ничего, работает, а если перестанет, то тут же лежат несколько винтовок. Ну и, конечно, граната за пазухой. Рассказали, что ту трофейную гранату, что подарил сержанту, бросили в немцев, и она взорвалась. Автомат тоже не подводил. В танке слышали, о чем мы говорили, молчание свидетельствовало об их согласии с тем, что делалось нами, но в последний момент, когда все уже разместились, кто как мог, из танка раздался окрик: «Только не стреляйте!» Но ведь может появиться необходимость стрелять... Не подумал об этом командир танка.

Справа и слева кусты, а передо мною, в моем секторе, участок открытого, ровного болота. Успокоился. Все сделано. Начал осматриваться. Метрах в ста на фоне болота — заметный бугорок. То, что он шевелился, могло показаться усталым глазам, но обстановка не позволила раздумывать.

Автомат на удобном упоре. В прицеле темное пятно, оказавшееся каской живого немца. Длинная очередь из автомата... Все повернули головы в мою сторону.

В чем дело и как это я мог? А из щели приоткрывшегося люка танка властный вопрос: «Кто стрелял?» Хриплым от простуды голосом выкрикнул: «Я стрелял» — и в оправдание, как бы сами собой, вырвались слова: «Я убил немца». Из люка высунулась рука с револьвером и прозвучало: «Вот здесь семь богов, так тебя...» Люк закрылся. Не поверил мне танкист, что стрелял я не напрасно. Надо ему и всем доказать это. Если это немец, то приблизился он сюда не один, а в составе группы, которая предприняла вылазку.

И теперь мне, сделавшему удачный выстрел, ползти по открытому месту, где со мною могло случиться то, что случилось с немцем, ползти без приказа, ползти в одиночку, не попросив, чтобы прикрыли на всякий случай или хотя бы знали о моем решении. Правильно оценить свой поступок мешали и усталость, и чувство обиды на того, кто прятал свою шкуру под броней танка. Держа автомат наготове, я осматривался по сторонам, полз очень долго и медленно. Чем ближе, тем больше внимания. Не шевельнется ли голова в каске? Нет. От такого кучного попадания умирают мгновенно. В затылочной части каски следы пуль, край кромки отбит, сталь хрупкая, сухая, видны трещины, а вокруг дыр от пуль — заусеницы. Рядом справа — ручной пулемет с полным магазином, пулемет такой чистенький, как будто его только что вынесли из арсенала. Перевернул труп на спину. Вместо лица — маска из застывшей крови. На ремне пистолет в кобуре и полевой перископ... Дешево и сердито: чтобы видеть, не нужно высовывать из укрытия свой лоб. Под курткой мундир, на каждом мундире много карманов, и в каждом что-то есть. Дня меня все имеет значение как вещественное доказательство того, что стрельба была вызвана необходимостью. Кроме того, кое-что требовалось нам для снабжения.

Все укладывалось в противогазную пустую сумку. Все, кроме часов. Часы до войны были большим дефицитом и стоили дорого. Для большинства не по карману. Во время войны часы вообще для простых людей стали считаться неуместной роскошью. Не все, кто имел часы, показывали их, боясь прослыть мздоимцем, спекулянтом или вором. Взять же часы или другую ценность у трупа считалось мародерством. И обстановка не позволяла надеяться на то, что тебя ждет жизнь и возможность попользоваться предметом, который обладает какой-то стоимостью.

У того танкиста, который никому не нравился, была другая мораль...

На груди у немца знаки «За рукопашный бой» и «За зимнюю кампанию на Востоке 1941—1942 годов». Какое звание? Не понял. Не до того было, успел только заметить что-то белое на его погоне. Наверное, унтер или фельдфебель. Документов при нем никаких. В двух его бумажниках, отца двоих детей, осиротевших в тот день, лежало другое... Не только ни у кого из нас — ни у одного пацифиста не шевельнулось бы чувство сожаления, что где-то в Берлине, на какой-то штрассе, получив извещение, заплачут вместе с матерью двое детей. Пусть поплачут. Забыли слова, сказанные в их адрес: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Не мы к ним пришли, а они к нам. А теперь уж, если мы придем...

Наши меня не видят. Все четверо собрались там, где кашляет Каримов, под задранной кормовой частью танка. Командир танка должен понимать, что это непорядок. Почему же он сейчас не рыкает на них, как он умеет? Голосом, чтобы услышали, говорю: «Так к вам и немец любой подойти мог бы». Они сказали, что обсуждали, куда я ушел — к своим или к немцам. Увидели — удивились.

Услышав разговор, появились танкисты. Пришлось сделать лопуху командиру замечание, что именно вот так, одной очередью, был ранен вчера экипаж этого танка. Кажется, человек уже поумнел, по крайней мере, спеси значительно поубавилось. Не спеша, без удовольствия, двое скоро возвращаются на свое место. Не теряя времени и не глядя на окружающих, молча смотревших на меня, установил, как по-

ложено, принесенный немецкий пулемет и дал в сторону противника пробную короткую очередь. Пусть думают, что у нас здесь все как следует и нам плевать на них. Попробуй сунься, если хочешь остаться лежать, как вон тот...

Сказал, чтобы кто-нибудь лег к пулемету и смотрел в оба. Согласны все. Оказывается, они этот *гадючий* пулемет изучали, и теперь каждому хотелось проявить себя. «Гадючим» его называли потому, что наружная сторона ствола имела винтообразную форму. Имелось в виду и то, что оружие было отнято у *гадов*.

Все терпеливо и молча ждали. Хотели посмотреть — что там в сумке. Вытряхнул содержимое. Блеснул черный пистолет системы «парабеллум». Его я сразу отдал старшему, тот от неожиданности обрадовался и растерялся. Лучше по-хорошему, чем конфликтовать: как-никак — начальство... Подобревшим взглядом смотрит, что еще вывалилось из сумки. Две пачки сигарет, на них изображен негроидного вида атлант, держащий руками что-то над головой. Одну отдал всем, а начатую оставил себе. Немедленно закурили. Табачок, в сравнении с махоркой, слабенький, но запах необыкновенный. Не знаю, как назывался этот сорт сигарет. Младший лейтенант назвал его «Мечта в окопах». Подумал: на ходу исправляется, по-человечески стал разговаривать и, перестав жалеть пистолет, отдал его хозяину два запасных магазина. Три тощих сигары со словами «Трем танкистам...» отдал ему же. Круглая, из желтой пластмассы масленка, в ней немного маргарина. Немцы, видно, тоже не катались как сыр в масле, а обходились часто эрзацем. Отдал Каримову, который по-деловому выгреб пальцами содержимое и, облистав, сунул банку в карман. Молодец! Знает цену всему. Держать табак в такой посудинке — не то что в кисете. Не помнется. Во фляге немного чего-то... Похоже на портвейн. Для всех это ничто, а для раненого может быть полезно.

Перископ пошел по рукам, каждый хотел посмотреть в него. Граммов двести-триста конфет, похожих на шоколадные. Но где там. Соевые — тот же эрзац, но сладость настоящая. Всем поровну.

Теперь надо выяснить личность, которая доставила нам все это. Два бумажника светло-бежевой кожи, с тиснеными видами какой-то готики, вроде — церквей. Один толстый, другой наоборот. В одной половине первого, толщиной в палец, пачка советских тридцаток, во второй — в половину меньше, рейхсмарки и марки оккупационные. Разочарование полное. То, что находилось в тощем бумажнике, было чуть-чуть интереснее. В одной половине две фотокарточки размером 9 на 13. На одной Гитлер. На обратной стороне надпись по-немецки: «Русский должен умереть, чтобы мы жили». Некоторые не захотели даже брать фотографию в руки. Ее разорвали и бросили. На второй — во весь рост сидит фрау, а по бокам стоят мальчик и девочка дошкольного возраста. На обратной стороне красивым готическим почерком, зелеными чернилами краткая надпись — кому и от кого. В другой половине несколько писем, написанных тем же почерком, на конверте обратный адрес: Берлин... штрассе... и так далее. Кто-то взял зажигалку и консервированный хлеб. Остался лежать предмет, в котором все узнали ручку для заводки патефона. Это я впопыхах не разобрался, что это. Трудно было понять: если это ручка от коломенского патефона, то почему она в кармане гитлеровца. Подозрение одно: пока он отсутствует, там, в землянке, никто не сможет пользоваться его патефоном. Берёт. Наверное, собирался послать подарок своим в Берлин. Не вышло.

Боец, который был шустрее других, согласился с оживившимся, вошедшим в роль старшим сползть вдвоем к убитому фрицу. О своем намерении старший мне ничего не сказал, не предупредил даже тех, кто в танке. Человек явно не на месте, занимается не своим делом. Его боевая задача — используя все возможности, охранять танк, а не пускаться в авантюры, подставляя лоб под пули. Но мое дело маленькое,

и я сказал ему: «Будем прикрывать». Он, взбудораженный, только кивнул в знак согласия. Имелось в виду следующее: если немцы из группы того, кто приполз с пулеметом, еще поблизости, то стрельбой можно создать у них впечатление, что они обнаружены, и не дать им поднять голову. Правда, противник, потеряв одного из своих смелых, опытных разведчиков и почувствовав на нашем участке обороны оживление, может вызвать минометный огонь, но что делать? Обстановка такая, что нужно рисковать.

Операция длилась так долго, что, стреляя короткими очередями, неожиданно перестал работать мой автомат. В чем дело? Заедание? Нет, опустел магазин. Тут возвратились двое, усталые, но довольные.

Автомат я бросил. Вооружился винтовкой со штыком. Предчувствие не обмануло. Давно сказано, но правда: пуля, может быть, в наше время не такая уж и дура, но штык — молодец. Пригодился. Получилось, что если бы не штык, то с автоматом утром следующего дня мне бы был капут...

Обращаю внимание старшего на состояние Каримова, который говорит, что не сможет сам найти дорогу и выбраться отсюда. Старший злится, долго думает... потом говорит: «Ночь продержаться бы нужно...»

Мы вдвоем с Каримовым под танком. До конца ночи еще далеко, из танка слышны слова команды: «Уходите втроем». Третий — молоденький боец, с трудом держится на ногах. Что с ним? Контузия или температура, мне не до того... Тьма непроглядная. А тишина гробовая. Попробуй пройди без шума, да еще на ощупь. Надо, но не получается...

Каримов на ходу то и дело теряет сознание, спотыкается и часто падает. Что-то выкрикивает в бреду, неожиданно срывает с моего плеча свой карабин, отступив на шаг от меня, стреляет. Оглушенные звуком выстрела (дульная часть карабина оказалась рядом с моим лицом), мы вдвоем вырвали оружие из рук обезумевшего.

Светало. Отряды санитарной службы спешили подобрать всех раненых. Передал им Каримов, остался один. Что теперь делать? Мне тоже предлагали уйти, даже противостолбнячный укол сделали. Отказался. Решил пробраться туда, где вела бой наша рота.

А там только мертвые. Своих узнаю по шапкам, фасоном совсем непохожих на военные образцы. Каски только у тех немногих, кто смог обзавестись ими уже здесь, на поле боя. Побелевшие лица убитых и умерших от ран стали размером в кулак, знакомых узнать трудно. Их черты заострились и выглядели странно.

Бойцы, занявшие оборону, догадываются, что я один из тех, которых они сменили, и не обращают на меня внимания, а напряженно ожидают первый бой. Искать кого-нибудь из командиров и спрашивать что-то о своих не имеет смысла — и так все ясно. Двое сказали, что в начале прошлой ночи им приказали занять оборону, не доходя метров двести досюда. Считали, что здесь немцы. После того как разведка обнаружила на этом месте не немцев, а несколько человек своих, новая часть выдвинулась сюда, а остатки моей роты ушли. Теперь без всяких сомнений мне можно уходить, и как можно скорее. Ночью немцы обычно не воюют, а день уже начинается.

В ту минуту, когда, докурив щедрую щепотку табака, данную каким-то пожилым мужичком, я хотел подняться, чтобы уходить, начался минометный обстрел. Нужно переждать, когда утихнет, и тогда уносить ноги, если одна из мин не разорвется близко и ее летящие осколки не успокоят меня навсегда.

А вдруг последует атака? Ведь они вот так и начинаются — огневым минометным налетом обороняющиеся прижимаются к земле, наблюдение ослабевает. Попробуй поднять голову... Частично выбывает из строя состав и вооружение, а тем временем под шумок, тихой сапой, на расстоянии нескольких десятков метров приближается противник и, чтобы окончательно ошеломить, бросает гранаты, а затем

с криком и стрельбой бросается в атаку. Так уже случалось. Именно так вышло и в этот раз. Расчет противника был правильный, но с атакой он опоздал. На месте растаявшей в бою нашей роты свежее немецкое подразделение наткнулось на только что подошедшую и успевшую хорошо расположиться и приготовиться к бою другую роту. А может, то был батальон... У них были ручные пулеметы, у каждого бойца гранаты, а у некоторых автоматы.

Наступил момент, когда разрывы мин и гранат прекратились, а нечастые выстрелы в упор стали заглушаться отчаянными, дикими выкриками на двух языках.

Впереди меня высокий, длиной по фронту метров тридцать, грунтовый бруствер. Расположенный за ним наш пулемет молчит. К брустверу бегут немецкие солдаты: из-за этого укрытия им удобно будет стрелять.

Лучшего момента для броска гранаты, которая давно просится в дело, не найти. Бросил, спрятался, потому что осколки гранаты Ф-1 имеют убийную силу в радиусе до двухсот метров. Услышал взрыв своей гранаты, бросился вдоль бруствера налево, и тут состоялась встреча, да какая!

Немец, находившийся на ровном месте и на полметра выше, пользуясь выгодой своего положения и тем, что увидел меня раньше, торопливо занес назад винтовку для удара. Чтобы отразить штыковой удар и самому нанести его, требовалось левой рукой подхватить винтовку, находившуюся в опущенном положении в правой. Времени для этого не было. Свободной левой рукой мне удалось ухватиться за немецкий штык в тот момент, когда он был готов вонзиться мне в грудь, и оттолкнуть его влево. А свой штык бессильным, запоздалым и поэтому бесполезным движением направить в нужную сторону — вперед.

Очень кстати оказалось мое неожиданное падение. Споткнулся или, скорее, поскользнулся: ведь я бежал из выемки по крутому склону. Немец тоже потерял равновесие, упал вверх ногами и вниз головой, а его штык воткнулся мне в голень под колено. Рывком, в который были вложены все силы, я вырвался из-под тяжести его тела и, выхватив нож, ударил им трижды в шею, под каску. Фриц сразу перестал вопить и дергаться.

Почему он орал и дергался, почему не убил меня? Стало ясно, когда мелькнула мысль немедленно взять в руки оружие, как этого требовал момент боя. Оказалось, что конец штыка моей винтовки торчал из нижней части спины врага. Напоролся.

Шум скоротечного боя стихал. Сил еле-еле хватило только на то, чтобы разобратся, что с ногой. Ничего особенного. Тройной слой толстой, плотной парусиновой обмотки и ватные шаровары помогли. Похоже, что штык воткнулся в тот момент, когда его хозяин падал и винтовку в руках держал слабо. Незнакомый боец показал кончик штыка и сказал: «Глубина раны — три сантиметра».

Смотрю на свою окровавленную винтовку и ничего не соображаю: что теперь с ней делать и что делать вообще?

Спасибо, помогли. Со словами «Бросай это дерьмо» чьи-то руки дали карабин: «Уходи отсюда поскорее, пока жив».

Опираясь на оружие, часто прилегая для отдыха и тогда, когда свистели пули или близко рвалась мина, я медленно брел, доходяга с маленькой надеждой на жизнь, туда, к опушке леса, где недалеко проходило Московское шоссе...

ПРОЩАНИЕ С ЕВРОПОЙ

Альберт Эйнштейн

в гостях у командора

Царь Мидас от теоретической физики

Весть, пришедшая из Англии осенью 1919 года, переломила жизнь Альберта Эйнштейна на две части. До этого он был известен среди коллег как выдающийся ученый, профессор и академик Прусской академии наук, признанный лидер среди физиков-теоретиков, автор грандиозных открытий, положивших начало новой физики XX века. Но люди, далекие от науки, вряд ли знали его имя и достигнутые им результаты. После того как директор астрономической обсерватории в Кембридже Артур Эддингтон (Arthur Stanley Eddington; 1882–1944) доложил 6 ноября на заседании Королевского общества результаты наблюдений полного солнечного затмения, состоявшегося 29 мая того же 1919 года, имя Эйнштейна стало известно буквально всему миру. Он стал вселенски знаменит. О нем писали толстые журналы и бульварные газеты, выводы Эддингтона обсуждали на улицах, о теории относительности рассуждали полицейские и водители трамваев, официанты и швейцары, парикмахеры и почтальоны...

Дело в том, что только во время солнечного затмения можно было экспериментально проверить одно из следствий общей теории относительности Эйнштейна — отклонение вблизи Солнца световых лучей, идущих от удаленных звезд.

В августе 1914 года в Крыму можно было наблюдать солнечное затмение. Российский физик Петр Петрович Лазарев (1878–1942) от имени Императорской академии наук пригласил Эйнштейна, уже опубликовавшего свои первые работы по гравитации, приехать в страну и провести нужные астрономические наблюдения. Ответ ученого от 16 мая 1914 года был демонстративно жестким:

Во мне все противится тому, чтобы без большой необходимости путешествовать в страну, где мои соплеменники так жестоко преследуются [Fölsing, 1995, с. 565].

Слово «соплеменники» (Stammesgenossen) здесь не случайно заменило более ожидаемое выражение «единоверцы» (Glaubensbrüder), которое Эйнштейн никогда

Евгений Михайлович Беркович — математик, публицист, историк, издатель и редактор. Окончил физический факультет МГУ им. Ломоносова, кандидат физико-математических наук, доктор естественных наук. Создатель и главный редактор журналов «Семь искусств», «Заметки по еврейской истории» (2000), «Банальность добра. Герои, праведники и другие люди в истории холокоста» (2003), «Одиссея Петера Прингсхайма» (2013), «Антиподы. Альберт Эйнштейн и другие люди в контексте физики и истории» (2014). Публиковался в журналах «Нева», «Иностранная литература», «Вопросы литературы», «Зарубежные записки», «Человек» и многих других изданиях. Живет и работает в Германии (Ганновер).

не использовал: от иудаизма он был всегда далек. Еврейство было для него не религиозной общностью, а общностью судьбы и истории.

Вместо Эйнштейна в Россию поехал молодой астроном Эрвин Фройндлих (Erwin Freundlich, 1885—1964), оказавшийся в плену в разразившейся вскоре Первой мировой войне. Как гражданина враждебной страны его интернировали в специальный лагерь для военнопленных. Если бы Эйнштейн принял приглашение Российской академии наук, такая же судьба грозила и ему.

Следующее полное солнечное затмение должно было состояться 29 мая 1919 года. Его можно было наблюдать в Южном полушарии. О том, что директор астрономической обсерватории в Кембридже Артур Эддингтон готовит две экспедиции для проведения соответствующих наблюдений, Эйнштейн узнал в 1917 году. Из-за войны контакты между учеными воюющих стран были сильно ограничены. В марте 1919 года одна из экспедиций английских астрономов направилась в Бразилию (город Собрал), а другая — на один из островов, расположенных возле африканского материка (остров Принсипи).

Снимки, сделанные во время солнечного затмения, подтвердили эффект, который следовал из теории Эйнштейна: луч света, проходя мимо Солнца, отклоняется под воздействием гравитационного поля светила на величину, предсказанную общей теорией относительности.

Эти результаты Эддингтон докладывал на заседании Королевского общества 6 ноября 1919 года. Эйнштейн узнал об этом триумфе своей теории еще раньше — из телеграммы голландского друга Хендрика Лоренца (Hendrik Lorentz, 1853—1928), отправленной 22 сентября: *«Эддингтон нашел отклонение звезд на солнечном диске предварительно между девятью десятыми секунды и удвоенной величиной».*

Альберт тут же поделился радостью с матерью, отправив ей открытку, которая начиналась словами: *«Дорогая мама, сегодня радостное известие. Х.-А. Лоренц прислал телеграмму, что английская экспедиция действительно доказала отклонение света Солнцем».*

Сообщение Эддингтона произвело настоящую сенсацию, о теории Эйнштейна писали газеты всего мира, новость обсуждали на улицах, в пивных, на вокзалах...

Эйнштейн не очень любил публичность, но быстро понял, что против прессы выступать бесполезно. Любое его высказывание тут же попадало в газеты, любой его поступок становился предметом обсуждения. В письме другу Максу Борну (Max Born, 1882—1970) от 9 сентября 1920 года он сравнивал себя с царем Мидасом: *«Как у персонажа из сказки, все, к чему он прикасался, превращалось в золото, так и у меня все становится криком газет».*

Портреты Эйнштейна печатали крупнейшие журналы и газеты мира. Так, *«Берлинская иллюстрированная газета»* в номере от 14 декабря 1919 года поместила фотografiю ученого на первой странице.

Почетный доктор Оксфорда

Англичанин Фредерик Линдемман (Frederick Alexander Lindemann, 1886—1957), сын немецких эмигрантов, учился физике в Берлинском университете у Вальтера Нернста (Walther Nernst, 1864—1941), часто приезжал в Гёттинген. После защиты диссертации работал некоторое время в Париже. Получил несколько интересных результатов, за что был приглашен в 1911 году на первый Сольвеевский конгресс, где оказался самым юным участником. Фредерик зарекомендовал себя не только талантливым ученым, но и смелым человеком. Во время Первой мировой войны он по

заданию Королевских военно-воздушных сил Великобритании работал над проблемой вывода самолета из штопора. Ему удалось найти математическое решение задачи и предложить практические рекомендации летчикам. Чтобы доказать правильность найденного решения, Линдеман сам поднял самолет в воздух, ввел его в штопор и вывел из этого состояния, пользуясь предложенным им методом. Ему же принадлежала идея защиты воздушного пространства над Лондоном от немецких «цепелинов» с помощью привязных аэростатов.

После войны Линдеман занимал должности профессора экспериментальной физики в Оксфорде и руководителя Кларендонской лаборатории (Clarendon Laboratory). О нем писал Макс Борн в воспоминаниях «Моя жизнь» (речь идет о лете 1933 года):

Я знал его еще с тех времен, когда он работал в лаборатории Нернста в Берлине, однако мы никогда не были особенно близки. Теперь он одержим идеей воспользоваться ситуацией, когда многих хороших ученых изгоняют из Германии, чтобы повысить уровень естественно-научных исследований в Оксфорде, где традиционно доминировали теология, юриспруденция и гуманитарные науки. Поэтому он путешествует на своем огромном «роллс-ройсе» с шофером от одного немецкого университета к другому и предлагает рабочие места уволенным физикам [Born, 1975, с. 349].

В начале 30-х годов Линдеман немало сделал, чтобы Эйнштейн мог читать лекции в Оксфорде. Заполучить такого профессора означало бы поднять престиж не только этого университета, но и всего научного сообщества Великобритании. Возможность пригласить в Оксфорд зарубежного ученого в качестве лектора предоставлял основанный в 1902 году Фонд Сесилия Родса (Cecil John Rhodes, 1853–1902), знаменитого английского политика и бизнесмена, чье имя увековечено в названиях британских колоний в Африке — Северной и Южной Родезии.

Еще в 1927 году Линдеман попытался включить Эйнштейна в список приглашенных в Оксфорд профессоров. Фредерик писал в Берлин:

Принятие этого предложения имело бы большое политическое значение и являлось бы примиряющим международным жестом [Clark, 1974, с. 310].

Линдеман обещал выполнить все пожелания ученого: если тот хотел попробовать «жизнь в замке», то он мог бы жить прямо в колледже; если он приедет с женой, то ему будет предоставлен удобный отель. Немецкого посла в Лондоне графа Альбрехта Берншторфа (Albrecht Theodor Andreas Graf von Bernstorff, 1890–1945) Линдеман просил написать в Берлин влиятельным чиновникам, чтобы те убедили Эйнштейна принять приглашение.

В тот раз из этого приглашения ничего не вышло: Альберт отказался отчасти потому, что условия предусматривали слишком большую педагогическую нагрузку — преподавание в течение целого семестра, отчасти из-за своего плохого самочувствия. В письме Линдеману от 8 августа 1927 года Эйнштейн просит его извинить за отказ и не считать, что его симпатии к Англии уменьшились.

Линдеман оказался не тем человеком, который легко мирится с неудачей. Весной 1930 года он снова начинает готовить почву для привлечения Эйнштейна в Оксфорд. И Фонд Родса пошел навстречу: секретарь фонда Филип Керр, более известный как лорд Лотиан (Philip Henry Kerr, Lord Lothian, 1882–1940), согласился, чтобы Эйнштейн прочитал в Оксфорде одну-единственную лекцию, если большее количество для ученого затруднительно.

Линдеман едет в Берлин и встречается с Альбертом и, что немаловажно для успеха всей операции, с женой Эльзой Эйнштейн. Из немецкой столицы Линдеман пишет лорду Лотиану в октябре 1930 года:

С радостью сообщаю, что его здоровье, как кажется, восстановилось и он пребывает в очень хорошей форме. Он сказал мне, что мог бы теперь довольно хорошо понимать английский и, хотя он этого не говорил, у него не было никаких трудностей во время дискуссий в Америке, так как он говорит очень медленно, и почти каждый понимает немецкий или французский [Clark, 1974, с. 310—311].

Жену Эйнштейна Фредерик заверяет, что создаст для ее мужа все необходимые условия для отдыха и работы, он лично проследит, чтобы Альберт питался регулярно и столько раз, сколько захочет, а от назойливых приглашений, которые могут утомить ученого, Линдеман его защитит.

Не без влияния Эльзы приглашение Фонда Родса было принято, и весной 1931 года Эйнштейн оказался почетным гостем Оксфорда. Линдеман сдержал обещания: ученому были созданы идеальные условия, к нему приставлен слуга, избавлявший Альберта от всех житейских забот. Линдеман сопровождал гостя повсюду, показывал город, знакомил со своими друзьями.

В тот приезд Эйнштейн прочитал три лекции: о теории относительности, о космологической теории и о теории поля. Желающих послушать великого физика было хоть отбавляй, но к концу первой лекции в зале осталось немного слушателей: немецкий язык лектора оказался непреодолимым препятствием для понимания. Эйнштейн обещал, что в следующий приезд он будет читать лекции на английском.

Прием в Англии оказался очень теплым, Эйнштейну нравилась атмосфера Оксфорда, где даже нашлось место музыкальным вечерам с его участием. Эффектным завершением поездки стало присвоение ему 23 мая звания почетного доктора местного университета. В начале июня Альберт возвратился домой в Берлин. Сразу по приезде, 9 июня 1931 года, он написал письмо Линдеману, где не только благодарил за организацию поездки, но и предсказывал существенное ухудшение политической обстановки в Германии, где нацисты все уверенней рвались к власти.

Линдеман решил не останавливаться на достигнутом успехе и добиться для Эйнштейна позиции доцента в оксфордском Крайст-Чёрч колледже (Christ Church College). Эта должность финансировалась бы Фондом Родса. Получить финансирование оказалось не так просто, часть сотрудников колледжа возражали, ссылаясь на неаристократические манеры немецкого физика, которые испортили бы атмосферу английского клуба. Эту группу поддержал казначей колледжа, который настаивал на том, что деньги Фонда Родса не должны поддерживать «немецкого еврея».

Тем не менее настойчивость Линдемана победила, и в июне 1931 года Эйнштейн получил новое предложение из Оксфорда, которое с радостью принял. Он обязался раз в год в удобное для себя время приезжать на месяц в Англию в течение действующего семестра и прочитать несколько лекций. В штатном расписании его должность называлась «Research Student», но, как объяснил ему Линдеман, слово «студент» здесь означает совсем не учащегося, как обычно понимают, а исследователя, преподавателя. Небольшая педагогическая нагрузка не отменяла других соглашений ученого: ни с Прусской академией наук, где он оставался профессором, ни с Калифорнийским технологическим институтом, в котором он ежегодно проводил несколько месяцев.

«Эти люди намерены действовать решительно»

Оказавшись в 1933 году на бельгийском курорте без определенного местожительства и постоянной работы, Эйнштейн решил, что наступило время исполнить свои обязательства перед Крайст-Чёрч колледжем. С Линдеманом он договорился, что приедет в Оксфорд во второй половине мая после чтения запланированных ранее лекций в Брюсселе. Однако в бельгийской столице он получил телеграмму из Цюриха, что здоровье младшего сына значительно ухудшилось. Эдуард, как и многие родственники его матери Милевы Марич, болел шизофренией. Альберт отложил все дела и помчался проститься с сыном. После этой встречи им не довелось больше увидеться.

Так как учебный семестр в Оксфорде заканчивался в середине июня, Эйнштейну нужно было торопиться в Англию. В самом конце мая ученый добрался наконец до цели. Несмотря на то, что поначалу раздавались голоса против его приглашения читать лекции в Оксфорде, приезд создателя теории относительности стал настоящим праздником для города. Организаторы подготовили для физика грандиозную программу.

1 июня Эйнштейн присутствовал в качестве почетного гостя на докладе Эрнеста Резерфорда, посвященном памяти знаменитого английского физика Роберта Бойля (Robert Boyle; 1627—1691). Собравшаяся публика чествовала создателя теории относительности не только как величайшего физика со времен Ньютона, но и как символ моральной твердости и мужества в противостоянии с диктатурой. Его манера держаться, его речь и внешний вид творца производили сильнейшее впечатление на слушателей.

Эйнштейн воспользовался случаем обсудить с Резерфордом и Линдеманом возможность оказать помощь молодым ученым, которых преследуют нацисты. Как писал Альберт Максу Борну 30 мая 1933 года, сразу по прибытии в Оксфорд, *«у меня сердце кровью обливается, когда я думаю о молодежи»*. В том же письме Эйнштейн писал, что он *«почти убежден, что о всех, кто имеет хоть какое-то имя в науке, позаботятся. Но другие, юные, не имеют никакой возможности для развития»*.

Первоначальной идеей ученого было создать вместе с парой друзей где-то за границей Германии, например в Англии, «гостевой» университет, где могли бы преподавать особенно нуждавшиеся в помощи еврейские доценты и профессора и учиться еврейские студенты, которым нацистские преследования не давали возможности посещать немецкие университеты. Как писал Альберт другу Соловину 23 апреля 1933 года, это был бы *«определенный тип духовного убежища»*.

В первые недели своего пребывания в Бельгии Эйнштейн горел идеей создания университета для беженцев. Судя по всему, ученый не представлял себе всех трудностей этого проекта, ведь нужно было получить для беженцев разрешения на пребывание и учебу в чужой стране, следовало раздобыть деньги на оплату проживания, зарплату преподавателям, аренду помещений...

Но завораживала благородная цель: помочь нуждающимся без унижения или, как выразился Эйнштейн в письме Эренфесту от 2 мая 1933 года, *«помочь достойным образом»*. И еще эта акция стала бы *«позорным пятном для немцев»*.

Уже в конце мая пришло понимание невыполнимости первоначальных замыслов. В упомянутом письме Максу Борну от 30 мая ученый признается:

Первоначально я собирался создать университет для беженцев. Однако вскоре обнаружилось, что трудности реализации непреодолимы и что такая деятельность могла бы осложнить помощь людям в некоторых странах [Einstein-Born, 1969, с. 160].

Надо признать, что организаторские способности великого физика сильно уступали его научному таланту. Для сравнения можно отметить успех предприятия Эрнеста Резерфорда, экономиста барона Уильяма Бевериджа (William Henry Beveridge, 1879–1963) и физиолога, нобелевского лауреата Арчибальда Хилла (Archibald Vivian Hill, 1886–1977), создавших в те же дни «Комитет помощи ученым» (Academic Assistance Council). Да и попытки Фредерика Линдемана пригласить изгнанных из Германии ученых в Оксфорд были хоть и меньшего масштаба, но достаточно эффективными.

После торжественного приема, устроенного Эйнштейну на вечере памяти Роберта Бойля, ученому предстояло выступить с тремя лекциями, ради чего он и приехал в тот раз в Англию. Первая лекция состоялась 10 июня в историческом оксфордском здании — Доме Родса. Альберт первый раз читал лекцию на английском языке. Тема лекции была весьма широкой — о методике теоретической физики. Эта лекция чрезвычайно важна для понимания принципов творческой работы ученого, которые он выработал в последние десять лет.

Эйнштейн подчеркивал важность математических моделей природных явлений, которые только и могут помочь построить адекватную физическую теорию. Он отстаивал ту точку зрения, которую не мог ему простить Филипп Ленард: наглядность больше не является необходимым условием правильности физической теории. Именно математический аппарат позволяет раскрыть тайны Вселенной и атома. Ученый верил, что *«природе соответствуют простейшие из математически мыслимых моделей»*, откуда вытекала надежда *«чистому мыслителю познать действительность»*. Несмотря на всю неочевидность такого подхода, Эйнштейн оставался ему верен всю оставшуюся жизнь.

Через два дня вторую лекцию в оксфордском колледже «Леди Маргарет-холл» он прочитал по-немецки, рассказывая слушателям историю познания атома. В заключение доклада он выразил уверенность в бесконечности этого процесса: *«Чем глубже мы ищем, тем больше находим того, что нам еще необходимо узнать, и я убежден: пока существует человек, дело будет всегда обстоять именно так»* [Брайен, 2000, с. 402].

Третью, заключительную, лекцию этого цикла Эйнштейн прочитал уже не в Оксфорде, а в Глазго 20 июня. По просьбе хозяев он рассказал об открытии и триумфальном подтверждении общей теории относительности.

Эта короткая трехнедельная поездка в Великобританию так понравилась Эйнштейну, что сразу после возвращения в Ле-Кок-сур-Мер он стал готовиться к новому путешествию к Туманному Альбиону. На этот раз он решил воспользоваться приглашением весьма необычного человека — командора Локер-Лэмпсон (Oliver Locker-Lampson, 1880–1954).

Оливер Локер-Лэмпсон, потомок знатного британского рода, в возрасте тридцати лет был избран членом палаты общин британского парламента. Во время Первой мировой войны Оливер командовал дивизионом броневых автомобилей в составе авиации Королевских военно-морских сил Великобритании. Воинское звание командор, которое имел Локер-Лэмпсон, соответствовало российскому капитану второго ранга. В 1915 году дивизион был направлен в Россию, где воевал в составе частей русской армии на Кавказе, в Румынии и в Галиции. После Октябрьской революции англичане вернулись на родину.

На первый взгляд между физиком Эйнштейном и командором Локер-Лэмпсоном не было ничего общего. Правда, оба слыли «из ряда вон выходящими особами», но один был кабинетным ученым, другой — авантюристом и искателем при-

ключений. Говорили, что Оливер был дружен с некоторыми членами царской семьи в России и участвовал в убийстве Григория Распутина. Но одно чувство объединяло ученого и британского парламентария, адвоката и журналиста — это постоянное желание помогать слабым, гонимым, преследуемым. Локер-Лэмпсон в равной степени ненавидел нацистский режим и сталинскую диктатуру. Дружба с Эйнштейном добавляла Оливеру популярности, известности, к чему он всегда стремился, а ссылка на авторитет великого физика делала его выступления в парламенте и в печати более основательными. Вот почему еще до прибытия Эйнштейна в Ле-Кок-сур-Мер Локер-Лэмпсон отправил ему письмо с приглашением пожить в его английском доме. Выступая как член британского парламента, Оливер писал 25 марта 1933 года:

Этим письмом, дорогой господин профессор, я хочу заверить Вас, что огромное число моих избирателей искренно сочувствуют Вам и Вашим единомышленникам. То, что именно Эйнштейн оказался без дома, меня глубоко волнует и, возможно, оправдывает то, что я, простой член парламента, обращаюсь к Вам, величайшему ученому нашего столетия. Я надеюсь, дорогой господин профессор, что Вы в моем скромном предложении не увидите ничего, кроме небольшой дани моего безграничного уважения и желания, чтобы мне было позволено послужить Вам таким образом. Вы бы доставили мне, дорогой господин профессор, огромную радость — я осмеливаюсь только это предложить — вместе с Вашей женой занять мой небольшой дом в Лондоне, примерно на год, в любой момент, когда это Вам подойдет. <...> Мне не нужно добавлять, что в этом доме вы мои гости, то есть вам это не будет ничего стоить, все расходы за мой счет» [Clark, 1974, с. 334–335].

В тот раз Эйнштейн вежливо отказался и отправился в Ле-Кок-сур-Мер. После июньской поездки в Оксфорд и Глазго ученый решил принять приглашение командора, и во второй половине июля 1933 года он снова оказался в Лондоне.

Оливер Локер-Лэмпсон сделал все, чтобы поездка Эйнштейна оказалась результативной. Пользуясь своими связями с высшим британским светом, он организовал встречи ученого с ведущими английскими политиками. Безусловно, важнейшей из них была беседа с Уинстоном Черчиллем, который в то время не входил в состав правительства и был в оппозиции. Эйнштейну было легко найти с ним общий язык: оба не верили в возможность умиротворить Гитлера, оба понимали, что Гитлер — это война. Через пять лет, в сентябре 1938 года, еще до подписания Невиллом Чемберленом (Arthur Neville Chamberlain, 1869–1940) Мюнхенских соглашений, Черчилль напишет министру английского правительства Уолтеру Гиннессу, ставшему в 1929 году бароном Мойном (Walter Edward Guinness, Baron Moyne, 1880–1944), фразу, вошедшую в историю:

По-видимому, в самом скором будущем нам предстоит незавидный выбор между войной и позором. И мне кажется, что мы выберем позор, но немного погодя не уйдем и от войны в условиях даже хуже теперешних» [Langworth, 2011, с. 257].

Эйнштейн с первого взгляда увидел в будущем премьер-министре Великобритании решительность и принципиальность. После встречи в поместье Черчилля Чартвелл физик писал жене:

Он поистине мудр. Мне стало ясно, что эти люди готовы и намерены действовать решительно и быстро [Айзексон, 2016, с. 522].

В саду имени Чартвелл была сделана знаменитая фотография Эйнштейна и Черчилля, двух мыслителей, умевших предвидеть будущее.

Об опасности вооружения Германии Эйнштейн говорил и на встрече с Остином Чемберленом (Joseph Austen Chamberlain, 1863—1937), лауреатом Нобелевской премии мира за 1925 год, старшим братом будущего премьер-министра Невилла. В 1927 году, будучи министром иностранных дел Великобритании, Остин Чемберлен направил Советскому правительству ноту, вызвавшую знаменитый «наш ответ Чемберлену», ставший наряду с «ответом Керзону» элементом русского фольклора.

Вечером того же дня Оливер Локер-Лэмпсон привел Эйнштейна на встречу с бывшим премьер-министром Дэвидом Ллойд-Джорджем (David Lloyd George, 1863—1945), близким другом Уинстона Черчилля. При входе в загородный дом Дэвида, расположенный в городке со смешным для русского уха названием Чёрт (Churt), Эйнштейну предложили записаться в Книгу почетных гостей. Он задумался на какое-то время, что вставить в графу «Адрес», а потом написал по-немецки «ohne», что значит «отсутствует».

Выступая на следующий день, 26 июля 1933 года, в парламенте, Оливер Локер-Лэмпсон умело обыграл эту ситуацию. Он предложил принять закон, облегчающий получение британского гражданства евреям, подвергающимся преследованиям со стороны нацистов. Эйнштейн слушал речь Оливера, присутствуя в палате общин в качестве почетного гостя. И он, и все члены парламента с напряженным вниманием вслушивались в страстные слова командора. Сначала Локер-Лэмпсон подчеркнул, что в его жилах нет ни капли еврейской крови. Затем сообщил, что если бы немцы победили в Первой мировой войне, они поступали бы с англичанами так, как сейчас обращаются с евреями. Далее он перешел к Эйнштейну, человеку без родины, вынужденному в графе «Адрес» писать «отсутствует»:

Гунны украли его сбережения. Бандиты и гангстеры Европы разграбили его дом. Они у него отобрали скрипку [Clark, 1974, с. 354].

В конце доклада Оливер подчеркнул главную мысль. Германия разрушает свою культуру и угрожает жизни величайшему из своих мыслителей. Страна, которая предложит гонимому Эйнштейну убежище и кров, может гордиться своим поступком.

В целом депутаты одобрили предложение командора, но дальше этого дело не пошло. Сказались и безразличие депутатов к судьбам еврейских жертв, и особенность британской парламентской системы. Это было последнее заседание палаты общин перед каникулами, рассмотреть закон во втором чтении депутаты не успевали, а это означало, что этот пункт выпадал из повестки дня.

К началу августа Эйнштейн вернулся в свою временную обитель в Ле-Кок-сур-Мер, пообещав гостеприимному командору еще приехать в гости перед окончательным отплытием из Европы.

«Смотритель маяка»

Ждать обещанного пришлось недолго: в субботу 9 сентября 1933 года Эйнштейн снова выехал из Ле-Кок-сур-Мер в Англию. Отъезд был поспешным, с собой он не взял почти никакого багажа. На поездке настояла Эльза, которую потрясло известие о гибели Теодора Лессинга от рук нацистских убийц. Эйнштейн не разделял страхов жены, но не противился ее настойчивости: поездка в Англию была запланирована еще в июле, прощаясь с Оксфордом, он обещал в сентябре вернуться. К публичным угрозам в свой адрес мудрый ученый относился спокойно, успокаивая близких таким простым аргументом:

Если бандит хочет совершить преступление, он держит это в тайне [Clark, 1974, с. 356].

Шеф бельгийской полиции сказал в интервью Еврейскому телеграфному агентству 8 сентября 1933 года:

Профессор не дает вывести себя из равновесия. Когда ему говорили, что за его голову назначена награда, это удивляло его лишь самую малость. Он знает, что его защищает полиция, но он дал мне понять, что не хочет обсуждать принятые меры. Он сказал мне, что ничего не боится. Сегодня утром я спросил его, какие дальнейшие мероприятия для его защиты он считает необходимыми. Он сказал, что ничего не нужно [Clark, 1974, с. 356].

Такое отношение к собственной безопасности весьма характерно для Эйнштейна. Ученого больше волновало, чтобы действия полиции не мешали его работе. Отношение Эльзы к внешним угрозам было совсем иным. Она кожей чувствовала опасность и делала все возможное, чтобы уберечь мужа. В ту же пятницу, 8 сентября, когда шеф бельгийской полиции информировал Еврейское телеграфное агентство о том, как он защищает великого ученого, Эльза попросила одного английского журналиста позвонить Оливеру Локер-Лэмпсону и спросить, мог ли он снова принять у себя Альберта в качестве гостя.

Азартный командор только об этом и мечтал, и уже на следующий день Эйнштейн вместе с переводчиком Джеймсом Мерфи (James Murphy, 1880—1946) прибыли в Остенде, откуда корабль доставил их в Лондон.

Первую ночь они провели в небольшой гостинице, а наутро в сопровождении двух секретарш командора отправились в городок Кроумер (Stomer) на восточном побережье Британии. Здесь у Локер-Лэмпсона была небольшая гостиница, в которой для путешественников были зарезервированы номера. Однако в последний момент Оливер решил, что будет безопаснее разместить гостей в еще более уединенном месте — в его же поместье Рутон Хит (Roughton Heath), расположенном в трех милях от Кроумера. Слово «поместье» тут, пожалуй, не очень уместно: на небольшом клочке земли у берега моря стояла деревянная хижина, где можно было очень скромно провести летний отпуск.

Делая заявления для прессы о пребывании Эйнштейна в Рутон Хит, сэр Локер-Лэмпсон всячески подчеркивал опасности, грозившие жизни ученого, и те действия, которые он, командор, лично предпринял для обеспечения безопасности своего гостя. Помощники парламентария, охранявшие ученого, вооружены и получили приказ стрелять в возможного преступника при первой необходимости. Кроме того, при приближении незнакомого человека будет подожжена специально подготовленная куча сухого мусора, чтобы вызвать подкрепление.

Вместе с тем делалось все, чтобы жизнь ученого в хижине на берегу моря превратить в сенсацию, чтобы привлечь к ней внимание как можно большего числа людей. Фотографу из Кроумера позволили сделать выразительное фото Эйнштейна в старом свитере и сандалиях на босу ногу в окружении двух элегантных девиц, позирующих перед аппаратом с ружьями в руках.

Этот снимок обошел газеты всего мира. Журналистам, которые устремились в Рутон Хит, Эйнштейн охотно рассказывал о своих планах. Так уже 11 сентября он поведал репортеру «Дейли экспресс» («Daily Express»), что он хотел бы остаться в Европе:

Как только мои бумаги будут обработаны, я стану натурализованным англичанином. Командор Локер-Лэмпсон уже предложил вашему парламенту сразу дать мне гражданство, а не заставлять ждать положенные пять лет. Парламент

даст нам ответ, когда снова соберется после каникул. Я вам не могу сказать, сделаю ли я Англию своей второй родиной. Я не знаю, в какой стране лежит мое будущее. Один месяц я пробуду здесь, а потом пересечу Атлантику, чтобы выполнить мои обязанности по чтению ряда лекций. Профессор Милликен, великий американский исследователь, пригласил меня обосноваться в Университете Пасадены в Калифорнии. Но хотя я пытаюсь в мыслях быть универсальным, по инстинкту и склонностям я европеец. Меня всегда будет тянуть назад» [Clark, 1974, с. 357].

Почти месяц провел Эйнштейн в тихой пустоши Рутон Хит, работая над физическими проблемами вместе с доктором Майером, приехавшим к нему из Бельгии. Несмотря на все попытки Локер-Лэмпсона окружить деревянную хижину вблизи Кроумера завесой секретности, к великому физическому проникали многие посетители.

Одним из них был Сэмюэль Хоар (иногда пишут Хор, Samuel Hoare, 1880—1959), известный политический деятель, недавний министр иностранных дел Великобритании. С ним Эйнштейн обсуждал политическую ситуацию в Европе после того, как к власти в Германии пришли нацисты. Приехал в Рутон Хит к своему тестю и журналист Дмитрий Марьянов, муж Марго Эйнштейн, приемной дочери ученого. По заказу одной французской газеты Марьянов написал популярную статью о теории относительности и хотел согласовать текст с Альбертом, чтобы избежать семейных конфликтов.

Узнав, что недалеко от Лондона обитает великий ученый, в Рутон Хит приехал и знаменитый скульптор Джейкоб Эпштейн. Увидев впервые Эйнштейна в стареньком свитере с развевающимися на ветру волосами, художник был потрясен. В автобиографии Эпштейн вспоминает:

В его облике чувствовалась смесь человечности, юмора и глубины. Это была комбинация, которая меня восхитила. Он напоминал стареющего Рембрандта» [Epstein, 1940, с. 77—78].

Эпштейн уговорил ученого позировать ему для бюста. В течение трех сеансов бюст был готов, несмотря на то, что темная деревянная хижина на берегу моря была не лучшим местом для мастерской скульптора.

Якоб вспоминал, что однажды попросил «охранниц» ученого снять входную дверь, чтобы добавить света в комнате. Те выполнили просьбу, но заинтересовались, не захочет ли скульптор в следующий раз снять крышу. Про себя Эпштейн подумал, что это пошло бы на пользу работе, но не стал развивать эту тему, видя, что вмешательство в личную жизнь профессора очень нервирует его «ангелов-хранительниц».

Работа Эпштейна была выставлена в Художественной галерее Бирмингемского музея, и через несколько дней кто-то сбросил на пол бюст величайшего физика XX века, выполненный одним из самых знаменитых скульпторов современности. К счастью, повреждений было немного, и скульптуру удалось быстро отремонтировать.

Неверно было бы видеть в этом акте вандализма только проявление чьего-то антисемитизма — ведь и ученый, и скульптор были евреями. Причина, на мой взгляд, лежит в том, что отношение к автору теории относительности со стороны различных групп людей в критическом 1933 году сильно изменилось. Раньше автор теории относительности представлялся ученым-мудрецом, чей разум витает в холодном пространстве Вселенной и чья заумная теория нашла удивительное подтверждение во время солнечного затмения. Этот человек «не от мира сего» был тем не менее общителен, непосредствен, остроумен. Он мог не нравиться лишь упертым националистам да несгибаемым сторонникам классической физики, основы научного мировоззрения которых Эйнштейн непоправимо разрушил.

После назначения Гитлера рейхсканцлером образ Эйнштейна в глазах многих людей стал другим. Бывший кабинетный ученый решительно включился в политическую борьбу, без оглядки на последствия критиковал национал-социалистов и всех немцев, допустивших такую власть в Германии. Всеми доступными средствами он старался помочь людям, преследуемым нацистами, прежде всего евреям. Понятно, что ненависть гитлеровцев к автору «еврейской теории относительности» еще более возросла, и от них можно было ждать любой мести. Но не только убежденные нацисты видели в Эйнштейне злейшего врага.

Бывшие друзья-пацифисты не могли простить великому ученому переход в число сторонников вооруженной борьбы с нацистской Германией. Слишком долго в нем видели лидера антивоенного движения, отрицающего любое вооруженное сопротивление. Теперь же он призывал взяться за оружие перед лицом неминуемой нацистской агрессии. Однако многие европейцы, прежде всего граждане Германии, включая немецких евреев, хотя и опасались действий Гитлера во главе правительства, считали открытую борьбу с ним бесперспективной и даже вредной. Они надеялись, что со временем всё образуется, безжалостные преследования евреев и инакомыслящих прекратятся, а сильная Германия нужна для отражения большевистской опасности, грозящей с Востока. Критика же диктатора только провоцирует новое «закручивание гаек» и ужесточение режима. В Великобритании, Франции, США и других странах увеличивалось число сторонников движения «Руки прочь от Гитлера». Именно они первыми встречали в штыки антифашистские выступления Эйнштейна и обвиняли его самого в эгоизме и недальновидности.

В переломном 1933 году Эйнштейн стал символом раскола общества перед лицом нацистской угрозы. Аналогичный раскол царил в Европе три года спустя, когда в Испании началась гражданская война.

Сам же великий ученый вовсе не рвался в политику, будь его воля, он бы навсегда остался мудрецом-отшельником в тихой пустоши Рутон Хит. Об этом он говорил, выступая в Королевском Альберт-холле в начале октября 1933 года:

Я жил в сельском одиночестве и обнаружил, что монотонность тихой жизни дарит вдохновение для творчества. В нашем современном обществе есть определенные профессии, которые предполагают такую изолированную жизнь, не накладывая особых требований на физические или умственные способности. Я говорю о профессиях типа смотритель маяка или световых бакенов. Разве невозможно было бы занять такой работой молодых людей, которые хотят размышлять над научными проблемами, особенно математической или физической природы? На этом пути можно было бы предоставить возможности духовного развития большому числу творческих индивидуальностей. Во времена экономической депрессии и политических беспорядков подобные рассуждения заслуживают внимания» [Clark, 1974, с. 362].

Но жизнь не давала возможности отсидеться на удаленном маяке. Врожденное чувство справедливости и чести заставляло бороться.

Большинство немецких евреев не понимали и не одобряли бескомпромиссное неприятие Эйнштейна гитлеровского режима. Они считали, что критика еще больше настраивает правительство против них, провоцирует новые ужесточения законодательства, ухудшает и без того тяжелое положение неарийцев в Германии. В апреле 1933 года Эльза Эйнштейн писала из голландского Схевенингена (Scheveningen) подруге:

Трагичность судьбы моего мужа состоит в том, что все немецкие евреи делают его ответственным за ужас, который с ними происходит... Так, от евреев мы

получаем больше писем, наполненных ненавистью, чем от нацистов! При этом он в действительности во многом жертвует собой ради евреев! Он неустрашим и никогда никому не отказывает... Они же запуганны и забыты и думают отсидеться за параграфами их прекрасных страховок. И они не желают иметь никаких дел с Эйнштейном [Goepner, 2005, с. 342].

Комитет помощи ученым

В начале октября 1933 года Эйнштейн покинул уединенную хижину в дюнах на берегу моря, где ему так хорошо работалось, и вернулся в Лондон. Он обещал Локер-Лэмпсону выступить на собрании в Королевском Альберт-холле. Цель собрания была благородной — помочь ученым из Германии, потерявшим работу из-за гитлеровских преследований. Организовал собрание специально созданный в апреле 1933 года «Комитет помощи ученым» (ААС — Academic Assistance Council) — одна из первых подобных организаций, возникших в ответ на гитлеровские дискриминационные законы. Инициатором создания комитета был Уильям Беверидж (William Beveridge, 1879—1963), директор Лондонской школы экономики и политических наук.

Эта идея пришла к нему в венском кафе, когда он просматривал в газете длинный список немецких профессоров, лишившихся кафедр из-за пресловутого закона от 7 апреля 1933 года «О восстановлении профессионального чиновничества». О желании помочь ученым, попавшим в беду, Беверидж рассказал Лео Сцилларду, который тоже считал эту задачу важнейшей на данном этапе. Сциллард вспоминал:

Мы решили, что как только Беверидж вернется в Англию, он попытается создать комитет, который бы ставил своей задачей поиск рабочих мест для тех, кого уволили из немецких университетов [Clark, 1974, с. 360].

Так был создан ААС, а уже в мае стало известно, что возглавить комитет согласился Эрнст Резерфорд. Когда конфликт между Эйнштейном и Прусской академией наук вылился на страницы газет, Резерфорд написал своему хорошему знакомому, венгерскому химику Георгу фон Хевеши (Georg von Hevesy, известному также как Дьёрдь де Хевеши, по-венгерски György Hevesy, 1885—1966):

Я так понимаю, что Эйнштейн свой пост в Берлине покинет, но думаю, что при его необычайно высоких заработках в США он останется с финансовой точки зрения хорошо обеспеченным [Clark, 1974, с. 360].

К слову, упомянутый химик фон Хевеши известен еще и тем, что помог сохранить золотые нобелевские медали физиков Макса фон Лауэ и Джеймса Франка. В 1935 году, когда взбешенный присуждением Нобелевской премии мира Карлу фон Осецкому Гитлер запретил немцам получать и иметь при себе Нобелевские медали, фон Лауэ и Франк отдали свои научные награды на хранение Нильсу. В 1940 году немцы оккупировали Данию, и тогда сотрудничавший с Бором фон Хевеши растворил медали в царской водке, чтобы избежать конфискации их захватчиками. После войны фон Хевеши снова выпарил золото из раствора и передал его Нобелевскому комитету, который отчеканил медали во второй раз и вернул их лауреатам.

Вернемся, однако, в 1933 год. В отличие от ситуации с Эйнштейном, когда Резерфорд не беспокоился о финансовом положении всемирно известного физика, судьба других преследуемых ученых была совсем иной. Речь шла о сотнях исследовате-

лей не такого, как у Эйнштейна, ранга, оставшихся без работы, и Эрнест энергично взялся за организацию помощи нуждающимся коллегам.

К этой работе со всей страстью присоединился Петр Леонидович Капица, работавший тогда в Кембридже под руководством Резерфорда.

Жена Петра Леонидовича Анна Алексеевна, урожденная Крылова, вспоминала 23 ноября 1992 года во время интервью с Геннадием Гореликом:

Со Сциллардом они очень много работали. Когда началось гонение в Германии на ученых-евреев, Сциллард приехал в Кембридж, и они объединились с Петром Леонидовичем, и когда нужно было помочь кому-нибудь из таких вот ученых и вызвать их из Германии, то они обращались обычно к Резерфорду. Резерфорд писал письмо и приглашал его читать лекции. Со Сциллардом на этом деле они и познакомились, потому что они оба были очень заинтересованы, они все очень много знали, у них было много друзей в Германии, и Петр Леонидович очень хорошо себе представлял, что это все значит, и самых разнообразных людей они оттуда извлекали. Сциллард был, конечно, основным, кто этим занимался, а Петр Леонидович ему помогал; когда нужна была подпись Резерфорда, он шел к Резерфорду. Это была такая деятельность, которая особенно не афишировалась, потому что особенно афишировать ее и нельзя было, потому что нужно было их извлекать спокойно, как бы приглашая лекции читать, на конференции, на семинары. Это всегда придумывалось что-нибудь... А Сциллард был очень энергичный человек, необыкновенный в смысле изобретательности. Это поразительный человек был, необыкновенный заводила. Очень интересный человек [Горелик, 2004].

Идея привлечь внимание неакадемической общественности к бедственному положению уволенных в Германии исследователей и преподавателей принадлежала секретарю «Комитета помощи ученым» историку Вальтеру Адамсу (Walter Adams, 1906—1975). Он вместе с Оливером Локер-Лэмпсоном поехал к Эйнштейну в Рутон Хит под Кроумером, чтобы добиться выступления великого ученого от имени ААС.

Уговаривать долго не пришлось, Эйнштейн сразу согласился помочь нуждающимся коллегам. Похоже, однако, он не до конца понял масштаб готовящегося мероприятия. Он считал, что его выступление состоится на встрече небольшого числа заинтересованных лиц, готовых материально помочь изгнанным ученым. Но Локер-Лэмпсон мыслил масштабнее. Вальтер Адамс вспоминал, что как только Эйнштейн дал согласие, Оливер удалился в другую комнату и по телефону заказал на вечер 3 октября Альберт-холл. Все детали собрания разрабатывал неутомимый командор. Мероприятие финансировал Фонд помощи беженцам.

Вечером 3 октября огромный Альберт-холл был переполнен. Довольно дорогие билеты были проданы на все десять тысяч мест, сотни людей сидели и стояли в проходах. На сцене в кресле председательствующего сидел Эрнест Резерфорд, в президиуме рядом с Эйнштейном размещались Уильям Беверидж, Остин Чемберлен, знаменитый физик и астроном Джеймс Джинс (James Jeans, 1877—1946).

Не только эти известные имена привлекли посетителей. Немалую роль сыграл умело распространяемый Локер-Лэмпсоном слух о готовящемся покушении на Эйнштейна. Многие любители острых ощущений пришли на собрание в поиске сенсаций.

На обороте входного билета нужно было расписаться под заявлением, что посетитель не будет участвовать в каких-либо беспорядках, которые могут помешать проведению мероприятия. В зале было большое число полицейских, готовых подавить протесты со стороны Британского союза фашистов. В зал было приглашено более тысячи студентов, в основном из Лондонского университета, чтобы сорвать возможные

провокации сторонников нацистов. К счастью, вмешательства не потребовалось, мероприятие прошло мирно, без эксцессов.

Главный интерес у слушателей вызвала, конечно, речь Альберта Эйнштейна. Он говорил по-английски и, рассказывая о трудном положении изгнанных со своих рабочих мест ученых, ни разу не упомянул об их еврейском происхождении, из-за которого они были уволены. Более того, он ни разу не назвал страну, в которой творились эти вопиющие нарушения прав человека, — Германию.

По-видимому, Эйнштейна предупредили о принципиальной установке «Комитета помощи ученым», в манифесте которого подчеркивалось, что деятельность комитета распространяется на всех научных работников, кто пострадал от преследований, вне зависимости от вероисповедания и национальности. И хотя именно в Германии гонениям подверглось наибольшее число ученых, комитет не намерен ограничиваться одной страной.

Впоследствии Эйнштейн признавался, что считает ошибкой свое согласие с организаторами не называть страну, чьим гражданином он считал себя до недавнего времени. Тем не менее он сам вычеркнул из тезисов своего выступления два места, напрямую указывавшие на Германию. В первом говорилось о том, что в некоторой большой стране власть захватили силы, которые руководствуются «доктриной ненависти и мести». Второе место касалось тайных усилий вновь вооружить Германию.

Многие, напротив, одобряли такую осторожность, когда при описании чисток научных кадров в Германии сама страна не упоминалась. Как сформулировал эту позицию сэр Остин Чемберлен, «протестовать — это нормально, но протестовать слишком остро — это ошибка».

Когда Эрнест Резерфорд предложил сэру Вильяму Генри Брэггу (William Henry Bragg, 1862—1942) стать казначеем «Комитета помощи ученым», тот возразил:

Я допускаю, что эта деятельность может причинить больше вреда, чем пользы, если она начнет раздражать людей, находящихся сейчас у власти в Германии [Clark, 1974, с. 362].

Выступление Эйнштейна на собрании в Альберт-холле прошло с большим успехом. Он не обладал качествами идеального оратора, но зато умел заряжать слушателей верой в то, что говорил. Такое удается только гениальным актерам и прирожденным политикам. Великий ученый всегда был искренним, сам верил в свои слова и тем сильно отличался от большинства профессиональных говорунов.

Собравшиеся в Альберт-холле с воодушевлением поддержали идею помощи ученым-беженцам предоставлением им новых рабочих мест. Однако это воодушевление разделяли далеко не все. Недавно уволенный с поста заместителя генерального секретаря Лиги Наций и бывший посол Германии в Лондоне Альберт Дюфур-Феронс (Albert tDufour-Féronce, 1868—1945) писал в те дни секретарю Ллойд-Джорджа:

Я убежден, что вещи со временем сами собой нормализуются, а собрания такого типа, что было устроено для Эйнштейна в Альберт-холле, только обостряют ситуацию, а не улучшают. Печально, что такой великий ученый жертвует своим именем ради пропаганды против своего отечества. Но хотя он и рожден в Баварии, по-настоящему немцем он себя никогда не ощущал [Clark, 1974, с. 363].

После собрания в Альберт-холле у Эйнштейна осталась еще одна запланированная встреча в Лондоне — с раввином Морисом Перицвайгом (Maurice Perizweig), председателем Всемирного союза еврейских студентов, почетным президентом которого был сам великий физик. После встречи Эйнштейн сделал заявление для прессы, в котором явно прозвучала некоторая двусмысленность:

Значение еврейства лежит исключительно в его духовном и этическом содержании и в том способе, как оно проявляется в жизни отдельного еврея. По праву можно сказать, что учеба — это наша святая обязанность. Это, однако, не означает, что мы обязаны стремиться только к академическим профессиям, чтобы обеспечить наше пропитание, как, к сожалению, сейчас слишком часто происходит. В эти трудные времена мы должны использовать каждую возможность, чтобы удовлетворить практические потребности, но не жертвовать при этом нашей любовью к духовным вещам или правом заниматься научными исследованиями» [Clark, 1974, с. 363].

Эйнштейн уточнил, что не все ученые, бежавшие из Германии, могут рассчитывать на продолжение академической карьеры в других странах. Показательна в этом смысле история эмиграции Феликса Бернштейна. Отметим, что встретиться с Эйнштейном мечтал и Фредерик Линдеман, который специально для этого приехал 4 октября из Оксфорда в Лондон. О своем желании он сказал по телефону Локер-Лэмпсону. Линдемону удалось с помощью ряда уволенных из немецких университетов ученых значительно усилить Оксфордский университет и Кларендонскую лабораторию в частности. Заветной мечтой его было укрепить связь и Эйнштейна с Оксфордом.

По какой-то причине встреча Эйнштейна и Линдемана не состоялась. Альберт написал Фредерику 5 октября, что надеется на встречу летом следующего года, когда вернется в Оксфорд, как планировалось ранее. Линдеман был уверен, что это Локер-Лэмпсон сделал так, чтобы встреча с великим физиком тогда не произошла.

Через несколько дней Эйнштейн поднялся на борт американского океанского лайнера «Вестерланд», шедшего из Амстердама в Нью-Йорк. На пароходе его поджидала заботливая жена Эльза, верная секретарша Хелен Дукас и исполнительный ассистент Вальтер Майер. Как и в прошлые поездки, у путешественников были гостевые визы сроком на полгода. Когда лайнер вышел в Ла-Манш и взял курс на Атлантический океан, Альберт не подозревал, что и он, и Эльза видят берега Старого Света в последний раз. Эйнштейны никогда больше не вернулись в Европу.

Литература:

- Born, Max. 1975. *Mein Leben. Die Erinnerungen des Nobelpreisträgers*. München: Nymphenburger Verlagshandlung, 1975.
- Clark, Ronald W. 1974. *Albert Einstein. Eine Biographie*. Esslingen: Bechtle Verlag, 1974.
- Einstein-Born. 1969. *Albert Einstein — Hedwig und Max Born. Briefwechsel 1916—1955*. München: Nymphenburger Verlagshandlung, 1969.
- Epstein, Jacob. 1940. *Let there be sculpture: an autobiography*. London: Michael Joseph, 1940.
- Fölsing, Albrecht. 1995. *Albert Einstein. Eine Biographie*. Ulm: Suhrkamp, 1995.
- Goenner, Hubert. 2005. *Einstein in Berlin*. München: Verlag C. H. Beck, 2005.
- Langworth, Richard (Editor). 2011. *Churchill By Himself: The Definitive Collection of Quotations*. New York: Public Affairs, 2011.
- Sugimoto, Kenji. 1987. *Albert Einstein. Die kommentierte Bilddokumentation. Gräffeling vor München: Verlag Moos & Partner, 1987*.
- Айзексон, Уолтер. 2016. Альберт Эйнштейн. Его жизнь и его Вселенная. М.: АСТ, 2016.
- Брайен, Дэнис. 2000. Альберт Эйнштейн. Минск: Попурри, 2000.
- Горелик, Геннадий. 2004. Анна Алексеевна Крылова. Заметки по еврейской истории, № 38, <http://berkovich-zametki.com/Nomer38/Gorelik1.htm>. 2004 г.

Наум СИНДАЛОВСКИЙ

НЕМЕЦКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ В ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОРОДСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

1

Долгая многовековая история взаимной русско-немецкой заинтересованности друг в друге началась еще в древней Московии, как называли в Западной Европе раннее Московское государство, формировавшееся вокруг Москвы. Судя по источникам, инициатива в этом процессе принадлежала Москве. В XVI веке великий князь владимирский и московский Василий III впервые завел себе почетную стражу из немецких наемников. Для поселения им отвели слободу в Замоскворечье. В 1571 году слобода была сожжена татарами. При Иване IV была разорена и другая немецкая слобода на правом берегу Яузы. Однако отец Петра I царь Алексей Михайлович воссоздает ее, и с тех пор она известна в истории как Немецкая слобода. Одновременно ее называли Лефортовой, по имени одного из ближайших соратников Петра I — уроженца Женевы Франца Лефорта, впоследствии ставшего русским государственным и военным деятелем.

С 1689 года Петр I, которого с юности тянуло ко всему иноземному, сближается с Лефортом. Это встретило резкое противодействие со стороны патриарха Иоакима, решительно возражавшего против дружбы с «безбожными еретиками». Только после смерти патриарха в 1690 году Петр начал открыто посещать Немецкую слободу. Здесь все Петру нравилось: и чистые прямые улицы, и опрятные уютные домики, и первые открытые здесь мануфактуры, и первая частная аптека, и нарядные немецкие барышни. Здесь он завел роман с немецкой красавицей Анной Монс, ставшей его фавориткой более чем на десять лет. Впрочем, в народе неприязнь ко всему иноземному сохранилась.

Все это не могло не сказаться на репутации молодого царя. Ему многое ставили в вину. Энергичный, деятельный, стремительный Петр не вписывался в традиционные представления Москвы о царе, выглядел чужаком, белой вороной. Таки ми чужаками у степенных москвичей слыли немцы в Лефортовской слободе. Уж не немец ли и сам Петр? Рождались легенды.

Действительно, поговаривали, что Петр вовсе и не сын тишайшего царя Алексея Михайловича, а отпрыск самого Лефорта. Будто бы государь Алексей Михайлович

Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории Петербурга: «Легенды и мифы Санкт-Петербурга» (СПб., 1994), «История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах» (СПб., 1997), «От дома к дому... От легенды к легенде. Путеводитель» (СПб., 2001) и других. Постоянный автор «Невы», лауреат премии журнала «Нева» (2009). Живет в Санкт-Петербурге.

говаривал своей жене, царице Наталье: «Если не родишь сына, учиню тебе озлобление». Об этом знали дворовые люди. И когда родилась у царицы дочь, а у Лефорта в это же время — сын, то, страшась государева гнева, втайне от царя, младенцев обменяли. И тот Лефортов сын царствует на Руси и донине. Да ведь оно и видно: государь жалует иностранцев и всегда добрее к ним, чем к русским.

Но если и не верилось кому-то в историю с подменой младенцев, то тут же предлагалась другая, более правдоподобная, по мнению рассказчиков, легенда о том, как во время поездки в Швецию царь Петр был пленен и там «закладен в столб», а на Руси вместо него был выпущен немчин, который и царствует ныне. И как же этому не поверить, если, возвратившись из-за границы в Москву накануне нового, 1699 года, царь не заехал в Кремль, не поклонился чудотворным мощам православных святых, не побывал у гробов своих родителей в Архангельском соборе, а сразу полетел в Неицекую слободу, где всю ночь пирувал у Лефорта. Одно слово — немчин.

Между тем именно Петр I резко активизировал русско-неицекие связи благодаря сформированной им системе династических браков. В допетровской Руси женихи и невесты для детей царствующих особ и детей их ближайших родственников подыскивались среди близких к трону русских боярских родов. Сам Петр по настоянию матери первым браком был женат на Евдокии — дочери окольного из старинного боярского рода Лопухиных. Брак оказался неудачным. Петр заточил несчастную Евдокию в монастырь и женился на безродной ливонской пленнице Марте Скавронской. Но судьба будущих наследников царского престола, постепенно теряющих при старой системе брачных договоров статус «августейшего характера царствующего дома», его волновала. Для предотвращения окончательной потери этого статуса нужны были равнородные браки. Понятно, что внутри государства претендентов на такой брачный союз не могло быть по определению. Женихов и невест надо было искать за границей. Выбор пал на Германию. В том числе и потому, что Германия в то время была раздроблена на множество мелких княжеств, каждое из которых представляло собой отдельное суверенное государство со всеми вытекающими отсюда претензиями на августейший статус. Единственным препятствием было различное вероисповедание, но и это препятствие было преодолено договором о переходе жениха или невесты в православие.

Первыми «жертвами» новой династической политики стали дети Петра. Петр I сам подыскивал невесту своему сыну царевичу Алексею в одном из немецких княжеств. Ею стала Шарлотта Христина София Брауншвейг-Вольфенбюттельская. Молодые люди познакомились в 1710 году, и Алексей сразу невзлюбил Шарлотту. Он слезно просил отца подобрать ему другую невесту, но Петр оставался непреклонным. Дело закончилось подписанием брачного контракта, после чего, по словам историка Н. И. Костомарова, «придали этому вид, будто царевич избрал себе супругу добровольно». Все это не могло не сказаться на судьбе юной принцессы. Супруги оставались чужими друг другу людьми. Алексей был груб и, как свидетельствуют современники, с женой обращался дурно.

В России Шарлотта оставалась лютеранкой, отказавшись принять православие. Вероятно, благодаря этому обстоятельству ее называли Шведкой. Шарлотта родила Алексею дочь Наталью, умершую в раннем возрасте, и сына Петра, будущего императора Петра II. Однако накануне вторых родов заболела скоротечной чахоткой и через две недели после рождения сына, в 1715 году скончалась. По официальным данным, Шарлотту торжественно, в полном соответствии с титулом кронпринцессы, великой княгини, наследницы, данным ей Петром I еще в 1713 году, похоронили в Петропавловском соборе.

Далее наше повествование приобретает черты легенд, мифов и вымыслов. В 1771 году в парижском предместье в весьма преклонном возрасте скончалась некая госпожа Д'Обан. Неожиданно разнесся слух, что это не кто иная, как невестка русского царя Петра I, которую «долго мучил муж-тиран, пытавшийся даже отравить ее». В некоторых источниках называется даже количество таких попыток — девять раз. И каждый раз принцесса выживала исключительно благодаря противоядию, даваемому ей преданным лекарем. По некоторым сведениям, Алексей Петрович хотел избавиться от законной супруги, чтобы жениться на «русской барышне из рода Нарышкиных». В конце концов принцесса, не выдержав издевательств, после рождения сына прикинулась мертвой и при помощи верной графини Кенигсмарк смогла бежать из России. Сначала она жила в Европе, затем уехала в Америку, где «вышла замуж за капитана Д'Обана». В конце жизни она покинула Америку и переехала в Париж, где и скончалась.

Масло в огонь разгорающихся слухов подлил сам прусский король, до которого дошли легенды о своей соотечественнице. В одном из писем он писал: «Поверьте, в России убивать умеют, и если при дворе кого-то отправляют на тот свет, ему уже не воскреснуть». В пользу того, что легенда о бедной немецкой принцессе имела в Европе широкое распространение, говорит и тот факт, что она дошла и до Вольтера, который, впрочем, назвал ее басней.

Справедливости ради надо сказать, что захоронение Шарлотты в Петропавловском соборе утеряно.

Значительным событием в развитие династической политики Петра стало бракосочетание его дочери Анны с герцогом Гольштейн-Готторпским Фридрихом Карлом. Их свадьба состоялась уже после кончины Петра Великого, в мае 1725 года. Результатом этого брака стало рождение сына Карла Питера Ульриха. В 1742 году его родная тетка, правящая императрица Елизавета Петровна назначила его наследником русского престола. В России после принятия им православия он получил титул великого князя и имя Петр Федорович. Затем Петр Федорович во исполнение новой династической политики был вынужден жениться на подобранной ему принцессе — своей двоюродной сестре из маленького германского княжества Ангальт-Цербст Софии Фредерике Августе.

Впоследствии Карл Питер Ульрих стал императором Петром III, а София Фредерика Августа — императрицей Екатериной II. С этих пор, строго говоря, и справедливости ради следует считать, что династия Романовых превратилась в династию Романовых-Гольштейн-Готторпских.

Екатерина происходила одновременно из герцогского по отцу и княжеского по матери старинных, но небогатых германских родов. Правда, есть две легенды. По одной из них, отцом будущей русской императрицы был Иван Иванович Бецкой, внебрачный сын князя Ивана Юрьевича Трубецкого. Во время путешествия по Европе он познакомился с будущей матерью Софии Фредерике Августы, влюбился в нее, вступил в интимную связь, в результате чего на свет и появился ребенок. Но это только легенда, скорее всего, имеющая официальное происхождение. Так хотелось обнаружить в Екатерине II хоть каплю русской крови. Согласно другой, совсем уж маловероятной легенде, по материнской линии Екатерина II происходит от самого великого князя Ярослава Ярославовича Тверского, брата Александра Невского. Так что крови в ней перемешано много — и русской, и польской, и литовской, и датской. Неудивительно, что еще в детстве, если, конечно, верить фольклору, маленькая принцесса София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская услышала от какого-то странствующего монаха предсказание, что в конце концов она «наденет на голову корону великой империи, которой в настоящее время правит женщина».

Между тем в России Екатерину II не без оснований считали самой русской императрицей и с любовью называли: «Неицекая мать русского Отечества». Как утверждал остроумный П. А. Вяземский, русский Петр I хотел сделать нас немцами, а немка Екатерина II хотела сделать нас русскими. Она и сама в это верила, стараясь как можно реже вспоминать свое немецкое происхождение. Согласно одному из преданий, однажды императрице стало плохо, и доктора прописали пустить ей кровь. После этой процедуры на вопрос: «Как здоровье, Ваше величество?» — она будто бы ответила: «Теперь лучше. Последнюю немецкую кровь выпустила». Хотя, конечно, в фольклоре сохранились и другие свидетельства. По одному из ядовитых анекдотов, Екатерина так полюбила свою новую русскую родину, что ежедневно, просыпаясь по утрам, надевала сапоги и ходила вокруг кровати, приговаривая: «Айн, цвай, драй... Айн, цвай, драй...»

Впрочем, в современном уличном фольклоре Екатерине Алексеевне постоянно напоминают о ее немецких корнях. До сих пор среди известных дворовых дразнилок существует и такая: «Катя-царица, немка-мокрица».

Ситуация с генетической наследственностью последующих Романовых усугубляется еще и тем, что абсолютно достоверных сведений о рождении Павла I, отцом которого принято считать Петра III, нет. Согласно легендам, отцом наследника престола, рожденного Екатериной II, был юный красавец Сергей Салтыков. Бытовала, Впрочем, еще одна, совсем уж невероятная, скорее похожая на вымысел легенда о том, что матерью ребенка была императрица Елизавета Петровна. Легенда основана на том факте, что едва ребенок увидел свет, как царствующая императрица велела его унести от матери и, по утверждению фольклора, «сама исчезла вслед за ним». Екатерина снова увидела младенца только через шесть месяцев.

А еще рассказывали, что младенец появился на свет вообще мертвым и его тогда же будто бы заменили родившимся в тот же день в деревне Котлы под Ораниенбаумом «чухонским ребенком». Для сохранения тайны все семейство этого мальчика, а заодно и крестьяне Котлов вместе с пастором, «всего около 20 душ», на другой же день в сопровождении солдат были сосланы на Камчатку, а деревня Котлы была снесена, и земля распахана.

Кстати сказать, императором Александром III, «самым русским», как его называли в России, царем, тот факт, что отцом Павла I в народе считали Салтыкова, с откровенным удовлетворением воспринимался за благо. В жилах Сергея Салтыкова текла русская кровь, чего нельзя было сказать о Петре III. Едва взоидя на престол, согласно одной легенде, Александр III вызвал к себе в кабинет несколько особенно доверенных лиц и, оглядываясь по сторонам, не подслушивает ли кто, попросил откровенно сказать ему «всю правду»: чей сын Павел I. «Скорее всего, отцом императора Павла Петровича был граф Салтыков», — ответили ему. «Слава тебе Господи, — воскликнул Александр III, истово перекрестившись, — значит, во мне есть хоть немножко русской крови».

На это облегченное восклицание следует обратить особое внимание. По официальным данным, в Александре III было всего $\frac{1}{64}$ русской крови и $\frac{63}{64}$ — немецкой. И к этой $\frac{1}{64}$ -й Александр относился исключительно ревностно. Сохранилось предание о том, как однажды императору представляли членов штаба одного из армейских корпусов. Когда седьмой по счету прозвучала фамилия «Козлов», Александр Александрович не удержался от восклицания: «Наконец-то!» Все остальные фамилии были немецкого происхождения, начинались на «фон» или имели окончания на «гейм» или «бах». Это императорское «Наконец-то!» передавалось в Петербурге из уст в уста.

Впрочем, и это не утешало. Он хорошо помнил, как откликнулся городской фольклор на трагическую гибель его отца императора Александра II, который решил связать свою жизнь вторым браком не с немкой, а с представительницей одной из ветвей древнейшего русского княжеского рода Долгоруких — Екатериной Михайловной. Она была известна как официальная любовница Александра II, от которого еще при жизни законной супруги императора имела троих детей — двух дочерей и сына. Почти сразу после смерти первой жены Александр II вступил с Екатериной Михайловной в морганатический брак, а через полгода именованным высочайшим указом Екатерине Михайловне Долгоруковой был присвоен титул светлейшей княгини Юрьевской. После обряда венчания злые языки уверяли, что очень скоро состоится и коронация. Будто бы был даже заказан именной вензель для новой императрицы — «Е III», то есть Екатерина III. Готовому было разразиться династическому скандалу помешала гибель Александра II в марте 1881 года. Городской фольклор тут же связал эту трагедию с именем Екатерины Михайловны. По городу распространилась крылатая фраза: «Александр Второй влюбился в Екатерину Долгорукую и погубил на Екатерининском канале».

Трудно сказать, как этот брачный проект мог бы отразиться на генетической истории рода Романовых, если бы не случился трагический март 1881 года. Но случилось то, что случилось. После Александра III на русский престол вступил его сын Николай II, который среди ура-патриотов считался полным немецким царем. В его жилах русской крови оставалось менее одного процента. Но к нему, к его жене Александре Федоровне и к драматическим обстоятельствам, положившим конец рода Романовых, мы вернемся чуть позже.

2

Трудно переоценить роль немцев в становлении науки и культуры Петербурга. Наш первый всемирно признанный ученый и первый русский академик Михаил Васильевич Ломоносов учился в Германии. И хотя в Петербургской академии наук, большинство академиков которой были немцы, у Ломоносова со своими коллегами складывались весьма неприязненные отношения, но, скорее всего, это было связано со свойством характера Михаила Васильевича. С немцами Ломоносов сотрудничал, и весьма успешно. Среди его помощников был великий математик, физик и астроном Леонард Эйлер.

Эйлер приехал из Германии в Петербург в 1727 году по приглашению Петербургской академии наук. В 1741 году Эйлер уехал из Петербурга для работы в Берлинской академии наук, но через 25 лет, уже по приглашению Екатерины II, вновь вернулся в столицу России. Возвращался он морем и попал в кораблекрушение, во время которого у него пропал сундук со всеми бумагами. Чудом уцелевшего ученого встречала лично императрица, которая, если верить фольклору, вышла к нему со словами: «Какое несчастье! У нас погуб сундук со всеми вашими „пипи“ и „кака“». Для полного понимания остроумия императрицы надо заметить, что в те времена «п» в квадрате обозначалось «пп», а «к» в квадрате — «кк».

Эйлер прожил долгую жизнь. Не прекращал ученых занятий, несмотря на то, что к старости полностью потерял зрение. На заседания академии приходил в сопровождении помощника. Есть легенда, что Эйлер погуб от шаровой молнии во время совместного с Ломоносовым испытания громоотвода. Такой факт в истории Петербургской академии наук действительно был, но погуб от молнии не Эйлер, а другой помощник Ломоносова — ученый Рихман.

В 1783 году по приглашению Екатерины II в Петербург приезжает граф Фридрих Ангальт, к тому времени уже всерьез прославившийся на своей родине. Он покидает австрийскую службу и вступает в русскую, получив сразу звание генерал-адъютанта и должность генерал-инспектора войск, расположенных в Ингерманландии, Эстляндии и Финляндии. А 8 ноября 1786 года Екатерина II собственным именным указом назначает «Генерал-поручика и Кавалера Графа Федора Евстафьевича Ангальта», как «человека высокопросвещенного», директором Сухопутного шляхетского корпуса.

Ангальт был сыном наследного принца Вильгельма Августа Ангальт-Дессауского и являлся дальним родственником самой императрицы Екатерины II, хотя, по некоторым источникам, вовсе не считал себя немцем и при случае любил подчеркивать, что по национальности он француз.

На устах петербуржцев имя Ангальта появилось после того, как они вдруг обнаружили, что одна из наружных стен Шляхетского корпуса сплошь покрыта различными изображениями из всемирной истории, арифметическими и алгебраическими задачами и формулами, шарадами и головоломками на французском и русском языках. Говорили, что Ангальт придумал это «для назидания кадет, а отчасти и прохожих». Петербуржцы по достоинству оценили выдумку директора корпуса и прозвали стену «Говорящей».

Через некоторое время в корпусе была расписана и другая наружная стена. На ней художник изобразил представителей всех народов земного шара в национальных костюмах. Среди них один народ был изображен в виде голого человека с куском сукна в руках. Согласно преданию, на вопрос Ангальта, что хотел этим изображением сказать художник, тот будто бы ответил: «Это я написал француза, и так как у них мода ежедневно меняется, то в настоящее время я не знаю, какого покроя французы носят свое платье».

Кстати, идея фасадов, расписанных назидательными надписями, настолько понравилась самому Ангальту, что через некоторое время он издал все свои сентенции отдельной книгой, которая так и называлась «*La muraille parlant*», что в переводе и есть «Говорящая стена».

Мы уже упоминали о роли немцев в открытии первых на Руси общедоступных аптек. Славилась немецкие аптеки и в Петербурге. Основатель и владелец одной из них Вильгельм Пель стал даже героем петербургского городского фольклора. Собственную аптеку фирма профессора Пеля открыла в 1858 году на 7-й линии Васильевского острова. Сначала в доме № 16, а затем и в соседнем, 18-м. Очень скоро аптека доктора Пеля, как его называли в Петербурге, превратилась в «научно-производственный комплекс с исследовательскими химическими лабораториями, фармацевтической фабрикой и товарным складом. Только в аптеке Пеля работало более 70 человек. Вскоре на фасаде аптеки появилась вывеска: «Поставщик Двора Его Императорского Высочества».

В комплекс домов Пеля входит высокая башня, стоящая отдельно во дворе. Башня представляет собой кирпичную 11-метровую трубу не вполне понятного назначения. Башня окружена мистическими легендами. В народе ее называют «Башней грифонов». Согласно фантастическим легендам, Вильгельм Пель «в свободное время увлекался алхимией и в этой таинственной трубе выводил грифонов». Когда грифоны летали по городу, они были невидимы. Но в полночь эти мифические птицы слетались в свое гнездо в башне, и тогда их пугающие отражения можно было увидеть в окнах соседних домов.

По другой легенде, башня является выходом из бомбоубежища, которое кем-то когда-то было устроено глубоко под землей, на всякий случай.

Кирпичи «Башни грифонов» испещрены таинственными цифрами, на каждом кирпичике по одной. Эти цифры представляют собой особую загадку. Говорят, что это некий зашифрованный код вселенной. Повеет тому, кто сумеет прочесть все числа, состоящие из бесчисленных математических знаков. Он либо обретет бессмертие, либо исполнятся все его желания. Мистика этих цифр заключается еще и в том, что они не тускнеют от времени. Будто чья-то невидимая рука их регулярно обновляет.

Хорошо известен в Петербурге находящийся на Васильевском острове Институт акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта. Институт ведет свою историю от Повивального института при Императорской родильне, основанного в 1797 году по инициативе супруги императора Павла I императрицы Марии Федоровны. С 1855 года он назывался Клиническим повивальным институтом и находился на набережной Фонтанки, 148. В 1897—1904 годах по инициативе и под руководством его директора доктора Дмитрия Оскаровича Отта на Васильевском острове по проекту архитектора Л. Н. Бенуа для института строится специальное здание. В народе его так и называли «Институт Отта» или «Оттовка», хотя официально его имя присвоили институту только через шестьдесят лет после смерти ученого, в 1989 году. На втором этаже института установлена бронзовая скульптура сидящего доктора с закинутой одна на другую ногой. В институте строго соблюдается давняя традиция: непосредственно перед родами будущая мама должна подойти до скульптуры и погладить рукой ботинок знаменитого акушера. Тогда можно не сомневаться, что роды пройдут быстро и закончатся благополучно. В том, что это так, легко убедиться. Ботинок врача блестит, словно начищенный пастой ГОИ.

Известен в петербургском фольклоре и немец Леопольд Кениг — основатель петербургской династии винокуров, промышленников-сахарозаводчиков и бумагопрядильщиков. В 1870-х годах Кениг приобрел два земельных участка на углу Большого проспекта и 4-й линии Васильевского острова. Здесь в 1878—1879 годах по проекту архитектора К. К. Рахау он выстроил большой четырехэтажный дом, куда и вселился вместе со всей своей многочисленной семьей. Дом этот по адресу Большой проспект, 15/5 до сих пор местные жители знают как «Дом Кенига». Но более всего известен был Людвиг Егорович своими рафинадными и винокуренными заводами, один из которых находился на Лифляндской улице, другой — на набережной Большой Невки. Эта известность отразилась и в обывательском прозвище Людвиг Егоровича. Немецкое название сахара (цукер) в сочетании с фамилией владельца заводов превратилось в Цукеркениг — прозвище, которым широко пользовались в Петербурге.

3

Известна значительная роль немцев на государственной и военной службе. Они были министрами и губернаторами, мореплавателями и военачальниками, финансистами и инженерами, предпринимателями и ремесленниками. Достаточно напомнить имена графов отца и сына Остерманов, один из которых — Генрих Иоганн Фридрих, или Андрей Иванович, как его называли в России, — занимал пост вице-канцлера и первого кабинет-министра, а другой, его сын Андрей Иванович, стал великим канцлером. Не менее известен первый президент Академии наук и художеств и лейб-медик Петра I Блюментрост, который открыл на правом берегу Невы полюстровские минеральные воды. Оставил значительный след в истории Петербурга граф Бурхард Миних, сумевший дослужиться до чина генерал-фельдмаршала.

Многие из петербургских немцев стали героями и персонажами городского фольклора, в значительной степени благодаря чему и остались в истории. Печально знаменито в России имя пресловутого герцога Эрнста Бирона, фаворита императрицы Анны Иоанновны, из-за жесткой, а порой и жестокой политики которого Анна Иоанновна в народе незаслуженно получила прозвище Анны Кровавой. На Бироне до сих пор тяготеет обвинение в засилье и господстве иностранцев в России во время царствования Анны Иоанновны, хотя, по мнению некоторых историков, их было ничуть не меньше ни до, ни после него. Его единодушно обвиняют в кровожадности и корыстолюбии, хотя все знают, что казни на Руси придумал вовсе не он, а взяточничество и стяжательство процветали в государстве издавна. Скорее всего, Бирону не могли простить его гордыни и откровенного презрения к русским. О них он был самого невысокого мнения и не скрывал этого. Видимо, именно поэтому для русских он остался «злым гением России», оставившим мрачный след в ее истории. В одном из анекдотов, приписываемых придворному шуту Кульковскому, рассказывается, как однажды Бирон спросил шута: «Что думают обо мне россияне?» — «Вас, ваша светлость, — отвечал тот, — одни называют богом, другие сатаной, и никто — человеком». Это соотносится с характеристикой Бирона, данной ему венским министром при петербургском дворе графом Остейном, который будто бы однажды сказал: «Он о лошадях говорит как человек, а о людях как лошадь».

Согласно легендам старого Петербурга, участки на Фонтанке, у Прачечного моста, там, где впоследствии располагалось Училище правоведения, и на берегу реки Ждановки в народе приобрели дурную славу и считались нечистыми. Как утверждают легенды, здесь не раз по ночам видели тени замученных «злым герцогом» людей. В старину на этих местах будто бы стояли секретные службы Бирона.

Отпрыском немецкой ветви древнего шотландского рода был генерал-фельдмаршал русской армии, князь Михаил Богданович Барклай-де-Толли. Его этническое происхождение до сих пор оспаривают и Германия, и Шотландия. В XVII веке предки полководца, будучи ревностными сторонниками Стюартов, подвергаются преследованиям на родине и вынуждены эмигрировать в Лифляндию. Известно, что дед Барклая стал бургомистром Риги, а отец начинал воинскую службу поручиком русской армии.

С 1810 года Барклай-де-Толли занимает должность военного министра. В июле 1812 года на него возлагаются обязанности главнокомандующего всеми действующими русскими армиями, противостоящими французскому нашествию. Однако план военных действий, предложенный Барклаем-де-Толли и состоявший в том, чтобы, «завлекши неприятеля в недра самого Отечества, заставить его ценою крови приобретать каждый шаг... и истощив силы его с меньшим пролитием своей крови, нанести ему удар решительнейший», не был понят. В Петербурге не уставали говорить о медлительности полководца в военных действиях и о сомнительной, с точки зрения обывателя, «отступательной тактике и завлекательном маневре». Раздавались даже прямые обвинения в измене. Это привело к замене его на должности главнокомандующего М. И. Кутузовым.

В этом и состояла личная драма Барклая-де-Толли, фамильным девизом которого было: «Верность и терпение». Хранимый судьбой на полях сражений, а известно, что в боях были убиты почти все его адъютанты и пали пять лошадей под ним самим, он не смог уберечься от интриг, которые беспощадно его преследовали. Русское общество, потрясенное вторжением Наполеона в Россию, именно на него взвалило всю ответственность за отступление армии под натиском наполеоновских войск, а благодаря стараниям салонных остроумцев благородная шотландская

фамилия Михаила Богдановича, представители которой с XVII века верой и правдой служили России, превратилась в оскорбительное прозвище: Болтай-да-и-только.

Однако, как мы знаем, история по достоинству оценила личный вклад Барклая-де-Толли в разгром Наполеона. В 1837 году, к двадцатилетнему юбилею изгнания французской армии из России в центре Петербурга, на площади перед Казанским собором, одновременно с памятником Кутузову был воздвигнут парный монумент генерал-фельдмаршалу Барклаю-де-Толли. Но еще более важно, что к тому времени изменилось и отношение петербургского общества к полководцу. Не случайно, посетив однажды мастерскую скульптора Орловского, Пушкин, глядя на почти готовые памятники великим полководцам Отечественной войны, воскликнул: «Се зачинатель Барклай, а се завершитель Кутузов».

Крайне запутанно в различных источниках этническое происхождение государственных и военных деятелей России Треповых. Если верить фольклору, в жилах старшего Трепова — Федора Федоровича — текла «голубая» кровь высшей пробы. По одним легендам, он был внебрачным сыном русского императора Николая I. По другим — внебрачным сыном германского императора Вильгельма. Во всяком случае, сетевая энциклопедия Википедия в статье «Немцы в Петербурге» утверждает, что Федор Федорович — немец и его подлинная фамилия фон Трегоф.

Трепов занимал должность петербургского градоначальника с 1873-го по 1878 год в звании генерал от кавалерии. По свидетельству современников, это был честный, трудолюбивый и порядочный человек. Единственным недостатком, о котором судачил весь Петербург, была его беспросветная неграмотность. Говорили, что в слове из трех букв Трепов мог сделать четыре ошибки: вместо «ещё» петербургский градоначальник мог написать «исчо».

В Петербурге память о Федоре Федоровиче сохраняется благодаря нескольким обстоятельствам, попавшим в сокровищницу городского фольклора. Во-первых, это тот Трепов, в которого стреляла Вера Засулич, выразившая таким образом общественный протест против унижения заключенного Боголюбова, не снявшего головной убор перед градоначальником, посетившим тюрьму. Боголюбов был публично высечен розгами. Впоследствии Веру Засулич судили, но оправдали судом присяжных. А Федор Федорович был отставлен от службы. Во-вторых, Ф. Ф. Трепов запомнился петербуржцам введенным им обычаем: с началом весны скалывать с мостовых слежавшийся за зиму лед. Обычай понравился, прижился и стал повсеместным. А в петербургском городском фольклоре появилась новая идиома: «Треповская весна».

Кроме того, городской фольклор приписывает Федору Федоровичу Трепову пари на пять тысяч фунтов стерлингов, которое он будто бы заключил с английским посланником в России. Трепов утверждал, что петербургские жулики работают настолько профессионально, что могут ограбить англичанина среди бела дня, и тот не заметит ничего подозрительного. Понятно, что Трепов легко выиграл.

Неудивительно, что сына Федора Федоровича, Дмитрия Федоровича, называли потомственным генерал-губернатором Петербурга. С 1896 года он исполнял должность обер-полицмейстера в Москве. Но сразу после известных петербургских событий 1905 года был призван в столицу и уже 11 января назначен генерал-губернатором. Этот выбор можно понять, если вслушаться в характеристики Трепова, данные ему его современниками. По выражению С. Ю. Витте, Трепов был чужд «всяких интеллигентных выдумок» и внушал доверие императору «своей бравою наружностью, страшными глазами и прямою своею солдатскою речью». Князь Дмитрий Урусов считал его «вахмистром по убеждениям и погромщиком по воспитанию». А начальник охранного отделения полиции А. В. Герасимов говорил о нем еще более прямолинейно: «Что касается убеждений, то за ним их просто не водится».

Из ранней биографии Трепова известен случай, рассказы о котором можно было бы считать анекдотом, если бы он и в самом деле не произошел во время похорон императора Александра III. Когда гроб с телом монарха проносили мимо строя лейб-гвардии Конного полка, вдруг в мертвой тишине улицы послышалась команда: «Эскадрон, смирно! Голову направо, смотри веселей!» — «Кто этот дурак?» — спросил кто-то из великих князей. «Ротмистр Дмитрий Трепов», — ответили ему.

Тот же однозначный образ «вахмистра по убеждениям» приобрел Трепов и в городском фольклоре. После того как московский генерал-губернатор Дубасов в декабре 1905 года подавил в Москве вооруженное восстание, в Петербурге появилась поговорка: «В Питере Трепов треплет, в Москве Дубасов дубасит». Появилась и бытовавшая в обеих столицах безымянная эпиграмма:

Господь Россию приукрасил —
Он двух героев им послал:
Один в Москве народ дубасил,
Другой же в Питере трепал.

В. А. Гиляровский вспоминает о карикатуре на двух градоначальников — московского и петербургского, где явное первенство отдается петербургскому Трепову. В это время в Москве начальствовал Арапов. Так вот, на карикатуре был нарисован забор, завешанный цветными лохмотьями, и обозленная собака на задних лапах, которая карабкается к лохмотьям и никак не может их достать. Под карикатурой надпись, ставшая расхожей московской поговоркой: «Далеко Арапке до тряпки».

Историю Петербурга заслуженно украшает имя великого мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна. Его подлинное имя: Адам Иоганн фон Крузенштерн. Предки флотоводца происходили из остзейских немцев. В 1788 году Крузенштерн окончил петербургский Морской кадетский корпус, а с 1827-го по 1842 год был его директором. Особенно прославился тем, что возглавил первое русское кругосветное путешествие на кораблях «Надежда» и «Нева».

В 1873 году на набережной Невы, напротив здания Морского корпуса, Крузенштерну был установлен памятник. Практически весь фольклор о Крузенштерне, так или иначе, связан с этим памятником. И первая легенда о великом мореплавателе появилась почти сразу после установки монумента. Если внимательно вглядываться в памятник, медленно обходя его кругом, то в какой-то момент начинает обнаруживаться сходство щеголеватого морского офицера с античным сатиром во время разнузданных древнеримских сатурналий. Это ощущение эротичности возникает в связи с торчащей рукоятью офицерского кортика, укрепленного под определенным углом к бедру адмирала. В Петербурге бытует легенда, что этот образ автор монумента скульптор И. Н. Шредер создал в отместку за то, что Крузенштерн якобы наставил ему рога, хотя на самом деле этого не могло произойти по определению. Скульптору Шредеру было всего лишь одиннадцать лет, когда великий мореплаватель ушел из жизни.

Легенда оказалась настолько живучей, что через сто лет городские власти не удержались и в рамках развернутой в то время борьбы с сексом, которого, как известно, в стране победившего социализма просто не могло быть, изменили положение злосчастного кортика. Теперь он был расположен вдоль бедра морехода и не вызывал никаких дурных ассоциаций.

Блюстители нравственности попытались этим высокоморальным актом убить сразу двух зайцев. С изменением положения кортика прервалась давняя традиция:

в ночь перед выпуском будущие офицеры перестали до блеска начищать пастой ГОИ личное оружие адмирала. Во многом это утратило смысл.

Правда, в курсантском арсенале сохранилась другая традиция. Накануне выпуска будущие офицеры из множества полосатых морских фуфаек выпускников сшивают одну, гигантских размеров тельняшку, которую перед самым рассветом натягивают на бронзовые плечи Крузенштерна. Принято считать, что только после этого обязательного ритуала путь в море для них становится открытым.

Крузенштерн считается покровителем училища, и памятник ему курсанты ласково и по-домашнему называют «Ваня».

4

Особенно заметна роль петербургских немцев в области образования, литературы и искусства. Едва ли не первым в этом ряду следует поставить имя Дениса Ивановича Фонвизина, писателя, драматурга, публициста и сатирика, автора одной из лучших русских комедий «Недоросль». Его очень высоко ценил Пушкин и, рассуждая о вариантах написания его фамилии, считал правильным русифицированный вариант, без отдельно стоящей приставки «фон» и без дефиса. Это придало бы, по мнению Пушкина, более русский характер фамилии писателя. В письме к брату Льву он писал о Фонвизине: «Что он за нехрист? он русской, из перерусских русской».

Денис Иванович родился в 1745 году. Его род вел свое происхождение от рыцаря ордена меченосцев Петра фон Визина, взятого в плен войсками Ивана Грозного во время Ливонской войны. При царе Алексее Михайловиче Фонвизины перешли в православную веру.

По легендам, бытовавшим в Петербурге, прототипом знаменитого героя «Недоросля» Митрофанушки стал президент Академии художеств, первый директор Публичной библиотеки, историк, археолог и художник Алексей Николаевич Оленин, о котором в Петербурге ходили самые невероятные легенды. Будто бы этот «друг наук и искусств» до 18 лет был величайшим невеждой. Остается добавить, что петербургская фразеология обязана Фонвизину и его бессмертному «Недорослю» появлением известной поговорки: «Умри, Денис, лучше не напишешь» — в значении наивысшей похвалы, хотя и с некоторым оттенком иронии. Согласно преданию, поговорка родилась из фразы, будто бы произнесенной Григорием Потемкиным при встрече с писателем: «Умри теперь, Денис, или хоть больше ничего не пиши: имя твое бессмертно будет по одной этой пьесе». Остается только догадываться, почему эту фразу фольклор приписал Потемкину, который и Фонвизина не любил, и в Петербурге не был во время представления «Недоросля».

К концу жизни Фонвизин подошел больным, парализованным человеком. Сохранилась легенда, как он ездил в тележке перед университетом и кричал студентам: «Вот до чего доводит литература! Никогда не будьте писателями! Никогда не занимайтесь литературой!» Впрочем, сам Фонвизин до конца жизни писал, и такое демонстративное разочарование в литературе было бы необъяснимо, если не вспомнить, что именно в это время он столкнулся с непониманием и даже резким неодобрением его деятельности со стороны Екатерины II. Она запретила Фонвизину издать пятитомное собрание сочинений.

Одним из ближайших друзей Пушкина был его лицейский товарищ Антон Дельвиг, который родился в Москве, в семье генерал-майора, происходившего из рода прибалтийских немецких баронов.

Недолгая сознательная жизнь Антона Дельвига была полностью посвящена литературному творчеству, он был одним из самых интересных поэтов пушкинского

круга. Дельвиу основал первое в России профессиональное периодическое издание русских литераторов — «Литературную газету». Он был деятельным организатором, хотя внешне выглядел неуклюжим и неповоротливым флегматиком. Еще в лицее за кажущуюся леность его прозвали Мусульманином, а за полноту — Султаном. Дружеские шутки на эту тему преследовали Дельвига едва ли не всю его короткую жизнь. Так, после выпуска из лицея Дельвиу ненадолго уехал к отцу, где тот служил. Вслед ему понеслась эпиграмма:

Дельвиу мыслит на досуге:
Можно спать и в Кременчуге.

Внешний вид Дельвига никак не вязался и с лицейскими представлениями о творчестве. Так, узнав о первых поэтических опытах своего товарища, лицеисты пришли в невероятное возбуждение и долго издевались над бедным поэтом:

Ха-ха-ха, хи-хи-хи!
Дельвиу пишет стихи.

Не только современники, но и многие последующие исследователи связывают раннюю кончину 32-летнего Дельвига с вызовом его в Третье отделение по поводу напечатанных в «Литературной газете» материалов. Дельвиу был доставлен к Бенкендорфу в сопровождении жандармов. «Что, ты опять печатаешь недозволенное?.. — по-хамски бросил ему в лицо Бенкендорф. — Вон, вон, я упрячу тебя с твоими друзьями в Сибирь». Эта оскорбительная выходка так подействовала на тихого Дельвига, что он тяжело заболел и вскоре скончался. Незадолго до смерти он замкнулся, «заперся в своем доме, завел карты, дотоле не виданные в нем, и никого не принимал, кроме своих близких».

Он и раньше, как свидетельствуют современники, был суверен и как бы постоянно предчувствовал свою раннюю смерть. Иногда это усугублялось семейными обстоятельствами. Так, однажды жене Дельвига, Софье Михайловне, когда они находились в гостях у сестры Пушкина, Ольги Сергеевны Павлищевой, в темном коридоре померещился «какой-то страшный старик, с хохотом будто бы преградивший ей дорогу». Она так напугалась, что Дельвиу посещения дома Павлищевых раз и навсегда прекратил.

Дельвиу любил порассуждать о загробной жизни и, в особенности, об обещаниях, данных при жизни и исполненных после кончины. Об этом его свойстве знали друзья. Иногда над этим подшучивали. Иногда относились серьезно. Так, во время михайловской ссылки пушкинский приятель Алексей Вульф привез из Прибалтики череп. Друзья подумали, что это череп одного из предков Дельвига, и решили его ему подарить. Пушкин по этому случаю написал «Послание Дельвиу», которое начиналось словами: «Прими сей череп, Дельвиу...»

Как-то раз Дельвиу со своим приятелем Н. В. Левашевым поклялись «явиться после смерти тому, кто останется после другого в живых». Разговор происходил за семь лет до преждевременной смерти Дельвига и, конечно, был Левашевым давно забыт. А ровно через год после похорон поэта, как утверждал сам Левашев, «в двенадцать часов ночи Дельвиу молча явился в его кабинет, сел в кресло и потом, все так же не говоря ни слова, удалился».

Еще одним близким лицейским другом Пушкина был Константин Карлович Данзас, или «Храбрый Данзас», как с суровым уважением называли его в армии. Данзас был потомком старого немецкого дворянского рода из Курляндии. Ни в по-

ведении, ни в учебе особенно не отличался, хотя вступительный экзамен при поступлении в лицей сдал на отлично. Считался одним из близких лицейских друзей Пушкина.

Судьбе было угодно, чтобы 27 января 1837 года друзья совершенно случайно встретились на Пантелеймоновском (ныне Пестеля) мосту, недалеко от последней квартиры Пушкина, который метался по городу в поисках секунданта для предстоящей дуэли с Дантесом. Есть, впрочем, легенда о некоем провидении, которое руководило Дантесом. Будто бы накануне ему приснилось, что Пушкин умер. Наутро он поспешил к своему другу, чтобы узнать, не случилось ли с ним что-нибудь.

Так или иначе, они встретились. Опасаясь своим предложением повредить карьере Данзаса, Пушкин сказал, что хотел бы предложить ему стать «свидетелем одного разговора», на что Данзас, не говоря ни слова, согласился. Пушкин тут же повез его во французское посольство. В посольстве их ожидал секундант Дантеса — д'Аршиак. Впоследствии Данзас говорил, что оставить Пушкина «в сем положении показалось ему невозможным, и он решил принять на себя обязанность секунданта». Однако среди современных пушкинистов бытует мнение, что «случайная встреча на Пантелеймоновском мосту» — это не более чем легенда, сочиненная друзьями Пушкина уже после дуэли, «чтобы смягчить вину Данзаса перед судом».

Дуэль должна была состояться в тот же день, в пять часов вечера. Что-либо предпринять для ее предотвращения было уже невозможно. Оставалось надеяться на чудо. И Данзас надеялся. Петербургская молва утверждала, что, сидя в санях по дороге на Черную речку, Данзас ронял в снег пули, наивно полагая, что кто-то может увидеть их, догадается, куда и зачем едут сани, и, может быть, это изменит неумолимый ход судьбы.

За участие в дуэли Данзас был приговорен к двум месяцам ареста на гауптвахте. Затем был отправлен в действующую армию на Кавказ. В 1857 году в чине генерал-майора Данзас вышел в отставку.

Антон Дельвиг и Константин Данзас были не единственными этническими немцами среди лицейстов первого, пушкинского выпуска. Немцами были поэт и общественный деятель Вильгельм Кюхельбекер, в декабре 1825 года осужденный за участие в декабристском движении, и Модест Корф, более полутора десятилетий служивший директором Императорской публичной библиотеки.

В 1856 году в Петербурге по инициативе немецкой общественности была открыта частная немецкая мужская гимназия. Практичные немцы считали, что это даст возможность их детям приобрести знания более прикладного характера, нежели в казенных школах того времени. Директором гимназии стал воспитанник известной петербургской школы Питершуле и выпускник Петербургского университета, выдающийся педагог Карл Иванович Май, чей отец был выходцем из Пруссии.

Первоначально гимназия располагалась в доме на углу 1-й линии Васильевского острова и Тучковой набережной, затем — там же на Васильевском острове, в доме № 13 по 10-й линии. Только в 1909—1910 годах архитектор Г. Д. Grimm построил для гимназии специальное здание на участке № 39 по 14-й линии. Там гимназия просуществовала до 1920-х годов, когда по решению новой власти была преобразована в обыкновенную трудовую школу.

Гимназия Мая прославилась не только своей методикой преподавания, но и выпускниками, среди которых были такие прославленные деятели русской культуры, как Н. К. Рерих, М. В. Добужинский, А. Н. Бенуа, В. А. Серов и многие другие. Все они в городском петербургском фольклоре остались «майцами» или «майскими жуками». А гимназию, иначе как «Майской», по фамилии ее основателя в Петербурге не называли.

В основу методики обучения и воспитания в гимназии Мая был положен один из основополагающих принципов известного чешского педагога эпохи Возрождения, Яна Амоса Каменского: «Сперва любить — потом учить». Очень скоро это позволило заговорить о «майском духе» как о некоей, если и не универсальной, то оптимальной атмосфере взаимоотношений между воспитанниками школы и их учителями.

Истребление «майского духа», которым так гордились петербуржцы, началось с уничтожения в 1929 году эмблемы гимназии на фасаде здания — барельефного изображения жука, укрепленного здесь еще при строительстве дома в 1910 году. Возникновение этой «фамильной» эмблемы, по воспоминаниям выпускников гимназии Мая, относится еще к концу 1850-х годов. Все началось с того, что на одном из школьных спектаклей участники представления, обыгрывая фамилию директора, которого они любовно называли Карлушей, несли над головами изображение майского жука.

Потомком прусских аристократов считается и крупнейший русский скульптор-анималист барон Петр Карлович Клодт, хотя, по утверждению современного потомка скульптора — Евгения, Клодты «находили своих предков в родословных древних ломбардских цезарей, ветеранов Юлия Цезаря, в Вестфалии, Саксонии и Пруссии, в княжествах Айлен, Варбург, Брауншвейг, в Ливонии и Курляндии». Первый русский Клодт — Карл Густав, которого в России звали Карлом Федоровичем, служил в армии и закончил службу бароном и генералом. У него было пять сыновей. Одного из них звали Петр Клодт.

В 1833 году Петр Клодт окончил Академию художеств и с 1838 года там же заведовал литейной мастерской. Впоследствии стал академиком и профессором академии. Клодт стал основоположником анималистического жанра в русской скульптуре. «Скотский скульптор» называли его в народе. Он был непревзойденным мастером своего дела. Без преувеличения можно утверждать, что Клодт оставил своему городу великое наследство. Двадцать шесть скульптурных изображений коней украшали улицы и площади дореволюционного Петербурга, и одиннадцать из них были изваяны Клодтом. Первыми были шесть коней, впряженных в колесницу Славы над площадью Стачек. Затем появились знаменитые кони на Аничковом мосту и еще один конь с Николаем I в седле на Исаакиевской площади. Наибольшей известностью пользуется скульптурная композиция Клодта «Покорение коня человеком», или в более широком смысле — прославление человека, покорившего природу, в оформлении Аничкова моста. Начав работу над ней в середине 1830-х годов, Клодт полностью завершил свой грандиозный замысел только в 1850 году, когда была установлена последняя скульптура этой композиции.

Петербургская публика была в восхищении. Пресса наперебой публиковала восторженные отклики. Остался доволен и Николай I. Во время церемонии по случаю торжественного открытия моста император, как известно, не отличавшийся изысканностью выражений, согласно преданию, с солдатской непосредственностью громко заявил, хлопнув скульптора по плечу: «Ну, Клодт, ты лошадей делаешь лучше, чем жеребец». Похоже, эта скабрзная мысль не покидала императора и в дальнейшем. В семейном архиве Клодтов сохранилась легенда о том, как однажды, находясь одновременно с Николаем I в Берлине, Клодт появился в свите царя верхом на лошади, взятой напрокат. Не сумев с ней справиться, Клодт неудачно дернул, лошадь понесла. Шляпа скульптора свалилась, костюм пришел в беспорядок, и он сам едва удержался в седле. Очевидно пытаясь сгладить ситуацию, Николай по-своему снисходительно поддержал соотечественника: «Ты лучше лепишь лошадей, чем ездешь в седле».

Городской фольклор с готовностью подыгрывал казарменному юмору смахивающего на фельдфебеля императора. Рассказывают, что однажды на крупе клодтовского коня появились четыре зарифмованные строчки:

Барон фон Клодт приставлен ко кресту
 За то, что на Аничковом мосту
 На удивленье всей Европы
 Поставлены четыре жопы.

Будто бы, узнав из полицейского рапорта об этой выходке петербургских рифмоплетов, Николай подхватил предложенную игру и размашистым росчерком пера вывел прямо на рапорте экспромт собственного сочинения:

Сыскать мне сейчас же пятую жопу
 И расписать на ней Европу.

Подобные легенды во множестве ходили по Петербургу. «Лошадиная» тема, да еще в связи с Клодтом, становилась модной. Рассказывали, как однажды Клодт неосторожно обогнал коляску императора, что было «строжайше запрещено этикетом». Узнав скульптора, Николай строго погрозил ему пальцем. Через несколько дней история повторилась. На этот раз император, не скрывая неудовольствия, потряс кулаком. А вскоре государь пришел к скульптору в мастерскую посмотреть модели коней. Вошел молча. Не поздоровался и не снял каску. Ни слова не говоря, осмотрел коней. Наконец проговорил: «За этих — прощаю».

Если верить одному преданию, то, работая над конными группами для Аничкова моста, Клодт решил наконец отомстить одному из своих давних высокородных обидчиков. Месть избрал изощренную. Он будто бы решил изобразить лицо этого человека под хвостом одного из вздыбленных коней. Говорят, узкий круг посвященных легко узнавал отлитый в бронзе образ несчастного. Правда, другие были убеждены, что между ног коня скульптор вылепил портрет ненавистного Наполеона, врага любимой и единственной его родины — России. А третьи утверждали, что одно из бронзовых ядер коня просто исписано непристойностями.

Но более всего, находясь на Аничковом мосту, обыватели пытаются разгадать тайну смерти скульптора Клодта. Ее напрямую связывают со скульптурой моста. Будто бы однажды, услышав от некоего «доброжелателя» что у двух из четырех коней отсутствуют языки, скульптор так расстроился, что замкнулся, стал сторониться друзей, в конце концов заболел и вскоре умер. Будто бы от этого.

5

Среди этнических групп населения Петербурга немцы на протяжении всей истории города неизменно занимали устойчивое второе место после русских. Наивысший пик немецкого присутствия пришелся на конец 1860-х годов. Статистика утверждает, что в 1869 году немцы составили 6,8 процента всего населения столицы. При этом надо отметить, что русских в Петербурге было 83,2 процента. Легко представить, какой гигантский процент немцы составляли среди всех остальных иноязычных групп населения. Однажды среди русских славянофилов была даже

предпринята неуклюжая попытка противопоставить так называемый «Неицекий Петербург» искомно «Русской Москве». Понятно, что в многонациональном Петербурге такая попытка, по определению, была заранее обречена на провал. Но круги на воде от камня, брошенного ура-патриотами тогда, можно разглядеть и сегодня. До сих пор известен перифраз на пресловутую тему: «Что хорошо питерцу — немцу, как известно, смерть».

В первой четверти XVIII века немцы чаще всего селились в центре Петербурга. Как утверждал ганноверский резидент Ф. Х. Вебер, Адмиралтейский остров в народе именовали «Неицекой слободой», так как «в этой части города живет большинство немцев». Вторым районом по численности немцев был Васильевский остров, точнее, его восточная часть. Аккуратные, добросовестные и талантливые умельцы, они снискали среди горожан всеобщее уважение, а такой фольклорный фразеологизм, как «василеостровский немец», стал символом добротности, основательности, солидности и благополучия. По воспоминаниям поэтессы Ирины Одоевцевой, когда петербуржцы хотели кого-то похвалить, именно так и говорили: «Какой-то весь добротный, на иностранный лад, вроде василеостровского немца».

Рассказывали в Петербурге легенды и о немецком трудолюбии. Будто бы даже во время театральных представлений работающие немки, чтобы не терять времени даром, вязали на спицах. В самых трогательных местах они все как одна отрывались от работы, утирали слезы аккуратно выглаженными платочками, а затем снова все как одна принимались за работу. Мало того, чтя сложившиеся годами традиции, в петербургском немецком театре по вторникам и пятницам спектакли не ставились, поскольку «купечествующий немец в эти дни по вечерам занимался приготовлением писем на почту».

В петербургском городском фольклоре сохранилась память и о другой немецкой традиции — праздновании Ивановой ночи или ночи на Ивана Купалу. Центром праздника был Крестовский остров. Посреди острова находился песчаный холм, на верхней площадке которого, по свидетельству современников, одновременно могли поместиться до ста человек. Фольклорное название этого холма «Кулерберг» произошло, по мнению многих исследователей, от глагола «kullern», что приблизительно означает «скатываться, ложась на бок». Будто бы так в очень далеком прошлом развлекались прапрадеды петербургских немцев у себя на родине в ночь на Ивана Купалу. Со временем этот старинный ритуал приобрел более респектабельные формы, и в петербургский период немцы уже не скатывались с «Кулерберга», а сбегали с вершины холма, непременно парами — кавалер с дамой. Остался в собрании петербургского городского фольклора и микротопоним «Кулерберг».

С началом Первой мировой войны и потом — в годы революции и Гражданской войны — количество немцев в Петербурге резко поубавилось, а затем немцы и вообще в городе стали незаметны.

6

Август 1914 года стал драматической вехой во взаимоотношениях русского и немецкого народов. Начавшаяся Первая мировая война погрузила Петроград в кошмар шовинистического угара. Всюду мерещились шпионы. Шпионами слыли владельцы гостиницы «Астория», по национальности немцы. Шпионами считались все сотрудники немецкого посольства, здание которого находилось напротив «Астории». Утверждали, что между посольством и гостиницей, под Исаакиевской площадью прорыт подземный ход. Разъяренные лавочники начали крушить все немецкое, что по-

падалось под руку. Били стекла витрин немецких магазинов. Громили немецкие булочные. В очередях и на остановках общественного транспорта вылавливали тех, кто говорит не по-русски. Руки возбужденной черни дошли до Германского посольства. Посольство разместилось в монументальном здании, построенном в 1911—1912 годах по проекту немецкого архитектора П. Беренса на углу Исаакиевской площади и Большой Морской улицы. Здание с мощным, на высоту всех трех этажей колонным ризалитом украшали огромные каменные скульптуры двух мощных коней с могучими юношами на аттике. На ненавистных коней накинули аркан. Сотни ура-патриотических рук ухватились за веревку, и кони рухнули на землю. Чрево одного из них, как утверждают легенды, разверзлось, и изумленная толпа замерла, не увидев там никаких радиопередатчиков, которые, по утверждению молвы, должны там находиться.

С тех пор эта замечательная конная группа считается навсегда утраченной. Правда, бытует легенда о том, что немецкие кони до сих пор покоятся на дне то ли Невы, то ли Мойки. И ждут своего часа. Будто бы целы и невредимы.

Как и следовало ожидать, война обострила отношение петербуржцев к немцам. Оно стало крайне враждебным. Понятно, что в первую очередь это коснулось супруги императора Николая II Александры Федоровны, немки по происхождению. Александра Федоровна была дочерью великого герцога Гессен-Дармштадтского. Ее родовое имя — Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса. При обязательном в подобных случаях обряде перехода в православие она получила русское имя Александра Федоровна. Но о своем немецком происхождении ей забыть не давали. В народе ее называли Гессенской Мухой, по названию известного хлебного комарика, очень опасного вредителя злаков.

Волею судьбы, едва ступив на российскую землю, Александра Федоровна сразу же стала объектом сплетен и пересудов. Случилось так, что она приехала в Россию, когда отец Николая Александр III уже умирал, а венчались молодые через неделю после его похорон. Более того, ей пришлось сопровождать гроб с телом покойного из Крыма, через всю Россию, в Петербург. А в столице от Николаевского вокзала до Петропавловского собора она была вынуждена пройти за катафалком пешком, даже не подозревая того, что обыватели восприняли это как недобрый знак. Суровая, молчаливая толпа тысячами глаз всматривалась в свою будущую императрицу, старухи шептали: «Она пришла к нам за гробом. Она принесет нам несчастье».

Неприязнь общества к Александре Федоровне с каждым годом все больше усиливалась и обострялась. Одна за другой в царской семье рождались девочки: первая, вторая, третья, четвертая. Над императрицей будто бы тяготело некое «зловещее предсказание», относящееся к судьбе ее детей, сделанное саровским отшельником Серафимом еще деду Николаю II Александру II. Смысла этого предсказания никто не знал, потому что даже Александр II в свое время ужаснулся ему и решил скрыть его от близких. Но в народе об этом пересказывали, а впоследствии связали его с тем, что Александра Федоровна пренебрегла старинным обычаем, издавна существовавшим в царской семье: невеста перед венцом должна заехать в Казанский собор и помолиться. Иначе это грозит ей или бесплодием, или рождением одних девочек. Александра Федоровна не заехала, а когда ей напомнили об этом, рассмеелась русскому предрассудку. Между тем угроза старого предания с неумолимой жестокостью сбывалась. В конце концов императрица не выдержала. Она стала набожной.

К несчастью, ее набожность приобрела явно выраженный суеверный характер. Она впала в мистику, окружила себя юродивыми, блаженными, гипнотизерами, среди которых попадались откровенные мошенники, авантюристы и проходим-

цы. Так, один из них, некто француз мсье Филипп, вымаливал зачатие мальчика, еженощно прячась под супружескую кровать императрицы.

Мальчик, долгожданный царевич Алексей, родился только через десять лет. К ужасу родителей, вскоре выяснилось, что он страдает гемофилией — наследственной болезнью, передающейся только по мужской линии. Однако молва и в этом обвинила несчастную императрицу.

К этому времени относится появление на русской политической сцене Григория Распутина, которого императрице настоятельно рекомендовали как человека, способного излечить наследника от страшной болезни. Распутин полностью подчинил своей воле как императора, так и императрицу, которые во всем следовали его советам. В народе Распутина считали любовником Александры Федоровны. «Николаю Георгия, а Александре Григория», — говорили в народе после награждения императора орденом Георгия Победоносца.

С началом Первой мировой войны всеобщая неприязнь к императрице переросла в ненависть. Ей не могли простить ее немецкого происхождения. Николая II и Александру Федоровну язвительно называли: «Гражданин Романов и его жена Александра Немецкая». Ее считали немецкой шпионкой и иначе чем Немецкая Царица не называли. Говорили, что хитроумный Бисмарк специально устроил ее брак с наследником русского престола, чтобы затем она возглавила немецкий шпионаж в России. Будто бы в Царском Селе даже находилась тайная радиостанция, при помощи которой царица передавала секретные сведения прямо в германский генеральный штаб.

Александра Федоровна занималась довольно активной благотворительной деятельностью. Она часто ездила по госпиталям, разнося подарки раненым солдатам. Иногда от имени государя вручала ордена, но среди солдат того времени была распространена суеверная примета: Георгиевский крест из рук императрицы обязательно приведет к гибели на фронте.

Между тем, по свидетельству историков, Александра Федоровна была преданной супругой, прекрасной матерью и в известном смысле патриоткой своей новой родины.

Судьба бывшей немецкой принцессы в России сложилась драматически. И если Александра Федоровна и была в чем-то виновата перед своим новым отечеством, то она полностью искупила эту вину в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, когда была расстреляна большевиками в Ипатьевском доме Екатеринбурга вместе со своим мужем, любимыми детьми и верными слугами.

В конце 1930-х годов наступило резкое потепление в отношениях между двумя народами — немецким и русским. Углубление в эту тему не входит в заданные рамки настоящего очерка, ограничусь только одним примером из собственной биографии. Мой первый в жизни «взрослый» костюм достался мне от отца. Как маме удалось его сохранить, я не знаю, но после окончания школы и вплоть до своей свадьбы я его носил. Помню, как впервые его надев, я с ужасом обнаружил во внутреннем кармане круглый эмалевый значок с фашистской свастикой. Сейчас мало кто знает, что в 193 — 1941 годах такие значки были очень популярны. Носить его на лацкане пиджака было модно. Значок символизировал нерушимую дружбу советского и немецкого народов, которая установилась после подписания небезызвестного пресловутого «пакта Риббентропа—Молотова». Все в мире смешалось, и мой отец, как и многие другие, дважды стал невольной жертвой чудовищного самообмана. Один раз метафорически, когда прославлял дружбу двух великих государств, другой раз реально, погибнув от рук «лучшего друга Советского Союза», как в газетах и по радио накануне Великой Отечественной войны называли Германию.

Неожиданное нападение фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года, в результате которого уже 8 сентября того же года Ленинград был заключен в кольцо блокады, стало вторым жестоким ударом по русско-немецким отношениям за всю историю Петербурга. Уже в первый день блокады впервые был предпринят мощный массированный налет фашистской авиации на Ленинград. Вместе с бомбами на ленинградцев посыпались пропагандистские фашистские листовки. Подбирать их опасались. За их хранение можно было поплатиться жизнью. Власти побаивались немецкой пропаганды, и листовки уничтожались. Но их тексты — яркие и лаконичные — запоминались. Как рассказывают блокадники, многие из них превращались в пословицы и поговорки, которые бытовали в блокадном городе: «Доедайте бобы — готовьте гробы», «Чечевицу съедите — Ленинград сдадите». В конце октября город познакомился с предупреждениями: «До седьмого спите, седьмого ждите», «Шестого мы будем бомбить, седьмого вы будете хоронить». Авторство некоторых подобных агиток приписывается лично фюреру.

Уверенность фашистов в полной победе над Ленинградом была столь высока, что Геббельс публично заявил об этом заранее как о свершившемся факте, а Гитлер будто бы назначил по этому поводу банкет в ленинградской гостинице «Астория». Все это нашло отражение в ленинградском фольклоре. Сохранилась легенда о том, как гитлеровцы, войдя в Стрельну, увидели трамвай. Один офицер предложил другому проехать на нем в город. Второй на это предложение ответил: «Зачем на трамвае? Завтра мы въедем в Ленинград на танках». По-другому, распевая частушки, думали об этом солдаты Ленинградского фронта:

Геббельс криком надрывался:
«Мы забрали Ленинград».
А на деле он заврался
Так, что сам теперь не рад.

Думал Гитлер: «Новым годом
Ленинград возьму походом».
Просчитался подлый гад:
Лоб расшиб о Ленинград.

Сохранилась и легенда о несостоявшемся банкете в гостинице «Астория» по случаю взятия Ленинграда. Шестиэтажное с мансардным этажом здание гостиницы было построено в 1911–1912 годах по проекту архитектора Ф. И. Лидваля на одном из самых престижных участков города. «Астория» заслуженно считалась одной из лучших гостиниц Петербурга. Во время начавшейся вскоре после ее открытия Первой мировой войны в ней проживали высшие офицерские чины. С тех пор в народе сохранилось ее неофициальное название, нет-нет да и встречающееся иногда в обиходе: «Военная».

Репутация лучшей гостиницы сохранялась за ней и позже и, как утверждают легенды, не только в Ленинграде, но и далеко за его пределами. Вероятно, с этим обстоятельством связана одна из самых загадочных легенд блокадного города — легенда о торжественном банкете в гостинице «Астория», который фашисты якобы задумали устроить в побежденном Ленинграде. Будто бы даже разослали приглашения с точной датой предстоящего банкета — 21 июля 1941 года.

Впервые в Ленинграде заговорили о несостоявшемся банкете весной 1942 года. Молву подхватили писатели и журналисты, и легенда зажила самостоятельной

жизнью. Между тем, несмотря на якобы тщательнейшую подготовку этой победной акции, не сохранилось ни приглашений, ни билетов, ни меню этого банкета, в то время как, например, разрешения на въезд в Ленинград, которые действительно были загодя отпечатаны немцами, можно и сегодня увидеть в Центральном музее вооруженных сил.

Между тем массированные налеты немецкой авиации и прицельные артобстрелы продолжались с той же интенсивностью. Стреляли в часы наиболее оживленного движения и по самым многолюдным местам. Били по трамвайным остановкам. 3 августа 1943 года на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы у Гостиного двора артиллерийским снарядом было одновременно убито 43 человека. С тех пор этот перекресток в народе называется «Кровавым».

Ленинград устоял. Ни один сапог фашистского солдата не коснулся его мостовых.

Фюрер стонет, фюрер плачет,
Не поймет, что это значит:
Так был близок Ленинград,
А теперь танцуй назад.

Только в 1945 году немцы вновь появились на улицах Ленинграда, но уже в ином качестве. Они были военнопленными. В основном их использовали на строительных и восстановительных работах. Ленинградцы старшего поколения хорошо помнят многочисленные бригады пленных немцев, занятых восстановлением разрушенного войной города. И опять, как и много лет назад, немецкое трудолюбие и аккуратность стали гарантией высокого качества построек и тщательности их отделки. Всего в Ленинграде пленные немцы возвели 293 дома. Все они отмечены городским фольклором. До сих пор дома, построенные ими в Новой Деревне, в обиходе называются «немецкими домами», в Кировском районе на проспекте Стачек — «немецкими коттеджами», на Черной речке — «немецкими особнячками». «Немецким домом» называют петербуржцы и многоэтажный дом с магазинами на Благодатной улице, 47.

7

Одна из своеобразных легенд послевоенного времени утверждает, что фашистам все-таки удалось навеки оставить след своего присутствия в ненавистном им городе. Участвуя в строительных работах по восстановлению разрушенного войной Ленинграда, снедаемые ненавистью, позором поражения и тайной жадной мести, пленные немцы включили в орнамент одного из домов знак свастики. Постоянным читателям «Невы» об этом уже известно (Нева, 2011, № 12). Однако в контексте настоящего очерка легенду о доме в Угловом переулке, как нам кажется, следует еще раз напомнить.

Этот ничем не примечательный жилой дом № 7 в Угловом переулке построен в 1875 году по проекту архитектора Генриха Богдановича Пранга, немца по происхождению, чьи предки приехали в Россию еще при Петре I. Фасад дома выложен серым кирпичом и пестро орнаментирован краснокирпичными вставками. В его орнаменте действительно хорошо различим знак свастики. Этот древний символ света и щедрости присутствует в традиционных орнаментах многих народов мира. Известен он и в России. Он представлял собой один из вариантов креста и считался

источником движения, эмблемой божественного начала. Он был домашним символом дома Романовых и изображался на капотах царских автомашин, на личных конвертах императрицы, на поздравительных открытках. Свастику даже планировали разместить на новых денежных купюрах, которые готовили к выпуску после окончания Первой мировой войны. Но в XX веке знак свастики был использован немецкими нацистами в качестве эмблемы «арийского» начала и в современном восприятии вызывает однозначные ассоциации с фашизмом, ужасами войны, уничтожением и смертью.

В этом контексте уже не имело особого значения, кто возводил или ремонтировал именно этот дом, не имело значения даже время его возведения. Для создания легенды было вполне достаточно того факта, что пленные немецкие солдаты в самом деле участвовали в восстановлении Ленинграда, и на фасаде дома в Угловом переулке, хорошо видном с набережной Обводного канала, многократно повторенный, действительно присутствует этот одиозный знак.

Между тем на 293 домах, построенных немцами после войны, нет никаких знаков, относящихся к их строителям или тем более к фашистской идеологии. Из тысячелетнего опыта человечества известно, что Время лечит. И если это так, то пусть орнамент на доме в Угловом переулке служит напоминанием не только о черных страницах истории русско-немецких отношений. Но и о том огромном вкладе, который внесли петербургские немцы в развитие государственного строительства, промышленности, науки, образования и культуры не только Петербурга, но и всей России, представляя собой все слои населения — от членов царской семьи до аптекарей и ремесленников.

НЕОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ РУССКОГО ЯЗЫКА*

Список слов

*ГЛУПОСТЬ, ГОСУДАРСТВО, ГРУСТЬ,
ДЕЛО, ДЕНЬГИ, ДЕРЖАВА,
ДОБРО, ДОЛГ, ДОМ,
ДРУГ и ДРУЖБА, ДУХ*

ГЛУПОСТЬ

Казалось бы, слова «глупый», «глупость», «глупец» и другие слова с этим корнем вполне ясны. Глупый значит неумный. У глупого человека ограничены умственные способности. Он несообразителен, бестолков, он совершает поступки, не обнаруживающие ума, лишённые целесообразности, разумной созерцательности: «глупо» себя ведёт, задаёт «глупые» вопросы и т. п.

У слова «глупый» огромный синонимический ряд: «нелепый», «дикий», «идиотский», «дурацкий», «тупой», «тупоумный», «придурковатый», «бредовый», «безголовый», «дубоватый», «с придурью», «без царя в голове», «из-за угла мешком прибитый», «Богом убитый» и проч. и проч. Перечисление подобных синонимов заняло бы несколько страниц.

«Глупость» — это не только «дикость», «тупоумие» и «нелепость», это ещё и «вздор», «чушь», «дичь», «абракадабра», «ахинья», «мура», «околесица», «сапоги всмятку», «бред сивой кобылы». И ещё несколько страниц подобной «чепуховины» и «дредбедени».

Владимир Станиславович Елистратов родился в Москве в 1965 году. Окончил филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова в 1987 году. Защитил кандидатскую диссертацию по филологии в 1993 году, докторскую диссертацию по культурологии в 1997-м. Заслуженный профессор МГУ. Преподаёт риторику, семиотику, историю литературы, современный русский язык, культуру речи, лексикографию. Лауреат премии имени Шувалова I степени. Автор книг «Арго и культура» (1995), «Трактат рго таракана» (1996), «Словарь русского арго» (1994, 2000), «Язык старой Москвы» (1997, 2004), «Словарь крылатых фраз российского кино» (1999, 2010), «Словарь языка Василия Шукшина» (2001), «Толковый словарь русского сленга» (2010), «Нейминг: искусство называть» (2013, совм. с П. А. Пименовым), «Словарь жаргона русского капитализма начала XXI века» (2013) и др. Автор более 700 публикаций. Работы переведены на немецкий, венгерский, болгарский, английский языки. Переводчик, поэт, прозаик, эссеист, публицист. Автор сборника юмористических рассказов «Тю! или рассказы российского туриста» (2008), поэтических сборников «Московский Водолей» (2002), «По эту сторону Стикса» (2005), «Духи мест» (2007). Печатается в журналах «Знамя», «Октябрь», «Нева», «Поляна», «Дружба народов», «Наука и жизнь», «АиФ — путешествия», «Аэрофлот» и др., постоянный автор газеты «Моя семья». Живёт в Москве.

* Продолжение. Начало в № 1, 2017.

Создается впечатление, что «глупость», которая умудрилась объединить какую-то неясно чем бредящую «сивую кобылу» с «царем в голове», «абракадабру» (кстати сказать, древнее магическое заклинание) с «ахинеей» (а это — «афинская мудрость!»), не так уж и глупа.

Глупость — это явно нечто большее, чем просто отсутствие умственных способностей. Может быть, нам поможет разобраться в подлинной природе «глупости» этимология этого корня. А она очень необычна и забавна.

Интересно, что корень «глуп» родственен корням «глух» и «глум». Они имеют один индоевропейский исток — «глу» (звучавшее примерно как «гхлу»), а он, в свою очередь, нес в себе, как это ни странно, идею шутки и веселья.

Отсюда — слово «глумиться», которое сейчас в нашем языке очень «сузилось» и значит всего лишь злобно и оскорбительно издеваться, а раньше значило забавляться, веселиться, болтать. «Глум» — это шум, забава, «глумец» — скоморох.

А что делает скоморох? Дурачится, то есть изображает глупого. Вообще смех («хохот», «гогот», «хихиканье» и т. п.) — это всегда своего рода игра в глупость. Шут, «глухой» — это не только тот, который не слышит, но и тот, который как будто оградился от жизни, замкнулся в себе, «прекратился», не имеет выхода. В древнерусском языке «глухими» называли реки, не имеющие исхода («глухой рукав реки»).

«Глухость» — это безразличие, невнятность, смутность, непроявленность, беспросветность: «глух к чужому горю», «глухое эхо», «глухое недовольство», «глухой тупик», «глухой забор», «заглохший пруд». В сущности, «глухость» — это некое затухание, иссякание, иначе говоря — смерть.

Выходит, «глупость» занимает огромное пространство между «глум» и «глух».

Что же получается? С одной стороны, глупость — это смех (то есть одно из самых ярких проявлений жизни), с другой — «обезжизнивание», смерть. Ничего себе диапазон!..

Но на самом деле так оно и есть. Не случайно в русском фольклоре, в русской народной фразеологии нет однозначной оценки глупости. Да, быть глупым плохо, но есть и совсем другие интерпретации глупости, например: «Глупый да малый правду говорят», «Глупый про себя согрешит, а умный многих соблазнит», «Лучше быть глупым, да добрым, чем умным, да злым».

Нет, мы отнюдь не утверждаем, что глупость — это хорошо.

Мы хотим сказать лишь о том, что глупость — не так однозначна и плоска, как может показаться на первый взгляд.

К тому же хорошо известно (эта мысль в разных формах выражалась многими выдающимися людьми), что по-настоящему умный человек не считает себя умным, но никого и никогда не называет глупым, а глупый всегда считает себя умным, а всех вокруг считает глупцами.

Вот такая диалектика.

ГОСУДАРСТВО

Значение слова «государство» в современном русском языке по сравнению с тем, каков его (слова) реальный потенциал, чрезвычайно узко. Можно сказать — убого. Оно — как ссохшийся до размеров несъедобного ореха некогда сочный и вкусный плод.

Сейчас «государство», если сформулировать значение слова максимально просто, — это 1) социально-политическая организация общества и 2) страна с такой организацией.

В обыденном языковом сознании государство в его первом значении, как правило, — обезличенная сила, которая воспринимается либо как «вынужденное зло», либо (что реже) как «добрый волшебник».

В любом случае «государство» противопоставлено человеку. Оно — словно бы принудительный ассортимент. Что-то вроде языческого божка: его надо бояться, но вместе с тем от него ждут и защиты, и даров.

Но ведь в этом слове, в его истории заключено множество совершенно иных, очень глубоких и мудрых смыслов.

Слово «государство» еще триста лет назад обозначало процесс, а не данность, результат. Оно было не статично, а динамично. То есть можно было сказать, к примеру: «Наше государство проходит хорошо».

Государство — это не просто пространство с определенной системой (хорошей или плохой) его управления, но и время, произрастание, становление и т. п. А кроме того — действие, усилия, процесс правления. Словом — жизнь. А не просто безликая сила, по своей неясной воле использующая по отношению к нам то кнут, то пряник.

Далее: слово «государство» (а иначе — «господарство») связано со словами «государь», «господарь», «господь», «господин» и т. д. То есть с личностью. Причем и со Сверхличностью Бога, и с конкретным частным лицом.

Очень важно понять, что «государство-господарство» — это не «монархия», не «царство» (ср. зачин русских сказок «в некотором царстве, в некотором государстве...»), а именно «Личностное Пространство-Время».

Господин — это и глава государства, и глава семьи, и хозяин, и супруг, и собственник чего-либо.

Вполне возможно, что слово «господь» у наших предков (и не только у наших, но и у других индоевропейцев) обозначено гостеприимного хозяина, то есть состояло из двух корней «гость» + «хозяин». Здесь заложена та идея, которая впоследствии будет выражена А. С. Пушкиным в крылатом выражении «все флаги в гости будут к нам».

Некоторые историки языка связывают корень «господь» и со словом «свобода». Что очень показательно и симптоматично.

Государство — это живое личностное (и открытое для других личностей) пространство и время свободы и гостеприимства.

Если мы научимся понимать это слово именно так, то будем жить в совсем другом государстве.

ГРУСТЬ

«Грусть-тоска меня съедает...» — пишет А. С. Пушкин в «Сказке о царе Салтане». И пишет, как всегда, очень точно. Почему? Сейчас разберемся.

Грусть — это чувство уныния, легкая щемящая печать, душевная тревога, тоска.

Вообще: «уныние», «тревога», «печаль», «тоска», «грусть»-«горесть», «кручина», «скорбь» и т. д. — все эти слова вроде бы близки, синонимичны, но, с другой стороны, каждое из них передает что-то свое. «Скорбь» — это явно когда кто-то умер. Собака явно не может «кручиниться», а «тосковать» — может вполне. «Уныние» — смертный грех, а «тревога» — нет. В «тоске» слышится отчетливо что-то скучное, а в «печали» скуки явно нет. И т. д.

Но вернемся к «грусти».

«Грусть» — очень русское слово. У других славянских народов этот корень как-то не прижился. Или прижился в совсем других значениях. Одни славяне вместо «гру-

сти» говорят «смуток» (то есть когда смутно на душе), другие — «туга» (то есть когда на душе туго).

Наши древнерусские предки много веков назад говорили «грущение», «грустость», «сгруститься», «грузский». Причем подразумевалась не только грусть, но и бедствие, беда, тяжесть и даже гнев. «Произошла грустость (беда), и я сгрустился (разгневался)». Примерно так. То есть грусть понималась значительно шире, чем сейчас.

Теперь дальше. В корне «грусть» исконно существовало чередование «у/ы». А теперь догадайтесь, какой современный русский глагол родственен «грусти»... Правильно — «грызть». А еще и «грыжа» (у болгар, скажем, «грижа» — забота, тревога).

«Грызть», «грызться» в древнерусском языке значило не только жевать, есть, впиваться зубами, но и жалить, скорбеть, печалиться. Отголосок этих значений — наш современный фразеологизм «угрызения совести».

«Смута на душе», грусть устойчиво связано в нашем языковом сознании с идеей поедания, «пожирания».

Аналогичный пример. Слово «забота» (в диалекте «зобота») происходит от глагола «зобать» — есть, раскусывать, хлебать, клевать, жадно, торопливо поедать. Соответственно, «зобаться» — беспокоиться, тревожиться, заботиться. Отсюда и поговорка: «Забота не съела, так скука одолела».

Выходит, что грусть (как и забота) — что-то вроде грызуна, который грызет нас изнутри, поедает, лишает жизненных сил, энергии.

Грустить — значит быть поедаемым грустью, чахнуть, гаснуть, хиреть.

В сущности, грусть — саморазрушение, медленное самоубийство. А самоубийство, даже медленное, смертный грех.

От грусти один шаг до уныния (еще одного смертного греха). Кстати, слово «уныние» происходит от «ныть», а этот корень, который в той или иной огласовке присутствует во многих индоевропейских языках, значит губить, угнетать, мучить и, наконец, мертвец, мертвый. Сначала — грусть, потом — уныние. Сначала ты еще живой, затем — нет. Грустно-унылая картина получается.

«Грусть-тоска меня съедает...» — пишет А. С. Пушкин, очень точно передавая исконное, глубинно-этимологическое образное содержание грусти-«людоеда».

Так что «грустить или не грустить — вот в чем вопрос»... И, как вы, надеюсь, уже успели убедиться, отнюдь не риторический.

ДЕЛО

Если попытаться разобраться в значениях слова *дело* — в нем можно буквально утонуть.

Дело — это практическая деятельность, занятие (труд, работа), чья-либо обязанность (долг, задача), поступок, необходимость (потребность, нужда), профессия (область знаний, специальность), предприятие (коммерческое или промышленное), положение вещей (связанное с какими-либо обстоятельствами), факт (происшествие, событие), то, что подлежит судебному разбирательству (а также сам процесс этого разбирательства и собрание документов по нему), сражение (военная кампания, бой)... Существует еще множество других, в том числе устаревших значений.

Дело, дела — это по сути «всё». Мы говорим: *вот такие дела!* *Ну и дела!* Или даже просто *дела!*

Попробуйте дать толкование этому самому *дела!* Не так легко определить, например, междометие это или существительное. Все зависит от нюансов контекста. Неясно, одобряет ли говорящий эти самые *дела* или осуждает их, неподдельно удивляется или язвительно иронизирует.

Ясно, что существительное *дело* связано с глаголом *делать*. Но оно связано еще и с *деть* (*задеть, одеть, надеть* и т. д.), с *одеждой* и даже с частицей *де* (*дескать*), которая первоначально означала «он говорит», то есть *дело* исконно связано не только с деланием, но и с говорением.

Мы употребляем десятки устойчивых выражений со словом *дело*: *дело в том, что...*, *на деле, ближе к делу, не твоё дело, не у дел, не по делу, на самом деле, мне нет дела до...*, *дело десятое...* Все это, так сказать, «литературная фразеология». Но сниженный разговорно-просторечно-жаргонный язык тоже активно использует *дело*: *дело пахнет керосином, дело ясное, что дело темное, слово не документ — к делу не пришьёшь, короче: дело к ночи...*

Слово *дело* явно *при деле* (= *при делах*) в современном русском языке. Оно очень многозначно и имеет множество функций (говоря научным языком, «полифункционально»). Но тем не менее нельзя сказать, что с ним все обстоит «безоблачно».

В конце 80-х — начале 90-х годов XX века из всего спектра значений *дела* резко актуализировались те, которые связаны с *делом* как экономическим, финансовым предпринимательством.

И тут произошло следующее.

Русское слово стало вытесняться английским *бизнес*. А что такое *бизнес*? «Предпринимательская экономическая деятельность, приносящая доход, прибыль» (С. Ожегов). Слово *бизнес* твердо заняло свою нишу в русском языковом сознании. Надо сказать, что эта ниша вполне оправдана. Если я говорю *у меня есть своё дело*, то это, конечно, может означать, что я бизнесмен-предприниматель. Но данное выражение может иметь и более «высокий», вернее, совсем некоммерческий смысл. Например, что я коллекционер или писатель. Слово же «бизнес» (не очень, надо сказать, фонетически приспособленное для русского языка) расставляет все точки над «и». У меня может быть какой-нибудь *бизнес* в виде цветочного ларька, который дает мне прибыль, и при этом у меня есть *дело всей жизни* (я пишу гениальный роман). Все логично.

С другой стороны, что такое сейчас по-русски *деловой человек*? Наверное, то же, что *бизнесмен*. Но позвольте: что же такое получается: что все остальные «небизнесмены» не заняты *настоящим делом*? Значит, биржевой спекулянт — *деловой человек*, занятый *настоящим делом*, а выдающийся хирург *делом* не занят? Что такое *деловая пресса*? Это когда про политику и деньги. А «Учительская газета» — это так, для «бездельников-недоделков»?

Конечно, язык сразу реагирует на такую несправедливость. *Бизнесмен* сразу превращается в *бизнюка*. *Деловой человек* — в *деловую колбасу*. Слово *делец* уже давно в русском языке «с душком». Вспомним хотя бы дельца Петра Петровича Лужина из «Преступления и наказания».

Бизнес — необходимая составляющая нашей жизни. Но главное ли это из тех многочисленных *дел*, которые знает наш язык?

Думается — нет.

Есть симптомы и не столь, казалось бы, серьезные. Но все, что происходит с нашей речью, — все это знак, символ.

Почему, к примеру, вместо *дело в том, что...* многие говорят *фишка в том, что...* Это что еще за *фишка*? Что-то вроде «азартного прикола»? Вроде бы пустяк. Но *фишка* идет дальше и все больше теснит *дело*: *как фишка ляжет* (как пойдут дела), *замутить фишку* (начать дело), *просечь фишку* (понять суть дела)... Дальше — потенциально — может получиться *вся фишка моей жизни, завести уголовную фишку, сдать фишки новому директору...*

Не слишком ли много чести этой самой *фишке*?

ДЕНЬГИ

Слово «деньги» — очень непростое. И кроме того, в нем много если не мистического, то уж точно — символического.

Возьмем, к примеру, его этимологию.

Принято считать, что они заимствованы русским языком из языков тюркских. Действительно, оно есть в татарском, казахском, башкирском и многих других языках тюркских (и не только!) народов Евразии.

Но его нет в древнетюркских языках. Значит, оно для тюрков тоже заимствованное. И есть версия, что как раз наоборот — тюрки заимствовали его у восточных славян. И эта версия имеет полное право на существование.

С другой стороны, слово «деньги» из славянских языков только в русском. Даже у белорусов и украинцев — «гроши». Зато корень слова «деньги» присутствует, например, в староперсидском. Может быть, и у русских, и у тюрков оно — оттуда?

В общем — детективная история. Уравнение с несколькими неизвестными.

Но есть совершенно конкретный факт: у огромного количества неславянских народов, населяющих Россию и так называемое ближнее зарубежье, есть это слово.

Между прочим, еще одна версия происхождения «денег» такова: слово «деньги» имеет тот же источник, что и слово «таможня». Значит, создаваемый сейчас таможенный союз — это, в общем-то, «денежный союз»? Возможно.

«Образ денег» в русском языке очень интересен и сложен. Деньги у нас не просто «дензнаки», они — живые, олицетворенные: «Плакали мои денежки», «На торгу деньга проказлива», «Торг без глаз, а деньги слепы», «Денежки что голуби: где обживутся, там и ведутся».

Они, с одной стороны, обладают огромной самостоятельной силой («денежка не бог, а полбога есть»), а с другой — «не деньги нас, а мы их нашли», то есть они полностью зависят от нас.

Деньги — это и очень «много», и очень «мало»: исконно «деньга» (форма единственного числа) — это всего лишь полкопейки, а «деньги» (форма множественного числа) — целое состояние, капитал.

Деньги почти поэтизируются в русской фразеологии («деньги — крылья»), но они же объект насмешки («деньги — прах»).

Они — «добро» («после Бога деньги — первые») и «зло» («много денег — много горя»).

В слове «деньги» сосредоточена глубинная народная мудрость, ведь деньги — это то, без чего никак нельзя прожить, но вместе с тем то, что ни в коем случае нельзя абсолютизировать. Деньги — словно бы «лакмусовая бумажка» человеческого существования. Надо и уметь их зарабатывать и не делать их смыслом жизни, фетишем.

Надо быть экономным и расчетливым и уметь при необходимости расставаться с деньгами.

С распадом Советского Союза деньги стали для многих предметом культа и смыслом жизни. Все это отразилось в языке. Тут же в моду вошли десятки жаргонных синонимов «денег» («бабло», «гринь», «лавз» и т. д.), появились новые выражения, типа знаменитого «Бабло побеждает зло», в которых это самое «бабло» стало выступать в роли «супергероя».

Актуализировались и заимствованные выражения: «Время — деньги» («time is money»), «Делать деньги» («to make money»).

На какое-то время образ денег в языке утратил свою диалектическую целостную, синтетическую мудрость.

Но время идет, и приходит постепенно вновь осознание того, что «всех денег не заработаешь».

Английская поговорка «Время — деньги» подразумевает, что время и эквивалентно деньгам, и наоборот и что отсчет времени (от секунд до лет, десятилетий) равен отсчету денег. Например, секунда — копейка, минута — рубль. И, соответственно, человеческая жизнь как таковая, с ее радостями, любовью, дружбой. Сколько вы отдали за свою жизнь? Не правда ли — некорректный и даже зловещий вопрос. Ведь ваша жизнь — бесценна.

Кстати, как все мы помним, по-русски нельзя спрашивать «сколько времени?» (правильно — «который час?»).

Вроде бы — пустячок. Но, как говорится, «пустячок, а приятно».

ДЕРЖАВА

В современном массовом языковом сознании это слово — 1) высокого стиля и 2) имеющее оттенок значения, который можно охарактеризовать как «мегаломанское». То есть, иначе говоря, держава — торжественный («парадный», «пышный», «помпезный») синоним большого государства, которое «обладает» большим экономическим и военным потенциалом и играет определяющую роль в мировой политике и международных отношениях (С. Ожегов).

Хотя слово может употребляться и употребляется в значении «независимое, самостоятельное государство», а также «его территория», тем не менее в настоящее время актуальны именно указанные стилистический и смысловой компоненты. «Держава» — это прежде всего «Великая Держава».

Это слово — один из ключевых семантических индикаторов современного состояния российского геополитического мышления. Можно с уверенностью сказать, что судьба этого слова наиболее чутко отражает и будет отражать судьбу России в целом.

Просто говоря, ключевой вопрос начала XXI века: является ли Россия «державой» (то есть — «Великой Державой», «Мировой Державой»). На этой «линии семантического фронта» ведутся упорнейшие бои.

С одной стороны, слово есть в гимне («священная наша держава»), оно частотно в речи так называемых государственников («державников»). Вне всякого сомнения, в целом в национальном сознании простых людей Россия — все-таки «Держава». Не случайно так популярно очень точное, ёмкое и, так сказать, перманентно актуальное выражение из фильма «Белое солнце пустыни» «за державу обидно», которое может быть расценено как архетипическое для подлинного патриотизма.

С другой стороны, упорно внедряется мысль, что Россия по отношению к развитым странам больше не Великая Держава (в дискурсе либералов синоним — «Империя»), а просто одна из «рядовых бриксов». Упорно синонимизируются слова «великодержавный» (тут же «выстреливает» — «шовинизм»; ср. также «великорусский») и «имперский» (+ «амбиции»). Дальше идет стандартный прием идеолого-смысловой демонизации: расширяются контексты, и встраивается система перекрестных штампов, вроде «крах великодержавных амбиций» или «родимые пятна великорусского имперского сознания». В этом смысле, в случае «победы» либерального дискурса, судьба слова «держава» будет аналогична судьбе германизма «рейх» в русском языке, который навсегда дискредитирован национал-социалистическим контекстом. Но обстоятельства складываются иначе.

Массовое современное сознание, в отличие от политико-идеологического, все меньше ассоциирует слово «держава» с монархической идеей («держава — золотой шар с короной или крестом наверху — эмблема власти, одна из регалий монарха»). Поколение тридцатилетних не вкладывает в это слово и той «ностальгически-ретроспективной коннотации», которая есть в сознании значительной части стершего поколения. А значит, уже запущен процесс постепенного выздоровления слова. Через некоторое время (судя по всему — примерно через поколение) все антимонархические и антисоветские компоненты смыслов окончательно «выветрятся» и будет возможно возвращение к описыванию истонченного этимона.

«Держава» (примерно с XI века) — это 1) основание, основа, «фундамент, то, что поддерживает, то, на чем что-либо держится, и т. п.»; 2) сила, могущество, порядок; 3) владычество, власть. Основные смысловые скрепы слова — 1 и 2. И они находят подтверждение в диалектной и просторечной разговорной речи. «Держава» — это, к примеру, ось колеса, опора (столб и т. п.), «крепость» («надо усилить державу стены»), порядок («нет в этом доме державы»). «Держава» в значении «государство» появляется позднее (прим. в XIII веке). Далее начинается многовековая конкуренция слов «держава» и «государство». В конечном счете «государство» отходит в семантическую зону «этоса» и «логоса», а «держава» — в зону «пафоса», обрастая произвольными эмоционально сильными единицами: «державец» у Пушкина, «державный шаг» (у Блока и др.), «державствовать» (у Суворова и др.) и проч.

«Государство» (первоначально — «господарство») выражает идею персонифицированного управления (Господь, Государь). Это слово как бы «вертикальное». «Держава» (от «держать», «поддерживать») есть выражение идеи поддержания космического порядка (настраивания, наращивания, регулирования, упорядочивания). Государство — это в большей степени тотем и демиург. Держава — культурный герой. Государство — это «госвертикаль», скипетр, жезл, посох (греческое «скептрон»), ствол. Держава — это «держава», то, чем управляют, страна, земная горизонталь, почва, корни. Государство и Держава — это вертикальная и горизонтальная составляющие креста, небесное и земное, дух и тело.

Наверное, целесообразно было бы активно внедрять в речь политиков (и не только политиков) слово «держава» в, казалось бы, бытовых (преимущественно — пространственных) контекстах: «на севере державы», «совершил поездку по державе» и т. п. Нужно приучать людей к тому, что «держава» — это не «потерянный рай», не «ретроплач», не безвозвратно ушедшее прошлое, а нормальная «данность», факт. Поразительно, но в одном из статистических опросов только примерно 45 % школьников знали, что по территории Россия — самая большая страна в мире. Называли Китай, США и даже Индию и Австралию. И около половины считало, что СССР был в 2–3 и даже в 4 раза больше, чем РФ.

Аналогично, на наш взгляд, необходимо поступать и с однокоренными словами («державное развитие», «наш державный туризм» и т. п.).

Полезно было бы и создавать отчасти игровые неологизмы («российско-державные интересы», «грамотно державить», «Медведев отдержавился», «раздержавить американцев», «державка Меркель», «эстонская державка», «Чубайс-нанодержец»).

ДОБРО

Что такое «добро»?

На этот вопрос совсем нелегко ответить. Конечно, можно (и нужно) открыть толковый словарь и посмотреть, что же там написано.

Там написано много всего интересного. Интересно, например, то, что «добро» — это и существительное, и частица, и союз.

Как существительное это слово объединяет и общее, и абстрактное, «идеальное» значение (нечто положительное, хорошее, полезное) и конкретное, «материальное» (вещи, имущество). К тому же есть и третье, ироничное («мне этого добра и даром не нужно»).

В качестве служебных частей речи это слово выражает согласие («добро! договорились») или допущение («пусть, пускай бы»: «добро бы сам работал, а то...»).

Что же такое «добро» — антоним зла, материальный достаток, согласие, возможность?.. Уж слишком широкий «разнос смыслов». И все же: должна же быть какая-то глубинная связь между «добросердечностью» и «согласен», между «недвижимостью» и «пускай».

И снова ответить на этот вопрос нам поможет этимология, то, что можно назвать генетическим смысловым кодом слова.

В древности, в праиндоевропейском языке, насколько возможно его реконструировать, корень «добр» (он звучал примерно как «дхабх») имел приблизительно такое значение: подходить, соответствовать, быть годным, адекватным, ладиться, согласовываться, если угодно, находиться в гармонии. То есть «добрый» — это тот, который словно бы «в ладу» с миром, тот, кто говорит миру «да!», и мир отвечает ему тем же приветствием, той же частицей.

Максимально обобщая, можно сказать, что «добро» — это взаимное «да!» (= «добро!», «ладно!», «пусть»). Добро — это мир, гармония, космос (в отличие от Хаоса-зла).

Ясно, что в дальнейшем корень приобрел в разных языках, в том числе и в русском, множество самых положительных смыслов. Это: красота, здоровье, качественность, изобилие, доброта, полезность, дружелюбность, знатность, изящество, ловкость, умение...

Может показаться странным, но, например, это слово родственно слову «фабрика», которое происходит от латинского корня и означает «ремесленник», «мастер». Отсюда — мастерство, изделие, изготовленное мастером. А, к примеру, у армян, которые высоко ценят кузнечное дело, «дарбин» (ср. русское «добрый») — значит кузнец.

«Добро» в ряде языков (например, украинское «доба́») — это срок, пора, соответствующий отрезок времени. Скажем, время, подходящее для сева или сбора урожая. Кстати, с русским «добро» и украинским «доба» связано слово «удобный», то есть, опять же, соответствующий, подходящий, ладный, гармонирующий кому-либо или чему-либо.

«Кузнец» и «ладно», «фабрика» и «гармония», «срок» и «красота», «имущество» и «здоровье» — все эти и многие другие «добрые» смыслы объединены одним корнем, который, как некий опять же добрый дух, сохраняет в мире покой и равновесие, противостоя зло, разрушению, обману, хаосу. Он сеет и в языке, и в реальности *добросердечие, добросовестность, добрососедство, доброжелательство, добродушие и добродетельность*. И добрые люди по доброй воле желают друг другу *добротного дня и добротного здоровья*. И *дают добро добрым молодцам*, которые отправляются в *добротный путь* вершить добротные дела.

Так что *добро пожаловать* в реальный мир русского языка. И — в *добротный час!*

ДОЛГ

Это, казалось бы, короткое и ясное слово вызывает у исследователей языка серьезные затруднения.

Вообще «долг» («задолженность», «должный», «должник», «долговой», «долженствование» и т. п.) — один из, как сейчас говорят, «знаковых» смыслов в России и в целом в современном мире.

Дело в том, что «долг» — это и «обязанность», и «задолженность».

В некоторых словарях это слово представлено как одно — многозначное, например, в словаре под ред. Д. Ушакова. В других (к примеру, у С. Ожегова) — как два разных слова, то есть как омонимы.

Различение омонимии и многозначности — это далеко не только сугубо языковедческая проблема. Это проблема глубинная, мировоззренческая. Если мы имеем дело с одним многозначным словом, то его значения связаны друг с другом. Если же перед нами омонимы — связи между их смыслами нет: они словно бы «развелись», навсегда «расстались». Раньше они были «семьей смыслов», а теперь стали «разведенными словами» (или связей между ними вообще никогда не было).

Ясно, что в русском языке «долг-задолженность» и «долг-обязанность» — это один корень, а не случайное совпадение, как «коса» и «коса» или «Том» (и Джерри) и «том» (энциклопедии). В других языках это совсем разные корни, даже никакие не омонимы (скажем, в английском: «debt» и «duty»).

Действительно: есть ли какая-нибудь связь между «влезть в долги» и «гражданский долг», между «жить в долг» и «отдать последний долг» (почтить память умершего), между «платить по долгам» и «по долгу службы»?

Вроде бы «долг-задолженность» — это что-то «материальное», чаще всего — деньги, а «долг-обязанность» — что-то «идеальное», «высокое». Но тогда что такое «быть в долгу перед кем-нибудь» и «не остаться в долгу у кого-нибудь»? Это про что — «про деньги» или про мораль и нравственность?

В школе все читали «Капитанскую дочку» А. С. Пушкина, и все помнят, что одна из главных мыслей этого произведения выражена русской народной пословицей, вынесенной автором в эпиграф: «Долг платежом красен».

Каков был «долг» и каков — «платеж» в «Капитанской дочке»? Гринев дал Пугачеву заячий тулупчик, стакан вина и совсем немного денег, а Пугачев Гриневу — жизнь и счастье (в виде Маши Мироновой). По сути, «материальное» («задолженность») было обменено на «духовное» («обязанность»).

«Долг» — это то, что «дóлжно» сделать, то есть во что бы то ни стало «следует», «надо». В слове «долг» содержится неотъемлемая нравственная составляющая, то, что немецкий философ Иммануил Кант называл «категорическим императивом». И нет никакой «моральной разницы», должен ли ты отдать три рубля соседу или выполнить гражданский долг защиты Отечества. Великий «нравственный императив» действует в обоих случаях.

В последние десятилетия, конечно, многое изменилось, сместилось в восприятии слова «долг». Как только иронически не перевирали пословицу из «Капитанской дочки» («долг платежом (и даже — утюгом) страшен» и т. п.). Для многих стало обычным, естественным, само собой разумеющимся представление о том, что жить в долг (в кредит) — это нормально. Если уж самое богатое государство в мире — США — имеет самый большой госдолг, то что же стесняться нам, «грешным» (кстати, одно из значений слова «должен» в древнерусском языке — «грешен»)! Правда, существует такой афоризм, «Если брать в долг, то только в государственном масштабе, иначе придется его отдавать». Но он мало кого останавливает, как мало кого останавливает и множество других пословиц и поговорок, говорящих на разные лады о том, что брать в долг опасно, что долг разрушает дружбу и т. п.

Слово «долг» в значении «задолженность» все чаще вытесняется «материально-деловым» для русского уха словом «кредит». Хотя слово «кредит» происходит от

высшей степени «идеально-нравственного» латинского корня «credo» — вера, верить — и триста лет назад, при Петре I, появившись в русском языке, оно означало не что иное, как «авторитет», «уважение» («у него большой кредит» = «он пользуется высоким уважением, которого достоин»).

Так называемый мировой финансовый кризис — это кризис жизни не по средствам, жизни огромного числа людей, организаций, фирм и целых государств в долг. Когда есть «долг-задолженность», а чувства «долга-обязанности» отдавать «долг-задолженность» нет. «Debt» есть — «duty» не надо.

И, наверное, пословица «Долг платежом красен», где «долг» — все-таки многозначное слово, а не один из омонимов, может стать отличным эпиграфом для программы выхода из мирового кризиса. И «финансового», и нравственного, мировоззренческого, духовного.

ДОМ

Слово «дом» — одно из самых важных в нашем языке.

Что оно обозначает?

Казалось бы, все просто: дом — он и есть дом. «Дом, в котором мы живем». «Дом, который построил Джек». «Как в лучших домах Лондона»...

Но если внимательно взглядеться, вслушаться и вдуматься в данное слово, то окажется, что «дом» — это практически... всё.

Судите сами.

Во-первых, «дом» — просто строение, здание. То есть некая оболочка, некое определенное ограниченное пространство, где можно разместить, к примеру, предприятия или учреждения. Отсюда «дом техники», «дом культуры», «дом просвещения», «дом учителя», «дом отдыха»... Бывают еще и «дома скорби» (сумасшедшие), и «желтые дома» (публичные), а также «казенные», «ночлежные», «воспитательные» и т. д. В принципе к слову «дом» можно подставить любое прилагательное в именительном падеже или существительное в родительном — и это словосочетание обязательно будет что-нибудь значить, будет потенциально осмысленным. Например, «сладкий дом» или «дом морковки». Наверное, первый будет связан со сладостями, а второй — с морковью. Есть же бесконечные «дома мебели», «дома плитки» и проч. и проч. Чем морковка хуже мебели?

Во-вторых, дом — это там, где живет а) человек, б) люди, связанные родственными отношениями, семья. Получается, что «дом» — главное место человека на земле, а кроме того — то место, где соединились самые близкие для этого человека люди. Дом — «место жизни» и «место кровной связи людей».

Все мы помним одну из важнейших книг Древней Руси — «Домострой». О чем эта книга? О том, как правильно «обустроить» себя и семью, организовать пространство жизни.

Существует и еще одно, ныне, к сожалению, стремительно устаревающее значение этого слова — «род», «династия», «фамилия». Мы до сих пор говорим, изучая историю: «дом Романовых», подразумевая царскую династию. Это значение широко используется, кстати, в бизнесе. «Дом Версаче», то есть династия предпринимателей-модельеров.

Давайте и мы не будем стесняться и употреблять слово «дом» в этом значении. Так и говорить: «в нашем доме Ивановых было немало искусных столяров» или «наш дом Петровых славится несколькими поколениями изобретателей». Чем «Иванов» хуже «Версаче»?

Мы видим, что дом — это и а) пространство-символ любой сферы человеческой жизни, то место, где люди объединяются, связываются на основе этой сферы, от изобретательства до отдыха, от учительства до продажи сантехники, и б) пространство-символ частной, личной жизни человека, и в) пространство-символ кровной связи людей, родства, родственной преемственности.

Получается, что, в общем-то, кроме дома (вернее — Дома), ничего на свете и не существует. Он — пространство-время личное и пространство-время общественное.

В древнерусском языке, помимо значений «строение», «жилище», «хозяйство», «семья» и «род», это слово значило еще и «храм». А хоронили людей в «домовине», то есть в гробу, «доме смерти». Получается, что дом — это и жизнь, и смерть, и светская жизнь, и религиозная, и частная, и общественная. Не случайно корень «дом» наверняка производителен: *домотканый, домовой, домовитый, домушник, бездомный* и т. д. и т. п.

Школьник делает «домашку». Карлсон называет фрекен Бокк «домомучительницей». Можно сделать «брови домиком». Корень этот поистине неисчерпаем.

Давайте же и использовать его максимально широко, творчески.

Немецкому философу Хайдеггеру принадлежит знаменитое определение: «Язык — это дом Бытия». Это значит: мир живет в языке. Как джинн в волшебной лампе.

Мир, Вселенная, жизнь становятся осмысленными и прочувствованными, а значит — «домашними», родными нам только в нашей речи.

Произнесите (или напишите) слово «дом» — и представьте, что в этих трех звуках (буквах) вся Вселенная.

У индусов есть «ом». Вернее — «аум». Магическое слово-символ-вместилище всего мироздания. У нас есть «дом».

Чем «дом» хуже «ома»?..

ДРУГ и ДРУЖБА

Этот древнейший индоевропейский корень исконно был связан с идеей поддержки, «держания», «подпираания», опоры. Друг — это то (тот), на что (кого) можно опереться.

Что такое «дружить»? Дружить — значит поддерживать друг друга, опираться друг на друга, держаться друг за друга.

Очень симптоматично, что дети чаще говорят не «дружить», а «дружиться» («Давай дружиться!»). Устами младенца глаголет истина. В древнерусском языке был как раз глагол «дружитися», а глагол «дружить» имел более узкое и не такое глубокое значение: быть друзьями на свадьбе (дружка — это свадебный распорядитель, приглашаемый женихом, что-то вроде шафера или тамады).

Итак, в этом корне заложена идея неразрывной взаимосвязи. В принципе можно сказать, что слово «дружба» («дружить») — самое «системное» слово языка.

Что такое система? Это взаимосвязанные элементы (минимум — два). Если А, то Б, если Б, то А. Если один из друзей не друг («и не друг, и не враг, а так», как в песне В. Высоцкого), то дружбы уже никакой нет. Нельзя дружить «в одну сторону».

Люди везде и всегда понимали и чувствовали, что самое надежное в человеческих отношениях — это как раз такая «системная взаимосвязь». Измена, предательство всегда считались страшным грехом. Вспомним хотя бы, пожалуй, самое известное предательство в истории человеческих предательств Иуды Искариота. Да и Кайн, убивший своего брата Авеля, тоже был предателем.

Поэтому это корневое гнездо стало одним из самых «востребованных» в индоевропейских языках. Оно имело, помимо тех значений, которые оно имеет в современном русском языке, множество смысловых «изводов». Например: отряд, муж, сонаследник, добиваться, князь, общительность, соединяться, оказывать военную поддержку, сильный, крепкий, прочный, выполнять приказание и др.

Дружба — понятие универсальное, оно объединяет и отдельно взятых людей, и страны, народы («дружественные страны», «дружба народов», «содружество государств»), и людей со всем миром. Мы говорим: «друг свободы», «друг степей», «дружить со спортом», «зеленый друг» (о деревьях, растениях), «четвероногие друзья». Мы можем обращаться словами «друг» и «друзья» к совершенно незнакомым людям, выражая свою доброжелательность, расположение.

Жалко, что многие слова с корнем «друг» в современности либо утратили ряд своих значений, либо просто ушли из употребления.

Например, слово «дружень». Это раньше была «военная дружина», и «пионерская», и «добровольная народная» (которую, кажется, начинают возрождать), и «ледовая» (в хоккее). Дружина — это и артель, и жена, и подруга, и община. Было такое мужское имя — Дружчик Дружкович. Красиво.

Сейчас слово «дружина» употребляется значительно реже. Существовали, но исчезли из нашей речи такие слова, как «друзьяка», «дружелюбивый», «дружий», «дружник», «друголюбивый», «другобица», «другиня», «дружененавидец» и множество других.

И все же корень активно живет. Вспомним: мы живем в России, а Россия входит в *Содружество Независимых Государств*. По сути дела, огромная Евразия от Камчатки до белорусских лесов и от Ледовитого океана до Памира объединена этим корнем.

Так что: «Ребята, давайте жить дружно».

ДУХ

Данное слово, как и родственные ему «дуть», «душа», «дышать», «дыхание» и др., индоевропейское.

Очень характерно полное расхождение в судьбах данного корня у славян (и ряда других индоевропейцев) и германцев.

У славян протоконцепт «духа» сомкнулся со сферой «человеческого», а у германцев — со сферой «звериного», «животного». В различных германских языках этот корень дает рефлекс в значениях «зверь», «утка», «олень» и т. д. и т. п., то есть то, что дышит (ср. «всякое дыхание да хвалит Господа»). Так же, как в латинском (*animus — animal*).

В русском языке слово «дух» в силу своей непростой судьбы, полной то сакрализирующих, то десакрализирующих коллизий, очень многозначно, полиденотативно и еще более поликоннотативно.

В целом все обилие значений можно свести к четырем блокам: 1. то, что связано с внутренней жизнью человека (душой); 2. то, что связано со стихией воздуха и, соответственно, дыхания; 3. то, что связано с истинным, глубинным смыслом, сущностью («дух романтизма»); 4. то, что связано с высшими, «бесплотными» и «сверхъестественными» сущностями. Условно говоря: Душа — Воздух — Смысл — Бог. Четыре онтологических (бытийных) столпа. Главные «онтономы» русской идеи.

Семантику «духа» в русском языке можно охарактеризовать как некий базовый русский. «Онтологический (Бытийный) Квадрат» (ср. пресловутый «Черный

квадрат» Малевича). Человек Дышит (душой) и постигает Смысл Бога. Или: Бог через Дыхание (свое) дарует Человеку Смысл. Или: Дыхание Бога есть Смысл (существования) Человека. Каждый из элементов Квадрата, помимо своей сущности, трехипостасен. Душа человека есть и Дыхание (воздух), и Бог, и Человек. Дыхание (воздух) есть и Смысл, и Бог, и Человек. Бог есть и Дыхание, и Душа, и Смысл. Смысл есть и Бог, и Дыхание (жизнь), и Душа.

Интересно, что исконно библейское «В начале было Слово (Логос)» по-древнееврейски звучит как «в начале было Роах Элохим», то есть дуновение Бога. То есть Логос — это как бы «Боговоздух», которым впоследствии будет дышать человек, познавая смысл бытия.

Символично, что мы имеем шесть обоюдных (то есть 12) онтологических векторов. Причем многочисленные, можно сказать, бесконечные, словообразовательные, идиоматические иokkaзионально-авторские модели с данным концептом в русском языке развиваются строго по этим векторам.

Человек «устремляется к Богу», «душа просит воздуха» («душа никак не надышится»), «ангел по душе прошел босиком» (В. Шукшин; у него же «умная, то есть «осмысленная» душа» и т. д. и т. д. Стилистика Н. Лескова, В. Хлебникова, А. Платонова и многих других писателей строится, в сущности, на вербальном «проявлении» данного «Онтологического Квадрата».

Смысловые десакрализирующие наслоения, вроде слова «духовность», ставшего в современном языке семантической пустышкой (абстрактный суффикс «ость» зачеркивает иконическую конкретность слова «духовный», ср. «духовное пение», «духовное подвижничество»), можно сравнить с поздними подмалевками на древней иконе.

С нашей точки зрения, первоочередная задача — вычленение подобных черноквадратных «подмалевок», то есть, по сути, реставрация русской Смысловой (Бытийной) Иконы.



Владислав БАЧИНИН

К БИОГРАФИИ МОДЕРНОСТИ

Часть первая. Ренессанс и Реформация

Реформация против Ренессанса

Гегель как-то назвал совершившийся в начале новой эры переход от язычества к христианству тихой, скрытой революцией в царстве духа, результаты которой поражают. Однако сегодня еще более поражают результаты революции обратной, погрузившей миллионы людей в состояние великой христианской депрессии.

Первые симптомы этой депрессии обнаружились сравнительно давно, примерно шесть-семь столетий тому назад, когда над Европой стала всходить утренняя звезда Возрождения. Именно в это время в пределах европейского культурного пространства начало возводиться грандиозное сооружение из двух самостоятельных, но связанных между собой ансамблей семиотической архитектоники. Первый воздвигли в XIV–VI веках южане-итальянцы, второй в XVI веке начали строить северяне-германцы. Один был назван Ренессансом, другой – Реформацией.

Владислав Аркадьевич Бачинин – доктор социологических наук, профессор, автор более 700 опубликованных работ по теологии, философии и социологии культуры, в том числе более 50 книг, среди которых: «Достоевский: метафизика преступления» (2001), «Малая христианская энциклопедия». Т. I–IV (2003–2007); «Девиантология и теология: от Библии к Достоевскому» (Saarbrücken, Deutschland, 2012), «Теология, социология, антропология литературы (Вокруг Достоевского)» (2012), «Мистерия гуманитарной аномии. Духовная война интеллектуалов» (2014), «Протестантская этика и дух остмодернизма» (в соавт.) (2015), «500 лет спустя, или 95 тезисов о Реформации, модерности и великой христианской депрессии». Победитель конкурса философских трактатов на тему «Возможна ли нравственность, независимая от религии?», проведенного Российской академией наук (Институт философии).

Только на первый взгляд может показаться, что обе части этого уникального культурно-исторического сооружения, разделенные временем и пространством, не имели ничего общего. На самом деле их, не обладавших явным внешним сходством, роднило сходство функциональное. Совместное предназначение обоих заключалось в том, чтобы выполнить функции родильного дома, в котором должна была появиться на свет цивилизация-культура модерности (modernity).

В XVI столетии зрелый полуязыческий Ренессанс, старший по возрасту, и его соперница, юная христианская Реформация хронологически примкнули друг к другу, оказались соседями по историческому времени и географическому пространству. Они выступили в качестве двух формообразующих сил, включившихся в процесс трансформации европейского мира, в динамику поджидавшего его духовного псевдоморфоза. Ренессанс собирался обеспечить морально-депрессивный переход европейского сознания из христианского состояния в постхристианское, секулярно-неоязыческое, а Реформация вступила в борьбу с надвигавшейся на Европу великой христианской депрессией.

Ныне эон модерности, начавшийся Ренессансом и Реформацией, фактически завершился. Мы, успевшие пожить внутри него и наблюдающие, как модерность уходит в мир иной, претворяясь в postmodernity, пребываем в контенте исторического эпилога, в постфинальной, турбулентной фазе великой эпохи. Наше существование — это вынужденное включенное наблюдение за опускающимся занавесом и напряженное ожидание, чем же в итоге обернутся совершающиеся глобальные метаморфозы. Нам хочется понять то, что пока плохо поддается пониманию, хотя и происходит у нас на глазах.

Интерес к загадочной и непредсказуемой современности рождает вполне понятное любопытство к ее генеалогии, к тем временам, когда эта современность-модерность, умудрившаяся растянуться чуть ли не на семь столетий, только начиналась. Так человек, за плечами которого большая жизнь, испытывает неподдельный интерес к временам собственного далекого детства, отрочества, юности. Им движет не праздное любопытство, а экзистенциально окрашенная надежда увидеть там, в далеком прошлом, судьбоносные знаки уже известных ему перипетий собственной биографии.

Сегодня состарившаяся модерность во многом напоминает глубокий колодец, в который нас тянет заглядывать в надежде разглядеть там что-то важное для получения ответов на вопросы: «Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?» И вот именно там, в исторической глубине, вполне отчетливо вырисовываются две фигуры, роли которых в рождении и становлении современной нам цивилизации-культуры трудно переоценить. Это итальянский поэт Данте Алигьери и немецкий религиозный реформатор Мартин Лютер. Именно они первыми на своих территориях занялись строительством, снаряжением и подготовкой к историческому плаванию большого корабля со звучным именем «Modernity».

Поскольку Ренессанс и Реформация явились сдвоенным прологом исторической пьесы модерности, двуединым истоком сегодняшнего европейского сознания, то вполне уместно предположить, что исследование дантовского и лютеровского поворотов европейской культуры может преподнести нам отнюдь не лишние уроки самопознания.

Это тем более важно, что ныне, на рубеже тысячелетий, наша цивилизация, имеющая библейско-христианскую наследственность, завершает протяженный, многовековой цикл своего существования. Она заканчивает его историческим многоточием, то есть некой странной, неясной и, увы, нерадостной неопределенностью нынешнего духовного состояния европейского мира и его планетарных окрестностей.

Налицо явный разрыв между историческими циклами — завершившейся модерностью-секулярностью и еще только готовящимся заступить на вахту новым историческим циклом, пока безымянным. И мы вынуждены балансировать или даже просто болтаться внутри этого опасного разлома, условно именуя его то *постсовременностью-постмодерностью*, а то и постсекулярностью.

Гуманитарии любят шекспировскую метафору века, который «вывихнул сустав». Но эти слова слабо резонируют с нашим сегодняшним мироощущением. В нынешнее, несравнимо более драматическое время шекспировская метафора выглядит слишком мягкой, не отвечающей ни внешним реалиям, ни строю нашего мировосприятия. Ведь на самом деле мы чувствуем себя находящимися внутри века, у которого вывихнут не один сустав, а переломаны все кости, который обезумел от травм, осатанел от самого себя, пошел вразнос и сам начал крушить все попадающееся ему на пути.

И что же делать в этих условиях? А делать нечего: как писал поэт Александр Кушнер, «времена не выбирают, в них живут и умирают». Впрочем, у другого поэта, Федора Тютчева похожее умонастроение облеклось в иную формулу, лишённую стоической обреченности. В подражание тону Нагорной проповеди Христа Тютчев написал, что блаженны те, кто посетил сей мир в его минуты роковые («Цицерон»).

Похоже, что мы все уже попали в число этих блаженных. Ну, а коли так, то следует принимать все происходящее без ропота, в уверенности, что все вершится не столько нашим умом, сколько Божьим судом. Попав в исторический разлом между ушедшей и зачинающейся эпохами, мы не можем знать будущего, но попытаться понять природу совершившегося, постичь сущность того, что закончилось, мы обязаны. И один из путей приближения к такому пониманию — мысленное путешествие туда, где некогда модернность впервые заявила о себе сильными голосами великих реформаторов. Париж стоит обедни. Познавательная интрига погружения в тайны Ренессанса и Реформации стоит свеч. Увидеть, как сеялись семена, которым было суждено взойти, зацвести и дать плоды на культурных ландшафтах модерности, — значит прояснить кое-что и в нашем собственном духовном хозяйстве и в нынешнем состоянии наших душ и умов.

Ренессанс как псевдоморфоз

В современном мире утвердилось довольно однобокое понимание Ренессанса. Практически мало, кто обращает внимание на то, что сам этот термин (от франц. Renaissance, итал. Rinascimento — возрождение) имеет довольно узкое, сугубо художественное и эстетическое значение и не предназначен для охвата прочих, внехудожественных сторон жизни человеческого духа.

Он был введен в середине XVI века итальянским художником и историком искусства Джорджо Вазари в его труде «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1556). Вазари обозначил художественно-историческую антитезу, в которой противопоставил два стиля — средневековый, «варварский», не имевший, как ему казалось, представлений об истинной красоте, и новый, возникший на основе обращения к античным, греко-римским образцам художественного совершенства и фактически возродивший их. При этом имелось в виду прежде всего средиземноморское искусство городов Италии XIV—XVI веков, где древнеримская классика была «у себя дома», куда она как бы вернулась в обновленном виде.

С XIX века понятие Ренессанса стало расширяться, как бы растягиваться и распространяться на другие географические территории. Искусствоведы заговорили об искусстве французского, немецкого, нидерландского, чешского, даже древнерусского Возрождения. Одновременно начала изменяться и смысловая вместимость

термина: стали появляться труды о ренессансной философии, социальной теории, политико-правовых учениях и т. д. Так что в результате от первоначальной, конкретной географической и художественной локализованности не осталось и следа.

С Ренессансом европейское сознание вошло в состояние крайне противоречивой метаморфозы, которую сегодня, если использовать нынешнюю терминологию, можно было бы назвать *атеистическим поворотом*. Начавшись с Возрождением, он обрел радикальность и масштабность во времена Просвещения и достиг апогея в эпоху поздней модерности.

Ф. Ницше, надо отдать ему должное, усмотрел в Ренессансе то, чего иные поклонники его культуры не желали замечать, — антихристианский радикализм, секулярную закваску. Правда, это был взгляд не сторонника, а ярого противника христиан. Но сама по себе констатация была верной: «Понимают ли в конце концов, хотят ли понять, чем был ренессанс? *Переоценкой христианских ценностей*, попыткой, предпринятой со всеми средствами, со всеми инстинктами, со всем гением, доставить победу *противоположным* ценностям...»¹

Мы уже давно привыкли к тому, что содержащийся внутри ренессансной культуры секулярный, то есть богоотрицающий, настрой именуется гуманистическим. И эта понятийная подмена вместе с порожденными ею смысловыми и морально-этическими контрверсами мало кого волнует.

У современного гуманитарного сознания не вызывает ни малейшего беспокойства и тот симбиоз секулярности с неоязычеством, который стал краеугольным камнем в основании всего ренессансного ансамбля. Сама его установка была, пожалуй, важнейшим актом в закладке фундамента Ренессанса, в его генезисе.

Ренессанс явил себя в виде двуединой стратегии *паганизации и секуляризации* всей духовной жизни. Это означало вначале мягкое, вежливое, а затем все более напористое и жесткое преследование только одной цели — вытеснения всего христианского за пределы культуры и жизни.

Поскольку внешне привлекательный, но негативный по сути секулярный тренд с его богоотрицающей направленностью не имел под собой прочных, достойных, освященных традицией мирозерцательных оснований, то к нему для усиления его антихристианской энергетики примкнуло древнее греко-римское язычество, облаченное в прельстительные художественно-эстетические формы.

Ренессанс оказался самым мощным за полторы тысячи лет истории христианства рецидивом язычества. Эта реанимация паганизма на интеллектуально-философском, художественно-эстетическом и, конечно же, обыденном уровнях очень походила на какую-то полустихийно-полусознательную, ползучую языческую реформуацию. И она стала возможной прежде всего по причине духовного истощения папизма, того глубокого церковного псевдоморфоза, внутри которого очутился Рим. Стоило Католической церкви духовно ослабнуть, как тут же язычество, его застарелый недруг и недуг, воспрянуло и стало возрождаться.

По своей сущности псевдоморфоз — это отклонение сущего от должного, опасная для судьбы субъекта утрата главных ориентиров. В случае с папским Римом это навигационный сбой всей направляющей оптики и уход церковной системы с пути истины в сторону, в блуждания и блуд, когда начинается скольжение по наклонной духовного падения туда, где уже нет ни Христа, ни истины. Именно такое скольжение в моральную пропасть стало главной особенностью существования Католической церкви в эпоху Ренессанса. И чем дальше оказывался Христос, тем ближе придвигалось греко-римское язычество, норовя занять Его место.

¹ Ф. Ницше. Антихрист. СПб., 1907. С. 151.

В таком возрождении язычества не было ничего нового или необычного. Весь Ветхий Завет полон историй о том, как израильский народ регулярно впадал в языческие соблазны, переживал рецидивы паганизма. Как только его посещали какие-либо сомнения относительно Бога, с Которым был заключен завет, так он незамедлительно становился жертвой языческих искушений (2 Пар.34—35; 4 Цар.22—23) и следующих за ними тяжелых духовных последствий. И каждый раз требовались недюжинные реформаторские усилия, чтобы вырваться из духовного провала. Об этом, например, красноречиво свидетельствует история израильского царя Иосии, истинного реформатора внутри иудаизма.

В христианской Европе очаги язычества существовали всегда. То вспаляясь, то затухая, они давали знать о себе в самых разных формах. Так, на протяжении тех веков, когда христианская церковь была духовно сильна, остаточному, греко-римскому язычеству приходилось пребывать в своих социокультурных резервациях. Но в эпоху Возрождения все изменилось. Для язычества открылись возможности проникновения в самые разные интеллектуальные и художественно-эстетические практики. Оно тут же активизировалось и стало демонстрировать настойчивую склонность к скрещиваниям с христианским опытом, а заодно и к целенаправленной дезактивации христианства. В дело включился демон псевдоморфоза, вынашивавший далеко идущие планы полного вытеснения христианства за пределы духовной жизни европейцев. И эти усилия, как свидетельствует наше время великой христианской депрессии, оказались не безуспешны.

Ренессансу удалось сконструировать из паганизма и секуляризма совместный интеллектуально-эстетический «таран», предназначенный если не разрушить, то хотя бы расшатать и ослабить устои христианской этики и нравственности. Его главный удар был направлен в римское сердце католического мира, где находился папский престол. Так что этому сердцу стал угрожать крайне тяжелый моральный инфаркт, симптомы приближения которого обозначались все более явственно. И не эстетика грозила уничтожить этику, не искусство решило пожертвовать нравственностью, как могло бы показаться на первый взгляд. В действительности в атаку пошла серьезная и крайне опасная сила: инфернальное, демоническое зло, обрядившееся в эстетические одеяния, облачившее в них всю римскую церковь, декорировавшее ее повседневную жизнь великолепными архитектурными, скульптурными, живописными шедеврами, под этим эстетическим прикрытием проводило тайную операцию по деморализации папства, вгрызалось в его духовное нутро и пожирало его этическую сердцевину.

То есть на самом деле с культурой Возрождения все обстояло не совсем так, как нам вот уже лет двести толкуют историки культуры, искусствоведы и философы. Если не поддаваться искустельному обаянию ренессансного эстетического флера, не принимать видимость за сущность, то придется признать, что история Возрождения оказалась классическим проявлением логики цивилизационного и в первую очередь церковного псевдоморфоза.

Обновленное, эстетизированное, модернизированное греко-римское язычество, приправленное секулярностью, сделало свое дело: ему удалось захватить внутри ренессансного человека значительную часть тех территорий, которые до этого были вотчиной христианского духа.

Увы, у Возрождения существовала своя темная сторона, которая приняла вид широких врат всепроникающего паганизма-секуляризма, идолопоклонства и безверия, через которые ренессансный человек уверенно и беззаботно двинулся из ранней модерности в модерную позднюю, где его поджидал будущий духовно-нравственный деграданс с мировыми бойнями, всеми мыслимыми и немыслимыми видами

террора и геноцида, с глобальной моральной распушенностью, сексуальной и гомосексуальной революциями и многим другим, столь же неутешительным.

Ренессанс проделал то, что трудно не заметить: он слишком красиво и энергично поощрял плотские, сластолюбивые вождения, горделивые мечты, воинственные, хватательные наклонности греховной человеческой природы и слишком уверенно вел новоявленных неоязычников и богоборцев в историческую перспективу, где уже не было места ни для Христа, ни для гамлетовских вопросов о связях нашей жизни с трансцендентным миром высших законов.

И все же безраздельного всеевропейского триумфа у Ренессанса не получилось. Ему помешал Мартин Лютер. В лице этого неожиданно объявившегося, никому до того не известного провинциального монаха человек Реформации вызвал на поединок человека Ренессанса.

В 1510—1511 годах молодому Лютеру довелось посетить Италию. В то время там жили и творили величайшие мастера Высокого Возрождения: Леонардо, Микеланджело, Рафаэль. Данте считался уже общепризнанным классиком. Звезда Ренессанса стояла в зените, а звезда Реформации еще пребывала за линией горизонта и только готовилась взойти. В малом историческом эпизоде лютеровского посещения Рима почти нечаянно сошлись вместе цветущее Возрождение и еще не родившаяся Реформация, пребывавшая в эмбриональном состоянии. Никто тогда не мог и предположить, к чему способны в иных случаях приводить подобные соприкосновения, какое изобилие захватывающих культурно-исторических сюжетов с высоким накалом неподдельного драматизма они обещают.

Драма заключалась в том, что духу евангельской Истины, принявшему вид духа Реформации, предстояло восстать против духа богоотступничества, намеревавшегося потопить Европу в язычестве и безверии. Ожидалось нешуточное духовное сражение. Обе стороны выказали полную готовность к нему. Человек Ренессанса отличался отвагой и дерзостью. Но и человек Реформации не был ни робок, ни пуглив; ему в полной мере были присущи дерзновение и героизм.

Этика каждого из бойцов имела свой кодекс и свой особый вектор бытия. Главное различие между ними состояло в том, что базовым принципом этики ренессансного человека служил *принцип автономии*, а для лютеровского человека таковым выступал *принцип теономии*. То есть фактически столкнулись два разных символически мира. Один был ценностно разбалансирован, децентрирован, уже не испытывал потребности в Троицином Боге, почти привык обходиться без Него и цеплялся лишь за человеческое «эго» (изменчивое, непостоянное, ненадежное, сказал бы Гамлет, как женская любовь). Другой был настроен на Иисуса Христа как на абсолютную, неукоснительную, непоколебимую смысловую, ценностную и одновременно нормативную доминанту. Верность ей обещала европейскому христианину исчерпывающую полноту духовного бытия. Разворачивающейся драме духовного противостояния предстояло стать сквозным сюжетобразующим началом всей будущей истории культуры модерности.

Контроверзы ренессансной культуры

Все сказанное выше важно учитывать, чтобы не стать пленником ряда культурологических заблуждений. Случилось так, историческое соседство Ренессанса и Реформации обернулось некоторыми дефинитивными курьезами, которые кочуют из книг в книги и попадают даже в словари и энциклопедии. Так, к примеру, живопись североевропейских художников предреформационной и реформационной

эпох, Босха, Брейгеля Старшего, Дюрера, Гольбейна, Лукаса Кранаха и др., нередко преподносится как творчество мастеров Северного Возрождения². Но сам термин Северное Возрождение не совсем корректен и потому спорен.

Говорить о возрождении греко-римских художественно-эстетических канонов правомерно лишь применительно к тем культурным территориям, где они когда-то сложились и где затем, спустя века, состоялась их генетически обусловленная регенерация. Культуры всех прочих территорий, пребывающих за пределами Средиземноморья и не имеющих прямых генетических связей с греко-римской античностью, не вправе претендовать на собственную ренессансность. Черты, кажущиеся возрожденческими, могут присутствовать в них благодаря заимствованиям или собственным генетическим особенностям, но это будет уже нечто другое, требующее иных дефиниций. Неуместность использования симбиозного термина Северное Возрождение сопоставима разве что с условной попыткой назвать возрожденческие трансформации в средиземноморской культуре Южной Реформацией.

Причисление к мастерам Возрождения (Северного) тех художников, которые были рождены духом назревавшей, а затем разразившейся Реформации, несостоятельно из-за наличия глубоких сущностных различий между Ренессансом и Реформацией, которые исследователями либо не замечаются, либо намеренно игнорируются.

Использование отдельных художественно-эстетических «итальянизмов» некоторыми северными живописцами, например А. Дюрером, дважды посещавшим Средиземноморье и подражавшим А. Мантенье, можно называть как угодно, но не свидетельствами их ренессансности и не доказательствами существования Северного Возрождения. Это всего лишь ученические, сугубо внешние, формальные заимствования, не имеющие органических связей с первородной античностью, выполняющие в творчестве того же Дюрера служебные функции и потому пропитанные совсем иным духом и воздухом. Это воздух не Ренессанса, а Реформации.

Ренессансному вектору духовной динамики, именуемому секуляризацией, «разволшебствлением мира», «великой христианской депрессией», суждено будет растянуться на много веков. Ему станут сопутствовать все более громко и настойчиво звучащие мотивы апологии естественного, плотского человека. Пройдет не так уж много времени, и Европа станет свидетелем вначале триумфа живописи Рубенса, прославившего победу плоти над духом, затем успешной презентации философской модели естественного человека Руссо и, наконец, литературных опытов де Сада с его маниакальной идеей сексуальной вседозволенности.

Одним из условий всех этих побед плотского человека над человеком духовным стала, как уже отмечалось выше, прогрессирующая духовная немощь Католической церкви. Именно она, эта немощь, обеспечила сильнейший всплеск неоязыческих умонастроений и в жизни, и в культуре первых столетий эпохи модерности.

Откровенная мифологизация художественного языка итальянской живописи и скульптуры, гедонистическая философия Валлы и Мирандолы, витиеватые скабрёзности «Декамерона» Боккаччо, агрессивная апология политического имморализма Макиавелли обозначили новые ценностно-нормативные ориентиры будущего развития европейского сознания. Ренессанс многое сделал для их расстановки на всех главных культурных территориях. Он стал настоящей революцией в изобразительном искусстве. Живописные пространства картин мастеров Возрождения постепенно заполнились полуобнаженными и обнаженными человеческими фигурами. С мраморных скульптурных фигур начали спадать одежды, пока не появился лишенный всех покровов «Давид» Микеланджело. Это вторжение античного, греко-римского культа обнаженного тела в библейские сюжеты не было по-

² См., к примеру: Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., 1973.

хоже на прививку языческого черенка к христианскому стволу. Явилось нечто другое: библейско-христианские ценности стали намеренно и настойчиво погружаться в языческий культурный контекст и нередко растворяться в нем. Это отчетливо прослеживается в «Давиде», ярком образце культурной контекстуализации нового типа.

С позиций эстетических канонов античности нагота мраморного юноши выглядит безупречной высокохудожественной ценностью. Но если взглянуть на скульптурный шедевр сквозь призму библейского текста, то будет крайне трудно найти оправдание отважной художественной новации Микеланджело. Спрашивается, зачем скульптору потребовалось явное насилие над библейским первоисточником, где нет ни малейшего намека на то, что Давид вышел на поединок с Голиафом совершенно обнаженным? Почему Микеланджело столь легко и уверенно двинулся против очевидности того, что написано черным по белому в библейском тексте?

Все возможные ответы на эти вопросы сводятся, в сущности, к одному: для ренессансного скульптора его собственные художественные вкусы и эстетические предпочтения начинают значить несравнимо больше и стоять гораздо выше библейских предписаний. Библия уже не рассматривается им как Божье Слово, обладающее абсолютной императивной силой. В глазах Микеланджело библейский текст — всего лишь поставщик великолепного, первосортного материала, кладезь прекрасных тем и увлекательных сюжетов для свободных творческих воплощений в камне и красках.

Библейская содержательная фактура используется скульптором в качестве средства, позволяющего погрузить зрительское сознание в ценностную среду уже не библейско-христианских, а античных художественных канонов, когда-то обслуживавших дохристианский мир и эстетические потребности человека-язычника.

Так возникает культурно-историческая контроверза, выходящая за пределы чистой художественности и указывающая на конфликт двух типов культурно-исторического опыта — библейско-христианского и языческого.

Двусмысленность ренессансного эффекта

В секулярном гуманитарном сознании прочно утвердилась уверенность в том, что ренессансное скрещивание языческих и христианских ценностей было не просто безвредным, но чрезвычайно полезным для общего состояния культуры: живописи, скульптуры, литературы, философии. Мол, без этого симбиоза не появилось и не развилось бы великолепное плодоносящее древо культуры Возрождения.

Действительно, на первый взгляд может показаться, что все обстояло именно так. Однако при более внимательном рассмотрении обнаруживается, что этот процесс оказался значительно сложнее и противоречивее. Дал знать о себе характерный эффект, который можно сравнить разве что с ситуацией, когда блюдо, хорошо приготовленное искусным кулинаром, красиво оформленное, выглядящее как настоящее гастрономическое чудо и потому с наслаждением поглощаемое, начинает спустя некоторое время отрицательно воздействовать на организм обманувшегося гурмана в силу простой несовместимости своих особенностей с особенностями его желудка.

Двусмысленность ренессансного эффекта заключалась в том, что Возрождение явилось началом поэтапного наступления неоязычества на христианство. Поначалу оппоненты очутились в интеллектуально-художественном пространстве культуры XV—XVI веков как бы на равных правах. Они даже могли показаться двумя паритетными культурными системами, «обслуживающими» друг друга: христианство предлагало сюжетно-смысловые богатства Писания и предания, а язычество

по-ставляло мастерам ресурсные художественные формы греко-римской классики. Но позднее стала обнаруживаться динамика постепенных и вместе с тем все более настойчивых вытеснений библейско-христианских начал языческими, а также подмены первых вторыми. Все христианское стало расплываться, таять и куда-то исчезать, а языческое вкупе с секулярным, напротив, все прочнее утверждаться и все очевиднее доминировать в сферах духовных нужд европейского человека.

Языческий джинн, выпущенный Ренессансом из бутылки, стал предлагать гуманитариям, философам, художникам широкий перечень вспомогательных услуг по художественно-эстетическому и философскому обоснованию всевозможных девиаций социоморального толка. От него исходила энергичная апологетика естественных прав естественного человека — в XVIII веке на сексуальный либертинаж (раскрепощенную, не ограниченную семейными узами и этическими нормами плотскую любовь), в XIX веке на юридически оформленную легитимацию проституции (а почему нет, утверждали ее сторонники, если она существовала даже в древних языческих храмах, в центрах, так сказать, языческой духовности), в XX веке на сексуальную революцию, в XXI веке на революцию гомосексуальную.

Все это пришло позднее, ну, а пока, в XVI веке, на фоне отчетливо просматривавшейся экспансии язычества и секулярности девиантная церковная политика привела к тому, что сакральное пространство, курируемое ею, обрело искусственную замкнутость, оказалось фактически отторгнуто от трансцендентного мира высших откровений. Окружная линия экзистенциальных ожиданий, очерчивавшая сферу жизни церкви, неумолимо сужалась, сжималась подобно затягивавшейся петле. Возникло нечто вроде искусственной церковно-сакральной резервации, внутри которой у христианина уже не было возможностей ни свободно дышать, ни свободно мыслить.

Подобный морок заточения христианского духа внутри антихристианской церковности не мог оставаться незамеченным. Надо было прорывать блокаду безблагодатной диктатуры мертвящего церковного формализма, избавляться от избыточных нагромождений внешних лжесакральных форм, заслонявших Христа. Но как именно осуществить это, мало кто знал.

В этих условиях стратегия использования богатейшего арсенала мифологических форм из греко-римского наследия представлялась спасительной лазейкой. Католическое сознание не замедлило воспользоваться ею, надеясь таким паллиативным способом хотя бы как-то задержать приближение надвигающейся духовной катастрофы.

В избыточном формализме церковных структур присутствовало то особенное, что Жорж Батай в XX веке назовет «отталкивающим аспектом сакрального». Именно этот негативный фермент религиозно-церковной жизни подвергся атакам Франсуа Рабле, младшего современника Мартина Лютера. В романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» он предстал как настоящий гений десакрализации, чей смех, не вредя ни человеку, ни культуре, ни морали, решительно рвал тенета лжесакральности.

Роман Рабле стал энциклопедической суммой профанного опыта человека поздней осени средневековья. Акт подобного суммирования не был случайностью. До этого Фома Аквинский создал трактат «Сумма теологии», в котором попытался дать завершающую, «суммарную» формулу духовного опыта, накопленного европейской христианской цивилизацией за предыдущее тысячелетие.

Роман Рабле производит впечатление, будто автор пожелал создать из него гигантский склад различных сведений, служащий уменьшенным комически-ироническим аналогом того, что присутствовало в его собственной голове. Внутри этой суммы сумм образовался колоссальный дисбаланс между переполняющим ее язычески-профанным опытом массового сознания с одной стороны и христианским духовным

опытом с другой. При этом острый ум и язык Рабле не посягали на трансцендентную реальность. Прямой хулы на Господа писатель себе не позволял. Зато лжесакральное, то есть человеческие изобретения, возведенные клерикалами в статус святынь, во всем разнообразии его внешних церковных форм стало для него предметом нападок, осмеяния, главной мишенью пренебрегающей профанации.

Та очистительная работа, которую смех Рабле проделывал с церковной лжесакральностью, была в чем-то сходна с тем, что делал Лютер, расчищавший пути, ведущие в трансцендентный мир Христа. Разница состояла лишь в том, что Рабле вел наступление с позиций внешнего, плотского человека, привязанного к языческим традициям, а Лютер — с позиций внутреннего, духовного человека, твердо стоящего на евангельских основаниях. Но в целом оба они оказались невольными союзниками в деле освобождения от тех форм лжесакральности, которые обременяли христианский дух, сковывали и пригибали его к земле, препятствовали его устремленности в трансцендентный мир библейских откровений.

Лютер как человек Реформации против папы как человека Ренессанса

Ренессанс и Реформация разработали два метода культурно-исторической регенерации, у каждого из которых были свои цели и задачи. Еще раз подчеркну, что Ренессанс сделал ставку на стратегию регенерации греко-римского язычества, а Реформация была нацелена на регенерацию и распространение библейско-христианского опыта, евангельских смыслов, ценностей и норм. Эта антитеза с предельной отчетливостью проступила в отношениях между римским понтификом и Мартином Лютером. Их столкновение стало знаковым историческим событием эпохи ранней модерности.

Папа Лев, происходивший из знатного флорентийского рода Медичи, был любителем искусств, интеллектуалом-эстетом, покровителем и другом Рафаэля. Его сформировала среда, которая по своим пристрастиям и вкусам уже успела стать полуязыческой.

Лютер, категорически не принимавший подобной раздвоенности в христианстве, решительно вступил в схватку. В их конфликте отсутствовало что-либо личное. Фактически это было персонифицированное столкновение двух доминантных парадигм — ренессансной, смешанной, полиморфной, полисемантической (частично христианской, частично языческой, частично секулярной) и реформационной (исключительно библейско-христианской, евангельской).

Этот конфликт не был антагонизмом и потому предполагал в отношении христиан к язычеству не только максималистские, но и промежуточные позиции. К.-С. Льюис, взглядам которого свойственна культурологическая толерантность, так характеризовал их: «Существовал христианский „левый фланг“ — он существует и сейчас — те, кто с неизбывным беспокойством рвется во что бы то ни стало отыскать и немедленно изгнать отовсюду все языческое. Но есть и „правый фланг“ — те, кто, подобно Августину, способен увидеть у „платоников“ предвосхищение учения о Троице или торжествуяще восклицать, подобно Иустину Мученику: „Если что-то сказано хорошо, неважно кем, это принадлежит нам, христианам“»³.

В совершенно ином свете ренессансно-реформационный конфликт рассматривал Фридрих Ницше. Он перенес его в плоскость столкновения между южной, сре-

³ Льюис К.-С. Избранные работы по истории культуры. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 679.

диземноморской и северной, германской парадигмами, назвав их по-своему — гуманистической элитарностью ренессансного ума, ориентированного на высокие интеллектуально-художественные ценности с одной стороны и дремучим плебейством убогой северной души, цепляющейся за мертвеющие средневековые традиции с другой.

Ницше сочинил философскую легенду о том, как передовой интеллект и духовная свобода ренессансного человека столкнулись с отсталым умом и духовным рабством человека Реформации. Но это была ложная конструкция, не имевшая ничего общего с исторической правдой. Обвинять зачинателей Реформации в умственной отсталости мог только болезненно эпатажный интеллектуальный бретёр, достойный не столько критики и опровержений, сколько сострадания.

Конфликт между папой и Лютером обретает особую остроту, если на него взглянуть в свете известного вопроса о духовном приоритете: «Папа или Христос?» Именно он разделил европейское человечество на два лагеря. В первом отвечали: «Папа!», а во втором: «Христос!» На первых лежала вина за то, что по всей Европе, как сказал Данте, «каждый день продавался Христос». На них же легла ответственность за перемещение внутренней жизни множества людей из библейского ценностно-смыслового пространства в неоязыческое и секулярное. Они были виновны в том, что цена крови, пролитой на кресте Сыном Божьим, перестала быть абсолютной и превратилась в относительную. Они организовали куплю-продажу бесценной милости Божьей через индульгенции, из-за которых все в христианстве обрело денежную стоимость. Их усилиями учредилась грандиозная и удручающая подмена, образовалось псевдоморфное, ложное церковное пространство, которое уже затруднительно было называть христианским.

Для Лютера все это было неприемлемо, и он восстал. Папа его отлучил, а Лютер в ответ публично сжег папскую буллу об отлучении и назвал понтифика Антихристом.

Конфликт быстро набирал обороты. Папа, поначалу отнесшийся к дерзкому немецкому монаху как к какому-то недоразумению, полагал, что ему не составит труда стереть безумца с лица земли. Но он ошибся. Пройдет совсем немного времени, и ему придется сравнивать Лютера уже с эпидемией чумы. А это уже звучало как признание того, что против Рима восстал отнюдь не дерзкий выскочка, а сильный и очень опасный противник, серьезно мотивированный христианский лидер, за которым двинулись сотни тысяч вчерашних католиков.

Лютер, в отличие от папы, любил и умел размышлять о Христе. Более того, реформатор не мог не думать о Нем. Христос являлся эпицентром его мыслительной деятельности на протяжении всей жизни. Для папы же Христос выступал допускаемой условностью, с которой при желании можно было либо считаться и допускать ее в свою жизнь, либо же не считаться и не допускать. То есть Христос фактически превратился для папы в подобие некоего, не слишком важного соседа по мирозданию, от которого вполне можно было держаться на значительном расстоянии и лишь изредка, в отдельных случаях приглашать в свой дом.

Папская церковь, а с нею и ренессансная культура все больше напоминали строящуюся Вавилонскую башню. Человек Ренессанса пожелал «сделать себе имя», изумить весь мир. Он захотел добраться до небес не библейским путем веры и молитв, не через даруемое Богом спасение, а окольным, самоуправным, авантюрным способом без помощи Бога, вопреки Его воле. То, что ему удалось сделать, впечатляло, но не отвечало Божьим требованиям. Предпринятые усилия обесценивались недостойными мотивами, превратными намерениями и негодными средствами.

Ренессансность предстала как заманчивый, соблазнительный зазыв, приглашающий христиан в дивный, свободный и сладостный мир безверия и язычества, не обремененный скучными моральными назиданиями. Превратив христианство в эс-

тетическую декорацию и ловко спрятавшись за ней, секуляризм и паганизм не просто сумели обаять ренессансного человека, но на много столетий вперед обеспечили себе легальное и даже почетное место в социокультурном пространстве модерности.

Противостояние Лютера папе не было национальным конфликтом немецкого начала с итальянским, не было восстанием северного рационализма против южной чувственности. Всё это ложные антитезы. В лице Лютера не германец ополчился на римлянина, не суровая немецкая душа пошла в атаку на сластолюбивую, изнеженную итальянскую душу. Это человек Реформации, движимый духом Божьим, встал на защиту евангельской Истины против антихристианских сил, облекшихся в искунительные эстетические формы и грозивших погрузить христианскую Европу в имморализм, безверие и язычество.

Возражения человека Реформации в ответ на безмерные дифирамбы ренессансной личности в адрес человеческой гордыни звучат горьким, отрезвляющим упреком Бога грешнику: «Ибо ты говоришь: „я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды“; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть» (Откр. 3, 17–18).

Человек Реформации был настроен на то, чтобы живописные кошмары Иеронима Босха, обещавшие демонизацию мира, не стали реальностью. Он был за спасение европейских христиан от эпидемии безверия, за очищение христианского сознания от инородных образований паганизма и секуляризма, за повышение его жизнеспособности. И не просто ратовал, а предлагал новую концепцию личности, ее прав и свобод.

В результате столкнулись два типа мышления — одно, настроенное на Бога как на абсолютную смысловую и ценностно-нормативную доминанту, и другое, теологически разбалансированное, научившееся обходиться без Бога и уже не испытывающее потребности ни в Нем, ни в Его Слове.

Если человек Реформации стремился изменять себя, чтобы вписаться в рамки христианской нормативности, то человек Ренессанса, напротив, хотел приспособить христианство ко всему тому человеческому, слишком человеческому, что переполняло его. Стратегия потакания, вектор с крайне извилистой траекторией, то входивший в прямые столкновения с человеком Реформации, то избегавший их и пытавшийся двигаться в обход, подтвердит свою фундаментальную ложность и этическую несостоятельность на исходе эпохи модерности.

Возникшее противостояние означало вхождение европейского сознания в совершенно новое для него качество. Его прежняя внешняя целостность, хотя и не слишком надежная, но устраивавшая и церковные, и светские власти, осталась в прошлом. Зачинавшаяся эпоха модерности заявила о себе обнаружившимся духовным разломом. Ему будет суждено расширяться, углубляться и пересечь, подобно открытой трещине, всю ее многовековую историю, чтобы стать роковой отметиной на ее судьбе и обернуться в конце концов сокрушительным духовным поражением европейского человека.

ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ

Вера ХАРЧЕНКО

РАБОТНИК МУЗЕЯ: СКРЫТЫЕ СМЫСЛЫ ПРОФЕССИИ

В Санкт-Петербурге музеев не просто много — очень много, и сам город с восхищением величают *городом-музеем*, и профессия музейного работника, музеолога, экскурсовода куда как востребована. А всё ли мы осознаем, всё ли различаем в этой самой профессии? «Да, работаю в музее, но оказывается, я еще и артист, и педагог, и психотерапевт». Как раз о подспудной миссии музейного работника, о «производстве» позитива и даже о некотором управлении «коллективным бессознательным» мы и поговорим. С последнего и начнем.

Особенности национального менталитета обычно интерпретируют как нечто заданное, слабо поддающееся корректировке, да в ней особо и не нуждающееся, поскольку акцент ставится, как правило, на позитивных сторонах национальной ментальности. Между тем высшие слои общества, интеллектуальная элита (а музеологи, безусловно, относятся к этой категории!) могут существенно повлиять на те самые перекосы в сознании соотечественника, которые требуют внимания и вмешательства. Это прежде всего приоритет слова и некоторое пренебрежение к окружающему материальному миру. Известно, что все многообразие культур делят на два блока. Один представляет собой *res*-культуру, то есть культуру вещи, другой — *logos*-культуру, когда слово приоритетнее дела и духовное в сознании царствует над материальным, хотя не всегда это и осознается. Не *res*- ли культура порождает это ощущение добротности, ухоженности, эту заботу о порядке, спроецированную не только на дом, но и на окружающие леса в той же Эстонии, Латвии, то есть на весь тот «большой контекст», в котором живешь. Соотносится это и с немногословием самих живущих.

Российскую же ментальность с ее словоцентричностью относят к *logos*-культурам. Вот почему музей как упорядоченное многообразие предметов, как школа внимания к мелочам, как символ сбережения не только высоких идей, но и идеаль-

Вера Константиновна Харченко родилась в Калинин (Тверь), окончила Новосибирский педагогический институт и аспирантуру при кафедре русского языка Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена, доктор филологических наук, профессор, заведует кафедрой филологии Белгородского национального исследовательского университета. Автор более 500 научных работ и пяти поэтических сборников. За двухтомный «Словарь богатств русского языка» в 2004 году удостоена медали ВВЦ (ВДНХ). В журнале «Знамя» в 2006 году опубликовала статью «Русский язык: бедность или богатство?». Живет в Белгороде.

ного, продуманного быта становится психологической альтернативой весьма устойчивому мифотворчеству. *Зачем все хранить? Нет места! Что ты, как Плюшкин, все в дом тащишь?* и т. д. и т. п. В кризисные периоды (а сейчас что ни год, то новый кризис!) концепт БЕРЕЖЛИВОСТЬ становится актуальным и требует своего же сбережения в сознании нашего современника-соотечественника. Как же сотрудники музея благодарны тем, кто у себя дома сохранил, сберег ту или иную драгоценную своим возрастом вещь!

Итак, если мы говорим об управлении «коллективным бессознательным», то спрашивается, какую мысль мы несем в массы как сотрудники музея? Какая идея становится профессиональной миссией, посланием, мессиджем? В этом проблемном поле попробуем выделить целый ряд значимых и позитивных для менталитета узловых моментов.

Первое. То, что не функционально, вполне может оказаться ЭТИЧЕСКИ И ЭСТЕТИЧЕСКИ НАГРУЖЕННЫМ. Единственное, что осталось от прадедушки, — и на помойку? Отнюдь не случаен охвативший многие страны на западе интерес к рынкам старых вещей.

«С этой куклой играла еще моя бабушка». «Этой ложкой кормили меня, когда я был маленьким». «Сколько себя помню, столько помню эту кастрюльку». <...> Одноразовость здесь не приветствуется. «В Европе культ старых вещей — народ почти болезненно увлекается блошиными рынками, по-немецки „тредл“. Вещи — знак материальной культуры. Старые вещи продаются и покупаются. Коллекционируются по тому или иному принципу, используются вновь и вновь, обнаруживая новый шарм», — писала мне подруга перед моим приездом¹.

Известно, что академик Д. С. Лихачев собрал целую коллекцию фарфора, «путешествуя» ежедневно... к помойке². А я жалею, то не сохранила вышитую сумочку моей мамы. Сейчас я бы ходила с ней, радуясь уникальному эстетическому решению в повседневности, которая всегда стремится к стандарту. Насыщенность этическим и эстетическим? Да, но не только. Есть еще и нагруженные историей факты, исчезающие, как серебро, знания отечественной истории. Забирая книги соседки, продававшей квартиру, я вдруг обнаружила в одной из книг вырезанные из газеты «Правда» профили Ленина. Как мне пояснили, отцу этой женщины казалось кошунственным делегировать на помойку вместе с газетами изображения Ильича. Но ведь это не что иное, как интереснейший факт истории, которая, как писала в одной из своих рецензий филолог Ревека Фрумкина, «бедна фактами»³. Итак, работник музея учит бережному отношению к вещам, причем независимо от их ценности.

Духовно, морально, религиозно, — писал Н. А. Бердяев, — я не имею никакого права делать, что мне заблагорассудится с принадлежащими мне вещами, обращаться с ними дурно, уничтожать их и истреблять. Я не имею абсолютного права на вещи, я должен употреблять их на благо, но не злоупотреблять ими, должен обращаться с ними по-божески <...> Мое право собственности на вещи относительное, а не абсолютное, вещи также принадлежат Богу и моим ближним и всему миру, неотрывную часть которого они составляют⁴.

¹ Глушенко И. Старые вещи // Знание — сила. 2010. № 7. С. 113, 115

² Десятников В. Собиратель // Новый мир. 2007. № 11. С. 155.

³ Фрумкина Р. М. Читая Броделя // Знание — сила. 2008. № 5. С. 96—98.

⁴ Бердяев Н. А. О самоубийстве (психологический этюд) // Психологический журнал. Том 13. 1992. № 2. С. 98—99.

Если первое, что мы хотели подчеркнуть, — это бережливость, то второе — это умение... создавать музеи. Вы пришли в музей, но ведь и каждая квартира может и, наверное, ДОЛЖНА БЫТЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ МУЗЕЕМ. Идея некоторой музеефикации жилья национально значима. Уникальность личности — это ее уверенность в себе, ее достоинство и значимый компонент ее счастья. Приведем интересное наблюдение писателя.

Сегодня вывел свои книги, стоящие в коридоре на закрытых стеллажах, из заточения. Все лето раздумывал, торговался и, наконец, неделю назад решился: заказал новые стеклянные раздвигающиеся двери. ... Постепенно прихожая преобразилась. Что может быть красивее и наряднее книг. Это, кроме того, живые и естественные декорации нашего существования. Но книги, спрятанные в шкафах, книги, которые не на виду, корешки которых не попадают ежеминутно в поле зрения, — это неработающие книги»⁵.

Выбирая картину, мы не задумываемся, что через пару десятилетий эта покупка придаст шарма так называемой жилплощади. Но и сейчас живописное полотно, интуитивно выбранное, отблагодарит нас. Много лет для своих исследовательских целей как филолог я записываю свидетельства изустной, так называемой акустической культуры: спонтанные реплики, монологи. Приведу одну из записей: [Торгующая на улице картинами, убеждая купить, вдруг говорит о картине:] *С ней вам теплее будет. Она будет вас встречать дома!* (2011 г.).

Третье, что можно помнить, в рамках своей профессии, — это связь профессии и... инстинкта. Музеолог чаще может напоминать, что в глубинах нашей психики таится ИНСТИНКТ СОБИРАТЕЛЬСТВА, а с инстинктами лучше не спорить. В глубокое древности запас означал условие выживания. Некоторые аспекты счастья основаны на уважении инстинктов, будь то продолжение рода, или самосохранение, или «пошумелки» на работе. Согласимся, инстинктом собирательства проникнуты и забытые ныне пословицы: *Бережливость лучше прибýtка. Запас мешку не порча. Подальше положишь — поближе возьмешь. Есть не просит, а накормит* (здесь подразумеваются далеко не только драгоценности).

Четвертое в музееведческом позитиве — это учение о саккадах. В КРАСИВОМ МИРЕ ЖИТЬ ЛЕГЧЕ И ЛУЧШЕ. Эту мысль осознал и убедительно артикулировал отнюдь не гуманитарий, а приверженец технических наук В. А. Филин, разглядывая экспонаты краеведческого музея. Прошу прощения за большую цитату, но она того стоит. «Саккада» в переводе со старофранцузского означает хлопок паруса или резкий рывок головы лошади.

Вот у вас есть глаз, даже два. Вам кажется, что вы на точку смотрите, а на самом деле ваши глаза непрерывно и быстро движутся в разных направлениях, как бы сканируют окружающее пространство <...> Вы никогда не задумывались, почему старинные дома, предметы одежды, утвари всегда тщательно украшались? Что, у крестьянина какого-нибудь много было свободного времени — туески расписывать, вышивать рубашки или вырезать на окнах цветастые наличники? Нет, свободного времени было в обрез. Ничего не зная ни о каких саккадах, человек эмпирическим путем понял, что среди красивых вещей жить лучше. <...> Мозг после каждой саккады должен воспринимать новую картинку, из которой потом сложит образ. Если же человеческий глаз вынужден видеть ряды одинаковых объектов, он в буквальном смысле косеет. А вместе с глазом косеет мозг. Глаз как бы проваливается, скользя на одном месте, а бедный мозг не может понять: что

⁵ Есин С. Н. Дневник — 2006. — М.: Академика, 2013. С. 424.

происходит? Если это один и тот же предмет, то почему прыгает глаз? А если предметы разные, то почему они одинаковые?⁶

Работник музея неустанно напоминает посетителям, что культура — это многообразие! Мы устаем не только от спешки, не только от плохо выполненной работы, но еще и от бедности окружающего пространства, от одинаковости, ожидаемости в глазах окружающих даже собственного облика. Не отсюда ли афоризм Ремарка: «Платьев не может быть много».

Современный человек страдает от сенсорной недостаточности. Исследователь Оксфордского университета Чарли Спенсер считает, что к сенсорной депрессии приводит ряд факторов: 90 % времени мы проводим внутри помещения, изо дня в день мы едим одну и ту же пищу, окружающие человека предметы слишком единообразны. Все это приводит к тому, что у нас притупляются обоняние и восприятие вкуса, в результате иногда начинаются депрессии. А вылечить эту новую болезнь можно сменой рациона, более разнообразными ароматами, новыми вариациями с фактурой тканей и обоев, а также новым цветом интерьера⁷.

Продолжим свой перечень позитивных моментов в профессии музейного работника. Музеолог учит вниманию к предмету во всех его деталях. Музей — это еще и ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ. Как говорят о жирафе: кто не видел — не объяснишь, а тому, кто видел, и объяснять не надо. В эпоху агрессивной фотографии юным посетителям музея хорошо бы срисовать, пусть схематически, скажем, всего один-два предмета из множества (макитру ли, фероньерку), но тогда слово запомнится и обогатит лексику языковой личности, которой каждый из нас является, подчас и не подозревая об этом. Профессор Кемеровского государственного университета Н. Д. Голев много лет назад, еще в рамках своей кандидатской диссертации, провел эксперимент по обозначению деталей элементарных предметов: *шлевка* ремешка, *шлица* пальто, *наконечник* шнура, *проножка* стула? *Я не мог зашнуровать ботинок, потому что на шнурке не было...* Оказалось, носитель языка сталкивается здесь со множеством пробелов. Улучшилось ли положение с номинациями деталей через десятилетия? Вот почему полезно «читать» музей как словарь будущим журналистам, писателям при их плохо скрываемой подчас уверенности в достаточности собственных знаний.

Но и это еще не все. Работник музея, что очень важно, учит ВНИМАНИЮ К НАСТОЯЩЕМУ. Михаил Эпштейн исследовал идею так называемого хроноцида⁸. Поэтическая сторона прогресса связана, как пишет автор, с веером возможностей, что и приятно, и прекрасно. Однако, мечтая о поездках, покупках, новом месте учебы и работы, не убиваем ли мы тем самым значимость позиции *здесь и сейчас* — той самой привилегированной точки, как называл ее Эммануил Кант? Чуть-чуть улучшить свой быт, музеефицировать его — значит подарить внимание настоящему, от чего заиграет красками и самое ближайшее будущее.

Наконец, есть еще одна интересная миссия у работающих в музее и создающих музеи. В каком-то смысле это отказ от заданной иерархии имен. Россия — океан суши. Даже сейчас, когда после распада СССР не одна шестая, а лишь одна девятая пространства принадлежит нашей стране, размеры ее впечатляют. Такая огромная территория с мощной культурой и насыщенной, во многом трагичной историей не мог-

⁶ Куликова М. Филлин это видит. Русский ученый обосновал физиологическую потребность красоты // Огонек. 2002. № 35. С. 34–37.

⁷ Больше разнообразия // Знание — сила, 2006, № 3. С. 13.

⁸ Эпштейн М. Н. Хроноцид // Октябрь. 2000. № 7. С. 157–171.

ла не породить колоссального числа поэтов, писателей, художников, музыкантов, скульпторов, артистов, ученых, путешественников, инженеров «и далее со всеми остановаками». Мы пишем об этом потому, что в сложившейся ситуации зашкаливающего числа великих имен нам всем важно больше внимания уделять писателям «второго ряда», композиторам «второго ряда», не самым известным ученым, художникам. Эту миссию слабо проговаривают потому, что сам ранжир («второй» — читай: не самый лучший!) уже искажает и восприятие, и оценку. **ОБОГАТИТЬ ПЕРСОНОСФЕРУ** отечественной культуры — задача не только школы, в том числе высшей (прискорбный минимум часов отводится даже на писателей первого ряда!), но также задача, например, литературных музеев или научных музеев. Научные музеи сейчас за рубежом получили мощный импульс своего развития⁹. О резком обеднении персоносферы, особенно в сознании молодых людей, пишет Г. Г. Хазагеро¹⁰. *Мы не знаем, что играем. / Мы живем, махнув рукой. / Мы, играя, выбираем: кто же буду я такой? / Одиссей? Сократ? Петрарка? / Фауст? Гамлет? Сирано? / Голубого неба арка, / речи грубое рядом*¹¹. Читая эти поэтические строки, мы не соотносим их с подростковым возрастом, но ведь у современного тинейджера должен быть свой собственный набор идеальных проекций, а этого, увы, нет. Согласно учению А. А. Ухтомского, целые области действительности проходят мимо нас, поскольку наши доминанты не направлены на них. Так литературные музеи несколько компенсируют ущербность школьных и вузовских программ, составленных по принципу лоскутного одеяла: немного о многом и ничего по-настоящему целостного, объемного, добротного — по специальности.

Вот такой многочастной представляется нам миссия работника музея. Обратим внимание на одну сквозную мысль: все перечисленные моменты побуждают посетителей музеев чувствовать себя чуть-чуть счастливее. А это важно потому, что, как заметил Алексей Пищулин, «музеи — это витрина жизней, которые удалась, судеб, которые сложились. Тем, чьи портреты смотрят с музейных стен, вовремя улыбнулась удача, встретился нужный человек, легли карты, как говорится. / А если у вас не предвидится такого события, такой встречи — ни сегодня, ни завтра? Жизнь временами необыкновенно скупа на проявления чудесного!»¹² Но вот, оказывается, материальный мир может помочь в самоидентификации, и миссия сотрудника музея, если он осознает ее, заключается еще и в этом.

Теперь несколько слов не о чужом, а о своем счастье. Чтобы стать в своей профессии артистом, надо почувствовать себя... счастливым. Одну женщину, которой тогда было под 90, спросили, как удалось ей дожить до такого возраста. С улыбкой вот что она ответила: «Я ведь работала в музее, вокруг меня были такие красивые вещи!» Итак, получается: мы бережем вещи, а они берегут нас. Мы раскрываем красоту и изящество сервиза ли, наряда, комода — и незаметно сами становимся чуть-чуть красивее и изящнее. Но это еще не все для осознания внутрипрофессионального счастья. Экскурсовод — это неустанное говорение, кто бы спорил? Это тяжело, скучно? Но культуролог Константин Фрумкин не так давно опубликовал статью под названием «О загадочном удовольствии говорить», в которой раскрывает четыре (!) источника того самого удовольствия от говорения¹³. Во-первых, мы тренируем биологически данную нам способность, а это всегда приятно. Во-вто-

⁹ Умные и шумные: за что мы любим научные музеи? // Наука и жизнь. 2014. № 2. С. 2—11.

¹⁰ Хазагеро Г. Г. Персоносфера русской культуры // Новый мир. 2002. № 1. С. 132—145.

¹¹ Гранцева Н. А. «Мой Невский, ты — империи букварь...». Книга стихов. — СПб.: Изд-во «Журнал „Нева“», 2009. С. 106.

¹² Пищулин А. Ю. Слово редактора // Мир музея. 2016. № 2. С. 8.

¹³ Фрумкин К. Г. О загадочном удовольствии говорить // Нева. 2010. № 12. С. 139—146.

рых, нас слушают, а это дарует ощущение власти и сцены (поэтому мы и пишем про *артистизм* профессии!). В-третьих, говорение — это возможность оставить свой неповторимый творческий след. Да-да! Если текст хорошо написан, то от повторения он, как молитва, как стихи, не портится. Более того, в наших руках, точнее, в нашем голосе таится и своеобразие тембра, и богатство интонаций. Лишь бы не звучало в подтексте: *Как мне все это надоело! Это всем известно! Скорей бы все рассказать да освободиться!* Русский человек, повторим, словоцентричен, чуток к тому, что за словами! Даже известную с детства практически всем басню «Ворона и лисица» рекомендуют рассказывать, опираясь на внутреннее предварение: *Я расскажу вам сейчас что-то столь интересное!* Но мы отвлеклись. Четвертое удовольствие от говорения заключено в самой возможности хотя бы немного поуправлять чужим восприятием, чуть корректируя картину мира в сознании слушателей, экскурсантов.

Если нас окружают красивые вещи, если мы ежедневно пребываем на своей маленькой сцене, то можно и нарядиться, и собственный стиль выработать, свой собственный поведенческий стиль, включающий осанку, аксессуары, походку, мимику, взгляд живого интереса к тем, кто пришел вот и слушает. Высший уровень поведения тоже приносит удовлетворение. Кстати, о посетителях музея. Как много людей страдают от того, что на работе каждый день одни и те же люди, особенно если они еще и одного «гендера», то бишь пола, и примерно одного возраста. А концепт «музей» ассоциативно соотнесен с таким словом, как «посетители». Значит, у нас есть возможность пообщаться с самыми разными категориями сограждан. Конечно, здесь хороша и обратная связь, почему мы так ценим вопросы экскурсантов и высказываемые ими оценки и суждения. Наши соотечественники в силу словоцентричности и литературоцентричности нации иногда высказывают весьма любопытные вещи. Да и некоторые их вопросы хорошо бы записывать для повышения уже собственной квалификации, что тоже активизирует компоненты, молекулы счастья: пока человек учится, он не стареет. Здесь еще важен акцент на том, что общаемся мы почти всегда с незнакомыми людьми. За рубежом не так давно проводили эксперимент: контрольной группе предлагалось не вступать в контакт с незнакомыми, а экспериментальной группе, наоборот, пробовать поговорить с незнакомыми. Да, тем незнакомым было приятно, что с ними поговорили. Но главное, как оказалось (психология всегда парадоксальна!), в другом. Более счастливыми почувствовали себя сами инициаторы разговора, люди, вступившие в этот кратковременный контакт с совершенно незнакомыми им людьми.

Одно из прекрасных решений по формулировке национальной идеи — пестовать национальную элиту. Посетители идут в музеи за высоким, элитарным знанием, и музейные работники помогают уже в детях, школьниках формировать элитарную установку личности.

Мы много, пожалуй, «нарасказали» сейчас о счастье, таящемся в музееведческой профессии, не только и не столько потому, что набирает обороты так называемая фелицитарная философия¹⁴, исследующая механизмы счастья, но и потому, что специфика переживания счастья заключается в необходимости его узнавания, осознания и, что не менее важно, проговаривания.

¹⁴ Фрумкин К. Г. Политическая экономия счастья. Футурологический этюд // Знамя. 2011. № 11. С. 204–214.

Русские писатели и публицисты о русском народе. СПб., 2016. — 284 с.

Петербургский историк, переводчик и архивист Дамир Соловьев собрал высказывания крупнейших русских писателей и публицистов различных направлений (славянофилов, западников, социалистов, консерваторов) о России и русском народе — от Пушкина до Набокова, от братьев Аксаковых до Розанова. Он обратился не только к художественным и публицистическим произведениям, но и к дневникам, письмам, путевым заметкам. Как и следовало ожидать, по любому вопросу суждения противоречивы. Яркий пример: история России. Уже увидела свет «История государства Российского» Карамзина, а П. Чаадаев находил в прошлом России «лишь тусклое и мрачное существование, без жизненной силы без энергии». Отповедь Чаадаеву в письме к нему дал уже А. Пушкин, напомнив о славе предков и буйстве отечественной истории: «Гордиться не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». Пушкину вторил и М. Погодин: «Если бы, кажется, об России не было известно ничего, кроме того, что она произвела Петра, Суворова и Ломоносова, и тогда она имела бы право на бессмертие. Ни древняя, ни новая история не представляют им равных». Государство и отношение к власти, византийские корни в мироощущении русских, гражданское общество и причины его неразвитости в России, необходимость просвещения и образования, своеобразное понимание свободы у русского человека, пороки и добродетели представителей разных сословий — эти вопросы на протяжении всего XIX — начала XX века занимали умы выдающихся отечественных литераторов. Не без проекций на день сегодняшней: «...что за слабая натура у русского человека, что он становится мошенником, как скоро переходит в чиновника! Как будто он не знает, что должно переносить и туда понятия честности и правды! Как будто чиновник перестает быть христианином!.. Как будто уже звание чиновника мешает русскому человеку быть честным» (И. Аксаков). Волнующей темой весь XX век оставалось отношение Запада к России, его откровенная недоброжелательность к восточному соседу. «Нас считают гуннами, грозящими Европе новым варварством. Профессора провозглашают это с кафедр, стараясь возбудить в слушателях опасения против нашего могущества» (А. Никитенко, 1843 год). И, конечно, шли поиски причин этой самой недоброжелательности, самые прозорливые обнаруживали их в историческом инстинкте непримиримой вражды двух духовных просветительных начал христианского человечества, начала латинского и православного. По собственным, вынесенным из заграничных вояжей наблюдениям одни литераторы заключали, что иностранцы — «низшая порода», другие, что «низшая порода» — их соотечественники. «Я начинаю русских ненавидеть», — писал Огареву А. Герцен. «Беда жить в России», — вздыхал Г. Успенский. Противно было иметь дело с крестьянами М. Салтыкову-Щедрину. Мнения и оценки России, русского народа рознятся — от любви до ненависти, противоречат авторы не только друг другу, но подчас и сами себе. При пестроте суждений каждый из современных читателей найдет близкое себе. Составитель сборника Д. Соловьев во вступительной статье пишет, что особенное его внимание было обращено на поиск благоприятных свидетельств о России и русских, однако такие свидетельства оказались в меньшинстве. И общая картина, с учетом того, что при отборе высказываний он не пропустил ни одной положительной оценки, для него самого оказалась во многом совершенно неожиданной. Д. Соловьев не

делает обобщений, он просто представляет дотошно собранный материал для дальнейших выводов исследователям и читателям. Один из выводов может быть таким: именно в XIX веке корни нашего нынешнего самоедства, именно «чаадаевщина» и «отчизноедение» лучших умов, сыграли не последнюю роль в подготовке трагедий русских революций. Диагноз поставил еще В. Розанов, поставил, когда Россия «слиняла в два-три дня», когда «не осталось ни Царства, ни Церкви, ни войска»: «Суть Руси в том, что она не уважает себя. ...Собственно, никакого сомнения, что Россию убила литература. Из слагающих „разложителей“ России ни одного нет нелитературного происхождения». А несколько раньше писал А. Чехов: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выйдут из ее же недр. Работать надо, работать с любовью и верой». Среди разноречивых, взаимоисключающих высказываний есть и те, что актуально, согревающе звучат сегодня: «...силы России заключаются не в одной ее армии, а в духе всего народа, который всегда был готов скорее видеть свои дома и имущества в объятиях пламени, нежели в руках неприятеля. И с этим народом пришлось бы иметь дело всякому врагу, вторгшемуся в пределы России» (Н. Данилевский); «Следовало бы понять раз навсегда, что в России нет ничего серьезного, кроме самой России» (Ф. Тютчев).

Ариф Сапаров. Дорога жизни. СПб.: ООО «ДВГ Групп», 2016. — 224 с., ил.

Давно подзабытая, а многим и неведомая патетика, когда «сердце уже не вмещает переполнивших его чувств сыновней любви и благодарности к отцу и вождю, спасшему наше Отечество». Тексты выступлений и призывов великого Сталина и руководителя ленинградской парторганизации Жданова и — констатации того, как они воодушевляли ленинградцев. Ничего удивительного: книга печатается по изданию 1947 года, и в ней отражен дух времени. Но главное в ней то, что она — ценнейший документ о создании и работе ладожской «Дороги жизни», спасшей в годы блокады сотни тысяч жизней ленинградцев. Писатель и журналист Ариф Сапаров (1912—1973) — непосредственный участник и первый летописец героических рейсов по трассе, связавшей осажденный Ленинград с «большой землей». Его, корреспондента газеты «На страже Родины», Политуправление Ленинградского фронта направило на оперативное освещение строительства и работы ледовой трассы. Он не раз на себе испытал, каково водить грузовики по льду под обстрелами врага и налетами бомбардировщиков через неожиданно возникавшие полыньи, в суровые морозы и метели, во время весенней распутицы. Он видел, как зарождалась «Дорога жизни», в каких условиях работали люди, как ледовая, без конца и без края белая равнина превращалась в хорошо оборудованные широкие автострады на льду. Он был в курсе всех трудностей, с которыми сталкивались строители дороги через былинное русское озеро с капризным нравом. На южном берегу Ладоги уже стояли немецкие дальнобойные батареи, в северной части хозяйничали белофинны, единственно возможной полосой для коммуникации оставалась неширокая полоса между западным и восточным берегом озера. А там не было ни портов, ни подъездных дорог. И помимо тридцатикилометровой дороги по льду водителям предстоял двухсоткилометровый путь по непроезжим дорогам в лесных чащах и болотах, по льду каналов. Книга насыщена деталями: тридцатиградусные морозы и многодневные метели суровой зимы 1941—1942 годов, незамерзающие трещины на девятом и седьмом километрах трассы; весенняя распутица 1942-го; летняя навигация 1942-го; мягкая зима 1942—1943 годов. И бесконечные бомбежки и артобстрелы портов и караванов.

Цифры и факты: неслыханно скоростные стройки — перевалочные базы, склады, подъезды к ним; потоки грузов в Ленинград и из Ленинграда, эвакуация людей. И итоги этой невообразимой работы, и самый главный тот, что с 24 января 1942 года в городе увеличили хлебные нормы. По книге А. Сапарова можно сверять даты свершений тех лет. Современные боевики и фантастические кинофильмы бледнеют в сравнении с тем, что делали голодные ослабленные люди. Водители и ладожские водники, дорожники и ремонтники, регулировщики и связисты, трактористы и грейдеристы, складские рабочие, медики. Они стояли «до последней возможности»: до потери сознания или смерти. Спасали людей, провалившиеся в трещины машины, грузы, спешили на выручку друг другу. Проявляли смекалку. Так, в ночь на 14 января 1942 года из Ленинграда перебросили танки «КВ» весом свыше 50 тонн каждый, такой танк не всякая грунтовая дорога выдержит: придумали — снять башни и везти на прицепах, а трещины перепрыгивать. «Величественная картина обороны Ленинграда состояла из таких вот на первый взгляд маленьких, но героических дел и поступков людских», — пишет А. Сапаров. И рассказывает о подвигах тружеников «Дороги жизни», о том, чему свидетелем был он сам или слышал от участников событий. Бой у стратегически важного островка Сухо, когда маленький гарнизон и один тральщик до подхода наших судов и самолетов под бомбы с вражеских самолетов врукопашную отбивали атаку немецкого десанта. Смерть от ранения старого речника Архипова, начальника порта Кобоны, его последние слова окружившим его грузчикам: «Оставьте меня. Идите работать...» Последний «ледовый» рейс весны 1942 года: на перевалочную базу прибыли три вагона лука, но лед уже не выдерживал машин, лошади в воду не шли, и водители два дня переносили «витамины для ленинградцев» на себе. «...Пробежит вереница лет, сотрется острота событий, и, быть может, через несколько десятилетий, изучая героическую оборону Ленинграда, историк в недоумении спросит себя: как это было возможно? Пожелтевшие от времени карты и оперативные сводки будут лежать перед ним, бесстрастно повествуя о славных делах минувших дней. Но ученому захочется познать дух людей того неповторимого времени. Тогда он начнет искать факты, отдельные, разобщенные факты, которые, подобно простой капле воды, отражающей в себе целый океан, помогают почувствовать движущую силу грандиозных событий». Повествование ведется в сдержанном, почти протокольном тоне, что усиливает впечатление подлинности событий, как и многочисленные фотографии, которыми иллюстрирована книга. Приводятся стихи и песни, рожденные на Ладоге. «Пусть ветер расскажет, // Как пели моторы, // Как мчались мы // Только вперед, // Как черные фрицы, // Убийцы и воры, // Бомбили // Накатанный лед». У этой книги трудная судьба: она подвергалась цензуре, второе издание изъяли уже напечатанным, вопрос стоял об аресте автора («ленинградское дело»). Последний раз она переиздавалась в 1968 году. Сегодня она воспринимается и как книга об общей истории народов некогда огромной страны: на Ладоге работали люди из всех уголков СССР, в далекой Сибири крестьянки готовили для ленинградцев пельмени, в Узбекистане колхозники забивали своих лучших баранов, из Казахстана осажденному Ленинграду слали урюк, из Грузии мандарины.

Валерий Попов. От Пушкина к Бродскому. Путеводитель по литературному Петербургу. СПб.: Страта, 2016. — 198 с. («Книжная Лавка Писателей»).

По количеству литературных гениев, населявших Петербург в разные времена, нашему городу нет равных, уверен писатель Валерий Попов. «Понятие „гений

места“, обозначающее стечение таинственных обстоятельств, притягивающих будущих гениев или их порождающих, относится к нашему городу в высшей степени. Почему Пушкин, родившийся в Москве, засиял в Петербурге? А почему Лермонтов приехал сюда? А Гоголь? Отчасти понятно — столица. Петербург был столицей тогда. Но и сейчас притяжение остается!» У писателя свое объяснение этому феномену: «Наш город манит простором, свободой, легким дыханием, он не давит, дает развернуться и глубоко вздохнуть. Вот почему столько гениев оказалось здесь. И Петербург, как никакой другой город в мире, сохранил присутствие гениев, словно они только что прошли здесь, и ничего еще не успело измениться». Для писателя в пространстве города на Неве, в его центральной части (старый Петербург) прошлое и настоящее едины. На тротуаре Невского можно увидеть следы только что приехавшего в столицу молодого Гоголя, Гоголя-щеголя, а памятник ему на Малой Конюшенной улице установлен совсем недавно. В одном из доходных домов, примыкающем к Голландской церкви, жил Геккерен, вошедший в историю тем, что погубил Пушкина, а спустя чуть меньше века в этом доме же обитал Ленка Пантелеев, не писатель, нет, а знаменитый грабитель, блиставший в Питере в двадцатые годы XX столетия. На пересечении Фонтанки с Невским, на Аничковом мосту встречаются Бунин и Достоевский, отсюда видны и Книжная лавка, и студенческая публичная библиотека — бывший Екатерининский институт для благородных девиц. А еще — дворцы, Аничков и Белосельских-Белозерских. Дворцы Невского нечто особенное, «каждый из них — цветник талантов, прибежище муз, привлеченных сюда не просто богатым, но и даровитым чутким хозяином». «Невский наполнен гениями!» — восклицает В. Попов и, следуя от Аничкова моста к Адмиралтейству, погружается в богатую историю домов Невского и их обитателей. Вот Публичная библиотека, где служил Крылов, а рядом памятник великой императрице, «памятник тем временам, когда цари и поэты обожали друг друга, как Державин и Екатерина II». Дом Зингера, где с двадцатых годов XX века располагались самые лучшие издательства и по лестницам и этажам бегали еще молодые и красивые Алексей Толстой, Маршак, Шварц, Заболоцкий, Зощенко, Хармс... От прежней его богатой литературной истории остался лишь книжный магазин Дом книги. Роковой перекресток у Зеленого моста, с которым связаны главные моменты жизни и смерти Пушкина. Дом № 13, где живет сам автор, и где после возвращения в Россию уже в 1988 году обитала подруга Гумилева Ирина Одоевцева, и состоялась «смычка современности с Серебряным веком». Знаменитый дом № 15, где после революции располагался Дом искусств, находили приют оголодавшие литераторы и художники, а в 1921 году был арестован Николай Гумилев. Или дом № 3. Долгие десятилетия в нем находилась редакция журнала «Нева», и в перестроечные времена, когда все уже зависело не от системы, а от отдельных людей, совершил в своем журнале литературный переворот его главный редактор Борис Никольский, печатая остросовременные произведения и те, что долгие десятилетия были недоступны советскому читателю. Да, прав В. Попов, заявляя: «Невский литературен до самого конца», как прав и Гоголь, некогда заявивший: «Нет ничего лучше Невского проспекта!» По-прежнему здесь отражается все самое главное в нашем городе. Но «лучшее место на земле (и так думают не только петербуржцы) — это стрелка Васильевского острова в белую ночь», когда «все великое, гениальное, что стоит сейчас у тебя пред глазами, кажется простым, доступным, своим». Садовая, Сенная площадь. Фонтанка, Большая и Малая Морские, Литейная часть, Петроградская сторона... Знаковые места Петербурга—Ленинграда: дома писателей, Дом кино, Дом радио, «Ленфильм», знаменитый Фонтанный дом, где жила Ахматова. Дом на Карповке —

огромный, конструктивистский дом, на заре советской юности построенный для людей будущего. Дом по каналу Грибоедова, 9, полный когда-то литературной жизни, выстроенный специально для советских писателей. Невозможно перечислить всех, о ком рассказывает В. Попов: указатель имен занял бы еще половину от этой книги. Судьбы, яркие эпизоды, емкие характеристики, злободневные суждения. В. Попов убежден: хранить надо не только древнюю историю, но и ту, при которой мы жили. И с юмором рассказывает о бомонде в Доме кино, о студенческих кутежах в гостинице «Европейской» во времена вольности и разгула, в середине шестидесятых. И о бурной жизни своих коллег и своей собственной в Доме писателя на улице Воинова (ныне Шпалерной), где в ресторане нередко пересекались пути писателей и служителей соседнего Большого дома. «Тот тесный, дымный, пахучий гвалт, то варево, в котором варилась тогда литература, сменилось теперь холодным свечением компьютеров, сухой скудостью электронной почты. Поэтому и литература так суха и скудна. А тогда...» Дом сгорел вместе с прошлой жизнью. В. Попов свободно переносится из Петербурга в Ленинград и снова в Санкт-Петербург сегодняшней, собирая вместе у родных пенатов «гениев мест» разных эпох.

Евгений Лесин. Лесин и немедленно выпил. М.: РИПОЛ классик, 2016. — 240 с. (Лидеры мнений).

Главный герой книги — писатель Венедикт Ерофеев (1938–1990), самый любимый русский писатель поэта и журналиста Евгения Лесина. «Писатель Венедикт Ерофеев не оставил после себя значительного „творческого наследия“. По большому счету, он, как и многие писатели „второго ряда“, „прозванные гении“ etc., является автором одной-единственной книжки. Другое дело, что „Москва — Петушки“, вероятно, много лучше целого ряда собраний сочинений самых знаменитых классиков XX века — от Алексея Толстого и Леонида Андреева до Александра Солженицына и Виктора Пелевина. Что, кстати, нисколько не умаляет ни одной из заслуг ни одного из последних. Просто в одной маленькой повести (перед нами, разумеется, поэма, но все равно — повесть о настоящем маленьком человеке) Ерофеев сумел сконцентрировать все то, что другим приходилось размазывать чуть ли не по всему Красному Колесу. Венедикт Ерофеев никогда не станет настоящим классиком русской литературы, но войдет во все антологии: его место рядом с Козьмой Прутковым, Юрием Олешей и Олегом Григорьевым». Поэма «Москва—Петушки» (1970), по мнению Е. Лесина, отдельный жанр русской литературы XX века, который так и называется «Москва—Петушки». Евгений Лесин — профессиональный критик: он работал и в газете «Книжное обозрение», и в «Независимой газете», он — ответственный редактор литературного приложения к «Независимой газете» «НГ Ex libris». По долгу службы ему приходится много читать и писать, и большая часть представленных текстов была опубликована ранее в разных изданиях. В первой части книги эти разрозненные тексты, а также вымышленные интервью и беседы с любимым писателем складываются в оригинальную, предстающую в ожидаемых и неожиданных аспектах картину жизни и творчества Венедикта Ерофеева и времени, в которое он жил. Конечно, Венедикт Ерофеев не единственный пример пьющего персонажа, а Венедикт Ерофеев не единственный пример выпивающего писателя в русской литературе. Поэтому и проблеме пьянства в России: феномен это или заурадное явление; значение качества выпивки; мнения психологов —

уделено должное внимание. Даже филологу ясно, считает Е. Лесин, что Венедикта Ерофеева необходимо комментировать, но всегда ли даже авторитетные комментаторы объективны? Автор собрал отзывы о В. Ерофееве, дал оценки его «литературным детям»: Лимонову, Яркевичу, Вл. Сорокину, Юзу Алешковскому. Он проследил жизнь и судьбу ерофеевских персонажей, реконструировал путь следования Венечки Ерофеева от Савеловского вокзала до Курского, ответил на вопрос: доехал ли Венечка до Петушков? Ряд статей написан к юбилейным датам В. Ерофеева, «юбилей — время вспомнить и почитать» и, как следствие, выявить глубинные связи. Например, между произведениями В. Ерофеева и автора «Незнайки» и «Мишкиной каши» Николая Носова, утопиями Томаса Мора и творениями Франсуа Рабле. Или провести параллели между творчеством и писательской судьбой Андрея Платонова и Венедикта Ерофеева: «Ерофеев и Платонов все же очень разные писатели, и лишь герои их — будто родственники, будто жители одной той же страны». Объединяла их и тема сиротства, «определяющая у Платонова и нечуждая и Ерофееву». Кроме того, оба любили свою страну, свой народ и свою власть. Потому что «человеку, ощущающему себя сиротой, а особенно человеку, чувствующему сиротами своих персонажей, некого больше любить, кроме собственного народа и государства». Но любили без взаимности со стороны власти. «Причина тут очень проста: никакая власть никогда не поверит, что ее могут любить бескорыстно». А Ерофеева, по мнению автора, не устраивали в советской власти только запрет на скитальчество и неуважение к слову. Не любил он и диссидентов, с его точки зрения, они слишком немзыкально любили родину, а для Ерофеева любовь к родине была чувством интимным. Так что еще одной сквозной темой очерков является тема времени, в которое жил В. Ерофеев. Вторая часть книги посвящена писателям второго ряда. «Отчасти — но лишь отчасти — они про алкоголиков или тех, кто пишет про алкоголиков. Отчасти — но тоже лишь отчасти — они про разных отщепенцев, маргиналов, тех, кому не повезло ни при жизни, ни после. Скорее же всего, они — просто про тех, кто по тем или иным причинам мне слишком близок и важен. Поэтому здесь есть и Аркадий Северный (не писатель), и маркиз де Сад (не алкоголик). И три главных моих поэта — Николай Олейников, Николай Глазков, Олег Григорьев. Из них только Григорьев, кажется, сильно выпивал. Или вот Щуплов, Бек, Немиров. Чистые же воспоминания, но, думаю, здесь уместны. А если и неуместны, все равно, не могу не пометить. Короче, и др.». А в заключение книги приложен авторский путеводитель по московским кабакам, большинство из которых снесли, закрыли, уничтожили, но вкусные и невкусные, неаппетитные подробности былых походов живы в памяти автора и перекликаются с вечной темой «пития».

Збигнев Херберт. Лабиринт у моря: Очерки. Пер. с польск. А. Нехая. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015. — 352 с.

Греция, родина мифов, страна, где время измеряется тысячелетиями. Загадки Крита: лабиринт — то ли дворец критских царей, то ли город смерти, огромное кладбище; миф о минотавре и религиозные верования минойцев, причина гибели минойской цивилизации. Когда-то многозлатые Микены и взаимосвязи культуры древнего Востока и «греческого чуда». Спарта, уже не вызывающий эстетических переживаний провинциальный городок. Олимпия и тайные смыслы олимпийских игр древних. Старейшие святилища Греции: Дельфы — святилище Аполлона,

остров Делос — место рождения Аполлона и Артемиды, пещера Зевса на Крите — темная колыбель новой мировой религии. Археологические и архитектурные памятники, древние артефакты и произведения искусства — среди которых, увы, много позднейших поделок («реконструкций»), вызывающих состояние эстетического стыда. Как, например, выполненные в начале XX века в Кносском дворце фантазии швейцарского художника Жильерона на тему критских фресок, что фигурируют в учебниках истории искусства в качестве оригиналов. Или экспонаты музея в Ираклионе, — «так, как если бы в найденные фрагменты какой-нибудь древней поэмы кто-то вписал свои слова». И знаменитый Акрополь, который сегодня мы видим совсем не таким, каким его видели жители древних Афин: «И, касаясь взглядом его ран и увечий, я испытывал чувство, в котором восхищение мешалось с жалостью». Один из крупнейших польских поэтов второй половины XX века Збигнев Херберт (1924–1988) — великолепный мастер описания пейзажей, объектов материальной культуры, шедевров архитектуры, скульптуры и живописи, непревзойденный эссеист. Греческий пейзаж говорит с ним на патетическом языке мифов и трагедий. В старых фресках он умеет увидеть красоту молодости, может разгадать замыслы критских художников, медиумов, передававших проплывающий через них поток красочного мира; любуясь Парфеноном, постичь секреты античной архитектуры: сложную игру искривленных линий. Обращаясь к истокам европейской культуры, З. Херберт выступает и как тонкий философ, и как прозорливый историк искусств, и как много знающий историк в целом. Он погружается в эпоху мрачных войн и политических интриг века Перикла в Греции, прослеживает историю Акрополя от древности до наших дней — трагедию утрат, большинство из которых пришлось на XVII век, на время турецко-венецианских войн. Именно тогда были разрушены древние храмы, окончательный разгром учинил милорд Эльджин, сумевший в начале XIX века вывезти в Англию греческие древности, фактически все, что уцелело от Парфенона: фрагменты фронтона, метопы, барельефы фриза. Огромная коллекция и ныне находится в Британском музее. З. Херберт подробно освещает историю открытия на рубеже XIX–XX веков, казалось бы, навсегда канувшей в Лету минойской цивилизации (дворца в Кноссе) и судьбу ее первооткрывателя Артура Эванса. (Авантюрный Эванс так отважно ввязывался в гушу балканских проблем, что был даже арестован по обвинению в шпионаже в пользу России.) З. Херберт возвращает голос великим немой истории — тем народам, которым не повезло в их прошлом, в данной книге это этруски, таинственная цивилизация Средиземноморья, предшественница римлян: «надо отправить Рема и Ромула вместе с их кормилицей в музей, где хранятся мифы, сказать четко, что настоящими творцами Рима были этруски». И из разрозненных фрагментов, сохранившихся в трудах историков Римской империи, пишет хронику пребывания римлян в Британии (конец августа 55 года до н. э. — начало V века). При жизни автора эта книга не была напечатана, поскольку Херберт был политэмигрантом и властителем дум польской оппозиции, впервые она опубликована на родине поэта лишь в 2000 году. Редкий по красоте текст (здесь есть и заслуга переводчика), информативная насыщенность и — удивительная актуальность. Драмы древних памятников возвращают нас в наше время: утраты культурных ценностей, виной которым войны и небрежение, невосстановимы. И как следствие: «Один из смертных грехов современной культуры заключается в ее малодушном стремлении избежать прямого столкновения с наивысшими ценностями. А также в чванливой убежденности в том, что можно обойтись без образцов (как эстетических, так и моральных), поскольку наше положение в мире якобы исключительно и ни с чем не сравнимо. Именно поэтому мы отвергаем помощь традиций, забредаем в свое одиночество, копаемся в темных закоулках своей заброшенной душонок».

Ольга Елисеева. Григорий Потемкин. 3-е изд. М: Молодая гвардия, 2016. — 665 с.: ил. — (Жизнь замечательных людей. Вып. 1603).

Враги называли его сибаритом, ленивым, капризным и мстительным временщиком, бездарным полководцем и казнокрадом. Почитатели — великим государственным мужем и военачальником. Ближайшие потомки современников Григория Потемкина множили доставшиеся им в наследство разнообразные слухи и легенды. Например, тот, что Потемкин был выскочкой из захудалого рода, как тогда говорили, парвеню, хотя на деле он принадлежал к старинному дворянскому семейству, перебравшемуся из Польши в Россию еще в XV веке и для представителей которого служба государю в течение нескольких веков являлась жизненным стержнем. Так кто же герой этой книги? Человек, чей, как пишет О. Елисеева, «неповторимый характер, на первый взгляд сотканный из противоречий, а в основе своей удивительно цельный; его дела, столь грандиозные, что современники порой видели в них феерию, — все стало предметом толкования, слухов, сплетен, романтических историй, политических памфлетов и в меньшей степени — научного исследования?» Злой гений, баловень судьбы, случаем вознесенный на олимп, или выдающаяся личность, блестящий администратор и полководец? Уже при жизни светлейшего предпринимались попытки осмыслить громаду совершенных им дел. На протяжении двух последующих веков появилось немало работ, в которых авторы давали крайне противоречивые оценки его деятельности. И все-таки монография Ольги Елисеевой, специалиста по истории XVIII века, — первая отечественная научная биография «великолепного князя Таврического». О. Елисеева считает, что главную причину, по которой общество не оценило труды и заслуги Потемкина, точно нащупал Ф. Вигель, один из наиболее ядовитых и наблюдательных мемуаристов начала XIX века. «В своей карьере он отдал все лучшие силы государственной деятельности, — писал литератор. — Мог ли он рассчитывать на общественное признание?» Один из наиболее устойчивых мифов русской культуры — миф о «потемкинских деревнях», порожденный по следам знаменитого путешествия Екатерины II в Крым в 1787 году. О. Елисеева обращается к авторитету ленинградского академика А. Панченко, доказавшего, что миф этот родился в среде сопровождавших Екатерину посланников европейских держав, напуганных грандиозными планами России. А что же скрывалось за пышно декорированными придворными — дань куртуазному веку — мероприятиями? На месте прежней пустыни, служившей путем для набегов крымцев, через каждые 20—30 верст появились реальные деревни, а на завершающем этапе в бухте Черного моря, на новом Севастопольском рейде путешественников встретила эскадра в 15 больших и 20 мелких судов. Эта книга — подробный, основанный на документах рассказ об исполинской деятельности Потемкина: военной, административной, политической, дипломатической, той, что обеспечила цивилизаторские успехи России. Это и присоединение Крыма, создание Черноморского флота, освоение южных земель, закладка городов в голой степи, в считанные годы зазеленевших садами, разведение лесов и виноградников, поощрение шелководства, учреждение школ, фабрик, типографий, корабельных верфей. Это и реформы флота и армии, и малой кровью взятые крепости Очаков и Бендеры, и продвижение российских долгосрочных интересов в Молдавии, и с блеском реализованные внешнеполитические проекты. Но еще в большей степени это рассказ о екатерининской эпохе, о времени, который ныне принято называть куртуазным, о веке, который сама Екатерина II называла «железным». Реальная политика и ее тайные механизмы,

великие замыслы и их осуществление, подоплека придворных интриг и дипломатических столкновений, кровавые битвы второй русско-турецкой войны, победы и освоение новых пространств, захватывающие любовные истории, отношения всесильного фаворита с Екатериной и с современниками. Ольга Елисеева хотела показать человека умного, глубокого, наделенного многими талантами, не лишённого недостатков, горячо преданного делу и умевшего добиваться реального воплощения своих идей. «Если после знакомства с книгой масштаб реальной личности Потемкина затмит в сознании читателя карикатурный образ, знакомый по бульварной литературе, мы будем считать свою цель достигнутой». Затмит. И научит уважать свершения предков.

Публикация подготовлена
Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ

Редакция благодарит за предоставленные книги
Книжную Лавку Писателей
(Санкт-Петербург. Невский пр., 66,
т. (812) 640-44-06 www.lavkapisateley.spb.ru)

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

СВЯТЫНИ ЕЛЕОНА

(по запискам русских паломников)

Часть 2

Праздник Успения Божией Матери в записках инокини Наталии (1983, 1987)

Монахиня Наталия — инокиня русского Горненского монастыря близ Иерусалима, находящегося в ведении Московской Патриархии. Ее письма содержат описание святых места Палестины и охватывают период с 1983-го по 1989 год.

1983 г. Здесь не как у нас в России Успение празднуют в самый день, а Мать Божию уже уснувшую несут хоронить за несколько дней до праздника. Потом через три дня бывает погребение, а не в самый праздник — это уже когда апостол Фома не обрел в гробнице Мать Божию. Она была взята с пречистой плотью. Пост нас приготавливает к прочувствованию праздника — мы его ждем, он для нас желанный, а особенно здесь на Святой Земле, первый раз в жизни, зная, что здесь всякий праздник и его обряд основан на живом сохранившемся от тех далеких дней предании. <...> У Святыни во дни великих праздников встречаются абсолютно все национальности — к православным приходят и армяне прикладываться, и копты, и католики; так, например, в Гефсимании прикладывались к Матери Божией. Так велика и убедительна сила православного празднования, основанного на живом предании. Точно и время и передача событий — и это достоинство хранит только Православие. В ночь на четверг со среды мы приехали на Гроб Господень — была в обычное время (чуть раньше) утренняя, затем литургия. Наверное, часа в 2 ночи она закончилась.

Напротив храма Воскресения в небольшом храме «Малая Гефсимания» хранится плащаница Матери Божией. Вернее это такой образ, который имеет толщину по подобию человеческого тела, а изображение Матери Божией с двух сторон убрано в богатую ризу. Лик кроткий и руки — писанные. Стоит эта плащаница в кивоте огромной иконы Матери Божией «Иерусалимской», которая убрана двумя рядами монист с разными золотыми и серебряными медалями по случаю исцелений от этой иконы.

В 4 часа утра был назначен вынос Матери Божией и за эти два часа сестры и все паломники (а народу множество и все арабские семьи пришли, с детьми даже) прикладываются. Здесь перед Матерью Божией мы спели акафист нараспев. Потом

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

стало собираться греческое священство, выносить хоругви, фонарики для крестного хода, пришли кавасы, которые отстукивают палочками и создают порядок, освобождая дорогу. Пришел настоятель Гефсимании о. Христодул, сейчас необыкновенно взволнованный, чувствовалось, в приподнятом настроении. Они запели по-гречески стихиры Матери Божией. Через некоторое время мы вышли на площадь перед храмом Воскресения и расположились для шествия крестным ходом. Сначала хоругви, потом монашествующие (наши сестры, елеонские, греческие и румынские), потом священство и Матерь Божия, потом весь народ.

Еще в Горнем меня предупредила старенькая матушка: «обрати внимание на первый звон, какой он великий, услышав его думаешь, что это не на земле звонят». По небу в это время непрестанно бежали облака (4 часа утра) и чуть мерцали утренние звезды, чуть светлела синевая ночи — раздался первый звон — Матерь Божию подняли и понесли. О, глубина переживаний сердца человеческого — как вместить в себя, что ты идешь в шествии с Матерью Божией. Шли по старому городу теми самыми улицами, что и Господа вели на Голгофу (потому что Преторий на пути в Гефсиманию через Иудины или Стефановы ворота). Шли с греческим пением. Часто запевали «Апостоли». Распев такой красивый и умирительный, что и мы им подпевали.

Пока шли по тесным улицам, да и утро еще не наступило — Матерь Божию было мне не видно, а когда мы вышли за стены старого города и стали спускаться к Гефсимании, удивительная картина при свете утреннего рассветного неба предстала нам. Идет огромная тысячная толпа, сначала стройная из двух рядов черноризцев, а потом большая, просто море народа. Впереди, окружаемый священством от натиска народа, идет о. Христодул. Он несет Матерь Божию на разноцветных лентах на шее и держит Ее обеими руками. Я не расспрашивала, но очень похоже как Спаситель принял Матери Божией душу на руки и как это изображают на иконах «Успение».

Наперед этому шествию постоянно забегают люди, несут на руках детей и прикладываются к Матери Божией прямо на ходу! Живая верующая, полная радостных глубоких чувств толпа — нет, живая река, море добрых сердец. Шествие — такое невиданное и необыкновенное из-за пения и необычайного времени — раннее утро, кажется каким-то потусторонним торжеством. К Матери Божией со всех сторон бегут люди и их становится все больше и больше. Они встречали нас на улицах старого города и присоединялись к шествию. И около храма Гефсимании снова ожидают Матерь Божию. Вот с пением Ее вносят в храм и по долгим большим ступеням (сколько их в храме? Может 50-60?) опускаются в пещерный храм. Вся лестница (по обеим ее сторонам) в свечах. Матерь Божию полагают за гробницей в необыкновенный ковчег. Ложе Матери Божией с четырех сторон подпирают столбы и у каждого стоит ангел (резьба по дереву), И на крыше по ангелу, и купол венчает ковчег.

Матерь Божию укрыли розовым покровом и положили на подушечки. В руки ангелов дали цветы и на крышу бросали цветы. Оттого, что Матерь Божия с двух стороны изображена, то впечатление живого человека, лежащего, сильное, только она меньше обычного человека. Все подходят, обнимают Матерь Божию и целуют. Как у нас «подлезают» под икону, так и здесь все стараются подлезть под этот ковчег. Так принесли Матерь Божию в Гефсиманскую весь...

В ночь на третий день (под субботу) мы опять собрались в Гефсиманию на ночную службу. Это было праздничное всенощное бдение и затем литургия. Греки очень хорошо пели, опять было множество людей, все молились около Матери Божией. Литургия отошла часа в три ночи, в семь было назначено погребение Матери Божией. Многие сестры уходили отдохнуть назад в Миссию, а некоторые остались прямо в храме, я тоже осталась. Расположились мы около самой Матери Божией, и, пока шла армянская и коптская служба, дремали.

Что за чудо, сплю себе на коленках, так сладко, так хорошо, проснусь, открою глаза, а передо мною ковчег с Матерью Божией. Такая радость, такое утешение, такая милость. Немного отдохнув, мы начали петь и акафисты, и «Апостоли», и «В молитвах» — и всякими распевами — все что знали, Матери Божией (это мы остались со старшим нашим регентом) и всего-то нас несколько было, а так радостно пелось. Потом подошли греческие паломники и тоже очень хорошо пели, а мы им подпевали.

Все уже было готово к встрече патриарха. На погребение собрался целый апостольский сонм священства и греческие владыки пришли. (Очень интересно, что многие греческие батюшки носят «пустынную» камилавку — это если бы на обычную камилавку надеть не пришитую наметку и она свободными складками опускалась бы по обеим сторонам лица — правда, веет чем-то древним). Служба была торжественная — ковчег поставили на середине храма и всем раздали греческие книжечки с отпеванием. По каждой статии патриарх кадил Гробницу и храм, потом по Великом славословии Матерь Божию подняли и понесли по ступеням пещерного храма наверх и обратно. После крестного хода Матерь Божия водворилась опять за гробницей в ковчеге. Пока Ее донесли до места, то все цветы разобрали люди и передавали из рук в руки. Пока разоблачался патриарх, в храме все снова спешат приложиться к Матери Божией, благословляются у владык. Радостно всем и не хочется уходить. Как в зеркало смотришь на чужие лица — наверное и я также улыбаюсь — общая радость. Патриарха на улице ждет парад арабских школьников. Они одеты все в формы, кто несет знамена, кто бьет в барабаны, кто дудит. Бьют в колокола — так закончилось это торжество¹.

<...> На праздник Успения приезжала группа греческих монахинь, мы их видели на крестном ходе. И одежда их (древняя пустынноническая одежда — как рисуют святых преподобных на иконах — в таких накидках-наметках, которые почти закрывают глаза и свободными складками спускаются по обеим сторонам лица) и весь их облик (они даже не улыбались, глядя на ликующую арабскую молодежь) говорит о строгом воспитании. Среди них были молоденькие девочки с такими чистыми кроткими лицами, что о таких разве что в книгах прочитаешь. Да, не случайно Господь первыми судил быть у святынь греческому монашеству. Хоть и скудное время, да вера еще есть на земле. Боже мой! Как прикладывался к Матери Божией один старенький грек — какая это была слезная молитва! Человек знает, что скоро оставит этот мир, он страдает старческой немощью и молится и просит с такой верой, будто смотрит на Саму Матерь Божию в Царстве Небесном...²

<...> Теперь расскажу немного об отдании праздника Успения Матери Божией. Он проходил более оживленно и радостно, чем в первый раз, когда несут Матерь Божию в Гефсиманию. Здесь шествие более задумчивое, печальное, будто мы и правда должны расстаться с Матерью Божией, но еще не знаем, что Она нетленна и только спит. Когда же готовят улицы к обратному Крестному ходу, то их затейливо украшают зелеными ветками, подвешивая их через узкие улочки, как гирлянды. Шествие совершается днем. Его по дороге встречает ликующая арабская молодежь, которая со своими своеобразными молениями и выкриками возглавляет шествие. Со всех улиц к Матери Божией бегут люди, несут своих детей. Сверху с домов бросают лепестки цветов и брызгают благовонной водой, курят фимиам. Всеобщая радость, будто теперь мы знаем, что Матерь Божия — присная наша Ходатаица, «в молитвах Неусыпающая». Волнами вышайется и утихает пение «Апостоли от конец...» Греческое пение особенно умиленно, потому что мы прощаемся с праздником Успения. Вот Матерь Божию

¹ Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983–1989 гг.). СПб., 1996. С. 50–53.

² Там же. С. 56.

приносят ко храму «Малая Гефсимания», напротив Храма Воскресения, поднимаются наверх по ступеням и полагают в кивот «во Успении Своем нас не оставляющую.» Слава Богу, что Она дает нам снова встречать и провожать Ее святые праздники³.

<...> 1987 г. Праздник Успения Божией Матери особенный. Опять приоткрывается таинственная завеса смерти и вечности и опоздавший Фома с апостолами не находят тела Пречистой Богородицы. Здесь и печаль и радость обетования о будущей жизни и почему кажется, что Успение это и монашеский праздник, особенный для тех, кто пошел за первой Божественной девственницей, Матерью Господа и покровительницей всех монашествующих. В ожидании празднеств прошел Успенский Пост и вот накануне за 4 дня до Праздника, 25-го, во вторник рано утром еще затемно после ночной литургии у Гроба Господня двинулась торжественная процессия крестным ходом через весь старый город в Гефсиманию. Так как было темно, шли со свечами и пели «Апостоли от конец». Божию Матерь нес на руках настоятель Гефсиманского храма, а за ним грудился народ и все хотели коснуться Божией Матери и приложиться к Ней.

В этом году очень много паломников приехало из Греции (говорят там было бедствие — сильная жара, и может быть, это скорбное обстоятельство возгрегло ревность в народе?) Пока по узким улочкам пришли к Стефановым воротам стало светать и к Гефсимании спустились уже рассветным утром. Плащаницу Божией Матери положили в ковчег за гробницей и началась утренняя, а потом литургия. Весь храм светился гирляндами лампад, постоянно к плащанице идут люди целыми семьями. Через два дня мы снова собрались в Гефсиманийстей веси на погребение Божией Матери. Вместе с епископами и священством поет народ и от этого торжество воспринимается особенно глубоко. Распев 3-ей статьи настолько мелодичен, что невольно на этот напев я подпевала статью по русскому тексту. А когда поднимают ковчег и он плывет над всем народом вверх по лестнице из Гефсиманского (подземного) храма, то совсем иначе звучат слова светильна «Апостоли от конец». Ковчег убирается цветами и весь разукрашенный и благоухающий плывет над нами.

Следующий день — сам праздник Успения Божией Матери, когда опоздавший апостол Фома уверил всех апостолов, что тело Пречистой взято на небо. Радостное и светлое чувство оставляют эти праздники, вот научиться бы только хранить их подольше. Самое главное и весь секрет благодатного восприятия праздника — это покаянная искренняя (от сердца) молитва Господу и Божией Матери, также частая и сердечная исповедь и чтение, которое размягчает ожесточенное сердце и очищает (меняет) ум. Дай, Господи, преуспевать нам в самом главном⁴.

После краха советского атеистического режима и ликвидации «железного занавеса» Святую Землю все чаще стали посещать паломнические группы из России. В 1994 году в составе одной из таких групп Святую Землю посетил игумен Никон (Смирнов). В Иерусалиме российские богомольцы поклонились Гробу Господню, а затем направились в Гефсиманию. «Это благодатный зеленый оазис на фоне каменной панорамы Иерусалима. Был полдень. Нам открыли храм Гефсимании, где по завещанию была погребена святыми апостолами Божия Матерь, — пишет о. Никон. — Спускаемся по 48 широким ступенькам в пещеру-храм, увешанный лампадами. Перед самой пещерой владыка и начал молебен Божией Матери. Мы держали свечи в руках. По окончании молебна мы стали прикладываться к каменному смертному одру Богородицы. Это ложе имеет отличие в том, что пронизано отверстиями — символом захоронения девственниц, существовавшим в традиции у древних

³ Там же. С. 106—107.

⁴ Там же. С. 166—167.

евреев, что еще раз подтверждает приснодевство Марии. Поднимаемся к выходу. По сторонам лестницы — места погребения праведных Иоакима и Анны и с другой стороны — праведного Иосифа Обручника. Мы все приложились к их гробницам...»⁵

Монахиня Наталия ПЕРЕД ОБРАЗОМ МАТЕРИ БОЖИЕЙ В ГЕФСИМАНИИ⁶

Не можем дать мы целованья чистого,
Твой светлый лобызая лик,
От всех прикосновений человеческих,
На образе темнее тусклый блик.
Как мы и дерзки, и назойливы бываем
В молитвах и прошеньях пред Тобой,
Но терпишь нас и ласково внимаешь
Исполнена любви и чистотой.
Вот снова я упал и снова пред Тобою
Несмелое прошение приношу
В душе своей, израненной грехами,
Твой, Дева, нежный голос узнаю:
«Нет! Света не прервать ночью мглою,
И Свет несовместим со тьмой,
Коль хочешь быть помилован у Бога,
Не оскорбляй Его нечистотой!»

1983

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Базилика Гефсиманской молитвы

«И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колена молился, говоря: „Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет“. Явился же Ему ангел с небес и укреплял Его. И, находясь в борении, прилежно молился; и был пот Его, как капли крови, падающие на землю» (Лук. XXII, 42—44).

*«Да возлагуют вси и да исповедятся Ему во Иерусалиме: Иерусалиме, граде свя-
тый, языцы мнози отдалеча приидут ко имени Господа Бога.» (Тов. XIII, 8—9—11).*

На восток от церкви Св. Стефана у самой дороги высится монументальный фронтон базилики францисканцев, возведенной в 1919—1924 годах на месте предания Спасителя Иудой и посвященной Его Страданиям. Отсюда начинается Гефсиманский сад и продолжается вверх по склону горы Елеонской. Нижняя часть сада окружает базилику. Здесь можно видеть восемь очень старых олив, заботливо сохраняемых в красивом цветнике. Позади базилики виднеются остатки первоначально-го храма, стоявшего здесь в IV — начале VII века⁷.

⁵ Никон (Смирнов), игумен. От Галилеи до Фиваиды. Изд-во «Паломник», 1995. С. 23—24.

⁶ Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983—1989 гг.). СПб., 1996. С. 57.

⁷ Спутник паломника по святым местам. Париж, 1984. С. 29.

...После прощальной Вечери, на которой Спаситель преподал ученикам Свое Пречистое Тело и Кровь, все они вышли из Сионской горницы и, как говорят евангелисты, «воспев, пошли на гору Елеонскую» (Мф. 26, 30), «в селение, называемое Гефсимания» (Мрк. 14, 32) «за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его» (Иоан. 18, 1). Евангелист Иоанн достаточно точно указывает месторасположение этого сада. Он лежал за потоком Кедром (18, 1). Если перейти поток Кедрон близ древних Силоамских ворот, то на левом берегу его будет сначала Силоам, затем громадное кладбище с могилами Авессалома, царя Иосафата и пророка Захарии, то есть существовавшее еще до Иисуса Христа. Далее остается сравнительно небольшой берег потока длиной около 300 метров, на котором и в настоящее время растут маслины. Здесь, конечно, был Гефсиманский сад, так как другого подобного места по потоку Кедрону дальше нет.

Селение Гефсимания больше не существует, но большой сад лежит по-прежнему на западном склоне Елеонской горы напротив Иерусалима. В нем сохранилась не одна пещера, в которой, быть может, Спаситель проводил с учениками холодные и дождливые зимние ночи (Лк. 21, 37). Несомненно, Он оставил большинство учеников там, где они обычно бывали, недалеко от дороги, так как «знал это место и Иуда, предатель Его» (Иоан. 18, 2), а взяв только троих, углубился далее в сад. Оставив же и их бодрствовать с Ним, Сам отошел еще на «вержение камня», то есть на расстояние брошенного камня, и там молился до кровавого пота. Где были точно все эти места — неизвестно достоверно...

Евсевий в своем сочинении «О названиях местностей, встречающихся в Священном Писании» около 320 года, писал: «Гефсимания — место, где Христос молился перед страданиями; лежит близ горы Масличной, где и ныне верные тщатся сотворить молитву»⁸. В IV веке здесь была сооружена церковь, и блаж. Иероним в своем труде «О положении и названиях еврейских местностей» в 380 году писал: «Гефсимания — место, где Спаситель молился перед страданиями; находится у подошвы горы Масличной, с выстроенной над ним церковью»⁹.

В начале IV века, когда при восторжествовавшем христианстве Палестина переживала расцвет благочестия и храмостроения, паломники упоминали в своих записках «изыщную церковь на месте моления Христова о чаше», повествуя, как в Великий четверг крестный ход спускался с вершины Елеона, где совершалась страстная служба, в Гефсиманский сад. Вот слова паломницы Сильвии Аквитанки, бывшей тут в IV веке: «Крестный ход, с епископом во главе, нисходил из базилики Вознесения к подлинному месту Гефсиманской молитвы нашего Господа, как написано: „Сам отошел... на вержение камня и, преклонив колена, молился...“ Здесь стоит изыщная церковь, и в ней читается Евангелие до слов: „Бдите, чтобы не впасть во искушение“. Тогда отсюда спускаемся в Гефсиманию», подразумевая селение, где, по словам евангелиста Луки, были оставлены ученики и куда пришел предатель с воинами, взяв Иисуса...

В 1920 году археологи обнаружили здесь фундаменты древнего церковного сооружения — классической византийской трехнефной базилики, построенной императором Феодосием Великим и описанной Сильвией Аквитанкой, знаменитой паломницей из Галлии, посетившей Иерусалим в конце IV века. В ее алтарной апсиде и находился первоначально камень св. Молитвы, топографическая память о котором была надежно сохранена ранней церковной традицией. Церковь Феодосия просуществовала чуть более трех столетий и была разрушена персами в 614 году. От нее остались найденные при раскопках фрагменты богатого мозаичного пола и обломки стенных мозаик¹⁰.

⁸ Цит. по: Православный Палестинский сборник (ППС), вып. 37, СПб., 1894. С. 54.

⁹ Цит. по: ППС, вып. 37, СПб., 1894. С. 54..

¹⁰ Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 183.

...Поклонившись святыне Гроба Господня, средневековые пилигримы выходили за стены Иерусалима и, перейдя Кедронский поток, направлялись к гробнице Пресвятой Богородицы, — у подножия Елеонской горы, о чем повествует «паломник земли Русской» игумен Даниил (1106 г.): «От гроба Богородицы саженей десять до пещеры, где был Христос предан Иудой евреям за тридцать сребренников. Пещера по ту сторону Кедронского потока, при Елеонской горе»¹¹.

Неподалеку от этой пещеры издавна находился скромный храм «Моления о чаше», продолжает игумен Даниил: «Близ пещеры, на расстоянии брошенного человеком камня, к югу от неё, есть место, где Христос ночью молился Отцу Своему. В ту же ночь Он был предан евреям на распятие и сказал: „Отче, аще возможно есть, то минет чаша сия Меня“. На месте том ныне создана небольшая церковь»¹².

В результате раскопок 1891 и 1901 годов археологи вскрыли здесь руины посвященной Спасителю церкви крестоносцев, построенной в XII веке и разрушенной в конце XIII¹³. Поэтому немецкий паломник Баумгартен, посетивший Святую Землю в начале 1500-х годов упоминает не о церкви, а о месте «Моления о чаше»: «Отошед же отсюда к маленькой деревушке Гефсиманию называемой, видели в ней то место, на котором Христос, будучи чрезмерно прискорбен, молился, а потом пойман был и связан»¹⁴.

Более подробные сведения о Гефсимании содержатся в паломнических записках московских купцов Трифона Коробейникова и Юрия Грекова, побывавших в Святой Земле в 1593—1594 годах: «И оттоле поидохом на другую страну юдоли плачевной, на Елеонскую гору, прямо от тоя пещеры ввержением камня, стоит древо зелено и до сего дни, а имя ему маслина. Там творяще Христос молитву со ученики Своими Отцу Своему в тайне. На том же месте есть дол, а на том долу творяще молитву, яко же рече Божественное Писание, псалом 83: во юдоли плачевна, на месте, идеже положи Бог и благословение даст. И паки Иисус в ту пещеру прииде ко ученикам своим, и обрете их спяща, и пришед, рече им: понеже обещаестя со Мною умрети, и ныне невозможесте единого часа со Мною победети; един бо от вас бдит, хочет Мя предати беззаконным иудеом. И отъиде от них помолитися в другое место, идеже есть юдоль плачевна; и помолився, паки прииде в туж пещеру ко ученикам Своим, и обрете их спяще, и рече им: «спите и почивайте, дух бо бодр, плоть же немощна»¹⁵.

Французские пилигримы Мишо и Пужул в 1830 году так описывали увиденное: «Невдалеке от святилища Богородицы показывают грот Спасителя, где Он на молитве проливал пот и кровь; подле виден масличный сад Гефсимании. Замечательно, что сохранившиеся доныне в саду масличные деревья, были свидетелями всех свершившихся событий и переворотов в Иерусалиме. По сказаниям древних путешественников, в семнадцатом веке было девять деревьев; ныне их только восемь; как к святыне — никто не прикасается к плодам их, и хранят к ним почтение, как к свидетелям Бога и современникам Иисуса»¹⁶.

¹¹ Житие и хождение Даниила, игумена Русской земли // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII—XX вв. М., 1994. С. 20.

¹² Там же. С. 20.

¹³ Лисовой Николай. Указ. соч. С. 183.

¹⁴ Баумгартен Мартин. Посетитель и описатель святых мест или путешествие в Египет, Аравию, Палестину и Сирию. СПб., 1794. С. 125.

¹⁵ Путешествие московских купцов Трифона Коробейникова и Юрия Грекова // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII—XX вв. М., 1994. С. 65.

¹⁶ А. Т. Очерки Иерусалима и святых окрестностей. Из переписки о Востоке Мишо и Пужула. СПб., 1837. С. 64.

В декабре 1850 года к подножию Елеонской горы из Иерусалима направлялась группа паломников, в числе которых был Виктор Каминский. «Сойдя с возвышенности и перейдя русло Кедрона, мы несколько отклонились от Гефсимании, вправо, к ограде священных маслин, и увидели близ нее, с восточной стороны, те камни, на которых спали апостолы, когда Спаситель молился пред своими страданиями, а потом пошли и к самому месту молитвы Богочеловека, — пишет Виктор Каминский. — Оно отстоит от ограды „на *вержение камня*“, находится в пещере, близ самого гефсиманского храма. „Здесь-то, подумал я, войдя в пещеру, здесь скорбела праведная душа Твоя, сладчайший Иисусе, и на божественном челе твоём выступали кровавые капли! Прими и мою скорбь о скорби Твоей, Боже! Чем же больше могу благодарить Тебя?“»¹⁷

«Пещера эта принадлежит римско-католическому духовенству, — продолжает тот же автор, — и, по изысканиям их миссионеров, признанная истинным местом скорбной молитвы Иисуса Христа, обращена в моленную; в ней стоит престол, а над престолом изображен Спаситель, молящийся на коленях, и пред Ним ангел с чашей. С левой стороны престола, в углублении стены, изображены три спящие апостола, с правой — образ, представляющий бегство апостолов, после взятия их Пастыря»¹⁸.

В начале следующего, 1851 года Виктор Каминский снова посетил Гефсиманию. В прошлый раз ему довелось побывать на месте «Моления о чаше», а теперь — и в Гефсиманском саду. «С тем же обществом, 2 января наступившего уже нового года, я отправился на Елеонскую гору, — вспоминал Виктор Каминский. — По благоприятному случаю, мы встретились у ее подошвы, с одним римским монахом и он ввел нас в ограду священных маслин. Драгоценные эти остатки Гефсиманского сада принадлежат францисканам, которые недавно обнесли их высокой каменной стеной, и хотя ключ от входа в ограду хранится у сторожа, постоянно там живущего, но он не решается пускать посетителей без позволения владельцев. На этот же раз мы вошли свободно.

Довольно взглянуть на эти дряхлеющие деревья, чтобы поверить, что они истинные свидетели и вероломства Иуды, и Господних страданий: глубокая их древность и необыкновенная долговечность масличного дерева ручаются за истину предания. Но при всей преклонности лет, ветераны эти еще зеленеют и приносят плоды, доставляющие пользу привратнику. Но страшно подумать, какой плод благодарности за благодеяния Спасителя принесли Ему здесь иудеи! И отвратительны мне представлялись эти изверги, вооружившиеся на Праведника! Насмотревшись на сироток Гефсиманского сада, я оторвал на память несколько веток, и потом мы вышли из ограды»¹⁹.

Игумен Черемнецкого монастыря о. Антоний (Бочков), неоднократно посещавший Иерусалим в 1850-х годах, отмечает, что место «Моления о чаше» в те годы находилось в ведении католиков: «Место моления Спасителя, по греческим указаниям, находится подле ограды масличного сада, принадлежащего католикам, и теперь к нему ведет узкий проулок, на конце которого вделана полуразбитая колонна. Но она ближе вержения камня от апостольского места. Вернее всего, что Спаситель молился в нынешнем саду, сохраняющем несколько древнейших маслин»²⁰. Будучи не простым богомольцем, но имевшим богословское образование, о. Антоний в сво-

¹⁷ Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святой Земли. СПб., 1856. С. 89.

¹⁸ Там же. С. 89—90.

¹⁹ Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святой Земли. СПб., 1856. С. 151—152.

²⁰ Антоний (Бочков), игумен. Русские поклонники в Иерусалиме // ЧОИДР, октябрь—декабрь 1874, кн. 4, ч. II. С. 29.

их записках размышляет о духовно-нравственном значении молитвы Спасителя для грешного человечества.

Тайная молитва Спасителя, Его борение и ужас по человечеству в ночь предания, могут ли быть пояснены кем либо, когда три евангелиста в немногих словах, каплю крови на землю, повествуют об этом подвиге? Указываю на свод Евангелия Великого Четвертка: Матф. в главе 26 стихи от 36 до 40, потом Луки в гл. 22 стихи 41 — 44, и снова Матф. от 40 до 46. К нему для дополнения присоединить можно Марка в гл. 14 стихи от 32 до 37. Сии слова ужасны, когда помыслишь, что молящийся страдалец есть Сын Божий, обремененный нашими грехами, обрекающий Себя на суд человеческий, во исполнение правды Божией, и полагающий за нас душу Свою; грозны, ибо Его смерть подвергла всех нас суду страшному, тем еще более, что любящего и милующего Господа мы заставим произнести приговор вечного нам мучения за беззакония наши, за презрение Его великой жертвы, страданий и труда евангельской проповеди, что отклонение от нас благодать и дары Его воплощения. Господи, да мимо идет от нас чаша праведного Твоего гнева! Но другие слова Твои: «не Моя, а Твоя воля да будет», мы повторить не можем. Ты Единый силен был их произнести²¹.

В одном из сочинений Феофана Затворника (1815—1894) есть глава под названием «Ночь в Гефсиманском вертограде». под пером святителя оживает краткое евангельское повествование о молитве Господней о чаше страданий.

Это была ночь, подобных которой не было, и быть не могло, и не может быть. Ночь эта решила участь всего мира: прошедшего, настоящего и грядущего. Это была ночь подвигов, от века невиданных и неслыханных, ночь скорбей и болезней смертельных, ночь пламенных молитв и молений к Отцу Небесному, ночь душевных и телесных страданий, туги и томлений прискорбных даже до смерти, ночь вожденная для небожителей и страшная для князя тьмы и его клеветов, благодетельнейшая для всего человечества и губительнейшая для ада, ночь немощи плоти и торжества духа, ночь борьбы ужасной и победы преславной, всемирной, живоносной. В эту преблагословенную ночь пред лицом неба и земли судьбы мира решены навеки. Ночь эту провидели пророки и ужасались вольному уничтожению Сына Божия. Вступая на подвиг этой ночи, Господь сказал возлюбленным ученикам Своим: все вы соблазнитесь и оставите Меня в ночь эту, писано бо есть: *поражу пастыря и разыдутся овцы стада*. Хотя исполненный ревности апостол Петр и утверждал, что если и все соблазняются, то он пребудет верен, а на деле вышло иное: троекратное его от Учителя отречение да послужит и нам спасительным уроком не надеяться на себя.

С горы Елеонской сошел Господь с учениками Своими в весь Гефсиманскую и оставил прочих поодаль, взял с собою трех избраннейших: Петра, Иакова и Иоанна, *бых свидетелями Божественной Его славы на Фаворе да егда*, — как взывает Святая Церковь, — *узрят Его распинаема, страдание убо уразумеют вольное, и миру проповедят*.

Исшед на приснопамятный гефсиманский подвиг, Господь как бы разоблачился от Божественной силы и славы Своей. Будучи совершенный Бог, вместе с тем, Он был и совершенный Человек со всеми свойствами и немощами, присущими естеству человеческому, кроме греха; ощущал Он и холод, и голод, и все нужды человеческие были не чужды Ему. Мучительная тяжесть грехов всего человечества вполне была изведена Им, а также и боязнь смертных страданий, и горькое чувство оставления Отцом Небесным. Испытана была Господом и борьба с князем тьмы, действовавшим чрез злобных людей, подвизая их на погубление Его.

²¹ Там же. С. 29.

Упоминается в Святом Евангелии, что после того, как диавол дерзнул в пустыне искушать Господа, то по тщетных усилиях своих, отошел от Него *до времени* (Лк. 4, 13), и вот это время настало, как сказал Господь на Тайной Вечери ученикам Своим: *Грядет бо сего мира князь, и во Мне не имать ничего соже* (Иоан. 14, 30). Тайна искупления рода человеческого была сокрыта от духа тьмы, и он, не ведая того, сам себе устроил погибель: ненавистно было для него спасительное учение Христово и совершаемые Им чудеса²².

Известный палестиновед Д. Д. Смышляев, посетивший Святую Землю в 1865 году, следовал к Гефсимании обычным паломническим путем: «Мы спустились по крутой тропинке в Иосафатову долину и, пройдя по каменному мосту через Кедронский поток, достигли подошвы Елеонской горы, на покатоности которой находится *Гефсимания*, называемая по сие время арабами *Эль-Джесманиег*»²³.

К этому времени место «Моления о чаше» было обустроено, о чем и сообщает российский автор: «В нескольких шагах отсюда к югу виден Гефсиманский сад, обнесенный каменной стеной, с несколькими весьма древними, но невысокими маслинами. В последнее время место это приобретено католиками, которые провели в саду дорожки, насадили цветы между деревьями и тщательно его содержат. Входят в сад через калитку в восточной стене. Восемь древних маслин составляют предмет благоговейного почитания христиан. Они были свидетелями скорбной молитвы Спасителя перед страданиями Его (Мф. 26, 36—45). Поклонникам дозволяется брать на память ветви священных деревьев, спадающие на землю. Блюститель сада, францисканский монах, проводил нас к скале, на которой спали апостолы во время молитвы Спасителя, и к месту, на котором Иуда коварным поцелуем предал своего Божественного Учителя. Отсюда тропинка извивается на вершину горы, к месту Вознесения»²⁴.

Другой отечественный палестиновед — В. Н. Хитрово, как и его предшественники, направился к Елеонской горе из Иерусалима: «Оставив ворота вправо, стали влево спускаться вниз в долину к потоку Кедрскому; он так называется в Евангелии и говорят, что в старые годы по нем действительно тек поток, теперь же он почти круглый год стоит высохшим, а только зимой, в дождливое время, по нем изредка течет вода. Спуск к потоку от ворот очень крутой; почти внизу спуска большой камень означает место побиения камнями святого первомученика Стефана»²⁵.

«Перешли мы поток Кедрский по мосту и стали подыматься по противоположной стороне на Елеонскую гору, — продолжает В. Н. Хитрово. — Тут недалеко пришли и к гробнице Пресвятой Богородицы, а так как вход в нее был еще заперт, то мы и пошли в близлежащий Гефсиманский сад; он огорожен каменным забором и принадлежит латинянам. Не входя еще в него, тут же, в конце переулка, приложились мы к месту последнего моления Спасителя, обозначенному большим камнем, и невдали от него другой камень означает место, где отдыхали 3 ученика. В самом саду сохранилось 8 толстых-претолстых старых масличных деревьев от того сада, в котором молился Спаситель»²⁶. (Что касается «большого камня», то камень «Мо-

²² Цит. по: Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 1. 2012. С. 85.

²³ Смышляев Д. Д. Синай и Палестина. Из путевых заметок 1865 года. М., 2008. С. 75.

²⁴ Там же. С. 77.

²⁵ Хитрово В. Н. К животворящему Гробу Господню. М., 2003. С. 110. С тех пор здесь многое изменилось: Кедронский поток теперь не течет даже и зимой, так как полностью заключен в трубы. А на месте кончины св. первомученика Стефана сейчас находится греческая церковь, построенная в 1969 году.

²⁶ Там же. С. 110.

ления о чаше» был «приватизирован» католиками в конце XIX века, несмотря на протесты Православной патриархии и русского консульства).

В своей книге «Русские паломники Святой Земли» В. Н. Хитрово приводит более подробные сведения о Гефсимании: «Если мы пойдем по направлению к Гефсиманскому саду, то против входа в него, на другой стороне дороги, увидим большой продолговатый камень, который по приблизительному расстоянию от пещеры можно приурочить к месту, где были оставлены Спасителем три Его ученика; а затем еще несколько далее, там, где в конце узкого прохода стоит небольшой столб, могло произойти моление Спасителя о чаше. В настоящее время находящиеся кругом разные постройки и ограды до того изменяют первоначальный вид местности, что нужно достаточное усилие воображения, чтобы представить себе это поражающее нашу душу моление Богочеловека перед Его всемирной искупительной жертвой за спасение человечества. Но уничтожьте в воображении эти ограды; представьте себе пустынную Елеонскую гору покрытую на всем своем склоне масляничной дубравой, — южную весеннюю ночь, ярко освещенную полнолунием, — вдали огоньки города, переполненного пришедшим на праздник народом: и нынешняя местность моления о чаше предстанет перед вами почти в том же виде, как и в то время, когда раздались здесь слова; „Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет“»²⁷.

Несмотря на то, что Гефсиманский сад принадлежит католикам, русским богомольцам не возбранялось посещать эту общехристианскую святыню, ибо «наши земные перегородки неба не достигают».

Протоиерей А. Ковальницкий (1884 г.): «Мы обошли священные места Гефсимании и прежде всего грот агонии, где, по латинскому верованию, Господь молился в ночь предания и где, по другим рассказам, укрывались 8 апостолов, тогда как остальные три позваны были Господом следовать за Ним. Поклонившись месту молитвы Господа, огороженному стенками и означенному обломком вставленной в стену колонны, мы пошли в так называемый Гефсиманский сад, принадлежащий католикам и обставленный кругом стен известными „четырнадцатью станциями“. На каждой из этих „станций“ находится статуя, изображающая то или другое положение Спасителя во время Его страданий; эти статуи, надо отдать справедливость, очень красивы»²⁸.

Протоиерей Василий Михайловский (1888 г.): «По дороге нам пришлось проходить мимо принадлежащего католикам Гефсиманского сада, где молился Христос в последний раз пред Своими страданиями. Сад содержится очень чисто, заключает в себе дорожки и грядки с цветами и восемь старых маслячных деревьев; кругом весь он огражден железной решеткой и строго оберегается лицами, нарочно для того приставленными, хотя в известные часы дня и открывается для всех желающих помолиться»²⁹.

²⁷ Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. СПб., 1905. С. 106.

²⁸ Ковальницкий А., прот. Из путешествия в Святую Землю. СПб., 1886. С. 100—101.

²⁹ Михайловский Василий, прот. По Святой Земле. Путевые заметки. СПб., 1898. С. 119.

Contents

Prose and Poetry

Alexander Gorodnitsky. Poems • 3

Marina Kudimova. Boustrophedon. Novel • 7

Yanis Grants. Poems • 91

Igor Gamayunov. Whisper of the Rain. Novel • 94

Vladislav Penkov. Poems • 117

Sasha Krugosvetov. The Third Meeting. Novel • 120

Publicistic Writings

Grigory Kovalev. Grenade in the Bosom. (*In the Penal Company. 1943*) • 153

Yevgeny Berkovich. Farewell to Europe. *Albert Einstein Visiting Commandeur* • 167

Criticism and Essays

Naum Sindalovsky. German Pages of Russian History in St. Petersburg City Folklore • 182

Russian Thesaurus — XXI

Vladimir Yelistratov. Unfallen Leaves of Russian Language • 203

Petersburg Bookman

Person and Fate. *Vladislav Bachinin.* On Biography of Modernity. Part One. The Renaissance and the Reformation. **Territory of Memory.** Vera Kharchenko. Museum Employee: Inner Meanings of Profession. **Book Island.** *Elena Zinovyeva's publication* • 217

Pilgrim

Archimandrite Augustine (Nikitin). Shrines of the Mount of Olives (by Notes of Russian Pilgrims). Part 2 • 244

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-50-52
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>
Ресурс в сети Интернет: <http://nevajournal.ru>

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 10.01.2017. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 ¹/₁₆. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 1500 экз. Заказ № 1
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано по технологии СтР
в Первой Академической типографии «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., 12/28